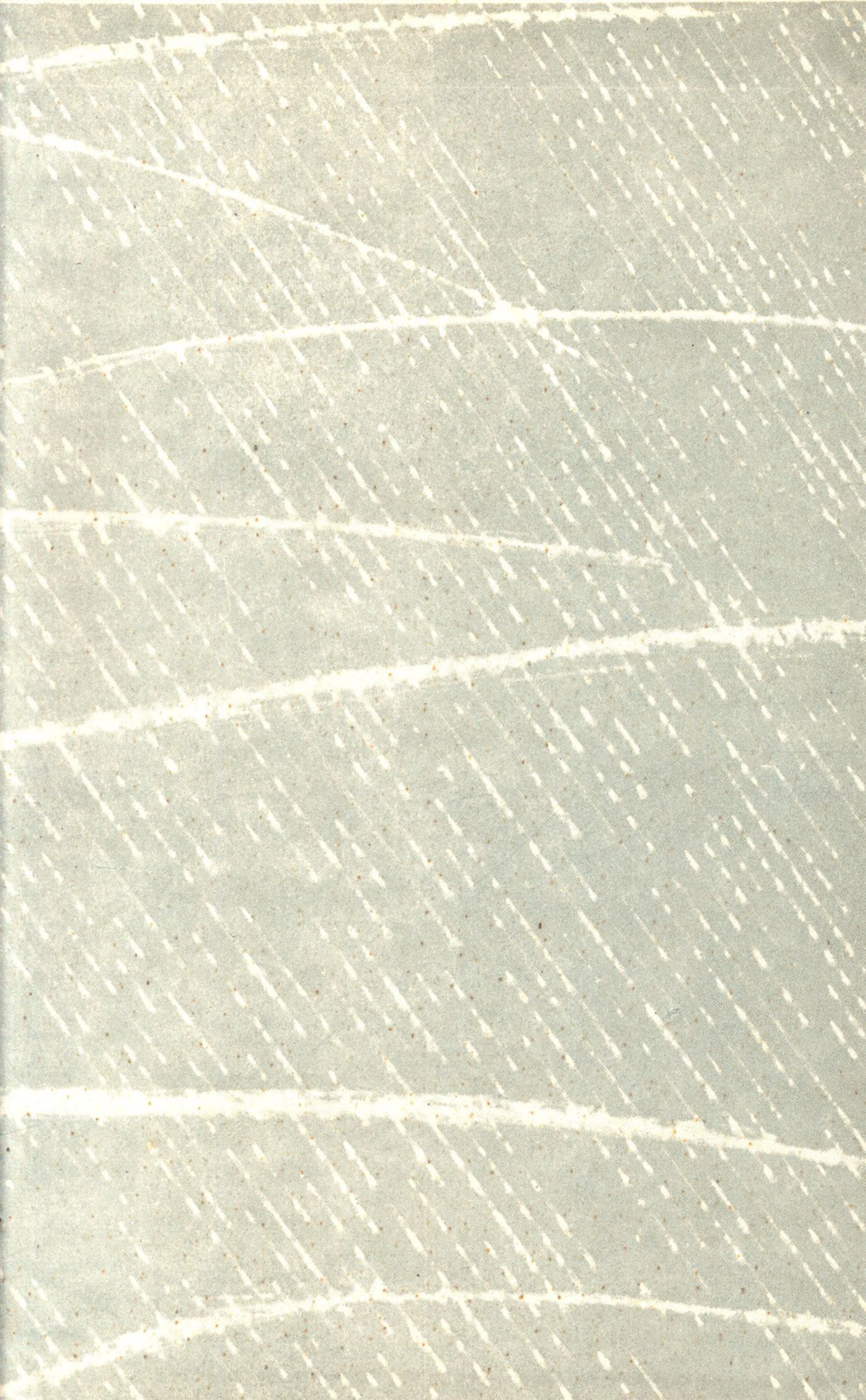
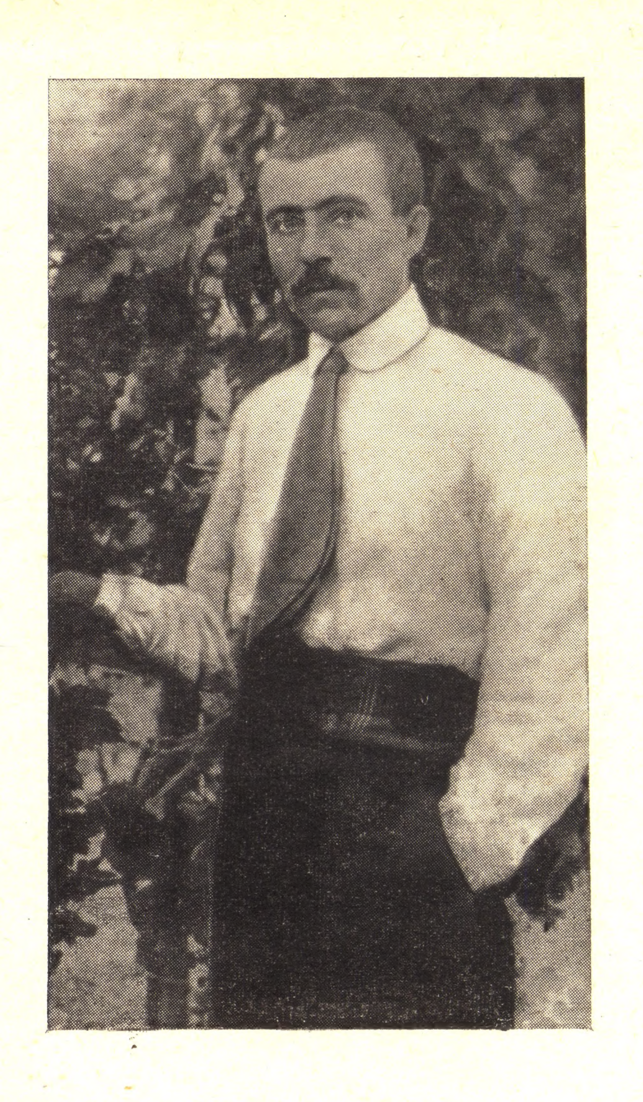
ИВАН ВОЛЬНОВ

ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ





ИВАН ВОЛЬНОВ

ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

Крестьянская хроника

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1976

Р2
В71

В $\frac{70302-185}{М-105(03)76}$ 106—75

ИВАН ВОЛЬНОВ И ЕГО ГЛАВНАЯ КНИГА

У Ивана Егоровича Во́льнова был сложный путь в революции, зато счастливыми оказались первые шаги в литературе. Выходец из деревенской бедноты, он рано начал революционную работу, испытал суровый режим тюрем и ссылки. В то же время ему повезло как писателю: его первое значительное произведение «Повесть о днях моей жизни» редактировал и рекомендовал в печать Максим Горький. Позднее великий писатель познакомил Вольнова с В. И. Лениным. «Я читал его книгу, — сказал В. И. Ленин Горькому, — очень понравилась»[1].

Иван Егорович Вольнов (псевдоним — Иван Вольный) родился в январе 1885 года в селе Богородицком Малоархангельского уезда Орловской губернии. Отец — бывший крепостной князей Куракиных, семья жила в тесной курной избе, где не хватало ни воздуха, ни света. Но Ване посчастливилось: его отдали в церковно-приходскую школу, а когда он научился хорошо читать, то утехой в этой тяжелой жизни стали книги. «Все отошло на задний план: побои, бедность, голод, — вспоминал позднее Вольнов. — Читал всякую печатную строку, обрывки газет, календарей, часословы и прочее». Учителя заметили одаренного мальчика, помогли ему окончить «высшее» двухклассное училище в соседнем селе, а затем — поступить в Курскую учительскую семинарию. Она запомнилась рутиной преподавания, сугубо казенной атмосферой. Вместе с тем в это время (1900—1904 годы) Вольнов много, взахлеб читал художественную литературу и начал знакомиться с нелегальными изданиями. «1903 год был уже поворотным в моей жизни, — говорит писатель. — Почувствовал, что есть дело, которое я должен делать. Жизнь деревни была лучшим пропагандистом, толкнувшим в ре-

---

[1] М. Горький. Собр. соч. в 25-ти т., т. 20. М., «Наука», 1974, стр. 37. Очерк «В. И. Ленин». (Кстати, заметим, что книга Вольнова хранится в библиотеке В. И. Ленина в Кремле.)

волюционную толчею. Отдался ей всей душой и всеми мыслями, стал ею жить».

Окончание семинарии совпало с кануном первой русской революции. Летом 1904 года Вольнов приехал на работу в с. Щетиново Белгородского уезда, а перед тем побывал в родном орловском селе. В то время русская деревня напоминала бочку с порохом, которой недоставало только малейшей искры. Крестьян беспощадно душили голод и безземелье, поборы казны, кабала кулаков. В этой предгрозовой обстановке юноша и познакомился с социалистами-революционерами и принял их за подлинных защитников крестьянских интересов. В деревне периода 1905—1907 годов антиправительственная агитация приносила определенные положительные результаты. Недаром осенью 1906 года Вольнов и другой учитель Щетиновской школы были арестованы за то, что они, как говорится в донесении жандармов, «собрали в школе крестьян, с которыми разучивали петь «Дубинушку», говорили им речи об уничтожении начальства, после чего можно было бы отобрать землю у помещика, выражали дерзкие суждения о действиях правительства и предлагали какую-то подписку об освобождении студентов, замешанных в бунтах»...[1]

Вольнов отделался легким наказанием лишь потому, что в это время Россию сотрясали революционные взрывы. Молодого учителя просто выслали в с. Богородицкое «под надзор полиции», а это село и Куракинская волость в целом, по аттестации тех же властей, являлись «беспокойным пунктом, откуда начинались и распространялись аграрные беспорядки в Орловской губ.» Очутившись в этой накаленной политической обстановке, Вольнов еще более активно ведет агитацию против самодержавия и помещиков. «Крестьяне и рабочие, готовьтесь к последнему бою! — говорилось в одной из листовок, распространявшихся Вольновым. — Да здравствует революция!» Вскоре он снова был арестован и водворен более чем на год в арестантские роты.

В то время как революция шла на убыль, Вольнов продолжал борьбу: организовал боевую дружину, которая громила помещичьи усадьбы, уничтожала полицейских чиновников. Он лично участвовал в покушении на жизнь председателя куракинского отделения «Союза русского народа», стрелял, но неудачно, в мценского исправника, после чего был арестован. На этот раз его бросили в застенки орловского «централа», известного своими кошмарными пытками, садизмом тюремщиков. «За последние годы 1908—1910,— писал Вольнов, — мне пришлось столько увидеть, пережить, испы-

---

[1] Здесь и далее цит. по кн.: М. Минокин. Иван Вольнов. Тула, 1966.

тать на собственной шкуре, что теперь об этом боюсь думать, вспоминать, уверяю себя, что был только тяжелый сон, бред... Не раз собирался умирать, один раз чуть не повесился». Осенью 1909 года Московский военно-окружной суд приговорил Вольнова к ссылке в Енисейскую губернию. В декабре его доставили в село Кондратьево Канского уезда, но в ссылке Вольнов пробыл не больше полугода: летом 1910 года он бежит оттуда и вскоре с чужим паспортом переходит границу Восточной Пруссии. Помыкавшись по Германии и Швейцарии, Вольнов решил перебраться в Италию, где в то время жил Горький. Там было время подумать о своих неудачах и сомнениях относительно революционности партии эсеров. Рядовой участник аграрно-революционного движения, он стал критически оценивать теорию и методы крестьянских «социалистов». Отходу Вольнова от этой мелкобуржуазной партии содействовал Горький. В 1912 году в письме к редактору газеты «Будущее» Вольнов недвусмысленно заявил: «По убеждению я был социалист-революционер, но партию в ее настоящем виде не особенно долюбливаю».

Вольнов прожил в Италии, на о. Капри, с 1911 по 1917 год, до самой Февральской революции. Благодаря Горькому он познакомился с писателями Л. Андреевым, М. Коцюбинским, И. Буниным, А. Новиковым-Прибоем. Здесь часто бывали и другие литераторы, а также русские художники, артисты, музыканты, студенты. Для Вольнова, резко ощущавшего недостаток образования, это была настоящая школа, а Горький — лучшим литературным наставником. С одними писателями Вольнов спорил, особенно он расходился во взглядах на крестьянство с Буниным, с другими близко сошелся, именно с тех пор его другом стал Новиков-Прибой. Хорошо к Вольнову относились его земляк Леонид Андреев и украинский писатель Михаил Коцюбинский.

Легко понять огромную радость, которая охватила Ивана Егоровича при известии о падении самодержавия в России. Вольнов возвратился на родину в мае 1917 года, в те бурные дни, когда в стране развертывались события исторического значения. В годы изгнания писатель создал «Повесть о днях моей жизни», повесть «На отдыхе», целый ряд рассказов и цикл очерков «Огонь и воды». В Россию он возвратился известным писателем, однако, будучи долгое время оторван от родины, не сразу мог разобраться в сложной и противоречивой политической обстановке, тем более что на первых порах он снова попал под влияние эсеров. Вольнова избирают членом Учредительного собрания и назначают комиссаром Малоархангельского уезда. Отрезвляющее воздействие на писателя оказывают события 1917—1918 годов. Позднее в записках «Самара» Вольнов признавался, что в деревне «большинство населения ока-

залось сторонниками Октября. К черту смели земскую управу, «отделы», милицию, учителей, попов, пройдох, краснобаев». Это же он мог наблюдать и в других районах страны, по которой много ездил.

В 1918 году Вольнов вместе с Новиковым-Прибоем и Максимом Пешковым (сыном Горького) из Сибири привез хлеб для голодающей Москвы. Он побывал в Самаре, Омске, Новониколаевске, Барнауле. Вольнов был свидетелем краха «самарского правительства», разложения эсеровской верхушки. В результате Вольнов окончательно порывает с этой соглашательской партией, но местные орловские власти в 1919 году подвергают его аресту как эсера. Горький ходатайствует перед В. И. Лениным за невинно арестованного писателя, и в г. Орел из Кремля летит ленинская телеграмма: «Арестован литератор Иван Вольный. Горький, его товарищ, очень просит о наибольшей осторожности, беспристрастии расследования. Нельзя ли освободить под серьезный надзор?»[1]. И как только Вольнов был освобожден, он приехал в Москву и направился в Кремль. Беседа с В. И. Лениным, длившаяся около двух часов, оставила глубокий след в сознании писателя. Все сомнения были позади, а впереди его ждала борьба с разрухой, за преобразование деревни.

В. Д. Бонч-Бруевич в своей переписке приводит слова В. И. Ленина, обращенные к Вольнову: «...Если Вы действительно хотите походить, поездить по России, мы Вам дадим охранную грамоту, обращенную ко всем властям, чтобы Вам не чинили препятствий, а наоборот, помогали. Вот Вы будете собирать материалы, а там, смотришь, и напишете повесть из нашего революционного времени»...[2] Вскоре писатель отправился в Поволжье в составе санитарного отряда, который вел борьбу с эпидемией тифа. Потом отряд перебросили на польский фронт. И на востоке, и на западе Вольнов много работал, накопил большой запас впечатлений. По впечатлениям, привезенным из Поволжья, позднее он написал повесть «Встреча». Это было замечательное следование ленинскому совету.

Возвратившись в родное орловское село, Вольнов принял активное участие в социалистическом преобразовании деревни. Сначала он создает товарищество по совместной обработке земли, потом — артель, а когда началась коллективизация, он стал во главе колхоза (председателем колхоза он оставался до своей смерти в 1931 году). Наблюдения этих мирных лет нашли отра-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 280.
[2] Цит. по кн.: М. Минокин. Иван Вольнов. Тула, 1966.

жение в ряде рассказов и очерков («Новая земля», «Батя на празднике»). Большая повесть о новой деревне, замысел которой писатель вынашивал, к сожалению, осталась незавершенной. Вольнов мог бы больше писать, чаще печататься, но у него на первом месте стояли заботы о куракинских крестьянах. Когда друзья звали его в Москву, он отвечал им так, как писал однажды Новикову-Прибою: «Уезжать из деревни не собираюсь. Мне надо пожить, так как писание мое связано с нею: собираю у стариков материал, дружу с ними, пью самогонку. Ах, Силыч, милый, так много надо нам с тобой писать о деревне!»

В течение двух десятилетий Вольнов писал главным образом о деревне. Он правдиво изобразил крестьянство на всех этапах его развития, от эпохи раскрепощения до 1905 года, от первой русской революции до Великого Октября, от гражданской войны до года великого перелома. Автобиографическая трилогия «Повесть о днях моей жизни» впервые печаталась в журнале «Заветы» в 1912—1914 годах. Ее три части называются традиционно: «Детство», «Отрочество», «Юность». Такое название преследовало полемические цели: автору хотелось сказать, что жизнь крестьянского мальчика и юноши отнюдь не была «золотой и счастливой». Своей книгой — «крестьянской хроникой» Вольнов спорил не только с предшественниками, но и с некоторыми современниками, в частности, с Буниным. В год публикации «Детства» автор писал брату: «Деревня груба, жестока, в ней много хамского, подлого, звериного, но рядом с этим в ней много такого прекрасного, чистого, чего не сыщешь у помещиков, у городской буржуазии, у всех правящих классов».

Первые две книги вольновской трилогии изображают орловскую деревню кануна 1905 года, третья — в годы революции, которая ознаменовалась размахом аграрного движения по всей стране. Сильные и слабые стороны психологии крестьянина отчетливо выступают в трилогии, хотя жизнь деревни в ней показана через восприятие автобиографического героя Вани Володимерова. В первой книге действие не выходит за рамки семьи, во второй читатель видит Ваню в людях, благодаря чему знакомится с жизнью всего села Осташково, а в «Юности» дан широкий разворот событий по всему уезду и даже губернии. Сначала мы знакомимся с положением деревни конца XIX века через семью Володимеровых. Это — небольшая семья: родители — пожилые крестьяне, дочь Мотя, сын Ваня. Семья трудолюбива, работают, надрываясь, и взрослые, и дети, и все же она часто остается без хлеба, не может выпутаться из долгов, попадает в новую кабалу к кулаку Шаврову. Отец Вани, Петр Лаврентьевич, был неглупым человеком, ловким работником, изворотливым хозяином, но никак не мог вырваться из цепких лап

нужды. Неурожаи, падеж скота, «татарские нашествия» властей и богачей подрывали материальное состояние семьи, а это нравственно угнетало Петра. Убеждаясь, что его сверхчеловеческий труд не приносит семье пользы, крестьянин охладевает к работе, становится равнодушным ко всему на свете. Поэтому Петра часто мучит тоска, охватывает отчаяние, и он пытается утопить их в сивухе. Автор понимает, что причины озлобления и жестокости крестьянина кроются в тех социальных условиях, в которых сформировался характер героя. Пьяный Петр сам говорит об этом: «Слушай: с восьми лет пью водку, ругаюсь матерно... и до гроба буду пить, понял? С десяти курю табак, с молодых лет бью жену... завидовал богатым, лошадей увечил, слышишь?.. Много в сердце зла имею. Не люблю людей... Сердись не сердись, а никому не покорюсь!» — заревел отец, бледнея, и, схватив распятие, стал с ожесточением топтать его».

В этой исповеди перед иконой — весь Володимеров-отец, темный, забитый русский мужик, который, однако, не утратил способности к протесту, хотя он и носит стихийный характер. Невежественный человек, он в состоянии понять тягу сына к знаниям, его увлечение книгами («Учись! Находи свою светлую долю, — я не нашел»).

На плечи Маланьи Володимеровой, Ваниной матери, легло все хозяйство, все заботы о детях. Мать одиннадцати детей, она сумела вырастить только двоих, да и тем не смогла дать самое необходимое для нормальной жизни. Невероятно тяжелая домашняя работа, многочисленные роды, побои мужа преждевременно измотали силы женщины, к сорока годам сделали ее старухой. Только однажды Ваня видел свою мать веселой, смеющейся. «Я эту сценку хорошо помню, тогда было много солнца, и у всех — милые, славные лица. К нам в окна смотрела молоденькая, нарядная береза, тоненькая и нежная, как церковная свеча, а по улицам ходили девушки и пели весенние, звучные песни; мать моя тоже смеялась и пела».

Во второй книге мы знакомимся еще с двумя семьями: одна среднего достатка — Пазухины, другая — Шавровы, семья кулака и торгаша. Они помогают нам получить более полное представление о жизни предреволюционной деревни. Как и в семье Володимеровых, у Пазухиных перемерло много малолетних детей от недоедания, недосмотра, и только на склоне лет «жизнь принесла Егору неиспытанную радость в сыне». Егор Пазухин отличается от Петра своей трезвой, разумной жизнью, исправным своим хозяйством. Рано оставшись без отца, он умело вел хозяйство, ему хорошо помогала жена, жили супруги дружно, надеялись на лучшее. Однако «как молодые ни бились, как ни хрипели с утра до ночи над своею

и чужою работой, к наследству... ни пылинки не прибавилось». И расторопный, сметливый, непьющий крестьянин постепенно теряет веру в свои возможности, утрачивает задор в работе. В конце концов Егор махнул рукой на все попытки и старания, понял, что нет надежды «выбиться из крепких лап нужды». Но он не поддается отчаянию, так как надеется на сына Васю, способного мальчика, тянущегося к учению. «Беспременно, надо до делов парнишку довести,— говорит Егор жене.— Пускай добром помянет, когда вырастет. По-нашему жить — смерть».

Бедные семьи Володимеровых и Пазухиных — полная противоположность семье Шаврова. Созонт Шавров живет богато, его дом — полная чаша, однако его нравственный облик вызывает только омерзение, в то время как Петр и Егор сохранили многие лучшие черты трудового крестьянина. Ради наживы Шавров не останавливается ни перед какими преступлениями. На него работают и взрослые батраки и подростки Петрушка и Ваня, на положении батраков в доме живут родной сын с женою. Безжалостный хищник, Шавров в то же время тщеславен, чванлив и мстителен. Он является инициатором пьяной оргии: спаивает крестьян и вынуждает их учинить дикую расправу над семинаристом Васей Пазухиным, а пьяные бабы возят Шаврова в тарантасе по селу. При этом Шавров уверен, что его самоуправство останется безнаказанным, ведь в волости после князя Куракина он первое лицо. «Я в деревне дворянин!» — бахвалится Шавров. Про урядника же он говорит мужикам бесцеремонно. «Да ведь он у меня вот тута сидит, чего же мне бояться?» — проговорил Шавров, крепко сжимая большой кулак, покрытый пестрыми веснушками».

Ваня Володимеров, раньше знавший только своих несчастных родителей да таких мужиков, как Егор Пазухин, начинает теперь понимать зловещую натуру своего хозяина-паука. За короткое пребывание у него он увидел, как Петрушке молотилкой оторвало ногу, видел самоубийство шавровской невестки, систематическое избиение Шавровым своего сына Власа. И Ваня приходит к выводу: «Хозяин вырос в моих глазах в громадную, всемогущую, злую силу денег, перед которой все преклоняются, с готовностью исполняя все капризы и самодурство ее».

Если в первых двух книгах автор основное внимание уделяет таким типичным фигурам предреволюционной деревни, как Петр, Егор, Шавров, то в третьей, самой значительной части трилогии, их место заняли типы революционного крестьянства. Теперь не Шавровы, а революционно настроенные крестьяне задают тон в жизни русского села. Это они организовали «Осташковский

Комитет из мужиков», установили связь с городом, устраивали тайные сходки, а потом стали громить имения помещиков. Самую важную свою задачу комитет определяет так: «хлопотать насчет земли», так как «в земле вся сила». Осташковцы критически относятся ко всяческим обещаниям властей. Когда интеллигентный оратор прочитал манифест 17 октября и высокопарно заявил, что он «открывает широкое поле деятельности», крестьяне его истолковали по своему: «П о л е!.. А про п о л е - то как раз ни слова!» Если манифест вызвал ироническое отношение мужиков, то сообщение о кровавом воскресении ими было воспринято как расправа над беззащитными рабочими. Изменения в сознании крестьян, вызванные революционными событиями в городе, убедительно раскрыты в образах Прохора Галкина, Петра-шахтера, Лопатина, Ивана Володимерова, которые и составили ядро «Осташковского Комитета». Кроме Ивана, в «Юности» выделяется фигура Галкина, солдата-инвалида, вернувшегося с русско-японской войны. Подчас до смешного наивный, переполненный стихийным протестом, насмотревшийся ужасов войны и в то же время никогда не унывающий, Прохор искренно верит в сокрушительную силу масс, в их неизбежную победу над угнетателями.

На страницах первых двух книг автор показывает, как формируется характер Ивана — сначала в семье, потом в людях. Здесь же, в «Юности» мы его видим в городе, в общении с революционной интеллигенцией, во главе комитета. Через радостные удачи, временные успехи общего дела, через трагические ошибки прослеживается далее развитие сознания крестьянского юноши. Иван учит мужиков, но и сам учится у них. Мужицкий гнев был так велик, жестокость порою принимала такие формы, что юноша, справедливый и гуманный по характеру, не удержался от упрека крестьянам: «Говорили: свобода! Ждали ее как бога, а пришла — вымазали кровью!» Темные мужики, громившие помещичью экономию, объяснили ему причины своего возмездия: «Тебя еще не били, жену твою спать с чужим не клали?» Искреннее желание служить народу помогло ему разобраться в противоречивой обстановке. Иван ощущает огромный духовный подъем и готов идти на борьбу до конца, готов принести себя в жертву ради счастливого будущего. Однако большинство крестьян оказалось неподготовленным к сознательной, организованной борьбе с самодержавием, а главное — они выступили уже после того, как в городе рабочие восстания потерпели поражение. Как ни тяжело было Вольнову, непосредственному участнику аграрно-революционного движения, он поведал суровую правду о разгроме «Осташковского Комитета». В последних главах «Юности» рассказывается о карательных отрядах, нагрянувших в село: сопротивление повстанцев было

беспощадно сломлено. Крестьяне стали возвращать помещичье добро, выдавать «зачинщиков»...

Поражение первой русской революции до глубины души потрясло Вольнова-революционера, и это наложило свой отпечаток на финал. В недалеком будущем писатель станет свидетелем Октябрьской революции и попытается показать тех же орловских мужиков в новых обстоятельствах. В 20-х годах по совету В. И. Ленина он создает повесть «Встреча» и работает над другой большой повестью «Возвращение». В последней он изобразил то же село Осташково, тех же крестьян и их «вождя» — Ивана Володимерова, возвращающегося из эмиграции. Горький, высоко оценивший «Повесть о днях моей жизни», приветствовал и ее четвертую книгу.

Во второй половине 20-х годов, когда Вольнов с головой ушел в работу по перестройке деревни, он критически оценивает ту интеллигенцию, которая после февраля 1917 года поддалась агитации эсеров. Сначала он пишет цикл очерков «Самара», затем повесть «Встреча» (1927). Действие последней развертывается в 1918 году, когда в Поволжье эсеры и меньшевики, опираясь на мятеж военнопленных чехов, свергли Советы. На поводу у этих соглашателей пошла значительная часть трудового крестьянства. Однако скоро в настроении крестьян Поволжья совершается поворот в сторону Советской власти. Автор «Встречи» взял не весь период контрреволюционного восстания, а только осень 1918 года, и убедительно показал разложение «добровольческой армии» и «самарского правительства». В этой повести изображен как вражеский лагерь, так и лагерь красных — красноармейцев, командиров, комиссаров. Революционную армию поддерживает трудовое крестьянство, в частности, автор показывает, как в тылу «батальона имени Учредительного собрания» собирается тайная сходка, и старик спрашивает мужиков:

«— Ну, так как же? Туда?

— Туда, к своим.

— Иначе как же?

— Иначе нельзя, не придумаешь...

— Обворуженье там дадут. Как придете, прямо к товарищу Ленину, так, мол, и так, давай нам обворуженье, а у нас силов нет терпеть такую жизнь, примай нас к себе»...

Трагическое заблуждение народной интеллигенции, попавшей в тенета эсеровской демагогии, Вольнов правдиво рисует на примере трех персонажей: юноши-реалиста, Ивана Недоуздкова и Португалова. Последние двое уже не молодые люди, они поверили главарям партии и сейчас командуют отрядами «добровольцев». Иван и Португалов поняли все безумие попыток увлечь за собою

народные массы. Иван согласен с Португаловым в оценке эсеровских «наполеончиков» (он также называет их «петрушками», «социал-спасителями»), но на прямой вопрос товарища: «Где выход?» Иван отвечает: «Идти до конца. До последнего патрона». Португалов предлагает другой выход: «Ставка на демократию кончена. Мы проиграли. Но мы должны быть с народом. Не с царской сволочью, а с мужиками и рабочими». Португалов называет Недоуздкова Дон Кихотом, и сам Иван перед тем, как кончить жизнь самоубийством, с горечью признается, что он действительно «смешной, нелепый Дон Кихот, проморгавший жизнь»... К такому заключению Иван пришел после неожиданной встречи со своим бывшим учеником Алешей, теперь пленным красноармейцем. «Что же, мужики наши за большевиков?» — спрашивает его Иван на допросе. — «Да». — «Все, все?» — «Почти все». Это и решило судьбу Ивана, крестьянского сына, сельского учителя, который в годы первой русской революции боролся против самодержавия и помещиков, а теперь незаметно для себя превратился в яростного защитника старого строя. Вот почему он оказался в трагическом тупике.

Повесть «Встреча» автобиографична лишь отчасти. Недаром автор здесь оставил только имя героя — Иван. «В Недоуздкове есть кое-что мое,— говорил писатель Горькому,— презрение и ненависть к вождям. Мое же настроение более определенно выражено в словах Недоуздкова Португалову и потом в сознании Португалова, когда он говорит: «Мы проиграли». Эти слова Горький привел в своем очерке «Иван Вольнов», написанном сразу после смерти писателя в 1931 году. Однако о «Встрече» Горький писал автору еще в то время, когда повесть только что была опубликована в журнале «Молодая гвардия». «Дорогой Иван Егорович, — писал Горький, — «Встречу»... я прочитал, разумеется, — с величайшим интересом. Комплиментов Вам говорить — не намерен: Вы сами знаете, что Вы — талантливый человек. Я нахожу, что талант Ваш стал резче и крепче. В повести есть отличные страницы и фигуры,— например, реалистик, Недоуздков. Мужиков Вы пишете, пожалуй, как никто не умеет, есть что-то рубенсовское в их фигурах... Вам часто удается несколькими строчками дать вполне четкий образ, характер»[1].

К сожалению, после смерти Вольнова «Встреча» ни разу не переиздавалась, а между тем — она существенно дополняет «Повесть о днях моей жизни».

Когда Горький задумал издавать новую серию книг «История деревни», он намерен был включить в нее произведения русской

[1] Литературное наследство, т. 70, стр. 61—62.

литературы, начиная с «Путешествия из Петербурга в Москву». Для этой серии писатель рекомендовал «Житие одной бабы» Лескова, рассказы и повести Чехова, Короленко, Бунина, а также «Повесть о днях моей жизни».

О цели нового издания Горький сказал следующее: «Нужно, чтобы молодежь знала, в какой страшной темноте, в какой нищете, в каком унижении жили ее деды и отцы, какую массу крови и энергии затратил рабочий класс на борьбу за освобождение деревни из ежовых рукавиц помещиков и кулаков, из крепких сетей нищенской, единоличной собственности».

Слова Горького полностью могут быть отнесены к творчеству Ивана Вольнова.

Мих. Минокин

ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

КНИГА ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

I

В орловской степной полосе, прижавшись плетневыми гумнами к мелководной речушке Неручи, раскинулось наше село Осташково-Корытово. С восточной стороны оно упирается в бор, с запада идут «бурчаги», «прорвы» и овраги, а на юге, на горе, усадьба князя Осташкова-Корытова с белою круглою церковью, каменными службами, конским заводом и садами. Побуревшие соломенные крыши курных изб, плетни, корявые ракитки, десяток ветел у реки и деревянная облупленная церковь рядом с благоустроенным барским имением похожи на кучку нищих, усталых, больных и голодных, которые присели отдохнуть. Село тянется извилистой лентой вдоль реки: по одну сторону — избы, по другую — клуни и сараи, а на конопляниках — овины.

Исстари Осташково делится на пять концов: Новую Деревню, Пилатовку, Сладкую Деревню, Драловку и Заверниху. Жители Сладкой Деревни буйны нравом, славятся драками и пьянством. Чуть не под самыми их окнами барин сеет бураки для коров; по осени мужики воруют овощь, а при оплошности жестоко платятся боками от помещичьих черкесов и рабочих. Раз-два в неделю у них производится урядником обыск. Сначала отбирают бураки, потом ищут траву. Ее урядник узнает потому, что на наших лугах вообще не растет никакая трава, и косить, стало быть, нечего, так как вместо лугов у нас «мысы» какие-то: Попов мыс, Терешкин, Сухонькое, Долгонькое, Жуковы Портки,— где много щебня, лисьих нор, буераков, мусора, прошлогоднего навоза, полыни и крапивы, но где мало съедобной травы, а трава с помещичьих лугов, которую воруют бабы, жирна, свежа и зелена; в ней попадается осока, рыжий конский щавель и мягкий красный клевер. На Ягодном же поле, под березками, растет люцерна, «тимошка» и вика. А еще дальше — еще что-то растет.

Бураки—еда сладкая; деревня, которая ворует их и отсиживает за это под арестом, прозвана Сладкой Деревней, Лакомкой.

Пилатовка — от Понтия Пилата, судьи двуликого, усердного. По бабе одной,— «Верую» читала: «Припантей распилати меня, хосподи, Варвару Шарапову». Пилатовка — рассадник свежих новостей, удивительных слухов и сплетен. Народ мелок, белоглаз и беловолос, ленив, беспечен. Весною, как только покажутся проталинки, на проталинках зачувикают жаворонки, грачи хозяйственно пойдут проверять дороги, пилатовцы любят греться на солнышке, сложа на животе руки, завалянные за зиму, закоптелые, с перьями в волосах, глаза — по ложке; летом — звонко ругаться по заре; круглый год — судачить. Мужики — смертные охотники до перепелиной ловли на дудочку, бабы — модницы. В каждом пилатовском доме — хохлатые голуби разных мастей и «заводские» куры, необыкновенные перепела, удочки и дудочки. Ни у кого нет таких хороших прозвищ, как у пилатовцев: Куриный бог, Собачий царь, Шельма-в-носу, Астатуй Лебастарный, Маньчжурия, Недоносок.

В Драловке бьют жен, свежуют палый скот, ходят по попам и дворовым резать свиней и овец, пьют до белой горячки вино, увечат под пьяную руку детей и плачут побабьи, катаясь по полу и ломая в отчаянье руки, когда жить становится невмоготу.

Я — из Драловки.

Заверниха и Новая Деревня — глоты. Там народ степенный, рассудительный, гордый. Попади к ним в лапы — всю родню забудешь. Из Заверних и Новой Деревни выбирают сельских старост, ктиторов церковных, судей волостных и председателей, а сотских — от нас, из Драловки, потому что сотский должен быть битым и урядником, и старшиной, и становым, а новодеревенцу не с руки получать оплеухи и заверниховцу не с руки. Из Сладкой Деревни сотских совсем не выбирают — боятся: сладкодеревенец — лакомка, или нагрубит начальству, или что-нибудь украдет; пилатовец — легкомыслен и нерадив, пойдет с эстафеткой к господину земскому начальнику, а очутится на перепелиной ловле да еще удивляться после станет:

— Чума его знает, как занесло меня туда. Мне бы идти да идти, куда надо, а я, вишь, вот куда затесался, братец ты мой! — станет, разинув рот, и поддергивает штаны.

Сотскими испокон века драловцы, потому что терпеливее их нету никого: и бессловесны, если «не под банкой», и не кричат, а кланяются, когда бьют их.

Родился я в коровьей закуте зимою, под крещенье, часа в четыре дня.

Долго ли мать возилась со мной, я этого не знаю, но когда принесли меня в избу, синего от стужи и заиндевевшего, все решили, что я — не жилец на белом свете. А мать не верила.

— Не с первым такая оказия,— сказала она, влезая на печку,— выживет!

Я и выжил, слава богу, и только кривые ногти на руках да выщербленное левое ухо — все знаки от мороза.

В рабочую пору, когда дома никого не оставалось, меня затворяли на крючок в избе, и я спал на полу с поросятами, кошкой Прасковьей и собакой Мухой, играл с ними, разговаривал, дрался из-за еды, пел песни. Под лежанкою привязан был теленок Ванька, самый большой из нас и самый смирный. Мы часто обижали его. Муха лаяла, Прасковья прыгала на спину и царапала затылок, а поросята, Миколка, Вьюн и Непоседа, таскали от него солому к себе под печку, а если Ванька не давал, кусали за ноги. Я учил теленка хрюкать, как Миколка, лаять, как Муха, и визжать, как Вьюн, а он не понимал и отмалчивался. За это я бил его старым лаптем по голове, приговаривая:

— Не слушаешься, супротивный? На,— получай!

Наигравшись, отдыхали. Поросята убегут под печку, а я, бывало, прижмусь к теленку, обхвачу его шею руками, а голову положу на теплый живот. Рядом мурлыкает кошка, обнявшись с Мухой, Ванька расчесывает языком мои волосы или жует подол рубахи, тихонько подергивая, а я не разберу спросонок — кто это, вскочу и спрашиваю:

— Мам, это ты?

Опомнившись, опять уткнусь и задремлю.

В обед иль перед вечером придет с работы мать. Посмотрит на нас, засмеется:

— Ишь, два Ваньки лежат — красный и белый... два бычка.

Теленок был красный, а мои волосы — белые.

Как сквозь далекий, полузабытый сон, мерещатся другие сцены.

Вот я — совсем маленький, бегаю по избе без штанов.

На лавке сидят старшая сестра моя Мотя и мать. Сестра прядет лен, а мама сучит нитки. За столом отец ковыряется со старым хомутом, напевая:

— Господи поми-илу-у-уй! Дед бабку поки-ину-у-ул...

Зима. Хочется побегать по улице, покататься, попрыгать, но мы — бедны и одеться не во что. Для меня притащили санки в избу. Я пою самодельную песню, хлопаю кнутом по земле и кричу: но! — а мать, отец и Мотя смотрят на меня и смеются:

— В извоз, сынок, собрался?

— В извоз! — кричу я весело. — За угольем!

Потом, помню, вошла тетка моя, сестра матери. Помолившись на иконы, она сказала:

— Ты что же, жених, без штанов щеголяешь, а? Вот я товарищам на улице скажу!

Мне в первый раз стало стыдно. Улучив минутку, я наедине попросил мать сшить мне новую «железную» рубаху и портки «с потолком», как у отца. Синюю замашную рубаху я звал «железною».

Другие сцены:

Присев на корточки и обхватив меня руками, чужой высокий парень расспрашивает меня:

— Ты чей?

— Материн.

— Ловко! А еще чей?

— Отцов.

— Тоже ловко! Как тебя по батюшке?

— Не знаю.

Приятель мой, Мишка Немченок, подсказывает:

— Говори: Петрович.

— Петрович.

— Верно! — крутит головой парень.— А по матушке?

— Петрович.

— Врешь, это — по батюшке, а по матушке — Маланьич. А по сестре?

— Петрович.

— Вот ты какой дурак! По сестре ты — Матреныч.

— Матреныч.

— Ну, говори теперь сразу.

— Петрович, Матреныч...

Я забываю, и мне стыдно. Пытаюсь вырваться из его рук, но они — такие волосатые, крепкие. Я только жмусь. Он научил меня скверно ругаться и посоветовал повторить это за обедом, за что меня похвалят и дадут гости-

нец. Когда я так сделал, все положили на стол ложки и смотрели на меня во все глаза. Я повторил. Отец вытащил меня из-за стола и бил, расспрашивая, кто меня научил и когда.

Я говорил:

— Чужой парень.

А ему нужно знать, как парня зовут. Подумав, что я скрываю из упрямства, он бил меня еще то хворостиной, то веревкой.

Потом мать сказала:

— Будет, он еще не понимает... Брось, Петрей!

Мать моя редко смеялась. Девушкою она любила одного парня и семнадцати лет вышла за него замуж, но, копая осенью в овраге торф, этот парень простудился и умер. Замужество ее продолжалось два месяца. Мать не любила говорить о том, как ей было тяжело и как она плакала.

Через шесть недель после поминок деверь сказал матери:

— Шла бы, девка, к отцу, теперь ты лишний рот у нас.

Мать подчинилась.

Когда она лето работала, родители молчали, но к зиме стали попрекать то тем, то этим, придираясь ко всякому слову.

— Замуж выходи,— говорили ей. — Тебя и так кормили до семнадцати годов, а теперь опять навязалась на нашу шею!..

А мать было решила замуж не ходить. Тогда они сговорились с кем надо и выдали ее вторично за моего отца, Петра Лаврентьевича Володимерова.

Мать вопила во весь голос, грозила утопиться иль чего-нибудь еще наделать, а бабы ее урезонивали:

— Не глупи, Маланья... Эка, право, ты! Поплачешь малость и забудешь... Перестань!..

Так оно и вышло: мать поплакала и перестала.

Помню, в троицу как-то сижу у окна. Отворяется дверь, входят мать и отец, за ними чужие мужики и бабы — все навеселе. Помолившись богу, расселись по лавкам, на скамейке и кутнике. Одна баба — в желтом завесе, выступив на средину избы, подбоченилась и стала

плясать, помахивая белым платочком: «Й-их! й-их! чики! чики!» — а мать хлопала в ладоши, смеялась и пела:

Вот Егор, ты Егор
Да Егорушка,
Кучерявая твоя
Вся головушка.

Я подсел к ней поближе, тоже смеюсь:

— Ну-ка, мама, еще! Ну-ка еще!..

Приходи, кума, за медом — меду дам,
Приходи, кума, вечерять нынче к нам!.. —

запела мать другую песню. Обернувшись, обняла меня за шею и сказала:

— Загуляли мы нынче, сыночек! Троицу веселую справляем!

Я эту сценку хорошо помню, тогда было много солнца и у всех — милые, славные лица. К нам в окна смотрела молоденькая нарядная береза, тоненькая и нежная, как церковная свеча, а по улице ходили девушки и пели весенние, звучные песни; мать моя тоже смеялась и пела.

Еще один случай,— не помню, когда это было — раньше иль позже описанного,— я ходил тогда по лавке.

Поздним вечером, на масленице, отец, помню, сидит ужинает. Мотя спит. Мать возится на кутнике. Положив руки на стол и склонив из них голову, отец о чем-то думает. На конце стола, у лампы — полштоф водки. Отец время от времени «прикладывается» к полштофу, а я стою около него, держась рукой за шею, и пою ему песню про сиротку Машу.

— Ел бы, песенник, блины с отцом,— кричит мать.— Будет тебе,— завтра напоешься.

Я сажусь к отцу на колени, тереблю его бороду.

— Вина хочешь? — спрашивает он.

— Давай.

— Что ты делаешь, не надо! — подскочила мать.

А отец ей на это ответил:

— Ничего, он немножко, пускай привыкает, пока я жив.

Выпив глотка три, я стал еще веселее. Соскочив на пол, показал, как ходит пьяный Гуля и как пляшут парни

с девками на улице, еще что-то сделал смешное, а потом опять взобрался на колени к отцу и опять ему пел про сиротку Машу.

Посидев с полчаса, залезли на печь, и отец крикнул матери:

— Маланья, слушай!

— Песни, что ли, петь собираешься? — спросил я.

— Да,— сказал отец и заорал во всю глотку:

Как приехал мой миленький с поля...

Мотя проснулась на лежанке, зашмыгала носом и завозилась.

— Матрешила, лезь к нам,— сказал я.— Отец теперь всю ночь будет петь: все равно ведь не уснешь...

Сестра пожевала спросонок губами, поскребла в голове и опять уткнулась в подушку.

— Эка соня! — упрекнул я.— Только б дрыхнуть!..

А отец кричал:

Он поставил коня край порога...

Обратившись ко мне, сказал:

— Подтягивай, чего ты ждешь!

Сам заплакал, край коника стоя,—

подхватил я.

Несчастная-ая на-ша с тобой до-о-ля... —

запели мы вместе.

Мой голос дрожал и срывался, а голос отца ревел, как колокол. Под конец я стал сбиваться, путая слова.

— Это ты нарочно, что ль, щенок? — спросил отец.

— Какой там черт нарочно: слова позабыл! — ответил я.

Отец расхохотался.

— Ты отвечаешь словно большой!

Мать, сидя на лавке, прошептала:

— Полуношник, кобель старый!

Я сказал отцу:

— Тебя мать кобелем назвала, слышал али нет?

Отец ответил:

— Вот я ей сейчас всыплю за это, я ей дам кобеля,— и полез с печки.

Мать выскочила в сени, а мы зажгли лампу и стали пить вино.

— Давай напьемся дóсыта,— сказал я,— то-то мать рассердится!

— Верно,— согласился отец,— давай!

Выпив рюмку, я сказал:

— Ты мать мою не бей.

— Почему? — спросил он.

— Жалко ее.

Отец нагнулся и засопел.

— Она — хорошая, нужда только заела нас... Другой раз не утерпишь...

— А ты кого-нибудь другого. Чужих лупи!

Отец закрыл лицо руками.

— Плачешь, что ли? — спросил я, дергая его за локоть.— Брось,— не маленький, смеяться будут.

Отец спихнул меня с колен, стукнув кулаком по голове.

Ночью я бредил и весь пост пролежал в горячке.

Изба у нас — маленькая, курная. Когда мать затапливала печь, мы садились на пол для того, чтоб дым не выедал глаз. Двери отворялись настежь, и дым серым коромыслом тянулся в сени, оттуда на потолок, пробиваясь сквозь трещины и прорехи в крыше.

Как-то, гоняясь за курами, которые оравой набивались в избу, вышел я в сени. Первое, что увидал я там, была огромная свинья у корыта.

— Эге, — сказал я, — какая барыня — повыше меня!

Подошел и погладил ее, заглянув в корыто.

Свинья повернула голову, хрюкнула и ткнула меня под бок носом. Я упал.

— Ты за что же?

Свинья, наклонившись над моим лицом, обнюхала, сопя, чавкая и обнажая острые клыки.

«Сейчас проглотит»,— с ужасом подумал я и заорал благим матом.

Это было мое первое сознательное чувство страха.

Два раза я напивался в детстве пьяным.

Играя однажды со своим двоюродным братом, ровесником, у них в избе, мы нашли в шкафу бутылку с водкой.

— Хватить, что ли, с горя? — спросил Тимошка.

— С какого горя?

— Я не знаю. Так мой тятя говорит.

— А мой говорит не так,— сказал я.— Мой говорит: «Али пропустить по маленькой?»

— И то не плохо,— засмеялся Тимошка.

Он налил в рюмку вина и проговорил:

— Ты будто ко мне в гости пришел. Будь здоров, сватóк!

— Кушай на здоровье,— ответил я, подражая большим.

Отпив немного, двоюродный брат наполнил рюмку снова.

— Принимай, сват.

— Будьте все здоровы! — Я раскланялся на все четыре стороны.

У окна сидел работник, Сенька Секлетарь,— мальчишка лет одиннадцати, а нам в ту пору шло по пятому году.

— Ванюшка пьет лучше, ты не умеешь,— сказал Сенька, следя за нами.— Если б я — по всей бы хлопал!

— Как же — лучше! — ответил Тимошка.— Смотри-ка! — и он выпил целую рюмку.

Потом Сенька подзадорил меня, потом опять Тимошку. Взрослых в избе не было; мы выпили много, а когда валялись на полу пьяными, он нашел мою мать и рассказал ей обо всем.

— Я им говорю: бросьте, дураки, обопьетесь! — а они не слушаются: не твое, брат, это дело, и водка не твоя.

Нам по очереди разжимали свайкою зубы, лили в рот парное молоко. Как протрезвились, не помню.

Другой раз напился дома.

Сошлись в праздник гости к нам, и отец угощал за обедом всех вином: гостей, мать и Мотю, а меня обнес. «Я — большой, почему ж он обносит? — подумал я и надулся.— Может, он забыл?»

Но вторично — то же самое. Я перестал есть.

— Ты что же, свинопас, сидишь сложа руки? — спросили меня.— Таскай говядину.

— Я не свинопас,— ответил я.

— Ну так — курощуп,— сказал чужой старик.

Я промолчал и, достав из кармана горсть семечек, стал лущить их, выплевывая шелуху на скатерть. Отец искоса посмотрел на меня, подумал, вытер ложку о подол и треснул ею меня по лбу.

— Эге — шишка? — засмеялись гости.— Это тебя Николай-угодник сзади шлепнул.

Нырнув под стол, я просидел там до конца обеда.

Подвыпившие мужики шутили.

— Петр Лаврентьич, — говорили они отцу, — щенок-то у тебя, видно, молодой еще — не лает?.. Забился под лавку и лежит, как зарезанный.

Отец отвечал:

— И то — не лает, дьявол! Надо мещанам продать.

Прикидывая так и эдак, как бы насолить насмешникам, я решил выпить всю водку, какая была в доме. Как только все вышли из хаты, я пробрался в чулан, затворился на щеколду и стал пить.

— Черта два, чем будет опохмелиться им,— посмеивался я.— Пускай их!.. Выпью все — и ладно дело!..

Перед вечером меня долго искали и, наконец, почерневшего, стащили с печки. Сначала подумали, что я угорел, но по запаху узнали, что я — пьян. Обливали холодной водой и щекотали до рвоты, а секли на третий день, когда я оправился.

Придавило в поле возом дядю моего, Ивана Иваныча Горохова, Тимошкина отца. Он поохал дня четыре, покатался по полу, хватаясь за живот, а на пятый — взял и умер середь ночи. В первый раз тогда я увидел попа на похоронах. Вероятно, я и раньше бывал в церкви, но я этого не помню.

В избе было много народа, и нас, ребят, послали на печь.

— Оттуда,— говорят,— вам виднее будет: лезьте-ка на Сионские горы, не мешайте здесь.

Со страхом смотрели мы, как поп, махая кадилом, сердито что-то говорит, а дьячок жмется в угол, косит глаза на баб и нараспев ему поддакивает. Под конец и поп и дьячок закричали вместе, поп стал отмахиваться от мужиков лампадкой, а Тимошкина мать упала на пол и задрыгала ногами.

— Богу это они молятся, чтоб батя в рай попал,— говорил мне Тимошка.— А матери не хочется: скотину, говорит, некому убирать. Гляди-ка, у попа волосья-то — как у бабы!

Потом дядю унесли на улицу, а дома остались моя мать, стряпуха и работник.

— Вы есть, поди, ребята, захотели? — спросила стряпуха. — Помяните вот раба божьего Ивана Иваныча, — и подала нам на печь масленых блинов и чашку кутьи.

— Вот это важно! — пришел в восторг Тимошка.—

Спасибо, Вань, бате, что умер, а то где бы нам кутьицы похлебать, как ты думаешь?

Я уже набил полный рот и в знак согласия мотнул лишь головою.

Стряпуха поглядела на нас и ответила:

— Ах ты, дурак! Какие ты слова сказал? А кто кормить тебя без отца будет, а?

— Фи-и, — засмеялся Тимошка, — сам буду есть!.. — И лукаво подтолкнул меня, шепча: — Нашла чем застращать!..

II

Про род наш говорили так.

Лет сотню назад пришла в помещичью усадьбу князей Осташковых-Корытовых неизвестного звания дебелая старуха с молодым сыном Матвеем и записалась к барину в крепость.

— Ты, красавица, не беглая? — спросил ее бурмистр.— Как зовут?

— Пиши: Анна, дочь Володимерова, вольная крестьянка... Никуда ни от кого я не бегала...

Это все, что можно было узнать о ней, потому что на другие вопросы прабабушка отвечала уклончиво, ссылаясь на старые годы и плохую память.

Поселившись на вырезанном участке земли, старуха вскорости женила сына, а через год отдала богу душу, объевшись соленой рыбой.

От Матвея пошел наш род Володимеровых — крепкий в хозяйстве, послушный барину и предприимчивый в работе.

На весь край Володимеровы славились лучшими набойщиками; на их постоялом дворе, просторном и дешевом, с теплыми полатями, сытым ужином и хмельной брагой, вечно стояли обозы, тянувшиеся журавлями в Полесье: с хлебом и маслом — туда; лесом, углем и сушеными грибами — оттуда.

В Крымскую кампанию Матвеев сын, мой прадед, Каленкачик, закупив десять пар лошадей, сам отправился в извоз — доставлять провиант для армии, поручив вести дом жене и детям.

— Мешок денег, что привез покойный из Перекопа,— говорил мне не раз отец,— старик насилу втащил в избу,— во-о!..

После войны дали «волю», отняв землю, политую кровью отцов. Застонали землеробы, получив взамен ее буераки, пески и болота, где можно стоять, сидеть и посвистывать, а работать — нельзя.

С тех пор постепенно стало выветриваться наше хозяйство. Недостаток земли и неурожаи сожрали скот и припасенные про черный случай деньги; железная дорога — извоз; обременительные налоги и упадок набойного промысла — силу.

При покойном дедушке, Лаврентии Ивановиче, земли было еще четыре надела и кое-какой скот, но с его смертью петля затянулась туже, отец начал пить, а напиваясь, буянить, выгоняя всех нас из избы; иногда бил посуду и мать.

Еще в начале жизни я помню случай, когда мы позднею осенью ночевали на улице. Падает, бывало, маленькими пушинками снег, ветер свистит и рвет солому с крыш, из избы несется брань или пьяная песня, кругом — жуткая муть, а мы вчетвером спим у дверей, положив головы на порог: мать, Мотя, я и Муха. Мать закутывала меня вместе с собакою в полушубок, кладя на самое удобное место, по одну сторону ложилась сама, а по другую — Мотя. К первым петухам отец засыпал, и тогда мы, затаив дыхание, пробирались в избу. Утром отец вставал раньше всех и уходил на работу.

Никогда за всю мою жизнь не назвал меня отец в трезвом виде ласковым именем, не погладил по голове, не обнял, как другие отцы, и когда я, бывало, видел, как мои товарищи целуют своих отцов, а те с ними играют, мне становилось обидно, больно, потому что я боялся отца, его вечной угрюмости, матерной брани и звериного взгляда из-под густых полуседых бровей.

Раз он послал меня за лошадью, которая паслась сзади сарая.

— На́ вот оброть,— сказал он,— приведи ступай мерина... Гляди — к чужим не подходи: убьют.

— Еще там что! — воскликнул я.— Чего ж они будут убивать — я стороной!

Поручением я гордился: шутка ли — отец за лошадью послал!.. Доверяет!..

Лошадь наша, Буланый,— старая, со сбитыми плечами и вытертой холкой, с отвислой нижнею губой, бельмом на правом глазу, желтыми зубами, смирная.

Накинув ей на голову оброть, я подумал: «Если я большой, могу и верхом забраться»,— и вцепился в гриву.

При помощи ног и зубов кое-как вскарабкался.

Сижу сияющий и думаю:

«То-то отец удивится!.. Сам, спросит, сел? — Конечно, скажу, сам,— кобель, что ли, подсадит? — Молодчина,— похвалит он,— в ночное скоро будешь ездить».

А это — моя заветная мечта.

— Но-о, милок, шевелися! — дернул я за повод.

Лошадь постояла, покрутила головой и фыркнула. Я ее подхлестнул. Лошадь нагнулась, сорвала головку колючки и почесала о колено губы.

— Ты почему меня не слушаешься? — рассердился я и подхлестнул сильнее.

Лошадь затрусила.

— Ты что там полдня копался? — неласково спросил отец.— Не мог поскорее?

— Я, тять, сам сел верхом! — закричал я.— Не веришь? — и я мигом сполз на землю, чтобы снова взобраться на Буланого.

Отец пошел в амбар.

— А ты обожди,— попросил я,— посмотрел бы, как я влезу, я ведь не обманываю.

Он остановился.

— Не подходи близко к мерину, а то еще убьет. Стань в сторонку.

— Ну-ну! Он скорей тебе отдавит ногу,— проворчал отец.

На мое горе я начал волноваться, оттого — слабеть. Несколько раз я вцеплялся за шею, но руки не подчинялись, и я падал.

Отчаяние прокрадывалось в душу:

«Не поверит... Скажет: зря хвалюсь...»

И я с еще бо́льшим стараньем пыхтел около Буланого.

— Я сейчас... сейчас...— бормотал я, готовый разрыдаться.— Обожди немного, я сейчас!.. Мне вот штаны сильно мешают: я поправлю и вскочу...

Буланому, должно быть, тоже надоело ждать: он обернул голову, пожевал губами — тоже, дескать, строит мужика из себя, чертенок! Потом переступил с ноги на ногу и сделал шаг к сараю.

— Хоть бы ты стоял, не шевелился! — закричал я. — Трудно потерпеть, домовой? — и чуть не выругался матерно.

— Вот и не выходит дело,— подошел отец,— держись, я подсажу.

— Нет, не надо, не надо! — торопливо сказал я и, собрав последок сил, метнулся на шею Буланого. Перебрасывая ногу, я пяткою ударил отца под подбородок.

— Э, сволочь! — воскликнул он, рванув меня за рубашку и сбрасывая на землю.— Пошел к чертовой матери, наездник! — и начал потирать ладонью подбородок.

Я съежился и задрожал, как облитый холодной водою, смотря на отца глазами, полными слез. А он, надевая хомут на Буланого, опять закричал:

— Не тебе я сказал? Уходи, покуда морду не набил!..

Что бы ему так не делать!

III

Мать имела одиннадцать детей, но в живых осталось только двое: сестра и я — последыш. Маленькою девочкой, четырех-пяти лет, сестра хворала оспой, на лице ее остались шрамы. Росту она высокого, широкоплечая, скуластая, с большим приплюснутым носом, обветренная, молчаливая. Густые темно-русые брови и длинные опущенные ресницы, из-под которых блестят серые глаза, равнодушные и чужие, как у отца; у самого ядрышка на них — легкая желтизна. Губы плотно сжаты, говорит мало, глухо отрубая слова и глядя в сторону; зубы крепкие, белые, крупные; длинные волосы мягки, как шелк, и нежны, как паутина. Руки от грубой работы в рубцах и ссадинах; на ногах — лапти.

Помнить хорошо сестру я стал пяти-шести годов, когда ей было за тринадцать. Стояли знаменитые петровки 1892 года, деревня голодала и гибла от холеры. Каждое утро и вечер тянулись вереницы гробов, остро пахнувшие известью и карболовкой. На мысах, у реки, жгли одежду и утварь незнакомые люди с орлами на картузах. Неслись, не смолкая, рыдания осиротевших детей; люди выбились из сил, питаясь травою, луком и хлебом, смешанным с древесною корою, горьким, как полынь.

Утром однажды я лежал еще в постели. Слышу: мать плачет, упрекая кого-то или жалуясь. Отец сидит, насупив нос, на лавке и молчит: он с похмелья угрюм.

— Что я с ним буду делать, а? — часто повторяет мать.

Сначала я подумал: не обо мне ли речь? — но, вспомнив весь вчерашний день, тотчас же успокоился.

«Либо что случилось, либо мать ругается за пьянство,— решил я.— Толку все равно не будет».

Отец, заметив, что я не сплю, прикрикнул:

— Ты что там, барин, дрыхнешь до обеда, забыл про кнут? — Шаря около себя руками, он добавил: — Я тебя выучу!.. Дворяниться не будешь с этих пор!

Отца я боялся, как огня, и этот окрик отнял у меня всякую возможность двигаться.

На счастье заступилась мать.

— Он тебе мешает? — сказала она, возясь с горшками.— И так разогнал всех, мучитель!

Сметая веником с шестка пыль, мать причитала:

— Скоро и меня в гроб вколотишь, руки бы твои отвалились поганые... И бога не боишься, змей!

Я заплакал. Вспомнилась вчерашняя сцена, сестра Мотя, которая теперь где-то пропадает, избитая.

«Может быть, она уж больше не придет никогда»,— подумал я и стал плакать громче.

Накануне было вот что.

Запряг отец лошадь и, войдя в избу, сказал матери:

— Давай холсты, я поеду на станцию.

Сестра стирала рубахи, а мать возилась с шерстью.

— Не дам,— сказала она.

— Что ж, не жравши будешь? — спросил отец.— Я куплю муки на них.

Мать молчала.

Отец пошел в амбар, сбил топором замок с ящика и начал выбирать холсты, полотенца и сарафаны, складывая все в мешок и бросая на телегу.

— Мамка! — закричала сестра, посмотрев в окно.— Гляди-ка, он сундук разбил!

Обе с плачем выскочили на улицу и подбежали к амбару. Отец уже добирал последки. Ни просьбы, ни мольбы не помогли. Тогда мать вцепилась обеими руками в мешок и закричала:

— Не дам последнего, злодей!

Отец сказал:

— Брось.

Мать еще крепче вцепилась.

Отец молча ударил ее кулаком по лицу. Она мотнула головой по-лошадиному и опрокинулась на спину. Изо рта ее обильно заструилась кровь. Полежав чуть-чуть, она

вскочила на колени и поймала отца за руку. Она умоляла пожалеть нас, детишек, и «доброго» не продавать. Протягивая губы, мать пыталась целовать его руку, но отец вырывал ее и снова ударял по голове и по губам... Мать падала навзничь, хваталась за лицо, плакала и опять лезла. Отцу надоело это: взяв ее за волосы и обмотав их вокруг руки, он приподнял от земли голову ее и бил по правому виску, уху и щеке толстым ореховым кнутовищем. Мать только стонала.

Я помню: отец бил часто лошадь так, когда та не могла везти тяжелый воз,— по уху и скулам, норовя попасть ближе к глазу. Как и в тех случаях, лицо его становилось багровым, глаза мутнели, он трясся.

В это время сестра моя вскочила на телегу, схватила мешок с добром и убежала в избу, бросив его там на печку и прикрыв дерюгой.

В продолжение всей этой сцены я стоял, как прикованный к месту, не в силах вымолвить слова. Потом какой-то ужас охватил меня: я вскрикнул и побежал вдоль деревни, сам не зная куда.

Очутившись на чужом дворе, я лег там в хворост, затаив дыхание. Руки и ноги тряслись, по спине ползли мурашки, а сердце то замирало, то колотилось. Страх был настолько велик, что я даже не плакал.

Вышла пожилая женщина, мать Мишки Немченка, отыскала меня в конуре.

— Ты чего тут забился? Али отец выдрал? Эх вы, озорники!

Ничего не сказал, не нашелся. Поспешно выскочив из хвороста, я с плачем побежал домой.

Мать лежала у телеги одна. Раза два она приподнялась на локте, силясь встать, но тотчас слабела и тыкалась головою в землю.

— Ваня,— увидела она меня,— помоги мне, батюшка, подняться! — Мать вытерла с губ кровь.

Я подскочил к ней, обхватил руками ее шею и, трясясь весь, как лист, затвердил:

— Мамочка, не надо!.. Мамочка, не надо!..

Что́ не надо, я не знал. Стоял перед ней на коленях и говорил как в бреду:

— Не надо!.. Не надо!..

— Подыми меня,— повторила мать и, освободившись из моих объятий, кое-как встала. Шатаясь, схватилась за задок телеги, поглядела туда.

— Где же добро? Куда его девали?

— Унесла Матрешка в избу,— сказал я.

— Матрешка унесла?

Мать подошла к амбару и опустилась на приваленный к стене камень. Упершись локтями в колени, склонила на руки голову, сплевывая по временам кровавую слюну.

Отец же, заметив, что мешок пропал, пошел в избу.

— Ты куда его прибрала, стерва? — обратился он к Моте.

— Я, тятя, не знаю,— ответила сестра, всхлипывая и предчувствуя близкую расправу.

— Врешь, холсты здесь!

Отец схватил девчонку за косу.

— Слышишь или нет?

Но с сестрой случилось странное: она вырвалась из его рук, вскочила на лежанку и, загораживая собою мешок, проговорила твердо:

— Уйди! Не получишь холстов! Пропивай свое, а нашего не трогай!..

Вся она тряслась, глаза горели, а рябое лицо дышало решимостью.

Это было неожиданно и дерзко. Отец в первую минуту даже растерялся. Потом, сурово сдвинув брови, он направился к сестре и схватил ее за подол платья. Но тут случилось невероятное: со всего размаха Мотя ударила его лапотной колодкой по голове. Отец схватился руками за ушибленное место, съежился и раскрыл рот, ожидая нового удара. Обеими руками сестра с еще большею силой опустила колодку на темя отца.

— Вот тебе!

Он вскрикнул, метнувшись в сторону, и зашатался. А Мотя стояла будто в столбняке каком: лицо побелело как полотно, глаза неестественно расширились. Только губы по-прежнему были сжаты и чуть-чуть дрожали.

Опомнившись, отец закричал на нее, матерно ругаясь, замахал руками, затопотал, но подойти боялся. На несчастье сестры с другой стороны печки стояла деревянная лопата, на которой сажают хлеб. Со злорадно заблестевшими глазами отец схватил эту лопату и, подскочив к лежанке, ткнул ею изо всей силы в грудь сестру. Та ахнула, свалившись снопом на пол.

— Ага, сволочь! — заржал он.

Через значительный промежуток времени соседи вырвали бесчувственную Мотю из рук отца. Все тело ее рас-

пухло и почернело, как земля; волосы местами были выдраны, образуя на голове плеши, местами спутались в куделю; на них запеклась кровь.

Отец, взяв холсты, поехал на станцию, сестру соседи увели к себе, а мать по-прежнему сидела у амбара. Подняв валявшийся платок, я подал его матери и сел у ног ее.

— Больно тебе, мама? — спросил я.

— Больно, сынок,— ответила она.

Ярко блестело солнце, накаливая сухую, потрескавшуюся серую землю. Пахло гарью, карболовкой, дорожной пылью. Большим вымершим домом стояла деревня, молчаливая, покорная, привычная ко всему.

IV

Эту ночь мы не ночевали дома. Знали, что отец приедет пьяный, будет кричать и драться, поэтому, как только пригнали скотину, мать напоила ее, и мы ушли на Новую Деревню — к тетке.

Дома не было хлеба, я не ел второй день, но пережитые волнения отбили всякую охоту, так что, когда нам предложили ужинать, мы отказались.

Стемнело. Тетка стала готовить постель на кутнике, мать о чем-то с нею разговаривала, а я дремал. Вдруг задребезжала с большака телега, издали послышалась пьяная песня.

— Кажется, ваш воин едет,— промолвила тетка, заглядывая в окно.

Мать побледнела и проговорила дрожащим голосом:

— Загаси, пожалуйста, огонь.

Мы остались в темноте. Я прижался к матери, обхватив руками ее шею, и заплакал.

— Бедная моя детка,— говорила мать, гладя меня по голове и целуя.— Не плачь!.. Он не найдет нас тут... Ложись в постельку...

Слезы текли у нее по щекам и горячими каплями падали на мою руку, но она сдерживала рыдания, утешая меня.

Колеса загремели под окнами. Можно было разобрать слова любимой песни отца, которую он пел всех чаще:

Собачка, верная служанка,
Не лает у ворот:
Заноет мое сердце,
Заноет, загрустит...

Язык его заплетался, телегу трясло, песня, обрываемая на полуслове, выходила несуразной, похожей на икоту.

— Нализалась, собачка! — со злобой бросила тетка, прикрывая окно.— Дуролом непутный!..

А мать все гладила меня по голове, лаская и называя нежными именами. Рука ее дрожала; целуя, она прижималась правым углом губ, потому что левый был рассечен кулаком.

— Усни, мой миленький,— шептала мать,— усни, мой сокол ясный!..

Всхлипывая, я целовал ее несчетно раз, прижимаясь головою к груди. Передо мною снова встала картина, как она лежит беспомощная на земле, а отец бьет ее кнутовищем по лицу... Я весь затрясся от рыданий, крепче обвил ее шею и с безумной болью в душе стал твердить:

— Мамочка!.. Мамочка!..

И мы долго сидели так, тесно прижавшись друг к другу.

Тетка давно уже спала, а нам все не хотелось расставаться. Потом как-то незаметно я уснул на коленях у матери. Чуть-чуть помню, как она перенесла меня на постель и поцеловала, перекрестив.

Ухватившись ручонками за плечи, я спросил:

— Ты тоже со мной ляжешь?

— Да, спи, Христос с тобой,— ответила мать.

И я снова задремал.

Во сне бегал с Мухой по какой-то балке, гоняясь за журавлем. Оступившись, упал вниз, закричал и проснулся. Хотел было заплакать — незнакомая хата, один, темнота, но услышал тихий разговор и притаился.

— Лежи, успеешь,— шептала тетка.— Петухи еще не пели, почто пойдешь ни свет, ни заря?

— Нет, надо идти,— узнал я голос матери,— там, чай, лошадь не распряжена: пить, есть хочет... Пойду... А ты утречком, убравшись, приведи Ванюшку.

— Мама, я с тобой пойду,— отозвался я, приподнимаясь на локте.

— Вот он — сверчок, не спит! — рассмеялась тетка.

— Зачем же, милый? — сказала мать.— Рассветет, тогда с тетей придешь.

Голос — неуверенный: идти одна, должно быть, мать боялась. Мигом я вскочил с постели, отыскал картуз, и мы вышли на улицу.

Было еще темно. Небо казалось чистым и бесконечно

глубоким. Светлым бисером на нем рассыпались звезды. Тишину нарушали лишь наши шаги, мягко тонувшие в дорожной пыли, да ночной сторож, бивший в колотушку.

Минут через двадцать приблизились к дому. Навстречу выскочила Муха, радостно визжа и прыгая на грудь.

— Что, разбойница, соскучилась? — спросил я, наклоняясь к ней.

У забора стояла привязанная лошадь. Увидя нас, она заржала и стала бить копытом землю.

Тихонько открыв ворота, мы ввели ее во двор, распрягли, дали корму. Набросившись на свежую траву, лошадь захрустела, быстро передвигая челюстями.

Осмотрели телегу. На дне ее, завернутый в веретье, лежал мешок с мукою в пуд.

— Только всего и привез, пьяница! — грустно проговорила мать.

Пока она снимала и развязывала мешок, я присел на веретье и начал дремать. Куры завозились на насести. Я открыл глаза. Склонившись над мукою, мать торопливо захватывала полные горсти ее, суя себе в рот. Еще сквозь дрему я слышал ее слова: «Не затхлая ли — надо попробовать»,— а когда проснулся, увидел, как она жадно жует, все спеша, все стараясь взять больше.

— Мама, что ты делаешь? — спросил я, смотря на нее в недоумении и страхе.

Мать сконфузилась.

— Ты, знать, задремал? — прошептала она, поспешно вытирая губы.— Пойдем в избу.

— Нет, я есть хочу.

Проснулся голод, в животе заныло и засосало.

— Ничего нету, сынок,— ответила мать.— Пойдем, поспи немножко, а утром я тебе калачик испеку.

Но голод — не тетка, и сдаться я уже не мог.

— Мама, а муку нельзя есть? Ты же ела, дай и мне.

Мать развязала мешок, и я поспешил запустить туда руки.

— Смотри, не рассыпай,— предупредила мать.— За нее деньги платили.

Без привычки есть муку было неудобно: она лезла в горло и нос, захватывая дыхание; образовавшееся во рту тесто прилипало к деснам, вязло в зубах.

— Ты не торопись, понемножку, вот так, — учила мать, беря муку щепотью и кладя себе в рот,— не жуй ее, а соси... Больше соси...

Запели вторые петухи.

— Пойдем в избу,— заторопилась она.— Отец скоро проснется.

Я покорно встал. Мать взяла меня на руки, и я тотчас же уснул, положив голову на плечо ее.

V

Купленная мука оказалась гнилой, с песком. Хлеб совершенно не выходил: на лопате он был еще ничего, но стоило посадить в печку, и он расплывался безобразным блином.

Правда, год был голодный, хорошей муки нигде нельзя было достать, но такой, кажется, и не видали.

Когда ковригу вытаскивали из печки, верхняя корка вздувалась пузырем, под нею образовывалась измочь, и мякиш превращался в тяжелую, вязкую глину. В другое время такой хлеб собакам стыдно было бросить, а тогда — ели, радовались и хвалили.

Потом опять доели все. Последние десять фунтов муки мать смешала с двойным количеством лебеды, и нам хватило хлеба суток на трое. За день же до петровского разговенья, вечером, мы получили по последнему куску.

— Ну, детки, нынче ешьте, а завтра — зубы на полку: хлебушка больше нет,— сказала мать.

Мотя в это время ходила на поденную к помещику.

Мне дали два ломтя, а отец, мать и сестра получили по одному. Ложась спать, я один съел, а другой спрятал к себе под подушку — на завтра.

«Скоро у нас опять будет драка,— думал я,— отец станет хлеб добывать».

Закрывшись с головою дерюгой, я прикидывал на разные манеры, как бы помочь: попросить бы, что ли, у кого или украсть, а то еще что-нибудь сделать, чтобы отец с матерью завтра обедали, а драться обождали.

Незаметно мысль перешла на сегодняшнее.

«Жалеют меня: два ломтя дали... а сами по одному...»

Засунув руку под подушку, я нащупал хлеб.

«Как только встану, умоюсь — сейчас же и съем».

Вдруг пришло в голову:

— А ну-ка, кто-нибудь вытащит ночью — Мотя или мыши?

Вскочив с постели, я подошел к матери, собиравшейся улечься:

— Мама, дай мне, пожалуйста, замок с ключом.

— На что тебе, детка?

— Нужно, дай.

— Сейчас я поищу.

Покопавшись в углу, мать принесла замок. Я побежал в сени к своему ящику, в котором у меня хранились бабки, осколки чайной посуды, самодельные игрушки, лоскутки цветной бумаги, примерил замок и, тихонько прокравшись к постели, взял оттуда хлеб, чтобы спрятать его.

— Глупенький, его же никто не возьмет, зачем ты затворяешь?

Склонившись надо мною, стояла мать, смотря мне в лицо, и тихо плакала.

В душу прокрался мучительный стыд, но я сделал попытку оправдаться.

— Я боюсь, кабы его ночью кошка не съела, — сказал я, но, вспомнив, что кошку отец еще осенью убил, стал путаться.

— Чужая прибежит и слопает, когда я сплю,— неуверенно, чуть не с мольбою, говорил я.

Мать, должно быть, поняла меня.

— Затвори, затвори,— сказала она,— так надежнее.

На другой день, когда я проснулся, все уж были на работе и возвратились поздним вечером усталые, голодные.

Мать я увидел далеко за деревней и побежал к ней навстречу. Засмеялся сначала от радости — скучно же целый день одному! — а потом прижался к ее платью и горько заплакал.

— Ты что, миленький, о чем? — спросила она.— Тебя кто-нибудь побил?

Безумно хотелось есть, но я постыдился сказать ей об этом и, всхлипывая, проговорил:

— Да, меня ребятишки обижают — не принимают играть.

— За что же они, голубчик? Ну, погоди: я им ужó накладу, озорникам!.. Не плачь, на вот гостинчик. Бабушка Полевая прислала.

Развернув тряпицу, мать подала мне кусочек запыленного хлеба.

— На вот, ешь.

С непередаваемым наслаждением съел я эту корочку, и на душе сразу повеселело.

Я шел, уже посмеиваясь, а когда увидел Мишку Немченка, стал поддразнивать его:

— Михаль! Мне мама принесла гостинец, а у тебя нету.

— Ну-ка какой? — подскочил он ко мне.

— Не покажу,— заважничал я.— Бабушка Полевая прислала: хороший, хоро-о-оший!..

Мотя пришла всех позднее, когда я лежал уже в постели. Она молча сняла зипун, разула лапти, выбила пыль из них и развесила онучи по веревке.

— Матрешк,— не утерпел я,— мать мне гостинец принесла.

— Какой? — равнодушно спросила она.

— Ого! Ты больно любопытна! А если не скажу?

— Не скажешь — не надо.

Она зачерпнула воды из кадки и стала умываться, потом долго, усердно молилась богу.

— Будет тебе, монашка,— сказал я,— в святые, что ли, метишь?

— В слепые!

— Ты нынче что-то сердитая, бил, видно, кто, или — так? — высунул я голову.

Мотя отвернулась.

На дворе стемнело. Лаяла где-то собака. Скрипели ворота. Прохор, сосед, кричал работнику, чтоб взял из сарая клещи. Под кроватью щелкала зубами Муха, выкусывая блох. Отец шаркал босыми ногами по полу, натыкаясь то на ведро, то на лохань.

— Ты нынче обедал? — спросила сестра, ложась.

— Нет, а ты?

— Я обедала.

— Счастливая какая, где?

— Мало ль где,— ответила она.

Пошарив рукою под изголовьем, Мотя проговорила, поднося что-то к моему лицу:

— Съешь-ка вот.

— Что это?

— А ты ешь, не расспрашивай, коли дают.

Она держала тот самый ломтик хлеба, что получила накануне. С одного угла он был обломан.

— Это — твой вчерашний? Как же...

— Фи-и,— засмеялась сестра,— тот я еще утром съела!..

— А этот?

— А этот мне девки дали... Целый ломтище!.. Ела-ела, некуда больше, я и принесла тебе.

— А не брешешь?

— Жри, сволочь, что пристал? — закричала с злобой сестра, тряся меня за локоть.

— Сама ты сволочь,— сказал я и принялся за хлеб.

Мотя отвернулась, кутаясь в дерюгу, но через минуту, приподняв голову, спросила:

— Засох небось?

— Хлеб-то? Ничего: есть можно.

Она ощупью собирала крошки и клала к себе в рот.

— Тебе дать немного? — спросил я.

— Сам-то ешь, я ведь обедала.

— Чего там — на кусочек! — и я отломил ей чуть-чуть.

Мотя отнекивалась, потом взяла хлеб, отщипывая помаленьку и сося, как леденец, а я, дожевав остаток, уткнулся в подушку и захрапел.

VI

На преображение Буланый наелся на гумне ржи из вороха, раздулся, как бочонок, и стонал, лежа в углу, на соломе, а через сутки издох.

Мать вопила в голос, когда с него Перфишка сдирал кожу, а отец молчал как истукан.

— Недогляд — это дело не важное, — бормотал Перфишка, обчищая ноги. — Глядите-ка! — и воткнул большой ржавый нож в живот Буланому.

— Что ты, живодер, надругаешься! — сказала мать со слезами. — Он кормил нас девять лет, а ты его ножом.

— Я пары выпускаю, — ответил мужичонка. — У него пары скопились ото ржи.

В животе Буланого заурчало, и со свистом и шипением начали выходить пары.

— Ишь, как валит! — восхищенно говорил Перфишка, обминая драные бока, — как из трубы! Рожь у него теперь в кутью распарилась.

Облупивши мерина, кожу бросили в одну сторону, а дохлятину — в другую. Я поглядел на желтые зубы Буланого, на его выпавшие глаза, отрезанные уши, распоротый живот и заплакал.

— Теперь его куда-нибудь подальше от деревни, — сказал Перфишка, — чтобы не воняло.

Отец взял у соседа лошадь и, привязав Буланого веревкою за шею, стащил за огороды в ров.

— Лежи тут, голубок, — сказал он, глядя на мерина.—

Лежи... — Вздохнул, надвинул на глаза шапку, помялся и пошел домой. Обернувшись, спросил: — А ты что же не идешь?

Хотел еще что-то сказать, но только покашлял, отвернувшись.

Я крикнул ему вслед:

— Я буду караулить, чтоб не слопали собаки!

И я сидел до самого обеда.

Пришел Тимошка поглядеть.

— Издох ваш мерин!

— Да, издох.

— Теперь вас будут звать безлошадниками, нищетой несчастной.

— И вы нас не богаче, — сказал я.

— Богаче — не богаче, а у нас все-таки матка с жеребенком.

— Может, бог даст, и у вас матка издохнет, тогда и вы будете нищетой.

— Чтоб у тебя язык отсох, у паскуды! — сказал Тимошка, сплевывая.— Чур нас! чур нас! чур нас! Чтоб у тебя отец издох за эти слова! — добавил он.

Я тоже сплюнул три раза и ответил:

— А у тебя мать.

За ужином отец сказал:

— Без лошади не жизнь, а дрянь одна, — и продал наутро теленка, корову и овец.

За эти деньги он купил в Устрялове Карюшку, низенькую черную лошаденочку с тонкими ногами, тонкой шеей и белой звездочкой на лбу.

— Теперь, Иванец, у нас новая лошадь, — сказал он, отворяя во двор двери, — погляди-ка.

Целую неделю, каждое утро, я бегал в закуту кормить ее хлебом.

— Машка! Карюшка! — кричал я. — Па́пы хочешь?

Лошадь весело ржала и подходила ко мне, протягивая морду. Я гладил ее по бокам и, давая хлеб, говорил:

— Ешь, да только не издохни, чумовая!

Отец однажды услыхал мои слова и рассердился:

— Еще накаркаешь, чертенок! Не говори больше так! — и, как Тимошка, три раза сплюнул. — Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!

И я перекрестился на колоду и сказал:

— Господи Сусе-Христе, чур нас! чур нас! чур нас!

Про Карюшку люди говорили:

— Лошаденка — ничего... Мелковата будто, слаба, но цены сто́ит, поработает годок-два.

Но, приехав с поля, отец сказал раз матери:

— Пропали денежки: кобыла с норовом.

Лицо его было мрачно, и говорил он сквозь зубы.

Мать побледнела.

— Неужто с норовом?

— Остановилась на горе... упала... Отпрягать пришлось.

— Эх, старик, поторопился ты малость. Приглядеться бы надо получше!

— Что ты понимаешь? — ответил отец. — Приглядеть-ся! Когда? Рабочая пора-то или нет? Языком болтать любишь, баба!

Перевозив с грехом пополам овсяные снопы, отец поехал сеять озимь и меня с собою взял.

— Картошки будешь печь мне, — говорил он.

Я в поле ехал первый раз, и радости моей не было конца. Мигом собравшись, я уселся на телегу, когда лошадь еще не запрягли. Вышедший отец засмеялся.

— Рановато, парень, сел, — сказал он, — семян надо прежде насыпать.

Положив мешки с рожью и укутав их веретьем, сверху бросив соху с бороной, лукошко, хребтуг, в задок — сено и хлеб, отец сказал:

— Теперь лезь.

— А Муху возьмем? — спросил я. — Ишь как ластится, непутная.

— Муха пускай дома остается, — ответил отец.

В поле я собирал лошадиный навоз и пек в золе картошки, ездил верхом на водопой, приносил отцу уголек закурить, ловил кузнечиков и все время думал, что я теперь не маленький.

Встречая у колодца товарищей, я снимал, как большие, картуз и здоровался:

— Бог помочь! Много еще пашни-то?

Мне серьезно отвечали:

— Много...

Или:

— Добьем на днях: осминник навозный остался... жарища-то!..

Не умываясь по утрам, я хотел быть похожим на отца: запыленным, с грязными руками и шеей. Бегая по

пашне, выбирал нарочно такое место, где бы в лапти мои набилось больше земли и, переобуваясь вечером, говорил отцу, выколачивая пыль о колесо:

— Эко землищи-то набилось — чисто смерть!

Отец говорил:

— Червя нынче много в пашне, дождей недостает: плохой, знать, урожай будет на лето.

Я поддакивал:

— Да, это плохо, если червь... С восхода нынче засинелось было, да ветер, дьявол, разогнал.

— Не ругай так ветер — грех, — говорил отец.

Ложась спать, я широко зевал, по-отцовски чесал спину и бока, заглядывал в кормушку — есть ли корм, и говорил:

— Не проспать бы завтра... Пашни — непочатый край... — И опять зевал, насильно раскрывая рот и кривя губы. — О-охо-хо-хо!.. Спину что-то ломит — знать, к дожжу.

Отец разминал ногами землю у телеги, бросал свиту, а в голову — хомут или мешок, и говорил:

— Ну, ложись, карапуз.

Трепля по волосам, смеялся:

— Вот и ты теперь мужик — на поле выехал.

Я ежился от удовольствия и отвечал:

— Не все же бегать за девчонками да щупать чужих кур — теперь я уж большой.

Отец смеялся пуще.

— Не совсем еще большой, который тебе год?

— Я, брат, не знаю — либо пятый, либо одиннадцатый.

— Мы сейчас сосчитаем, обожди, — говорил отец. — Ты родился под крещенье... раз, два, три... Оксютка Мирохина умерла, тебе три года было — это я очень хорошо помню: мы тогда колодец новый рыли... Пять, шесть... Семь лет будет зимой, — ого! Женить тебя скоро, помощник!

— Немного рано: не пойдет никто!

— Мы подождем годок.

Отец вертел цыгарку и курил, а я, закрывшись полушубком, думал, — какую девку взять замуж.

— Тять, — говорил я, — а Чикалевы не дадут, знать, Стешку за меня, а? Они, сволочи, — богатые.

— Можно другую, — отвечал отец улыбаясь. — Любатову Марфушку хочешь? Девка пышная!

— Что ты выдумал? Ее уж сватают большие парни!

— Ну, спи, — говорил отец, — а то умаялся я за день, надо отдохнуть.

Пашня наша подвигалась, но Карюшка с каждым днем худела. Бока ее осунулись, кожа присохла к ребрам, над глазами появились две большие ямы, а шея стала еще тоньше. Когда наступал обед и отец подводил лошадь к телеге, она, всунув голову в задок, где привязан был хребтуг с овсом, жадно хватала зерно и, набрав полный рот, замирала. Раздувались красные ноздри, шея и ноги тряслись, на водопой шла спотыкаясь.

— Что, Карюшк, замучилась? — спрашивал я, давая ей хлеба.

Лошадь наклоняла голову и терлась о мое лицо.

— Трудно тебе, девка, — говорил я, гладя ее гриву.

Она клала морду на плечо и шевелила мягкими губами.

— Трудно, трудно, — повторял я. — Хочешь огурцов?

Лошадь отказывалась, крутя головой и вздыхая.

Подходил отец.

— Что, разговариваете? — спрашивал он и, трепля Карюшку по спине, говорил ей: — Дотяни как-нибудь до конца, а зимой отдохнешь, матушка... Постарайся!..

Дня через четыре мы переехали на прогон. Пашня там была труднее: стада овец и коров утрамбовали землю так, что соха еле брала. К позднему завтраку сломали сошник.

— Ах, черт бы тебя взял! — воскликнул отец и стал бить лошадь кнутовищем.

Та заметалась, бессильная, и, споткнувшись на обжу, переломила ее.

— Погоди, я тебе задам горячих,— сказал отец,— ишь ты — падать! — и бил ее сильнее.

Пока приехали домой, да пока справляли новую соху, прошел день.

— Ну, как — не видал Полевую Бабушку? — спрашивала мать.

— Только мне и дело, что Бабушку смотреть, — ответил я, — я, чай, работал, слава богу.

— Ах ты, мужик мой милый, — засмеялась она и дала мне вареное яичко. — На-ка, съешь.

А сидевшая на лавке Мотя дернула презрительно губою и сказала:

— Тоже пахарь, коровья пришлепка!..

— Это дело, — сказал я, беря яйцо и не обращая вни-

мания на сестру, — в поле только хлеб да печеные картохи.

— Молочка не хочешь ли? — спросила мать. — Тетуня принесла.

— Как не хочу! — воскликнул я. — Давай и молоко: все давай, что есть.

Потом я сел посередь избы разуваться, так, чтобы видели все.

— Смотри-ка, мать, землищи-то сколько в лаптях, — говорил я, хмуря брови. — Пыль эта совсем меня замучила!

Мать втихомолку смеялась, а сестра поддразнивала:

— Весь день под телегой пролежал, поди, а тоже хвастается, овечий выродок!

Я ей ответил на это:

— Хорошо тебе, сидя на печке, болтать языком, а съездила бы раза три на водопой да посбирала бы котяшья, так узнала бы, как на пашню ездят, тумба!

И я победоносно взглянул на сестру, потом, усевшись в передний угол, стал крутить цыгарку из мха.

— Покурить, — говорю, — что-то захотелось.

Мать мне на это ответила:

— Как бы я тебе, друг, губы не обтрепала! Ишь ты выдумал чего!

— А как же ты отцу ничего не говоришь? — спросил я, отодвигаясь на всякий случай подальше. — Дрейфишь, старая? Он бы тебе всыпал!

Мать не нашлась, что сказать.

Утром следующего дня Мотя принесла нам в поле завтрак.

— Приказчик был с нарядом, — сказала она. — Беспременно, чтобы нынче выезжать, а то — штраф большой.

Отец бросил ниву и поехал сеять барскую землю.

Зимой, в бескормицу, Осташков дал соломы мужикам, которая была ему не нужна, с тем, чтобы они обработали летом по две десятины земли на двор.

На нашу долю достался пай у оврага. Земля там волнистая, крутая, заросшая пыреем и диким клевером. К вечеру пошел небольшой дождь, разрыхлил почву. Отец радовался:

— Слава богу, как-нибудь осилим... Ишь, соха-то — как по маслу прет.

Поужинав, мы улеглись под телегой, стреножив ло-

шадь на отаве. Ночью меня разбудил крик и матерная брань. Отбросив полушубок, я прислушался.

— Домой, что ли, приехал, с... с...? — кричал чужой мужик. — Я тебе покажу, как баловаться!

Послышались удары кнута по спине и странный голос отца:

— Что ж вы делаете, Гордей Кузьмич?.. Я на минутку!..

Отец будто лаял, когда говорил, или будто кто держал его за глотку.

Началась возня, удары участились и были глухими, словно выбивали пуховую подушку.

— За что-о вы, господи-и! — кричал отец. — Трава-то так же пропадает!

А чужой мужик, которого отец величал Гордеем Кузьмичом, сердито спрашивал:

— Где оброть? Давай сюда скорей!

— Где ж ее взять? Теперь темно, — отвечал отец.

— Неси, подлец, всю морду разобью! — орал Гордей Кузьмич, и снова по траве или спине хлопал кнут.

Отец подошел к задку телеги, пошарил там руками и нагнулся к хомуту. Рядом с ним стоял высокий человек с ружьем через плечо, держа в поводу оседланную лошадь. Лошадь била копытом землю и жевала удила, отчего они хрустели, а помещичий объездчик, обрусевший черкес, ругался матерно, сопел и чванился.

— Нате, — сказал отец, подавая оброть.

Чужой мужик, Гордей Кузьмич, отъехал, и вскоре с луга донеслось:

— Стой, дохлая стерва! Вся в хозяина — упрямая!..

В воздухе свистнул арапник.

Потом затопало четыре пары ног, зашумел лозняк на дне оврага, и затихло.

Я дрожал, притаившись.

Отец, подойдя к телеге, упал на землю около заднего колеса и, вцепившись в обод пальцами, стал трясти телегу, стукаясь головою о спицы. После заплакал, как маленький:

— Батюшки мои! Родимые! Голубчики милые!.. Ох! ох! ох!.. Смертушка приходит!.. — И закатился, раскинув руки и уткнувшись лицом в сырую землю.

Утром, чуть свет, когда я спал еще, он побежал на барский двор выпрашивать загнанную с княжеской отавы лошадь. Возвратился через час, осунувшийся, серый, уста-

лый. Молча сел на втулку колеса, схватился обеими руками за волосы и завопил:

— Где я возьму трешницу? За что-о? — и покрутил головою не то икая, не то кашляя, не то стараясь удержать рыдания. Под левым глазом у него синяк, в пятак величиною, на ухе — ссадина.

Перед завтраком опять пошел в имение и возвратился только вечером. Я же, сидя на телеге, ждал его.

— А где же отец твой, эй ты, барин! — спрашивали проезжавшие мимо мужики.

— Я не знаю, — отвечал я.

— Вот так штука! — хохотали они. — Его, видно, цыган ночью украл?

Когда выросла в четыре шага тень от сохи и перестали кусаться мухи, захотелось есть. Встав на телегу, я осмотрелся и закричал:

— Тятя-а-а! Иди домой: е-е-сть хочу-у! — закричал я со слезами.

На пригорке, в полуверсте, между кущами деревьев, золотились на ярком солнце соломенные крыши служб, над ними — церковь с бледно-голубым, под цвет неба, куполом и рыжим восьмиконечным крестом; красные крыши молочни, кузницы и конского завода — словно яркие платки деревенских модниц, развешанные на кустах. Между серыми полосами теса белели каменные столбы — наугольники амбаров с хлебом и зерносушилки; дальше — пруд и около — высокий старый лес, откуда выглядывал двухэтажный барский дом с десятком лучистых окон. По другую сторону, совсем вдали, за синим маревом — Захаровка, рядом — Свирепино. Между деревнями и имением ровная, буро-желтая полоса овсяного жнивья, ряды посеревших копен и два оврага; направо — пашня с рубежами, по которой ползали в сохах мухи-лошади, а налево — бугристый берег Неручи, изрезанный морщинами, с каймою чапыжника, лозы и дягиля у воды. В лощине, между нашими полями и помещичьим имением, лежало Осташково, не видное отселе. Между ним и деревней, описав кривую, текла Неручь.

Вдали послышалась песня. Она становилась слышнее, и вскоре застучали колеса в логу. Подъехавший с боронами молодой парень спросил меня:

— Чего ты плачешь, мальчуган?

— Есть хочу, — ответил я.

— Эх ты, пахарь! — сказал он.— А где же отец?

— Пошел к барину за лошадью.

Он подошел к телеге, пошарил в веретье и сказал, доставая мешок:

— Вон он — хлеб: жуй. Вот огурцы соленые.

Солнце зашло, побагровело небо, земля и жнива посерели. Приплелся понурый отец.

— Ты ел? — спросил он.

— Ел.

Достав хлеб, отец отломил маленькую корочку, с неохотой пожевал ее, запивая теплым квасом, потом сказал:

— Пойдем домой.

— А лошадь как же? — спросил я.

Он промолчал.

Думая, что он не расслышал, я переспросил. Отец топнул ногой, закричал, замахал руками, матерно ругаясь, и схватил меня за шиворот.

— Какое тебе дело, — тряс он меня, как котенка. — Чтоб тебя черт задавил!

Дышать было трудно; я крутил головою, упирался руками отцу в живот и визжал.

Он толкнул меня в спину ладонью, я упал, заорав во всю глотку:

— Ой, спину повредил! Ой, что-то колет!..

— Перестань! — цыкнул отец.

Я вытер глаза и сказал:

— Теперь я больше не поеду с тобой на пашню: ты дерешься.

— Нужен ты, как пятая нога собаке! — проворчал отец.

— Вырасту большой — отделюсь от тебя.

— Замолчи!

— Что ли, я Карюшку-то увел?.. Ты бы этак по спине объездчика хватил...

Отец взялся за голову.

— Замолчи, Христа ради, сатана!.. Замолчи!..

Мать дома плакала, когда мы поздним вечером вернулись: она знала о несчастье.

На второй и третий день Гордей Кузьмич Карюшки не отдал. На четвертый мать побежала упрашивать его сиятельство, но около дома ее укусила легавая помещичья собака, и мать воротилась в слезах. Пообедав, отец сам пошел — второй раз за этот день.

— Что хочете, то и делайте со мною, — сказал он

в экономии. — У меня пропадает год. — И сел на землю у крыльца.

Осташков, князь, назвал его мерзавцем, хамом, свиньей.

— За такие вещи вас, разбойников, в конюшне драть! — покраснел он и затопал ногами. — Что-о?

Отец молчал.

— Избаловались!.. Что-о?..

— Я ничего.

— Как ты смеешь разговаривать?..

— Пожалейте, бога для.

Узнав, что отец пахал его землю, помещик смилостивился, распорядившись отдать лошадь без денег, но с условием, чтобы он обработал полдесятины лишних. Отец поклонился ему в ноги и приехал домой веселый. Голодная лошадь набросилась во дворе на старую солому.

— Дай мне хлеба поскорее, я пойду допахивать! — сказал он матери. — И так почти неделя лопнула.

— Три рубля, говорит, а где я их возьму — давиться, что ли? — бормотал отец, завязывая у окна мешок. — Три рубля — штука немалая! Ихний брат эти три рубля, может, в три дня заработает, а нам надо полмесяца, да и то — негде... Три целковых,— хорош Лазарь?

Обернувшись ко мне, он спросил:

— Поедешь или нет?

— Поеду, — сказал я. — Я теперь на тебя не сержусь.

— Вот и молодчина, — засмеялся отец. — И я не сержусь на тебя.

— Я, тять, и делиться не буду: я только постращать хотел, ей-богу! — тараторил я, отыскивая лапти.

— Хорошо, хорошо, об этом мы дорогою поговорим... Там просторнее...

Он посадил меня верхом на Карюшку, сунув в руки мешок с хлебом, а сам пошел сзади.

— Ну, трогай, белоногий, — сказал он, хлопая лошадь по крестцам ладонью.

Ночью пошел дождь. Карюшку привязали за крючья, а сами легли под телегу, набросав сверху мешков из-под зерна и веретье. К полуночи зашумел ветер, дождь перешел в ливень, под нас ручьями подтекала вода; я промок, перезяб и просился домой, а отец сначала уговаривал тихонько, а потом прикрикнул. Дождь шел до самого рассвета, днем солнце не выглянуло, и пашня стала тяжелой, вязкой, липкой, для лошади — непосильной. Не успе-

ли вспахать и пол-осминника, а она была уже в мыле и тряслась. Отец ввил проволоку в кнут, а на конец его приделал гвоздь. Когда он стегал этим кнутом лошадь, она ежилась, сжималась, шатаясь, в комок и раскрывала рот. Правый пах ее, ляшка и бок покрылись волдырями и рубцами в большой палец толщиною, из которых текла кровь. К обеду лошадь стала: она даже и дрожать не могла, когда ее били. Отец был мрачен и зол, на глазах его блестели слезы, а я, прячась за телегу, навзрыд плакал, глядя на Карюшку.

В этот день мы отдыхали больше, чем следует. Запрягли лошадь снова только перед вечером, когда солнце стояло на три дуба от заката. Оправив вожжи и привязав их к рогачам, отец взял в руки страшный кнут. Карюшка, увидя его, нелепо подобрала зад, согнувшись, как хилый ребенок, и пошла боком, следя за отцом. Она сбивалась с борозды и отец то и дело кричал:

— Ближе!.. Вылезь!.. Ближе!.. Тпррру-у!..

Борозда выходила кривой, с «селезнями». Чем больше отец бил Карюшку, тем она больше кособочилась и тем хуже была пашня. Тогда отец сбил с шеловочного гвоздя шляпку и всадил этот гвоздь в обжу — там, где лошадь терлась левой ляшкой. Взмахнув кнутом, он крикнул:

— Н-но!

Карюшка дернула соху, заглядывая по обыкновению на правую руку отца и прижимаясь левым боком к обже. Гвоздь глубоко царапнул по ляжке. Она вздрогнула, метнулась и заржала, таща рысью соху. Отец, цепляясь за рогачи, не отставал. Через двадцать шагов силы убыли, ход замедлился, лошадь вывернула ноздри. Отец подстегнул. Кобыленка опять вильнула задом, и опять ей впился в ляшку гвоздь; опять брызнула кровь, и опять на теле появилась кровавая борозда. Лошадь опять засеменила ногами, хрипя и фыркая...

Через три с половиною дня барскую пашню окончили, а еще через три — свою. Лошадь ходила теперь прямо, но на левой ляшке у нее образовалась полоса, ладони в полторы шириною и ладони в две длинною красного ободранного мяса, из которого сочилась кровь, стекая по ноге на землю, и на которое садились тучами зеленовато-черные полевые мухи. Правый бок ее разбух от кнута, глаза обметались гноем, из них стала бить слеза, а ходила она раскорячившись.

Пашня кончилась. Поспела конопля. Карюшку выпустили в поле. Там она чуть-чуть оправилась: поджили раны, пропали рубцы, высохли слезы. Отец подкармливал ее ухвостьем и резкой, обильно посыпанной свежей мукою. Работа теперь сосредоточилась у дома: копали картофель, мочили пеньку, обкладывали к зиме сухим навозом.

Утром на Александра Невского отец запряг Карюшку в борону, посадил меня верхом и сказал:

— Поедем на коноплянники сгребать суволоку.

Я ездил вдоль полосы, а отец шел следом, приподнимая борону, когда в ней набиралось много суволоки. Железными вилами он складывал ее в кучи. Покончив с работою, сказал:

— Валяй домой и скажи Матрешке, чтоб надела пахотный хомут и дала возовую веревку.

Когда я возвратился, отец привязал концы веревки за гужи и, захлестнув петлею суволоку, приказал везти волоком.

— Ну-ка, Машка, трогай! — сказал я.

Лошадь натужилась, но не осилила.

— Вези, чего ты стала? — крикнул я, стегая поводом ее по гриве.

Она выгнула спину, опустив к земле голову, сделала шага четыре и остановилась.

— Подгоняй! — крикнул отец. — Чего разеваешь рот?

Я дергал за повод, подталкивал ногами, лошадь пыжилась, а воз стоял.

— Стегай же, чертова душа! — подскочил отец, толкая меня в спину деревянной рукояткой.

— Н-но! — кричал я. — Н-но! Чего же ты меня не слушаешься? Н-но!..

Лошадь надувалась и хрипела, копыта ее вязли в рыхлой земле, веревка туго натягивалась, но суволока, качаясь из стороны в сторону, шуршала, а с места не двигалась.

Тогда отец, рассвирепевший до последней степени, подскочил к Карюшке и ударил ее с размаху рукояткой по лбу. Лошадь шарахнулась в сторону, выскочив из постромок, и задрожала всем телом.

— Гони! — ревел отец.

Я бил лошадь, отец бил меня, и все мы тряслись.

Схватив обеими руками вилы, отец обернул их рожками вперед и, выпучив глаза, как исступленный, всадил их в спину лошади.

Карюшка заржала, опускаясь на зад, как садится собака, и оскалила зубы. Я кувырком полетел на землю.

— А-а-а!.. — захрипел отец, выдергивая вилы и опускаясь рядом с лошадью.

— Батюшки мои, что я наделал? — сказал он через минуту и схватился за голову.

— Что я наде-елал!.. — повторял он. — Ваньтя, что я наде-елал?.. — и стал рвать на себе волосы. — Старый дурак!

VII

Осенью, перед Покровом, я сказал матери:

— Все ребята собираются в училище, надо и мне идти.

— Что же, ступай, — ответила она. — Не мал ли ты?

Я ответил:

— Ничего, пойду: есть которые меньше меня.

— Вот тебя там вышколят, — постращала сестра. — Учитель-то, сказывают, сердитый: как чуть что — так розгами.

— А ты как же хочешь: на то и ученье! Читать, девка, штука не легкая.

В воскресенье, после обедни, сходили на молебен, а утром, чуть свет, к нам в избу прибежали: Мишка Немченок, Тимоха, Калебан и Мавруша Титова.

— Эй, барин Осташков, еще храпака воздаешь? — загалдели они. — Пора, вставай!

Ребята гладко причесаны, головы намазаны лампадным маслом, под шеей пестрые шарфы. Маврушка в новом платке с красными горошинками, расстегай весь в кружевах, а из-под сибирки выглядывает желтый завес.

— Эге, вы все — ровно к обедне обрядились! Ну-ка, мать, давай и мне вышитую рубаху! — закричал я. — А где же у вас сумки?

— Сумки пока в кармане, книжки дадут, тогда наденем.

Мать смеется:

— Ах вы, о́трошники! Что вы побирушками обрядитесь?

— А как же? Чай, все ученики так ходят,— ответил Мишка, произнося с особым ударением слово «ученики».

По пути забежали за Козленковым Захаркой, который учился третью зиму и сидел в «старших».

— Ты, Захар, не давай нас в обиду, — упрашивали мы товарища.

— Ничего, не робейте: кто полезет, вот как кукарекну, только чокнет! — успокаивал он.

Мавра достала из кармана ватрушку с толченым конопляным семенем и, подавая Козленкову, сказала:

— Может, ты плохо, Захар, позавтракал — сомни ее.

Захарка ответил, что позавтракал он хорошо, но ватрушку съест, «чтоб зря не пропадала».

Школа, несмотря на ранний час, была полна и гудела, как улей. Она помещалась в просторной избе, перегороженной на две половины: в одной сидели «старшие» и «другозимцы», а в передней — новички.

В девять часов пришел учитель в поддевке тонкого сукна и светлых калошах, высокий, тонкий, с реденькой русой бородкой кустами и утячьим носом.

— Гляди-ка, чисто барин, — шепнул мне Тимошка, — учитель-то!..

Он поздоровался и скомандовал: на молитву. Ребята повернулись лицом к иконе и запели на разные голоса. Учитель рассадил всех по местам, старшим выдал книги и приказал что-то писать, а сам подошел к нам.

— Что, ребятишки, учиться пришли?

Мы молчали.

— Вы что же не отвечаете, не умеете говорить?

— Умеем, — выручила Маврушка.

— И то слава богу! Учиться, что ли?

— Да! Да! — запищали мы вперебой, как галчата.

Учитель улыбнулся.

— Садитесь пока здесь, — указал он на свободные места. — Я запишу вас.

Из дверей выглядывали знакомые лица товарищей, привыкших уже к школьной обстановке и державшихся свободно: они смеялись, подталкивая друг друга, ободрительно кивали головою: не робей, дескать, тут народ все свой!

— Как тебя звать? — обратился ко мне первому учитель.

— Ваньтя.

— Иван, — поправил он, записывая что-то на бумажку. — А фамилия?

— А фамилия.

Учитель поднял голову:

— Что ты сказал?

— А фамилия.
— Что «а фамилия»?
— Я не знаю.
Учитель потер переносицу, покопал спичкою в ухе, сделал лицо скучным и подсказал:
— Как твое прозвище?
— Жилиный, — ответил Калебан. — А Мишку вот этого Немченком дразнят, Тимоху — Коцы-Моцы, Маврушку — Глиста...
— Эх ты, а сам-то хороший, Калеба Гнилозадый? — пропищала обиженно Маврушка.
Все захохотали.
— Здесь ссориться нельзя, — остановил учитель.
— Парфе-ен Анкудины-ыч! — крикнул из соседней комнаты Козленков: — Это их на улице так, а Ива́нова фамилья — Володимеров.
Учитель пожурил:
— Что ж ты, братец, а? Иван, мол, Володимеров... Смелее надо...
— Ты бы поглядел, какой он дома вертун, — опять не утерпел Калебан.
— Помалкивай! — прикрикнул на него учитель, а потом, обратившись ко мне, продолжал: — Ну, Иван Володимеров, как тебя по батюшке?
— Петра.
— Иван Петрович?
— Да.
— Хорошо-с, мать как величают?
— Она уж старая, ее никак не величают.
— Как же так: не величают? Имя-то есть?
— Маланья.
— Так, а братьев?
— Нету, одна Матрешка... Сестра... Она у нас рябая.
— Матрена, что ли?
— Да.
— Добре. Сказывай, сколько тебе лет?
— Семой пошел с Ивана Крестителя.
С такими же вопросами обращался учитель к Тимошке, потом к Мишке, Калебану и Маврушке, и все путались. Маврушке он сказал:
— Ты, девочка, умная, что вздумала учиться. Не ленись, большая польза потом будет.
Она ответила, что в школу ее тятя послал,

— И отец твой молодчина, — сказал Парфен Анкудиныч.

— Меня тоже послал тятя, — похвалился Калебан. — «Осатанел ты, говорит, всем, убирайся, дьявол, с глаз долой в училиш-шу!..» — И, увидав своего приятеля Цыгана, зафыркал: — Егоран! У нас под печкой голубята вылупились! Глаза лопни! Пиш-шат!..

Мишка его дернул за рукав, а Калебан огрызнулся:

— Чего ты щипешься, стервило?

Учитель взял за подбородок Калебана и сказал:

— Нельзя так, выгоню на улицу, понял?

Перед отпуском учитель объявил: Мавра Титова принимается в первое отделение, а мы четверо должны прийти на будущий год, потому что теперь молоды.

— Поешьте дома кашки побольше, — смеялись над нами.

— Ничего, мы за год сильно вырастем, тогда и нас учиться примут, — утешали мы себя дорогой. — Маврушке-то девятый год!..

VIII

Пришла моя восьмая зима. Мать выпросила, Христа ради, у Тимошкиной матери старый дядин тулуп и сшила мне из него полушубок.

Целый день я пропадал на улице, катаясь на салазках, и возвращался домой с красными, как у гуся, пальцами и закоченевшими ногами. Поспешно разувшись, я хватал круто посоленный ломоть хлеба и лез на печку, рассказывая оттуда, что со мною было за день. Когда руки и ноги в тепле отходили, их ломило. Мать становила на лежанку ведро с водою, бросала туда снег и опускала в воду мои ноги, а руки терла суконкой или чулком.

— Экий бестолковый, — ворчала она, — до каких пор бегаешь, подумай-ка!

Я оправдывался тем, что на улице ноги не зябнут, что им холоднее от печки, и божился не запаздывать.

— Ты всегда так, — упрекала мать, — простудишься, тогда я тебя выпорю.

Любимым местом наших игр была Федина гора — крутой скат к реке, рядом с мельницей. Как только занимался день, ребята поливали на скорую руку ледянки и бежали на гору кататься.

К вечеру сходились парни с девками с гармонями

и прозвонками, на катке устраивалось игрище, пелись песни и плясали. Полоумный Базло, скинув валенки, прыгал босиком. Охрем Лобач становился на руках «березою», Дарка Крымска́я с Гуляевым, солдатом, плясали по-господски, схватив друг друга в охапку, крутясь и топая на месте. Нас большие гнали от себя, потому что, кончив пляску, парни хватали девок за руки и целовали, а мы подглядывали и, придя домой, пробалтывались, кто кого тискает и кто кого целует.

По воскресеньям на горку приходил пьяный Ортюха-сапожник. Стащив у кого-нибудь из-под навеса сани, он набивал их нами доверху и, крича: «Горшки продаю!» — спускал сани вниз, к реке, хохоча, как сумасшедший. Мы визжали от восторга, летя вихрем под гору, а Ортюха кричал:

— Что, шелудивые, нравится?

На зимнего Николу сапожник принес в кармане бабок.

— Ну, на драку! — крикнул он, бросая пару бабок.

Человек двенадцать метнулись, навалившись друг на друга кучей. Под градом кулаков, смеха и брани счастливец хватал бабку, отбиваясь от товарищей, и подбегал к Ортюхе: бабка становилась его собственностью.

Разбросав десятка полтора, мужик крикнул:

— Айда́ на лед!

Там, где вода сбегает с мельничных колес, у «холостой», застыла свежая полоска льда.

Сапожник, бросая на этот лед сразу три пары, сказал:

— Кто из вас смелый, тот достанет.

Тимошка отозвался.

— Я смелый! — и полез за бабками.

— А еще кто смелый? — спросил Ортюха, кидая два пятка.

Я достал два пятка.

Мальчики, которые поменьше, и девочки, стоя в снегу по щиколку у плотины, рядом с Ортюхой, пугливо жались, боясь, чтоб лед не проломился. И мы сперва боялись, но когда в четвертый раз на лед вскочили двое, Тимошка и Матрос, скользя по нем и матерщинничая, страх прошел.

Вывернув из кармана последки, сапожник закричал:

— Кто скорей! На драку!

Человек пять-шесть бросились за бабками. Лед затрещал под ногами, и мы в ужасе схватились друг за друга. Лед выгнулся, осел и лопнул. Первым опустился

в воду Клим Хохлатый из Пилатовки, вдовин сынишка.

— Ма-ам-ма!.. Ма-ма-а!.. — крикнул он, хватая за полу Тимошку.

— Ой! — взвизгнул тот, хлопая по голове Хохлатого, и сам опустился под лед.

Из всего того, что дальше было, я помню только свой собственный вопль. Меня будто облили кипятком... Закружилась голова, замаячило в глазах...

Пришел в себя я за день до своих именин, в крещенский сочельник, перед вечером. У моих ног, с чулком в руках, сидела Мотя; с печки, свесив голову, в лицо мне смотрел отец, а в избе от запушенных снегом стекол было сумрачно.

— Мама, — сказал я, — я дома?

Голос у меня — чужой и слабый, вместо слов — тихий стон.

— Поправь ему подушку, — проговорил отец.

Мать, осторожно ступая, подошла к постели, наклонившись над изголовьем. Я улыбнулся. Она радостно вскрикнула, упала на колени, плача, смеясь и целуя мою руку.

— Проснулся? — ласково спросил отец.

— Проснулся, — хотел я сказать, но только пошевелил губами.

Соскочив с печки, отец сел на скамейку около меня и, трепля по волосам, сказал:

— Что ж ты этак, а? Хворать не полагается на праздниках...

Матрос утонул, а Климка умер от простуды; Цыган и Тимоха хворали, как и я. Тимоха оглох на весь век, а Ортюху-сапожника мужики больно били за баловство, и он с тех пор стал кашлять и прихрамывать.

После обедни на праздник меня спрыснули крещенской водой, напоили чаем из сушеной малины и, укутав с ног до головы горячей посконью, положили на лежанку ближе к печке. Отец отнес в залог Перетканову свою новую рубаху со штанами и валенки и купил на эти деньги виноградного вина, связку кренделей и монпасеев.

— Будет тебе, пахарь, валяться-то, — сказал он, подавая гостинцы. — Пятая неделя никак.

И, сидя около, рассказывал:

— Иду я, братец ты мой, по деревне, а Стешка Чикалева выскочила за ворота и кричит: «Дядя Петра! дядя Петра! Что, жених мой встал?»

— Вот и брешешь! — смеюсь я. — Не угадал! Стешка — невеста Игнатова, а моя — Мавруньκа!

— То бишь, Маврушка, — поправляется отец.

Я хлопаю в ладоши и кричу:

— Слава богу, спутался! Слава богу, спутался!

Подошла мать.

— Не надо так на тятю — «брешешь»: грех.

Отец перебивает:

— Не мешай, старуха.

И я говорю:

— Грех — с орех...

— А спасенье — с ложку! — подхватывает отец и, грозя пальцем, продолжает: — Ты меня не проведешь, малец, я все-о понимаю!.. — Собрав лицо в ряд лучистых морщин, он наклоняется ко мне и дразнит: — Кунба́ твоя невеста, а не Мавра. Вот что, друг любезный!..

— Глаза мои лопни — Мавра, — встал я, чтоб перекреститься, но закружилась голова, и я ткнулся лицом в подушку и застонал.

Перепугавшаяся мать прогнала отца с лежанки, и я заснул.

На Ивана Крестителя отец важно промолвил:

— Иван Петров, поздравляем вас с именинами.

— Зачем? — спросил я.

— Потому как вам пошел восьмой год, значит, получай вот, чтобы целый год веселым быть, — и подал мне губную гармошку.

— Где ты ее взял? — выхватил я у него игрушку.

— Э-э, — подмигнул отец, — еще молод знать, — и засмеялся.

Вечером мы остались вдвоем с Мотею.

— Что, ребятишки на Фединой горе катаются? — спросил я у сестры.

— Воспа, — ответила она.

— Чего ты говоришь?

— Хворают воспой.

— Как я? — спросил я, приподнимаясь.

— Нет, как я, — ответила сестра, — все в шелухе...

Вся Драловка и Заверниха лежали в оспе. Зайдя через неделю к Титовым после того, как я оправился, я увидел на кутнике, в тряпье, Маврушку, рядом с братом, всю в коросте. Глаза ее слиплись, руки завязаны тряпицею назад, рот обметан гнилыми струпьями и перекошен от боли. Девочка сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, тер-

лась щеками о плечи, на нее кричали, а она просила водки тоненьким, жалобным голосом. Рядом с нею — Влас, двухгодовалый братишка, похожий на тупорылого кутенка, шевелил беспомощно ручонками, смотря на меня одним глазом, из которого текла слеза, а другой глаз слипся и распух. На веке рана, бровь ободрана, из уха ползет грязно-зеленоватый гной.

— Ма-а... — пищит он, раскрывая рот и цепляясь за дерюгу тонкими пальчиками с отросшими грязными ногтями.

Я подошел к Маврушке, спрашиваю:

— Не ходишь в школу-то иль ходишь?

Девочка протянула вперед шею.

— Кто там? — прошептала она.

— Я...

— Кто — Ваньтя?

— Да. Я тоже хворал... утонул было под мельницей.

— Я знаю, — ответила Мавра и, повернув лицо к столу, заныла: — Пое-е-есть!..

Мать ткнула ей в рот кусок хлеба.

— Жуй.

— Вина-а да-а-ай... — заплакала девочка.

Мать толкнула ее в голову, ворча:

— Куражишься, дрянь! Как вот хлясну по губам-то!..

Маврушка заскулила. Глядя на нее, и Влас заплакал.

— Уходи отсюда, выпороток! — крикнула на меня Маврушина мать и принялась, плача в голос, стегать детей лапотной веревкою.

IX

На трех святителей драловский сотский дядя Левон, Кила-с-Горшок наряжал народ на сходку.

— Эй, вы, слышите? Земский будет! — зычно кричал он, постукивая в раму батогом. — По́дати!..

Отец возвратился со сходки поздно вечером, когда я спал. За завтраком поутру был угрюм и ни за что обругал Мотю.

На сретенье Кила-с-Горшок опять стучал под окнами, земский в этот раз приезжал с становым и что-то там такое говорил, отчего отец пропадал весь следующий день.

— Ни с чем, знать? — встретила его мать.

Отец так цыкнул на нее, что я со страху подскочил на лавке. Разговора за весь вечер никакого не было.

Чуть свет отец с сестрой долго копались в сарае, потом свели туда Пеструху — телку. Вслед за ними побежала мать, прикрыв полою самовар, а за матерью — я. Отец прятал зачем-то телку между старновкой и стеной, заваливая сверху и с боков на поставленные ребром жерди соломой. Между жердями темнела дыра, в которой пугливо возилась Пеструха.

— Не задохлась бы, — шептала мать. — Крепки колья-то?

— Крепки, — говорил отец. — Вали сверху овсяную солому.

Мотя таскала вилами солому, мать зарывала в мякину самовар и новые коты, которые лет пять берегла на смерть, а я, стоя с разинутым ртом, дивился.

— Зачем вы, мама, это делаете, а?

— Марш домой! — крикнул отец, грозя веревкой. — Везде, дрянь, поспеваешь? — И, понизив до шепота голос, добавил: — Если кому скажешь, изувечу...

По деревне ездили начальники, выбирая подати, недоимку и продовольственные деньги. Они ходили от двора ко двору, ругались матерно, грозили согнуть в бараний рог, вымотать душу, а следом плелись старшина со старостой в медалях, понятые и мещане из города на широких розвальнях.

На улицу, прямо на снег, выбрасывали из клетей холсты, одежду, самовары, сбрую — все, что можно продать. Скупал рыжий мещанин в крытом тулупе. Становой величал его Василием Васильичем и угощал желтыми папиросами из легкого табаку. Цену назначал становой, старшина поддакивал, воротя в сторону от мужиков лицо, староста молчал, понятые вздыхали. Василь Васильич, ткнув ногою вещь, сипло отрубал: беру! Работники тащили скупку в сани, а мещанин, отдуваясь, лез за пазуху, вытаскивал холщевый засаленный, в пол-аршина длиною, денежный мешок и отсчитывал красными озябшими пальцами мелочь. Бабы истошно выли, мужики бухались в снег на колени перед полицейским, стукались лбами в глубокие калоши, обметая волосами снег с них, хрипели что-то. Становой благодушно отстранял лежачих, притрагиваясь кончиком шпаги к спине, или кричал то милостиво, то зло.

За добром выводили живность: поросят, коров, птицу. Кур и поросят совали в широкие мешки, овец бросали, скрутив ноги, в сани, а коров и телят привязывали к ог-

лоблям и сзади саней. Куры кудахтали, вырываясь из рук, по улице летели перья; поросята, бабы и дети визжали; коровы угрюмо мычали, разгребая ногами снег и крутя головою... Нашествие татарское на Русь...

Скоро четверо мещанских розвальней нагрузили доверху.

Становой сказал:

— Не закусить ли теперь нам, Василь Васильич, а?

— Пора, — ответил тот.

Возы, нагруженные холстами, обувью и одеждой, утварью и ветошью, отправили с мальчишкой и десятскими в город; начальники, ежась от холода и потирая руки, полезли к старосте в горницу, сотский побежал за водкой, понято́й — к попадье за мочеными яблоками.

Пока они в тепле кушали, мужики терпеливо ждали у крыльца. Старостина дочь, Палагуша, и сама старостиха то и дело бегали из погреба в кладовую, из кладовой в избу, торопливо неся миски с огурцами, кислую капусту, хрен, ветчину и кринки молока, а мужики завистливо смотрели им в руки и шептались:

— Эко, братцы, жрать-то охочи!..

— Еще бы... привыкли, чтоб послаще, побольше... господа называются...

Потом, стоя в дверях, начальники курили и отрыгивались, а осташковцы, кто ближе, толпились без шапок.

Напившись чаю с кренделями, опять приступили к описи и распродаже. Отдохнувшие бабы снова завыли; опять пристав кричал и топал ногами, а мужики барахтались в снегу.

Дошла очередь до нас, а у нас продать нечего.

— Беднота несусветная, ваше благородие, — говорит староста, сдергивая шапку. — Ничего у них нету... Один только близир, а не крестьяне, верно говорю!..

Понятые смотрят на отца, который посинел.

— Не робей, Лаврентьев, — тихо говорит отцу Фарносый. — Упади на коленки: зарежьте, мол, а денег ни гроша... Он отходчивый... Покричит-покричит, а после — помилует... Ну, может быть, ударит раз или два, стерпи... Главная задача — голод, мол, проели все... Ишь, шубенка-то у тебя, хуже бороны...

Входя уличными дверями в сени, становой стукнулся лбом о притолоку и выругался матерно, поднимая шапку со звездой. Мать со страху схватила метлу и давай разметать у него под ногами сор, причитая:

— Батюшка, начальничек наш милый... в кои-то веки к нам заглянули...

Урядник толкнул ее в плечо.

— Отойди, старуха, не мешай, — сказал он.

— Кланяйся барину в ноги, пень! — подскочила ко мне мать. — Упади перед ним!.. Упади!..

Увидя Муху на соломе, принялась лупить ее метлою.

— Что ты, стерва, притаилась, а? Марш на улицу, одежу господам хочешь порвать, одежу?..

Собака огрызнулась...

— А-а, так ты та-ак?

Мать саданула Муху толстым концом метлы по голове.

— Пошла прочь, паскуда!.. Ишь ты, что надумала! Одежу рвать?.. Чистую одежу рвать? А метлы не хочешь?.. Я тебе порву!.. Ты у меня узнаешь!.. Барыня какая!..

У нее из-под платка выбивались волосы, слабо завязанная онуча на правой ноге сползла, а мать все бегала по сеням, как шальная.

Становой посмотрел, усмехнулся.

— Эко чучело!

И урядник усмехнулся.

Из отворенной полицейскими в избу двери пахнуло теплом. Становой сморщил рожу, сплевывая:

— П-пффа! Какой тут смрад!.. Скоты!.. — и поспешно хлопнул дверью, выходя на улицу.

— Где хозяин?

— Вот мы... вот я... — выступил отец.

— Подати.

— Нету... голод... бьемся... Обождите, богом заклинаю!..

Отец опустился на колени. Подбородок у него трясется, широкую, с проседью, бороду развевает ветром, на лысине в три пятака тают снежинки...

Стоя на коленях, отец часто и невнятно что-то говорит, царапая пальцами грудь; Мотя, бледная, с красными пятнами по лицу, трясется и хрустит пальцами; мать трясется и плачет, а отец по-собачьи смотрит в глаза уряднику и становому. Я в толпе ребятишек.

— Отец-то твой никак заплакал, — шепчет мне Немченок.

Мне стыдно за него, я возражаю.

— Это ему ветром в глаза дует, — говорю я горячо. —

Он у нас, ты сам знаешь, какой: молотком слезы́ не вышибешь!.. Не может он плакать...

Но Мишка ладит:

— Плачет, вот те крест! Гляди-ка: за нос все хватается!

Тогда я сам сквозь слезы говорю:

— Погоди, и твой заплачет, как черед дойдет... осталось три двора...

— Мы с утра отплакались все разом, — говорит Немченок. — Отец нас матом, а мы — в голос... Отец говорит: «Надо давиться», — а мать говорит: — «Добрые люди скотинку прячут, где получше, а не давятся...» Отец корову и жеребенка свел в овраг, а большую свинью, говорит, девать некуда и заревел: «Черти, говорит, сожрут ее, а не мы»,— а мать говорит: «Бог милостив, Лексеич...»

Наклонившись к уху, Мишка шепчет:

— Отец свинью-то все-таки зарезал... Не паливши, понимаешь, в омет ее... На куски да в омет... Идем, я покажу...

Начальники пошли обыскивать наш двор, а мы с Немченком — за сарай, в ометы.

— Сюда, сюда! В среднем! — кричал Мишка. — С того краю!

Увязая по живот в снегу, он бормотал:

— Сейчас я покажу тебе, где наша поросятина лежит, сейчас ты, друг, узнаешь.

Но, завернув за угол, Мишка завыл:

— Глянь-ко-ся-а!

Четыре здоровенных собаки, раскопав дыру в соломе, жрали мясо. На снегу алели пятна крови, в стороне крутились белопегий поджарый щенок и три вороны, из соломы торчала обглоданная кость.

— Тятя-а! — взвизгнул Мишка, постояв с минуту. — Тятя!

Несясь вихрем по деревне, так что только развевались из-под шапки льняные волосы, Немченок что есть силы голосил:

— Собаки, тятя!.. Свинью, тятя!.. Только косточки, тятя!..

Стоявшие у крыльца мужики в недоумении обернулись, а отец Немченка тут же, на снегу, присел.

— Что́ ты, оглашенный! — цыкнул староста, хватая метлу.

— Собаки... съели! — выпалил Немченок, растопырив руки.

— Э-э-е... что ты мелешь? — едва сумел промолвить отец Мишкин. — Что ты, бог с тобой?.. Окстись!..

— Ветчину сожрали! — кричал Мишка. — Говорила мать: прячь подальше, — не послушался, — и он заплакал, сморщив по-старушечьи лицо.

— Головушка ты моя горькая! — схватился за волосы Мишкин отец; по бледным щекам его покатились слезы.

Трясясь, я неожиданно для самого себя завыл, глядя на отца:

— И нашу Пеструху собаки съедят!.. Беги скорей в сарай!..

Начальник круто обернулся.

— Что ты, мальчуган, сказал? — спросил он у Немченка.

Тот вылупил глаза, раскрыв рот, и поперхнулся. Начальник обратился ко мне:

— Что случилось? Чей ты, а?

— Свой, — скороговоркой ответил я, глотая слезы.— У Мишки закололи свинью, а ее собаки слопали в омете, а у нас в старновке телка...

Взглянув на отца, я вспомнил об угрозе и закричал, обливаясь слезами:

— Сейчас он меня увечить будет!.. Нету у нас телки, мы продали!

Мишкин отец, сидя на снегу, качался из стороны в сторону, причитая, мой отец упал становому в ноги, Мотя зарыдала, мужики оцепенели.

С размаху начальник ударил отца кулаком по скуле. Желтая перчатка на руке его лопнула. Отец ткнулся головою в порог и застонал. Зверем бросилась на станового Мотя, вцепившись в рукав. Ее ударили по голове, она свалилась рядом с отцом, но, вскочив, метнулась снова, а ее опять ударили; сестра опять упала. Начальник пнул отца в живот ногою, и он скрючился, скуля, а мать полезла на чердак.

— Караул!.. Душегубство!.. Спасите!.. — кричала она и с четвертой ступеньки шлепнулась на пол.

...Когда начальники уехали, Мишке вывихнули ногу и возили в город поправлять, а я с неделю ходил кровью на двор за Пеструху.

X

Я лежал в постели. Мать поила меня грушевым отваром, на живот клали пареную бузину; отец четвертую неделю сидел под арестом за подати.

— Легче? — спрашивала мать.

— Легче, — ответил я, глядя в сторону. — Почему ты за меня не заступалась?

Мать потупилась.

— Я боюсь его, — ответила она.

В промерзлые окна смотрит февральское солнце; льдинки на стеклах горят синими и желтыми огнями, по спущенному концу толстой шерстяной нитки, положенной на подоконник, стекает в черепок вода.

— Когда он перестанет меня мучить? — спросил я, помолчав.

— Не знаю... Когда вырастешь большой... Его ведь тоже били...

— Это не указ. — Приподнявшись на локте, я шепчу, замирая от страха: — Если б умер он...

Мать смотрит на меня испуганно и тоже шепчет:

— Брось... Отец ведь он тебе!..

Но горечь, что скопилась в сердце, кружит голову, подталкивает: хватая мать за шею, я опять шепчу:

— Мы лучше б жили, верь мне!.. Я пахал бы, Мотя помогала, а ты дома с курами да с разной рухлядью... Я не бил бы вас... Зачем?..

Мать молчит, прижавшись к моему плечу.

— Или вот что: мне уйти куда-нибудь... Подальше, чтоб не знал он.

— Ванечка!..

— Он ведь все равно убьет меня когда-нибудь... Кабы сила, его б надо прикокошить... Топором иль чем-нибудь другим... Бацнул, а потом в навоз... А на улице сказали бы: в Полесье уехал на пять лет...

— Он здоровый: ты не сладишь...

— Сонного...

В сенях звякнула щеколда. Кто-то обивал о стенку лапти.

— Кто там? Если он — молчи, не сказывай, что я надумал... Приставать будет — крепись...

Отец пришел из города худой и грязный, влез на печку, не поевши, и уснул. Мы ходили тихо, разговаривая шепотом.

— Вашего-то били там! — прибежала с новостью соседка. — Старик Федин сейчас сказывал.

— Нуко-ся опять! — всплеснула мать руками.

Мотя искривилась, глядя в угол, лицо покраснело, по щекам потекли крупные слезы.

— Их бы надо! — сцепив зубы, прошептала она зло.— За что они?.. Их бы надо!..

— Что ты, девка, обалдела, не проживши веку? — цыкнула соседка. — Без пути и там не бьют!..

Оказалось, что в полиции мужиков заставили колоть дрова, но отец наотрез отказался, говоря:

— Положи цену, зря работать не согласен.

Ключник донес приставу, а пристав отца бил.

— Я тебя сгною! — кричал он. — Проси у меня прощенья.

Отец просил.

— То-то... Пойдешь теперь на работу?

— Нет.

Пристав снова бил.

— Становись, разбойник, на коленки!..

Отец становился.

— Я начальник, — размахивал руками пристав. — Как ты смеешь мне перечить?

Отец молчал, склонив голову. Пристав учил отца до обеда, весь измучился, вспотел, а толку не добился никакого. Рассердившись, затворил его на хлеб и воду и надбавил сроку на неделю.

Дома, на печи, отец лежал недели полторы. Он не охал, не стонал и ни на что не жаловался, лежал вверх лицом и глядел в черный, закоптелый потолок или бесперечь курил. Приходили мужики по делу — он молчал, оставаясь вдвоем с матерью — молчал; есть слезал, когда все спали. На четвертый или пятый день у него вышел табак: отец стал курить конопляную мякину вперемешку с полынью.

— Отлежится на печи-то и опять начнет лупить нас чем попало, — шепнул я матери.

Та мельком взглянула на меня и не ответила ни слова.

— И охота же ему курить эту пакость, — продолжал я, сплевывая, — душу всю захватывает... Нету табаку — не надо, подождал бы, когда новый купится.

— Пошел прочь! — рассердилась мать, толкая меня в спину. — Тебя не спросили, что курить!..

На второй неделе отец засвистел на печи, потом громко засмеялся, а мы переглянулись.

Отец свистел до обеда.

— Шел бы закусить чего-нибудь, — сказала мать. — Что ж ты все лежишь колодой?

Отец засмеялся, но обедать не пошел.

— Голос подал, значит, встанет, — сказал я сестре.

Шел великий пост. Пригрело солнышко. С крыш текла капель.

В сумерки ударили к вечерне. Потянулся народ в церковь.

— Эх ты, мать честна́я, отец праведный! — сказал отец, слезая с печки. — Принеси, Матреш, цыбарочку водицы.

Он был черен, как араб, седые спутанные волосы его стали от копоти дымчатыми, веки покраснели и разбухли, в бороде торчали перья.

— Ну, что, как твои дела? — спросил он, щекоча меня под подбородком. — Много бабок выиграл на масленой?

— Слава богу, — сказал я, отодвигаясь.

Отец вымыл лицо, голову, переменил рубаху и причесался. Мать юлила около него, подавая чистую утирку, гребешок и бесперечь советуя:

— За ухом-то вытри, за ухом-то!.. Обожди, я тебе ножницами подравняю волосы. Постой, Петрей, чуточку!..

Нарядившись, отец сел на коник, поглядел на всех, оперся о стол локтями, склонил голову и снова засвистел, постукивая лаптем о проножку.

— Бросил бы, старик, — сказала мать, — жутко ведь!.. Ну, что же теперь делать? Перестань, пожалуйста!

Отец притворился, что не слышит. Мать уткнулась в угол, скрывая слезы.

— Так-так-так,— сказал он, насвистевшись.— Так-так-та-ак!..

Мать повеселела. Ласково притронувшись к плечу его, она спросила:

— Поговеть не думаешь? Сердокрестная неделя уж...

— Поговеть? — Отец задумался. — Можно поговеть.

Мать обрадовалась пуще.

— Поговей! — воскликнула она. — Вот увидишь, легче станет.

— Мо-ожно, — повторил отец. — Отчего нельзя?

Причесавшись еще раз, он пошел к вечерне, а вернулся к третьим петухам пьянее грязи.

— Малаша! Ваня! Мотечка! Милые мои! Голубяточки! — кричал он с улицы. — Говельщик ваш идет, встречайте...

Стуча зубами, мать металась по избе. Я залез под лавку... Мотя торопливо одевалась...

— Рцы, ерцы, господи помилуй... Слава в вышних богу... Упокой, господи, рабов твоих... — бормотал отец, с трудом переступая избяной порог.

Он был без шапки, бледен, с разорванным воротом новой рубахи. Войдя, ткнул ногою овцу, которая с ягненочком жевала сено у лежанки, осмотрелся мутным взглядом, мотнул головою, засопел.

— Рцы, ерцы, господи помилуй... Еже словом, еже делом... Все живы?

— Живы, — прошептала мать запекшимся ртом.

— Живы? Ну и ладно... Дай поесть... Сущую-рущую, пресвятую богородицу, тебя величаем...

Мать нарезала хлеба, налила похлебки.

— И во веки веков, аминь!.. — Отец дернул за конец столешника, еда полетела на пол. — Жарь яичницу!.. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим...

— Батюшка! Петрей! Желанный мой! — закричала мать. — Окстись, что ты — пост великий, какую тебе яичницу?

— Жарь яичницу, а то окна поломаю! — стукнул отец кулаком о стол.

Мать заплакала, отыскивая сковороду.

— Еже словом, еже делом... — Отец опустился на колени. — Нет... не так... постой! — Он снял с божницы большой медный крест, родительское благословение, трижды перекрестился и поцеловал его.

— Слушай, — сказал он, глядя на крест, — исповедоваться буду... Грехи мои слушай... Двадцать лет не исповедовался, а теперь вот вздумал, на старости годов... Слушай: с восьми лет пью водку, ругаюсь матерно... и до гроба буду пить, понял? С десяти курю табак, с молодых лет бью жену... завидовал богатым... лошадей увечил, слышишь?.. Много в сердце зла имею... Не люблю людей... Кругом меня — злодеи, я — первый... Ну, еще что?.. — Отец притронулся корявым пальцем к распятию,— небось сердишься? Что ж мне делать, если жизнь моя такая... сердись не сердись, а никому не покорюсь!.. Хоть на месте

истопчи!.. Хоть по жиле вытащи мою утробу! — заревел отец, бледнея, и, схватив распятие, стал с ожесточением топтать его.

Остолбеневшая мать пронзительно завыла:

— Старичо-ок! Опо-омнись!..

Пошатываясь, отец взял ее за руку, поставил затылком к дверям, размахнулся и хлестнул кулаком по лицу. Мать затылком отворила дверь и растянулась на полу в сенях. Подбежавшую сестру отец поставил носом в сени. Падая от подзатыльника, та поползла раком.

— Иди третий... Эй, наследник, где ты?

Я полез было под печку, но отец вытащил за ногу. Держа на весу, сопел и матюкался, а я ловил его за штанину.

— Лети! — сказал отец, и я шлепнулся на что-то мягкое: не то на мать, не то на Мотю. Отец затворился.

Пил отец шесть дней. С барышником Хрипуном он заездил лошадь, рыская по кабакам. На седьмой пришел в одной рубахе, хворый, желтый, щипаный, лежал долго без движения, ничего не ел, кроме капусты, ни с кем не разговаривал. Оправившись, стал работать.

XI

Осенью мое желание сбылось: я получил в школе букварь и грифельную доску.

Долгими зимними вечерами, когда за окном трещит мороз, а в избе так тепло и уютно, зажгут наши маленькую лампочку-моргасик, я примощусь к столу и, подобрав под себя ноги, заявляю:

— Ну вы, тише теперь там — читать зачинаю.

— Читай, читай, — скажут домашние, — а мы послушаем. Чисто ли на столе-то — книжку кабы не замарал? — и мать прибежит смахнуть пыль рукавом.

— Ничего, чисто, вы не разговаривайте, а то собьете, — и начинаю выводить нараспев: — Ми-ша. Мы-ши. Мы-ло. Ма-ма ши-ла.

— Какое тут шитье, — скажет мать, — у меня и глаза-то ничего не видят...

— Да нешто про тебя это? — крикну я. — Мешаешь только!

— Ну, не буду, не буду, милый!

— Пи-ли-ли. Мы-ли-ли. Шли. Ма-ша тка-ла по-лот-но...

— Это, видно, про Жолудеву Машу — она первая в деревне мастерица ткать холсты...

Я опять закричу:

— Вот ты, мать, какая! Язык-то, словно помело в печи, — туда и сюда... Ведь это в книжке так написано, а ты почнешь набирать, кто знает что!

Все смеются, а я злюсь.

— Не выучу вот урок-то, — обращаюсь я снова к матери, — а тебе, видно, хочется, чтоб меня завтра на коленки Парфен Анкудинович поставил?

— Ох, Ванечка, я и забыла, касатик! Больше не буду, верное слово! Мне все дивно — Маши да Саши разные набираешь, а я думаю: не про нашу ли деревню отпечатали?

— Про вашу, как же!.. Бестолковщина!.. Кузь-ма купил ко-зла...

— Ха-ха-ха! — заливается мать: она у нас всех непонятнее была. — Кузьма купил козла!.. — почесывая за ухом веретеном, говорит в раздумье. — Наточкин Кузя, должно быть, так у нас козлов-то ни у кого нету, разве в городе?.. Старик, — смотрит она на отца, — ты, часом, не знаешь, у кого козлы в городе?..

И так, бывало, каждый вечер.

Однажды, середь зимы, нам задали большой и трудный урок: полстраницы прочитать и рассказать, что в книжке писано.

Я устроился у стола — поближе к огоньку, рядом — сестра вышивает, отец слушает с печки.

— Му-ра-ве́ль и го-луб-ка, — распеваю я. — Му-рав-лю за-хо-тел...

— Ваньть, постой! — свесил голову отец. — Ты, знать, не так читаешь, а?

Я посмотрел на его лысину, которая от лампочки блестела, как коленка, свистнул, еще посмотрел и ответил:

— Ты надумаешь на печи-то. Считай лучше прусаков!

— Верное слово, не так! — пристал отец. — Ну-ка, погляди получше!..

— Ну что ты понимаешь? — закапризничал я. — В училище не ходишь, книжек у тебя нет, доски — тоже нету, а лезешь поправлять, новомодный ученик! Дай тебе грифель — сразу сломаешь, а говоришь: не так! Сказывай, кака буква на жука похожа? «А» по-твоему? Держи карман!

Я даже в азарт вошел.

— Конечно, не так! — сказала вдруг Мотя. — Где ж тут «лы»?

Подвинув ближе к себе книгу, сестра улыбнулась.

— Читай лучше: му-ра-вéй, — делает она ударение на последнем слоге.

Я в удивлении смотрю на нее:

— Ты... почем же знаешь?

— Читай как следует — лучше дело будет, — проворчала она, принимаясь за вышивание.

— Ах ты, трепло! — вскипел я, задетый за живое. — Одно слово узнала и уж куражится, ведьма!

— Может быть, еще побольше знаю, — ответила сестра, вставая из-за стола.

Мать прикрикнула:

— Будет тебе хвастаться-то, ягунка! Вот в писаря скоро выйдешь.

Отец, не менее моего пораженный, твердил:

— Ай да Матрешила, ай да Матрешила! Разуважила ученика, ха-ха-ха! Шибко разуважила! Утерла сопли! Вот тебе книжки и грифель — лезь под лавку со стыда!..

Зло меня разобрало.

«Погоди, — думаю, — холера! я тебя подкараулю!..»

Случай представился скоро. В один из праздников, набегавшись вволю и проголодавшись, я вскочил в избу за хлебом. Наступили сумерки.

— Мамка, дай поесть, — закричал я, отворяя двери.

— Какая тебе еда, скоро ужинать, — ответила сестра. Она сидела одна.

— А где же мать?

— Поехала на свинье грушей торговать! Чего орешь, как сумасшедший, — не заблудится.

Сбросив полушубок и разувшись, я полез за стол.

— В карты, что ли, сыграть? — посмотрел я на сестру. — В свои козыри?

Та ответила:

— Играй, коли охота.

Смотрю: в руках у нее книжка. Попалась, барыня! Попалась, слава богу!

— Тебе кто же велел брать без спросу? — говорю ей ласково.

Мотя смутилась.

— Я ее не съела, — проговорила она. Я — поглядеть

немного. — Сестра бросила книгу на стол. — Жадничаешь, жила? На — подавись!..

Мне, конечно, не книги было жалко, а обидно, что она меня недавно подкузьмила.

— Стой, за это вашего брата не хвалят — получай-ка вот! — и я треснул ее по голове. — Ты у меня будешь знать, как воруют чужие книжки!

Мотя ничего не сказала. Я ждал, что она тоже чем-нибудь меня ударит, и приготовился к обороне, но сестра отвернулась к стене и так простояла несколько минут.

Стыдно стало как-то: до слез ведь довел, а за что? Не съела ж, в самом деле, книжку?

— Мотя, — проговорил я нерешительно, — брось, я пошутил!.. Давай вместе читать. Тут, знаешь, есть статья про старика и смерть — смешная, будь она неладна! Давай, Мотя!

Сестра повернула ко мне лицо и смущенно улыбнулась.

— Я уже читала ее, — сказала она, — давай другое что-нибудь...

Губы ее вздрагивали, на глазах блестели слезы; сестра старалась незаметно их смахнуть.

Я с готовностью согласился, и Мотя отыскала в конце книги «Последнюю беседу Иисуса Христа со своими учениками», говоря, что она уж начала было читать, да я помешал.

— Ты будешь читать? — спросила она.

— Нет, читай уж ты, а я послушаю... Я до туда не дошел еще...

Сестра начала:

— «Заповедь даю вам новую: да любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит богу. Вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного; но я не один, потому что отец мой со мною. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир...» Тебе нравится? — восторженно твердила сестра, прерывая минутами чтение. — Слушай! Слушай!..

Читала она, кстати, лучше меня.

— «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю...»

— «...и был пот его, как капли крови, падающие на землю», — вновь прошептала Мотя.

В шепоте этом был восторг непередаваемый и ужас.

— Давай помолимся.

И мы молились. Сестра, стоя на коленях, говорила:

— Спаситель! Нам обоим хочется пострадать за тебя так же, как и ты за нас страдал, — Ваньте, брату моему, и мне, Матрене, рабе твоей...

Прижавшись лбом к холодному земляному полу, я повторял за ней самодельную молитву.

— Дай господи, счастья родителям нашим: отцу Петру и матери Маланье...

Я возражал:

— За отца-то не следовало бы: он бьет нас...

Но сестра не слушалась меня, продолжая просить счастья родственникам, и всей деревне, и всем людям...

XII

Этот вечер, проведенный в жаркой молитве и чтении, стал началом других вечеров, ему подобных. Как-то так вышло, что у нас с сестрою оказался неисчерпаемый источник душевных слов друг для друга, ласк и внимания, тесно нас сблизивших.

В разговорах мы чаще останавливались на загробной жизни, на радостях праведников в раю и на муках грешных; читали жития святых, евангелие, псалтырь.

Я спросил однажды Мотю:

— Слушай, как ты научилась грамоте — ведь ты же не ходишь в школу?

Сестра улыбнувшись, ответила:

— Я уж и сама не знаю. Смотрела на тебя, как ты учишься, и запоминала... Ты, бывало, водишь пальцем по строчкам, слова разные говоришь — смешно мне, ну а потом — занимательным стало: «Почему так, — думала я, — крючочки и знаки, а через них — разные слова?» Втихомолку стала присматриваться, где какое слово писано и как ты его выкрикиваешь, а после, без тебя, разгляжу его, бывало, получше... Я скоро это поняла.

Однажды Мотя принесла с базара «Страшный суд». Наверху, с левой стороны, нарисован был желтый домик, похожий на перепелиную клетку, в решетчатых воротах святой с плешью, в белом венчике, в руках у святого —

два ключа. Человек пять-шесть монахов и царей, опустив глаза и склонив головы, ждали очереди.

— Это рай, — сказала Мотя. — Если бы нам с тобой пришлось пострадать за веру, мы тоже бы там были.

Но как пострадать, мы не знали, и это являлось причиною наших немалых слез и молитв.

Внизу картины в разной посуде мучились поджариваемые грешники. Хвостатые и черные, как уголь, черти с пламенем во рту и козлиными ногами на острых копытцах, размахивая железными трезубцами, гнали мужиков и нищих в ад, в центре которого, — там, где пламя особенно густо, — сидел большебородый сатана в красной короне, с воловьими глазами, длинным, горбатым носом и железными крючковатыми когтями. На коленях у него Иуда-христопродавец — рыженький, тщедушный мужичонка с кошельком в руках и без штанов. Над адом — змей с разверстой пастью, копьеобразным жалом и широкими кольцами красных грехов по гибкому зеленому телу; рядом — рыба-кит с полчеловеком во рту и зверь лесной тоже с полчеловеком. На палец повыше — воскресение мертвых, наверху — спаситель, бог отец, бог дух, апостолы, Иван Креститель — мой ангел — в вывороченной шубе, пресвятая богородица, ангелы и мученики.

Я рыдал, глядя на картину, каялся Моте во всех своих грехах, и сестра каялась. Ночью мне снились черти. С ужасом вскакивая с постели, я становился на колени перед иконами и, обливаясь холодным потом и слезами, просил прощения у бога.

Долгое время меня пугало представление о вечности, и слово «никогда» доводило до отчаяния, чуть не до припадков. Этим словом нас пугал законоучитель в школе.

— Кто грешит,— говорил он, исподлобья щупая глазами нас, — кто грешит, тот век будет в огне гореть, *никогда* не прощенный... — и грозил пальцем, пожелтевшим от курения.— Лучше б тому не родиться!

Ад мне представлялся ревучим потоком раскаленной смолы, в которой за ложь и непочтение к родителям, за обжорство, воровство и курение табаку я *вечно* буду гореть, *никогда* не сгорая, *вечно* мучиться и плакать, *никогда* не прощенный сердитым богом. Я пытался всеми силами представить конец «никогда», но не мог. Крича неистово, в полусне-полубреду молился, целуя иконы и землю, прося у них заступничества, помощи, прощения, пока я жив. Мать хватала меня на руки и, прижимая

к груди, ласкала, успокаивала, но я вырывался и падал снова на колени.

И Мотя молилась. Она похудела, глаза ввалились, остро выдались скулы, пожелтело и поблекло лицо.

Так было весь пост. Весна и работы отвлекли немного от самобичевания, чему помог отчасти сон: я видел себя на старой княжьей мельнице, окруженным ребятишками и маленькими девочками, у которых за плечами были крылья. Сестра сказала мне, что это ангелы, радующиеся моей праведной жизни. В эту пору мы решили с нею стать преподобными, для чего закопаться где-нибудь подальше от людей по шею в землю, как Иван Многострадальный, или жить в лесу вместе со зверями, как святой Тихон Калужский. Подоспевшая страда, когда людям впору было передохнуть от изнеможения, заглушила затею: о подвигах и спасении я перестал думать, хотя еще долго молился все так же усердно и так же горячо...

С глубокою отчетливостью запечатлелась в душе моей такая сцена из школьной жизни. Раннею весной подвыпивший отец с компанией соседей и родственников, зайдя однажды в избу, сказал мне:

— Почитай нам что-нибудь, сынок.

Сынок! Я даже не поверил! Это был первый и единственный случай в моей жизни, когда он назвал меня сыном своим. Захватило дыхание от радости, хотелось броситься к нему на шею и заплакать счастливыми слезами, поцеловать его руки и, крепко прижавшись, самому сказать что-нибудь ласковое, душевное...

Было вознесение. Я прочитал им историю праздника. Я с таким увлечением сделал это, так мне было приятно и весело, в ушах так сладко звенело чудное слово: «сынок», что все невольно залюбовались мною.

А отец подозвал меня ближе к себе, маня пальцем и любовно глядя добрыми глазами: он гордился мною, старый. Схватив обеими руками мою голову, он близко-близко наклонился и поцеловал меня.

— Милый мой, славный Ванюша... дитятко мое...

У него по щекам текли крупные слезы, прячась в широкой бороде, изрубцованные пальцы перебирали мои волосы, а затуманенные слезами глаза ласкали и грели.

— Хороша эта штука — грамота,— сказал кто-то,

вздохнув.— Карапуз еще, мальчонка, а все понимает, не как мы, грешные: смотрим в книгу, а видим фигу.

— Учись, родной, учись...— шептал отец.— Я не буду приневоливать тебя к работе нашей, пустая она и неблагодарная... Учись!..— тряхнул он головою.— Находи свою светлую долю, я не нашел... Искал, а не нашел...— Он опустил руки, вздохнул и промолвил, глядя в землю: — Я бы хотел, чтобы ты хоть один раз в жизни сытно поел... да... и не из помойного корыта. Я весь век голодал, а работал, как вол, больше... Учись, ты, может быть, пробьешь себе дорогу... Мы умрем скотами, падалью, а ты ищи свое счастье и учись, понял?

— Понял,— прошептал я, прижимаясь к нему.

Отец снова поцеловал меня, трепля по волосам.

— Эх ты, Ваня, Ванечка, голубчик ты мой!..

Я разрыдался от счастья.

XIII

Осень. Сбившись в плотную кучу, мы сидим на берегу реки — Цыган, Тимошка, Мавра, я и еще кое-кто из ребят. Рассказываем друг другу разные истории, смотрим на тихую воду и белую паутину, которая тонкими светящимися нитями летает по воздуху, цепляясь за чапыжник и древесные ветви. Мечтаем.

— Лето прошло,— задумчиво говорит Мавра.

Пока еще играет солнце, отражаясь перламутровыми блестками в реке; золотится разостланный по лугу лен; над нами вьются ласточки, кувыркаясь и ныряя в светлом и прозрачном воздухе; крикливою стаей мечутся скворцы, перепархивая с места на место, но во всем уже чувствуется особая, осенняя усталость: как будто земле и небу, реке и ласточкам захотелось смертельно поспать, отдохнуть, собраться с новыми силами; жмурится солнце, бодрясь и скрывая от людей докучливую зевоту: красновато-бурыми и лиловыми мазками оно бросает свои лучи по серым облакам, далекому лысому плоскогорью, по вершинам деревьев и спокойной глади дремлющей реки, силясь зажечь ярким полымем небо, расцветить багрецом даль, позолотить вершины, но сейчас же торопливо срывает краски: ни к чему-де это — зима скоро, стужа.

Стыдливо развернула последнюю зелень и последние цветы земля: не хочет сознаться, что и она устать может, и ей ли, богачке, щеголять теперь чахлым клевером

и пыльным подорожником, размашисто-лапчатыми лопухами, дягилем да конским рыжим щавелем?..

Тихими сумерками ложатся неуверенно прозрачные тени прибрежных ракит на серовато-пепельную землю; прощально улыбается день. За рекой, на княжеских покосах, мохнатыми шапками высятся стога, с кучками ворон на вершинах. Длинными рядами тянутся неубранные копны ячменя и пшеницы, а меж них, с каймою полыни по сторонам, ужом ползет серая дорога. Морщинистая даль сливается, темнея, с частым гребнем леса.

— В волость книжки, говорят, прислали,— прерывает сонную тишину Цыган, цыркая сквозь зубы.

— Книжки, говоришь? Какие? — встрепенулась Мавра.

— Черт их знает — люди сказывали,— пожимает он плечами и, помолчав, добавляет: — Будут раздавать их, книжки-то... а зачем — не знаю... Велено будто читать, кто грамотен...

Подняв голову, смотрит мечтательно на небо:

— Эх, скворцы-то, словно пчелы, чёмер их схвати!.. Из ружья бы теперь...

Неожиданная новость глубоко запала в душу, и я весь вечер думал о книгах. Пытался заговорить о них с отцом и матерью, но те ничего не могли мне сказать.

— Я ведь в бумагах-то, сынок, не понимаю,— ответила мать, а отец, почесав поясницу, зевнул и полез на печку.

— Насчет новых оброков эти книжки,— проворчал он.

На крыльце затопал кто-то, хлопнула щеколда — Мавра прибежала.

— Завтра не сходишь со мною к Парфен Анкудинычу? — потупившись и искоса посматривая на домашних, промолвила девочка. — Знаешь, насчет *этого*...

Меня будто осенило.

— Непременно сходим, непременно! — закричал я радостно.— Как подымемся, сейчас же сбегаем!..

Утром, постучав тихо в двери, мы пожелали вышедшему сторожу доброго здоровья, похвалили новую кадку, поставленную в сенях для воды, сказали, что кончается лето и близки занятия, потом справились об учителе.

— В книжки смотрит целый день,— ответил важно старик.— Дошлый он до книжек, страсть: день и ночь так и торчит, не разгибаясь, будто курица на яйцах.— Склонившись, сторож таинственным полушепотом говорит: — По-моему, бо-ольшущую надо голову иметь, чтобы одолеть

по-настоящему писанье, бо-оль-шущую!.. Вон на Хуторах мужик был — Кузя Хлипкий — одну только библию прочитал, да и то ума решился, а у нашего их, может, двадцать пять, и все — одна одной толще... Посиди-ка над ними — хуже косовицы уломает.

По привычке вдруг звереет и шипит:

— Не галдеть!..

Мы смеемся.

— Ты, Ильич, там с кем воюешь? — послышался сзади голос учителя.

— Грачи к тебе прилетели; принимай, коли охота... Ноги шапкой вытри, бестолочь!

— Это вы, друзья? — радостно воскликнул Парфен Анкудиныч, выходя из комнаты и застегивая ворот рубашки.— Ну, здравствуйте! И ты, Мавруш, пришла проведать? Добре, добре... Идите в хату чай пить.

После четвертого стакана я сказал:

— Вот Маврушка насчет книжек все думает: что там за книжки присланы в волость?

— И ты думаешь,— сказала девочка.— Мы оба...

— Ага, насчет книжек — дело! — воскликнул учитель и рассказал нам, что у нас при волости будет бесплатная земская библиотека, откуда можно будет получать всем книги.

— Книга — нужная вещь: она — друг,— наставлял нас учитель.— Книга учит жить людей; непременно запишитесь.

Через неделю я получил: «Вениамин Франклин, его жизнь и деятельность» и «Полное собрание сочинений И. С. Никитина», а Мавра — «Австралия и австралийцы» и «Параша-Сибирячка».

— Спасибо скажешь и царю,— рассуждал Калебан, размахивая «Графом Монте-Кристо», завернутым в тряпицу.— Заботится о черни: книжки вот прислал, чтоб зимой не скушно было, то, другое, пятое... Господа, паршивцы, его одолели,— повторяет он любимую мужицкую жалобу,— а то бы он не так показал себя.

Обе книжки я прочитал в один присест — за вечер и ночь.

Несколько раз мать поднималась с постели и насильно тушила лампу, хлопая меня по голове, отец грозил выбросить в лохань «дурацкие побасенки», потому что керосин теперь — четыре копейки фунтик, но я, переждав, когда они засыпали, снова зажигал огонь и читал.

Утром слипались глаза от бессонницы. Ползая по распаханным грядам и подбирая картофель, я несколько раз чуть не уснул, за что отец кричал на меня и называл нехорошими словами, а в душе у меня то вставала светлая чужая и далекая земля и в ней дерзкий человек, затеявший борьбу с небом, то грустные, тоскующие песни, так складно сложенные, такие звучные, простые и понятные.

Дотянув кое-как до обеда, я убежал с книгою стихов в амбар и снова перечитывал их, а вечером, при огне, сам написал стихотворение, озаглавив его:

НАША ЖИЗНЬ

Близко речки стоят хаты —
Не убоги, не богаты:
То без крыш, то без двора,
Кругом нету ни кола,
На стенах везде заплаты.

Наш народ все неуклюжий
И подраться любит дюже;
Он прозванье всем дает,
В праздник песенки поет.

Начиная с крайнего двора, я перечислял всех осташковцев — какие они есть:

Дядя Тихон — киловатый,
А Митроха — жиловатый.
Есть Орина, толстый пупок.
Есть и староста сельско́й —
Кожелуп, дурак надутый,
Он жену взял из Панско́й...

И так — до другого конца всех подряд. Заканчивалось мое писание так:

Каждый день здесь ссоры, драки,
Каждый день здесь визг и плач.
Вот поеду с отцом в город —
Там куплю я им калач:
Может, бог даст, перестанут
И немножко отдохнут,
Драться-биться позабудут,
Покамест калач-то жрут...

Ребята, выслушав на следующий день мою песню, пришли в восхищение.

— Вот это важно,— сказали они,— только знаешь что? Матерщинкой ее надо подперчить — слов пятнадцать!.. Тогда, понимаешь,— скус другой, петь будет можно...

— А если так, без матерщины? — попробовал защищаться я.— Ее и так бы можно спеть.

— Ну, брат, не та материя!— засмеялись товарищи. — Про всех бы, знаешь! Подошел к окну и выкладывай что надо, а матюком — на смазку, чтоб не отлипло!.. Как там у тебя про старосту?

Я прочитал.

— Ну вот! А тут бы — обложить его, ан смеху-то и больше б.

После ужина я присочинил, что советовали товарищи, и, кроме того, выдумал припев:

Гей, куриный бог — Барбос,
Колышек-вояка.
Киловатый, жиловатый,
Шухер-мухер, черт горбатый,
Жители без толку!

Шумной оравой мы бегали вдоль деревни от одного окна к другому, распевая с гиком и присвистом срамную песню.

Вдогонку нам летели поленья и кирпичи; визгливые и злые бабьи голоса посылали проклятья и невероятные пожелания распухнуть, подавиться колом. А наутро говорили:

— Володемиров грамотей-то что, сукин сын, выдумал! Старшине бы пожаловаться!

— Поумнел, безотцовщина! Косить да пахать не умеет, а матом лаяться да песни зазорные петь — мастер! Горячих теперь бы дать с полсотенки кутенку,— пускай заглядывал бы в зад...

Пришедшую с жалобой Оришу отец выругал и выгнал из избы, а когда мы остались вдвоем, сказал мне:

— Начитался, стерва? Сам умеешь песни складывать? — и бил до тех пор, пока мог,— кулаками и за волосы.

А через день, когда я побежал в лавку за мылом, меня увидал Митроха.

— Поди ко мне, малец, на пару слов,— кивнул он пальцем.

Я бросился в сторону, и Митроха пустил в меня железными вилами, которые держал в руках. Одним рожком они воткнулись мне в ногу — повыше колена: я упал. Тогда он подскочил ко мне, бледный, говоря:

— Не сказывай дома — я тебе копейку дам!.. На борону, мол...

XIV

Гранью моего детства было событие, происшедшее год спустя, летом, в ночь под Илью-пророка, когда мне шел тринадцатый год. Я был судим тогда, в числе шести, всем Осташковским обществом, как вор, и ошельмован, как вор.

Вспоминать этот вечер и особенно этот день — годовой праздник Ильи Наделящего — тяжело, но я решил ничего не утаивать: пусть будет так, как было.

Убравшись с овсяным жнитвом и перевозив домой копны, мы стали ездить в ночное. В поле оставались горохи, проса, картофель и льны — лошадей без призору пускать было еще рано.

— Завтра праздник: можешь пасти до обеда,— сказал мне отец,— лошадь поест лучше, и ты выспишься.

Табун собрался в Поповом мысу у речки.

Темнеет июльское небо, чистое и далекое, ласково смотря на нас миллионами лучистых глаз, горят Стожары, искристо улыбается Млечный Путь — божья дорога в святой город Иерусалим, невидимая благословляющая рука трепетно держит Петров Крест над нашими головами; шуршат по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке разговаривают о прошлом. В заводи плещется рыба, ухает выпь, фыркают стреноженные лошади, жалобно блеет забытый пастухом ягненок.

Чутко насторожив уши, дремлют собаки. Звенят на молодых жеребятах колокольчики. В Борисовке, верстах в трех от табуна, в плотной вечерней тишине сочно шлепает валек: а-ах! а-ах!.. Кружится нетопырь.

А от реки поднимается пар, холстом расстилаясь по низине, потягивает свежестью, пропитанной илом и водорослями. Когда ветер забегает с другой стороны, чувствуется запах гари выжженного солнцем поля и полыни.

Ползая на коленях по росистой отаве, мы ощупью собираем в темноте щепки и хворост для костра. Несколько человек, подсучив штаны, режут тростник. Наступив босой ногою на жесткие корни или порезав о шершавые листья руку, они ругаются, а стоящие повыше смеются и советуют:

— Вы легонечко — не жадничайте... Не в чужом огороде.

Вокруг огня, лежа на боку и животе, подперев кулаками белые, черные и русые головы, лежат малыши, под-

кладывая в пламя упавшие ветви. Смотря на него синими, карими и серыми глазами, перебрасываются шутками, блестя крепкими, как из слоновой кости, белыми и ровными зубами. Огонь играет на их румяных щеках и темных ресницах, в спутанных курчавых волосах прячутся пугливые тени, молодой смех переливается и звенит, как хор веселых колокольчиков.

— Дядя, расскажи что-нибудь страшное,— пристают они к старику Капкацкому, николаевскому солдату, работнику старосты.

— Смешное лучше,— говорят другие,— про попа иль барина.

Изъеденный морщинами, с лицом, похожим на захватанную классную губку, Капкацкий жмурит под лохматыми бровями старые выцветшие глаза, из которых бьет слеза; седые щетинистые усы его пропитаны табаком и пожелтели, давно небритый подбородок торчит ежом, по переносью и лбу лежат темные борозды.

— Сказку? — хрипит он.— А на табак дадите?

Вперебой кричат:

— Дадим, дадим, ей-богу! Завтра целую пачку получишь!

— В некотором царстве, не в нашем государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был царь Латут...

Делает длинную паузу, смотря подслеповатыми глазами в лица слушателей, и заканчивает речь под неистовое ржание и хохот грязною рифмой.

— Это присказка, а дальше будет быль,— говорит он, гнусавя и сплевывая беззубым ртом желтую тягучую слюну.— Сошел раз спаситель на землю, а с ним — Петр-апостол, Илья-пророк и Никола-зимний. Видят: бедный мужичок пашет землю. «Бог на помощь!» — говорят они. «Спасибо, добрые люди».— «Что сеешь?» — «Гречу». — «Уроди бог гречу». Идут дальше — богач с пашней ковыряется. «Здравствуй, мужичок-серячок, что сеешь?» Ничего им не сказал богатый — погордился, потому они идут с сумочками и в свитенках заплатанных, вроде как бы нищие. Объехал богач еще борозду, а спаситель и угодники стоят на меже — дожидаются. Спрашивает Петр-апостол: «Мужичок, что ты сеешь?» Гордый человек посмотрел на святого и сплюнул...

Прижавшись друг к другу, ребята впиваются острыми глазами в лицо повествователя, напряженно ловят каж-

дую гримасу на нем, запоминают каждое слово и каждый взмах сухих рук.

Захрустело жнивье, послышался топот и глухой кашель.

— Ой, кто это? — испуганно встрепенулся маленький Ваня Зубков.

Посмотрев на шорох, Дюка равнодушно сказал:

— С телегой едут.

На фоне потухающей вечерней зари медленно двигалась черная точка, как жук, распластавший черные крылья.

— Сиденье вам,— охнула темная ночь.

— Садись к нам.

— Тпррру!.. Греетесь?

Мерцающий свет костра обнял круглое, обросшее пушистой бородой лицо, шапку спутанных волос, посконную рубаху и лапти.

— Архипка Мухин с работником,— шепнул Зубков соседу.— А я испугался: не межевой ли, думаю?

— Что ты! — пробасил тот снисходительно. — Межевой ездит в полночь, это надо знать.

Спутав лошадей, приехавшие расположились у костра, оба серые от пыли и пота, с красными воспаленными глазами.

— Умаялись,— просипел работник Так-Себе, подгибая длинные жидкие ноги.— Последки нынче добивали, осыпается овес-то...

Его движения медленны и неуклюжи, большой рот обметан волдырями, голова пыльна и нечесана; липкие, потные волосы свисают грязными прядями на уши и бронзовое лицо; заскорузлые руки — как разбитые крылья больной, бессильной, неуклюжей птицы.

— Сказки слушаете? Промышлять бы шли! — говорит, присаживаясь, Мухин.

С давних пор молодежь и дети делают набеги из ночного на деревню, обивая сады и огороды, таская чужих кур, уток и гусей. Это в обычае, считается молодечеством.

— Ступайте,— повторяет Архип,— я кувшин дам для варки.— Мужик щурит узкие глаза и причмокивает: — Важно бы теперь цыплятинки хватить — сладкая она, молодая-то... Эх, вы!.. Бывало, вашу пору...

Шесть человек: Андрюшка Жук, Калебан, я, Так-Себе — работник, Федька Пасынков и Алешка Горлан от-

правляемся на промысел. Никто из нас молодой цыплятины не хочет, но нужно показать, что мы не трусы.

А перед утром, когда запели жаворонки и пар от реки поднялся выше осокорей, нас поймали с поличным.

Товарищи спали мертвым сном. Одежда покрылась росою, и лица посерели, измялись. Медленно тлели дрова, натасканные из изгороди; тонкими струйками шел от них дым, расстилаясь ковром по лугу. Мы шестеро дремали у костра, ожидая ужин.

— Вы что тут варите? — спросили неожиданно. Вскинув глаза, оглушенные и растерянные, в предчувствии близкой беды, мы едва проговорили:

— Нет, мы ничего не варим... Сидим и греемся.

Склонившись лохматыми головами, в свитах, перетянутых поводьями, на нас враждебно смотрят три пары глаз. В руках у каждого по палке.

— Поздно сидите... Подай сюда кувшин!..

Слетела с головы шапка, в затылке отдалась тупая, ноющая боль, закружилась и запрыгала земля.

Нас били ногами и палкой, таскали по земле за волосы, заставляли становиться на колени и просить прощения.

В плотном кругу товарищей, разбуженных шумом и бранью, бегал Архип, всплескивая руками и визгливо крича:

— Глядите-ка ребятушки, они и посуду у меня украли, сукины дети! Ишь, оголодали, будьте вы трижды прокляты!..

— Дядя Архип, ты помолчал бы,— сказал Андрюшка Жук,— ведь ты же сам научил нас, а теперь ругаешься, а?

Мухин взвизгнул, как собака, которую огрели камнем по боку, и, брызгая в лицо слюною, схватил его за волосы, приговаривая:

— Я т-тебе покажу! Ты у меня узнаешь! Научи-ил? Научил? Воровству я тебя буду учить, проклятая душа?

Откопали перья и пух из-под копны, головы и лапки. Один из пришедших, Ерема Косоглазый, закричал:

— Нестер, утки-то, братец ты мой, наши, глаза лопни, наши! Смотри-ка на мету — от поля палец подрезан!.. А я думал борисовские!..

Опять нас били, таская по земле и вывертывая руки, совали в рот сырое утиное мясо, говоря злобно:

— Жрите! Жрите, ненасытные утробы! Жрите, чтобы вам подавиться, стервам!

Сначала мы плакали, прося прощения, а потом перестали: ни слез уж не было, ни силы.

Изо всей компании никто за нас не заступился. Один лишь Капкацкий начал было укорять:

— Что ж вы увечите ребят, разве они первые? Испокон веку озорство ведется, не годится, братцы, этак!.. Постегали бы кнутом или обротью, дома — отцу, матери пожаловались: пусть платят деньги за убыток, а то что же это...

Но на него закричали:

— Ты, видно, дьявол старый, сам с ними заодно!

Капкацкий плюнул, выругавшись, и отошел в сторону:

— По мне, хоть убейте... Меня ничем не удивишь...

Дома спросили, когда я приехал:

— Ты что какой невеселый? Дрался, что ли, с кем?

— Нет, я веселый, — ответил я, но сами собою брызнули слезы, я выскочил из-за стола и убежал в коноплн.

«Эх, скоро узнают все!.. Опять начнут бить... На улице смеяться будут... Зачем мы это наделали?»

Медленно тянется время, голова — как в огне, сердце то ноет мучительно, то падает, готовое разорваться... Не знаешь, как лечь, куда положить голову, о чем думать. Нестерпимо хочется забыть пережитое.

«Умереть бы!.. С мертвого взять нечего... А если станут бить,— не стыдно и не слышно...»

Конопля шелестит. Горячими волнами пробегает по ее верхушкам ветер, она качается, как сонная. Пальцеобразные листья опустились и поблекли; лохматые головки сереют маленькими ядрами спеющих зерен.

Пришла Мотя. Молча села рядом.

— Зачем вы, глупые? — спросила тихо.

— Я не знаю...

— Сходку собирают. Ступай спроси старосту: пожалеет, гляди... На колени перед ним стань...

— Не пойду — мне стыдно, боюсь...

— Ступай. Отец сердит, платить ведь надо, а денег нет... Ругает он тебя...

...В избе у Еремы Косоглазого, хозяина уток, стоим на коленях, целуем ноги и руки у всех, клянемся с горьким плачем, что не будем никогда озорничать, а они пьют чай из светлого самовара, смеются и говорят:

— Знаем мы вас!

Калебан просит:

— Я твоих лошадей буду целое лето без денег пасти, прости нас Христа ради!

Федька обещает еще что-то сделать, и я обещаю, а староста вытирает пиджачной полою румяное лицо с капельками пота на нем, хмурит белобрысые брови, важно спрашивая:

— Что, чертята, плачете? — Бьет меня ладонью по затылку.— Кто кожелуп-то — староста? А ты — утятник, сочинитель! Я тебе припомню песенку!

Другие говорят:

— Он — мастер на эти штуки. Поглядим, как теперь запоет! Сотский-то близко? Вели бы на сходку их,— пора!..

Эх, горе наше, горе!..

Кольцо суровых бородатых лиц. Посконные рубахи, сапоги в дегтю и лапти. Седой старик толкает меня палкою в плечо.

— Рассказывай, как дело было. Становись посредине сходки и рассказывай...— Жмурит пухлые глаза без ресниц.— Лишнего не привирай. Что ты плачешь?

Сбежалась вся деревня: женщины, дети, подростки. Теснятся около нас, заглядывают в лица, шепчутся:

— Вот они, утятники-то... Били их иль нет еще?

— Ондрюха-то, бесстыжая харя, Ондрюха-то? Жених, а тоже затесался!.. Ему надо больше всех влить!

Руки трясутся, в горле пересохло. Заикаясь и путаясь, передаем, как было дело, и робко молчим.

Вспоминаются наставления матери: «Поклонись на все четыре стороны и скажи: православные, простите меня, глупого!» И я опускаюсь на землю, бессвязно бормоча:

— Православные...

А старик с опухшими глазами трясет меня за плечо и скрипит противным голосом:

— Чем уток-то?

Изо рта у него скверно пахнет, в углах глаз — желтый гной, толстый нос покрыт угрями.

— Чем вы их?

— Колотушкой...

— А? Шибче сказывай! — подставляет большое мясистое ухо, из которого торчат клочья грязных седых волос.

— Колотушкой. Ею колья забивают... старички!..

Падаю ему в ноги.

— По головам небось? Ты погоди, после поклонишься...

Слушайте вы, не галдите: они колотушкой их! По головам, говорю, или как?

— По головам и по другому месту... Простите меня, глупого!..

Старик дробно смеется, будто чистит ножом сковородку, и кашляет, обдавая гнилым запахом, треплет сухой рукою с шишками на суставах по спине меня и шепелявит:

— Ишь ты — ловкий какой! Как хлопнешь, так и готова?

— Да-а...

— Ловкий, шельмец, ловкий!..

Нанизанные на тонкую бечевку куски мяса нам обматывают вокруг шеи, пухом и перьями посыпают головы и ведут рядком с одного конца деревни на другой и обратно. Улюлюкая, звонко бьют в старые ведра и заслонки, кричат, забегая к самому лицу: «Утятники! Воры!..», заставляют низко кланяться миру, позорят нас...

А меня клонит сон: усталые ноги еле передвигаются, голоса толпы, дикой и жадной до зрелищ, звон посуды и брань кажутся чужими, далекими.

...Ночью загорелся у старосты сарай. Опять крики, звон и топот. Огонь с сарая перебросился на скирды хлеба, оттуда — на избы и клети. К голосам людским и визгу присоединился набат, рев скотины, плач детей...

Прижавшись к забору, я смотрю на зарево и тихо плачу...

Постарел я за этот день.

КНИГА ВТОРАЯ

ОТРОЧЕСТВО

I

В марте месяце, перед жаворонками, приехал к нам Созонт Максимович Шавров, скотопромышленник и богатый человек из Мокрых Выселок.

— Хозяин дома? — постучал он в двери.

— Дома, дома,— отозвались наши.— Заходите — гостем будете.

В избу вошел коренастый мужик среднего роста, широкоплечий, с небольшою лысиною, краснобородый.

Отец, как ужаленный, соскочил с голобца, оправил рубаху и, моргнув сестре, поздоровался с ним за руку. Мать поспешно сдернула столешник со стола, немытые ложки и солоницу, вытерла тряпицей лавку, говоря умильно:

— Присядь покуда что, присядь, миленочек...

Мотя побежала за водой на самовар.

Вздыхая и покашливая, Созонт Максимович неторопливо снял тулуп, оставшись в новом романовском дубленом полушубке с вышивкою на груди и в коломенковой, с махрами, подпояске.

— Старик, чайку бы гостю-то,— несмело вымолвила мать.

Отец весело ответил:

— Девка побежала уж,— и опять незаметно моргнул матери, щелкнув себя под подбородок. Мать схватила из угла стеклянную посудину.

Гость сказал отцу:

— Я насчет должку, Лаврентьич... Чисто смерть — расходы одолели, подати, страховка, жеребца вот купил... ты уж как-нибудь похлопочи, пожалуйста, а в случае чего — опять ссужу...

Отец, глядя в окно на серую в яблоках лошадь, запряженную в легкие козыри, проговорил, вздыхая:

— Лошадка — важная... Что твой князь теперь ты ездишь, Созонт Максимович.

Глаза гостя заблестели удовольствием, но сейчас же спрятались под густыми бровями, и он сокрушенно ответил, оправляя бороду:

— Куда уж нам!.. Намедни князь-то — с колокольчиком и кучер в перьях... Не угнаться нам за ним, за князем-то...

Созонт Максимович — приблудный сын Максы Шаврова. У него — ветряная мельница, лавка, маслобойня, крупорушка и денег несметное множество. Половина Осташкова, окрестные деревни и своя — Мокрые Выселки — должники его. При старом князе Дуроломе сестра Максы — покойница Мариша Барыня — была господскою любовницей, потом стала любовницей жена его — Федосья Китовна, а муж — бурмистром. Обе получали много милостей от барина, оттого разбогатели так. Князь Осташков, прежний, умер; Мариша Барыня тоже умерла; Макса теперь без ног, с виду желт и лыс, как чахлый гриб; домом управляет старший сын его Созонт вместе с братом Федором, вдовцом, тоже приблудным. Они дают деньги в рост, торгуют шерстью, льном, маслом, имеют много земли и скотины, вообще народ очень хозяйственный, первый в волости. На вид Шаврову сорок пять — сорок семь лет, а на самом деле — много больше. Он — сыт, румян и богомолен, говорит тихим, ласковым голосом, любит пошутить с девками, посмеяться, побалагурить или, как он говорит, «поточить балясины». Он шипит тогда, как селезень, и веселые, колечками, жидкие кудерцы его вьются и подпрыгивают на лоснящемся затылке, а пухлые пальцы в крупных перстнях мягко шевелятся и дрожат.

Созонт Максимович безграмотен, но должников знает, хозяйство и лавку ведет — дай бог всякому, никому никогда ни в чем не ошибается и сроки платежей не пропускает.

— Нынче к шестому тебе, а деньжат собрал пять красных, нуко-ся, подумай! — говорит он ласково отцу.— С тебя там что приходится?

— Четыре пятишницы,— кряхтит отец.

— И то никак четыре,— жмурится Шавров.— Четыре, да... Пенечку не измял еще?

Отец чешет живот и сплевывает в угол.

— Ишь ты, веник-то в пороге бросили, холерные! —

нагибается он у дверей. — Места не найдут получше, — так и суют под ногами!..

— Бабье дело глупое! — смеется гость. — Баба — что овца... Овина два, чай, было или больше? Нынче, слава богу, пенька добрая: зеленая, волнистая, как шелк... Пудиков пятнадцать вышло?

Отец, вздыхая, лезет в горнушку за табаком и кричит Моте:

— Скоро, што ли, самовар-то?

Шавров зевает, крестя рот. Ему надо узнать, цела ль у нас пенька, которая обещана за долг, а отец продал ее, не мявши, еще осенью и отвиливает. Созонт чует это, но — играет. С кутника мне видно, как кривятся его губы под пушистыми усами, маленькие, сверлящие глаза иглами впиваются в спину отца, а когда тот оборачивается, тухнут, становясь невинно добродушными, почти ребяческими.

— По знакомству я тебе копеечку на пуд надбавлю против базара, а?

— Оно коне-ешно! — говорит отец и бежит в чулан. — У нас от праздничка селедочка осталась, — ухмыляется он, — мы съедим ее за чаем-то, а то еще протухнет, грешная, — и вопросительно глядит в лицо Шаврова.

— Мо-ожно, — тянет гость, — отчего-о нельзя? С нее чаю выпьешь больше... — Обернувшись к вошедшей матери, он говорит: — Мы тут с мужиком твоим насчет пенечки толковали... Благодать у вас, Ондреевна, мочить ее в реке!.. Вон у Ведмедевских в копани-то — желтая, кургузая, как жулик, а у вас на подбор — волокно к волокну...

Мать, поставив на скамейку ногу, подвязывает оборвавшуюся лапотную веревку.

— Кабы достатки, — говорит она, вытирая нос, — весной бы рубля по три шла, а то по два с четью ухайдакали.

Отец лезет под лавку за бруском — ножик поточить, а Шавров вздыхает:

— Ишь ты, уж прода-али?.. Знамо дело — весна цену надбавляет... Жалко, что поторопились, очень жалко...

— Разве с ними сговоришь? — кричит отец, сидя на корточках. — Прода-ай, старик! Прода-ай, старик!.. Вороны!.. Я им: погодите, бабы, вот Созонт Максимович приедет — разговор у нас с ним был, а они, дубье: по-одати, Христово рождество-о!.. Черти драные!..

Мать удивленно смотрит на отца, будто собираясь

сказать: «Что ж ты брешешь, старый дьявол?» — но молчит; сестра моет чашки, я играю с дымчатым котенком Фролкой.

— Значит, та-ак,— гладит бороду Шавров,— поторопились малость; я бы много больше дал... Ну, что же делать? Сами виноваты... Ишь ты — котенок-то какой веселый! — оборачивается он ко мне.— Поцарапал, поди, руки-то?

— Нет, он легонько,— отвечаю я,— он — умный...

Созонт Максимович оправляет подпояску, пристально разглядывает меня со всех сторон и, потягиваясь, говорит:

— Слушай-ка, Лаврентьич, у тебя мальчонка-то никак пустопорожний, а? Отдай-ка, братец, в пастушонки, правое слово!.. Денег-то, чай, в доме мало — самому нужны, а я в цене не обижу...

Отец смотрит на меня и на сестру, которая пыхтит у самовара, стучит пальцами о стол и говорит раздумчиво:

— Денег, Созонушка, если по правде — совсем нету ни гроша.

Оглядев всех нас поочередно, он конфузливо смеется.

— То-то вот и дело,— разводит руками гость.

За столом, во время чая, Созонт Максимович еще раз осмотрел меня, велел подняться, потом вымолвил:

— Тринадцать цариков, хозяйские лапти, к троице — новый картуз, служить до покрова, до белых мух...

Отец вздохнул:

— Уж, видно, тому делу быть.

Распили магарыч, помолились богу, ударили по рукам. Созонт Максимович уехал восвояси.

А через неделю мать уложила мне в мешок две смены рубах, суконные онучи, гребешок и шарф, надела новый крест, дала теплые варежки и, благословив, заплакала.

— Слушайся, детенычек, хозяина, не озоруй,— причитала она.— С этаких-то пор в чужие лю-юди!..

Дом Шавровых самый видный. С середины деревушки, на широкой прямой улице, желтеют новые ворота, узкое крыльцо с лохматым ковылем, красные оконные наличники и просмоленная тесовая крыша. Через дорогу, около сарая,— кирпичная лавка под железом: «Торговлья мелкого и крупного товару», у крыльца — колодец с журавлем, левее — маслобойня.

В просторных сенях с потолком и деревянным полом нас встретила краснощекая сноха Созонта Максимови-

ча — солдатка Павла. В руках у нее глиняная чашка рыбьего студня, под мышкою — хрен. Скрипя полусапожками на медных подковках, она через плечо сказала, оглядев нас:

— Подождите на крыльце: мы обедаем.

— Кто там, Павленька? — спросил из теплушки Созонт Максимович.

— Не знаю,— дернула баба головою.— Какой-то чужедеревенский мужик с мальчишкой.

— Это мы, Максимыч, мы-ы,— отозвался отец, снимая в дверях шапку.— Пастуха тебе привез — Ванюшку! — и полез за бабой в избу.— Что ж ты стал, пойдем! — обернулся он ко мне.— Пригладь волосья-то...

Изба светлая, чистая, в два больших окна, с дерюжными половиками от дверей, по-белому. В задней стене — полустеклянная дверь в горницу, у печки шкафик для посуды, в углу — деревянная кровать под одеялом из разных лоскутков, на косяке в проволочной клетке — пара веселых перепелов, а на шестке, у блюдечка с водою, сизый ручной голубь.

За широким крашеным столом под образами — сам Созонт Максимович, рядом с ним — брат Федор, по прозванию Тырин, длинношеий щипаный журавль, за Федором — Гавриловна, жена Созонта; на конике — бабушка Федосья Китовна в повойнике, слюнявый полоумный Влас, меньшой хозяйский сын, жена его Варвара и солдатка Павла; на скамейке девка Любка, два работника и нищий.

— Пастуха-а привел? — поет хозяин, глядя на сноху.— Ла-адно, погляди-им... Садись обедать с нами... Павла, принеси им ложечки.

У всех веселые лица, хлеб — как пшеничный, соленая рыба с квасом — век бы ел. Большие начали разговаривать о конопляном масле, а я поспешно цеплял квас.

— Ешь ты, парень, за двоих, до поту,— пошутил Созонт Максимович, следя за мной. — Поглядим, какой будешь работничек.

Отец незаметно наступил мне на ногу и, конфузливо смеясь, ответил:

— С первачка-то всегда так... Еда у вас уж очень скусная!

— Поработавши как следует,— добавил Шавров.

Мужики расхохотались. Я потупился.

— Что ты оговариваешь? — сказала Китовна.— Заржали, демоны! Накорми вперед, тогда спроси и работу... Ешь, милый, не гляди на дураков,— обратилась бабушка

ко мне и подложила новый ломоть хлеба.— Тебе годов двенадцать будет?

— Четырнадцатый.

— Мелкова-ат,— покачала головой старуха.— Ну, да ничего, поправишься, бог даст... Ты ешь получше, не гляди на дураков.

После обеда Созонт Максимович, подведя меня к дверям в горницу, ткнул пальцем:

— Видишь?

В горнице стояли кованые сундуки под ковриками, на окнах, как у попа, кисейные занавески, вдоль стены — в ряд гладко тесанные березовые стулья, на двух маленьких столах — голубые скатерти с разводами, в переднем углу, сплошь заставленном угрюмыми иконами, тяжелые старинные лампадки на медных цепях с неугасимой посредине. Пахло ладаном.

— Чисто в церкви,— сказал я.

— Ходить тебе сюда нельзя, понял? — проговорил Шавров.— В чулан тоже не смей,— ткнул он пальцем, где чулан.— И в лавку не смей... Не послушаешься, отстегаю хворостиной и пошлю домой, к отцу. Ступай теперь с Любашкою поить коров.

Пока не стаял снег, я помогал по дому. Утром бегал за водой на самовар, чистил сени и крыльцо, задавал скотине корм, вил поводья к пашне, резал хворост. С первых же дней меня — не знаю почему — невзлюбила Павла. Гладкая, задорная, самолюбивая, она с утра до вечера хохотала на всю улицу со свекром, Созонт Максимычем, или с работниками, а стоило мне ненароком подвернуться, как она сжимала плотно губы, хмурилась и норовила поймать за щеку или за ухо. Сначала я крепился и, хоть больно, но посмеивался. Раз в сарае, убирая с нею сено, в шутку я схватил даже за грудь ее, но солдатка побледнела и, вцепившись в волосы, с силой ударила меня об пол. Перепуганный до́смерти, я молчал. Баба тоже не промолвила ни слова, только ноздри ее вздрагивали.

Вечером Шавров спросил меня наедине:

— Иванушка-пастушок, тебе воспу прививали аль нет?

— Как же, прививали,— сказал я.— Еще маленькому...

— То-то, ты забыл, должно быть, если маленькому.— И, грозя батогом, прошипел: — Я т-тебе, стервец, привью другую, чтобы к бабам не лез!.. Ишь, пащенок!..

Павлы и хозяина я стал бояться.

Жили мы не в доме, где семейство, а в избушке, во дворе, рядом с баней, и ходили туда обедать да ужинать, а по праздникам пить чай.

На страстной неделе Созонт Максимович привез из Захаровки товарища мне — десятилетнего Петрушу Кривоглазого — сына бедной вдовы Тонкопряхи, с виду заморенного, тщедушного, с цыплячьим личиком и хохолком на голове.

— Вот тебе помощник,— сказал Шавров.— Ты будешь пастух овечий, а ему — телят со свиньями.

Мальчик улыбнулся всем, тряхнул кудряшками и, подойдя ко мне, спросил:

— Тебя как звать?

— Ваньтя.

— А меня — Петруша, давай жить приятелями, ладно? — Он обнял меня.— Ты тоже первый раз в работниках?

Вечерами, после ужина, в избушку приходил слюнявый Влас, хозяйский сын, садился на полати и, боязливо поглядывая в окна, старательно крутил «собачью ножку». В двадцать два года он боялся при отце курить. Говорят, лет семь назад Влас был веселый песенник и гармонист, любил рядиться, ночи напролет таскался по вечеркам, а потом будто ему «попритчилось». А другие говорили, что Созонт, захватив его у выручки, ударил чем-то в темя. Парень ошалел, оглох, отвесил нижнюю губу, стал заикаться. Таким и женили его на Варваре, своей деревенской девушке, из небогатых.

Старший работник Василий, кучерявый мужик лет под сорок, садился с лаптем у шестка, Пахом, его сподручный, лез на голобец, а мы с Петрушею — на печку, к прусакам.

— Ну и что же? — начинал всегда Пахом.

Это был бездомный парень, осенью отбывший призыв, угловатый в движениях, большеротый, как лягушка, со впалыми висками и приплюснутым носом, отчего лицо его казалось плоским днищем, на котором торчали острые скулы, а хрящеватые, нечистоплотные уши, черные прямые волосы, пересыпанные перхотью, и глупая улыбка дополняли общую непривлекательность его облика.

— Вот тебе и что! — незнамо чему ухмылялся Влас в ответ, картавя, кашляя и заикаясь.

Жадные, трясущиеся, с красными от напряжения лицами, они до поздней ночи, сидя друг против друга, наперебой рассказывали срамные истории про баб, щеголяя грязными словами, отрывисто хихикали, ругались, смачно сплевывая на стену, и тянули без перерыву вонючий трехкопеечный табак.

Влас бахвалился, сколько работниц он испортил — то насильно, а то за конфеты или ситец, как они плакали и жаловались «бате». Пахом, слушая, рычал от радости, колотил ногами о помост, опрокидываясь на спину, и расспрашивал, как тот портил их, что говорил им и что они говорили.

— У Феклушки Глазовой мой мальчуган-то, с места не сойти! — говорил хозяйский сын.— Я как увижу теперь мужа, непременно расспрошу: жив ай нет, скажу, мой парень?.. У Анисьи — тоже мой, у Ховры — тоже мой...

— А свою не прозеваешь? — спрашивал Пахом.

— Моя крепкая,— крутил лохматой головою Влас.

Батрак подзадоривал:

— Я вот ее... прищемлю когда-нибудь...

Полоумный Влас таращил желтые глаза, а мы с Петрушей заливались звонким хохотом.

— Прищеми, прищеми, Пахомушка! — кричали мы.— Покрепче ее, ведьму!

— Цыц, вы, сволочи! — орал во всю глотку Влас, стуча кулаком по полатям. А потом широко улыбался:— Поди, робята, страшно, как я закричу? Небось думаете: сейчас смерть? — Помямлив, почесав затылок, говорил, обращаясь к Пахому:— А я твою прищемлю, что? Попался, сват? — и подпрыгивал, весело потирая руки.

Василий, всегда будто не слушавший болтовню, говорил, держа в зубах очиненное лыко:

— Облом мамин, у него же нету!.. Его жена еще во стаде бегает.

— А я обожду-у! — заливался Влас.— А я обожду-у!.. Попался, парень? А я обожду-у!.. Ты мою, а я твою!..

Иногда на этом все кончалось. Влас, чувствуя себя победителем, неистово кричал, махая лапами, а мы четверо катались со смеху над ним. Уверенный, что все поражены его находчивостью, он ржал еще громче, до тех пор, пока его не постращает кто:

— Старик, кажется, шатается под подворотней.

Парень бледнел, осекался и тихонько лез в угол.

Иногда же, взбешенный насмешками, Влас бросался на Пахома с кулаками, а тот, зная, что слюнтяй отцу не жалуется, бил его чем попало по лицу и голове. Влас, рыдая, выбегал на улицу.

Утром драчуны мирились. После ужина хозяйский сын опять приходил в избушку, и опять шла речь о бабах, неизменно начинаясь:

— Ну и что же?..

— Вот тебе и что!..

Изредка к нам заглядывали соседи. К срамным разговорам присоединялись ведьмы, колдуны, утопленники, домовые и разная пакость. Мы с Петрушею, тесно прижавшись друг с другу, дрожали, Василий что-нибудь мурлыкал у шестка, а на улице скрипели ветлы, зловеще дул сырой весенний ветер, трещал лед и выли на разные голоса собачьи мартовские свадьбы.

Старший работник Василий, Вася Батюшка, в разговоры не вступал ни при своих, ни при чужих людях, а при драках отворачивался в сторону. Это был степенный, молчаливый человек, читавший по праздникам святцы. У него была своя избенка в Мокрых Выселках, шестеро золотушных детей, надел земли и трегубая жена на сносях. Каждый вечер, когда на хозяйской половине тушились огни, к нашему окну осторожно пробиралась дочь его Грунька Конопатка и тихо, как собака, скребла в раму. Василий, покряхтывая, накидывал на плечи полушубок. Иногда же, не вставая с места, просто разводил руками — шорох прекращался. Девка прибегала за крупой и солью, которые воровал Василий для домашних.

Раз я захватил его в амбаре у пшена. Увидав меня, работник поспешно отскочил от сусека и стал копаться на полке с инструментом.

— Петруш, наверстку не видал тут? — спросил Вася Батюшка, гремя долотами.

— Это — я, дядя Василий; Петька у колодца,— отозвался я.

— А-а, это ты?.. Я наверстку никак не найду...— Смущенный, он неумело прятал лицо, становясь ко мне спиною.

Подойдя к сусеку, я промолвил:

— Сровнял бы пшено-то, а то ямы... догадается... Ты это для Груньки?

Вася Батюшка спросил:

— Скажешь или нет?

— Если спросят, скажу.

Он звякнул клещами, которые держал в руках.

— Дур-рак! — сказал он.

Бросив в угол клещи, заровнял гусиным крылышком пшено, а сверху потрусил мукой, будто издавна запылилось.

— Богатому имущество хочешь копить? — спросил работник, опираясь на дверную раму.— Эх ты, червь! — и в досаде сплюнул.

— Я, дяденька, ничего,— испуганно прошептал я.— Если сам не тяпнется, я не съязычу, дай бог провалиться на этом месте! — и я на все углы начал креститься.

— Обокрасть богатого не грех,— гневно молвил Вася Батюшка.— Понял? — притопнул лаптем он.

— Понял, дяденька, понял,— ответил я поспешно.— Все как есть понял: обокрасть богатого не грех!..

— То-то же... Ты куришь? На вот на цигарку полотборки.

Работник вышел из амбара.

Вечером у нас опять была баталия Пахома с Власом, опять скребла Грунька за окном и опять выходил Василий в сени, причем из кармана у него торчало горлышко пивной бутылки с постным маслом. После драки, в этот вечер особенно жестокой, пришел старик Севастьянов, ночной сторож, и рассказал, как в полночь на Казанскую, после того как он, выпив «малость», проводил гостей, нечистый дух загнал его на Каменную Лощину, за шесть верст от деревни, и как он спал там до утра в ручье, а вокруг него плясали черти, мыши, три бурых кобеля, покойница Сычиха Ведьма и Кривой Рогач, дурновский мельник. Рассказывая, старик сплевывал от омерзения, крутил квадратной головою, то и дело взмахивал руками, выл и кашлял, а чтоб крепче верили, божился, как торгаш. Петя, мой подпасок, так заслушался, что чуть не хлопнулся с печки на голобец, а я все время думал над словами батрака Василия: «Обокрасть богатого не грех».

«Почему не грех? — ломал я голову. — Почему осташковцы, стащив что-нибудь у князя, молчат, а он бахвалится? Почему конокрады и другие воры ходят по ночам и берут скотину незаметно? Потому что они чувствуют, что делают гадкое, нехорошее дело, оттого и ночь им на руку. Года два назад, даже меньше двух, меня самого срамили на все корки середь мира, а поймав с поличным,

трепали до исступления и все за то же: за уток, за чужое, за воровство... И вот вдруг в Мокрых Выселках, немудрой деревушке в шестьдесят дворов, оказался человек, кудрявый Вася Батюшка, трегубой жены муж, который походя таскает хозяйское имущество и сам себя за то похваливает, говоря: «Обокрасть богатого не грех». Отец мой и мать воровству меня не учили и, если бы услышали об этом, не признали бы за сына. Я терялся. «Есть что-то неладное в словах Василия, — думал я. — Ведь князь — тоже богач, даже не чета Шаврову, поп — тоже богач и старшина — богач; у них мужики воруют сено, дрова, копны с поля и все, что попадается под руку, однако же я еще ни от кого не слышал, чтобы на людях они оправдывали воровство».

Когда Севастьянов ушел, я спросил у Пети:

— Ты, Петруха, любишь воровать?

— Кого? — спросил товарищ, даже испугавшись.

— Пшено, масло постное, крупу... Ты воровал когда-нибудь?

Мальчик удивленными глазами уставился на меня, не понимая.

— Зачем воровать? — наконец, спросил он.— Это ж грех!.. Мне мама не велела, нам учитель заповедь читал и книжки... Я не согласен, не буду!..— бормотал он, словно подозревая меня в том, что я его сбиваю к воровству.

— Ты погоди,— придвинулся я ближе и так, чтобы никто не слышал, рассказал ему о Василии, о том, как ходит Грунька Конопатка под окно, о сегодняшнем амбарном происшествии и о поразивших меня словах работника.

— Не верь ему, Ваня! — горячо воскликнул мой товарищ, выслушав меня.— Неправда это! Он нарочно так сказал, потому испугался!.. Крест господний, он с испугу!..— Петя схватил меня за руку.— Не верь ему, ни за что не верь! — шептал он.

— Вы там что шушукаетесь, ей, орлы? — спросил Василий.

— Так, дяденька... Насчет девок разговор у нас,— отозвался я.

Пахом на мои слова залился хохотом, потом выругал нас; Василий тоже засмеялся.

— Рановато,— сказал он,— поди-ко, еще не смыслите что к чему?

Пахом ему ответил:

— Этот, как его... Кривоглазый-то, пожалуй, впрямь

не смыслит, а Ванек — пройдоха!.. Ванек облапошит Любку, вот посмотришь!..

Вася Батюшка хихикнул:

— У тебя, парень, у самого зуб на нее горит, я ведь примечаю!..

Я сказал Петруше:

— Слышишь, какой у Василья голос-то веселый!.. И не тужит... Может, вправду, греха нет? Расспросить, что ли?

— Расспроси,— промолвил Петя, но сейчас же спохватился: — Нет, Ваня, не надо лучше, брось... Мама говорила: грех. Тебе мама говорила? Ты не слушай их,— они плохие. Чуешь, как Пахом ругается? Он злой-презлой, я знаю, а Василий — хитрый... смирен, а хитрый...

Однако, несмотря на слова Петруши, я наутро спросил работника, почему не грех обокрасть богатого.

— Ты все с тем же? — нехотя ответил Вася Батюшка, и по лицу его пробежала досадливая гримаса.

— Мать меня учила, дяденька, не воровать, а ты вот другое говоришь... Я все думаю над этим.

— И я тебя не учу,— сказал Василий.

Мы месили лошадям резку. Серый жеребенок наступил работнику на ногу. Вася Батюшка, схватив полено, торчмя под живот стал бить его: от такого битья нет ни звука, ни следов, а боль сильная.

— Сокрушил бы вас с хозяином! — шипел змеей Василий. — Опостылели вы мне!..

Я молчал, стоя поодаль.

— Об хозяине ты думать перестань,— сказал работник, беря из моих рук севалку с отрубями.— Он нас сам жмет так, что аж спина трещит, понял? — Василий покраснел от злости.— А мне что ж-жалеть его, родимца? — крикнул он.— Да пусть он сдохнет, аспид рыжий!

После я заметил, что добро воруют и Пахом, второй работник, и хозяйский сын, подумал и махнул рукой: делайте, как вам угодно...

II

Пасху провели со снегом, ветром и дождями. Устроили было релья у ворот, но никто за всю неделю не катался. Прояснилось небо, и земля очистилась на Фоминой: в пять-шесть дней согнало снег из ложбин, высушило дороги, а луга одело мягкою зеленью. От земли пошел крепкий

здоровый запах, ракитки и верба унизались восковыми гусачками, зацвела душистая черемуха, как кутья, налились и разбухли березовые почки, а из надсеков в стволах потек светлый сладковатый сок.

Мокрые Выселки завозились и забегали, как муравьи. Спешно чинились сохи, бороны, телеги; с утра до вечера в кузнице гремел молот, вперемешку со смехом и возгласами.

Вдоль выгона, задрав трубой хвосты, как сумасшедшие, носились жеребята, а за ними, пьяные от счастья, ребятишки и собаки. С безоблачного голубого неба смотрело весеннее солнце, беспокойно металась скотина во хлевах, а по пашне пеленою стлалось марево.

Всем семейством с раннего утра мы чистили двор и улицу, готовясь к молебну. Одни скребли вилами навоз, бросая его в тачку; другие убирали бревна и хворост от заборов; бабы подметали, а мы с Петею, садясь попеременно на Мухторчика, возили тачку в огород. На хороших харчах товарищ за две недели порозовел, повеселел и хохотал, как стригунок, прыгая на все лады возле больших, заигрывая с Любкой, со мною и с Варварой. Шавров, глядя на работника, добродушно улыбался:

— Ишь ты, демон, вьюном крутится!

На крыльцо из душной хаты выползла Федосья Китовна, сухонькая старушка небольшого роста, очень богомольная, с темными родинками на правой щеке, разговорчивая. По привычке, оставшейся еще от крепостного права, Китовна носила высокую кичку с подзатыльником, китайчатый шугай и нарукавники, а вылинявшие жидкие косицы заплетала над ушами в два крысиных хвостика. Щурясь и блаженно расправляя косточки, бабушка покрикивала:

— Петрик! Ваня! Подберите вот тут щепочки!

Мы наперебой летели к ней и с усердием мели и чистили.

— Бабонька! — кричал Петрушка.— Милая!..— и, не зная, что больше сказать, колесом катился по двору.

— Ах вы, козлики! — смеялась Китовна.— Всякая-то у вас жилочка ходуном ходит!..— И глядела поверх крыши в голубое небо.— Березовки бы нарвали мне, ребятки!..

— Нарвем, бабонька, нарвем!.. И березовки, и хмелю, и грибов, и всего, чего твоя душа захочет! — звенел Петя.— Дай ты нам управиться, пожалуйста, всего нарвем.

День смеялся. Земля пела.

С колокольным звоном принесли из Кочек образа. На краю деревни, у околицы, где открывалось широкое поле, поставили стол под белой скатертью, на нем — чашу с водой, положили большое кропило, свечи, крест и ризы. Сотский бегал наряжать мужиков на молебен, и на солнце ярко золотились его новые лапти.

Вскоре выгон запрудился скотиной, цветными платками и разноголосым шумом. Коровы, разгребая копытами мягкую, сочную, как творог, землю, вырывались из рук; овцы растеряли ягнятишек и шарахались, как полоумные; между ними с хворостинами сновала детвора. Серый, как камень-известняк, длиннобородый пастух стоял с кнутом через плечо поодаль, собирая подаяние. Староста привез попа с причтом. Толпа сняла шапки, волной расступаясь перед ним, и под ярким солнцем заблестели, как колена, желтые и розовые плеши стариков, копнами вздымались широкие с прозеленью бороды, сурово сдвинулись на переносье брови, а губы плотно сжались. По синему небу то замысловатыми корабликами, то гордыми лебедями, то тяжелыми ледяными глыбами плыли облака, бросая пятна теней; в перелеске щебетали птицы; выгон волновался и кипел.

— Миром господу помолимся-а! — первым воскрикнул тучный дьякон, и хриповатый голос его, такой жуткий в деревянной церковке, здесь, на воздухе, среди тысячеголосого гама и рева скотины, показался надтреснутым и слабым.

Все вздохнули в одну грудь, накренились, будто замерли. От стола поднялся пахучий кадильный дым; замелькали красные увесистые руки, крестясь словно гирями; там и сям в цветнике голов пропадали пятна опускавшихся на колени баб.

Окруженный толпою зажиточных мужиков, среди которых пестро выделялся Созонт Максимович, радостный священник в золотом, слепившем глаза одеянии пел, поднимая руки к небу:

— Святителю Флоре и Лавре, молите бога о нас!

На скорую руку составленный из школьников хор торжественно ему поддакивал, а отец Гавриил, сладко довольный тем, что пение рассыпчато и по-весеннему приятно, голосисто обращался к новому святому:

— Великомучениче Власе, моли бога о нас!

Хор опять подхватывал и мягкой пеленою покрывал молящихся.

За молебном пелось много и других молитв. Слушая их, было празднично на сердце, потому что с людьми пело небо и прозрачный воздух.

Под конец, троекратно погружая в чашу сверкающий крест, священник, глядя по выгону, возгласил ликующе:

— Спаси, господи, люди твоя!

Примолкшие школьники метнули на дьячка глазами. Тот взмахнул рукою,— поле, птицы, дети, солнце и весна подхватили еще радостнее:

— И благослови-и достоя-ание тво-е!..

А священник, держа над головою руку, словно сменоцветным жемчугом кропил скотину, и в эту минуту он был похож на щедрого царя, полными пригоршнями разбрасывающего своим подданным несметные богатства и счастливого сознанием, что он всеми любим и всем полезен.

Громче всех и голосистее заливался в хоре Петя. Белые льняные волосы его шевелил легкий ветер, лицо раскраснелось, и он приподнял его немного вверх, правая рука повисла неподвижно, а тонкие пальцы левой перебирали сборки впереди стоящего чужого парня. Для уха его голос будто голос жаворонка, только громче, душевнее его, или когда слышишь вдали звонкий колокольчик, на заре особенно: луга тогда росисты, лошади по холодку бегут проворно, топот глух, а колокольчик заливается-хохочет, заливается-рыдает, то рассыплется, то вверх взметнется, то замрет, затихнет, словно притаится где-то...

Окропив скотину, батюшка пошел с Шавровым к нам. Созонт Максимович по случаю молебна нарядился в новую поддевку тонкого сукна, смазные сапоги с глубокими калошами и красную рубаху, по жилетке распустил в два пальца толщины цепочку, кудри припомадил, а затылок выбрил.

В горнице Петруша снова пел с дьячком, и так усердно и так радостно, что поп, отец Гавриил, не раз оглядывался, одобрительно качая головою. Потом причт и гости сели отдыхать, дьякон вытащил кисет с табаком, Павла загремела у шестка посудой, а мы с Петей побежали снаряжаться в поле.

— Робятушки, обождите и меня,— засуетилась Китовна.— Постойте малость, вместе выгоним.

Разостлав в воротах шерстяной пояс, а нам в руки сунув по веточке освященной вербы, бабушка с молитвой отворила двери в хлев.

— Бяшки! Шурки! Милые!.. Идите со Христом, идите прогуляться!..

Ягнята запрыгали, как мячики, овцы пугливо насторожились, блестя в темноте зелеными глазами и, склубившись, плотною стеною вышли на улицу, за ними — свиньи и коровы. Большой круторогий баран-поводырь подошел к Федосье Китовне за хлебом.

— Нету, Вася, иди так,— махнула на него старуха хворостиной.— Иди в поле, там цветочки выросли!

Баран недовольно мотнул головою и нахмурился. Выждав, когда Китовна стала спиной к нему, толкнул ее сзади.

— Экий демон! — выругалась бабушка, падая на четвереньки. — Подожди, кобель, ужо я тебе всыплю, как придешь!..

Баран топнул на нее ногою, словно говоря: молчать, убогая,— задрал голову и важно, как Созонт Максимович, зашагал к воротам.

Становилось жарко. Петя с длинною клюкою и сумочкой за плечами шел впереди. Хватая на бегу травинки, за ним толклись овцы.

— Ваня, благодать-то! — обернулся мальчик, когда вышли за околицу.

Небо было голубое-голубое. Белей снега ползли маленькие облака, а под ними упоительно звенели жаворонки. Воздух, слушая, дрожал и колыхался, как живой. Широкая ровная степь, обласканная солнцем, золотилась и млела.

— Эх ты, матушка! — воскликнул Петя, высоко подбрасывая шапку. — Милая моя!.. — и, глядя с восторгом на поля, залился, запел лучше жаворонка:

Вы зазвоньте, звоны,
Во всем чистом поле!..

Оборвав, упал на землю и, катаясь по лужку, хохотал, как колокольчик.

Полно, Ваня, тебе по лугу гулять, —

запел он, глядя на меня:

При долине соловьем тебе свистать...

Хитро подмигнув, вскочил, пускаясь в пляс, тормоша меня и приговаривая:

Мое сердце надорвалось плакучи,
На твои ли русы кудри глядючи!

В полупрозрачной синеве там и сям стоят телеги с яровым. По черной, как деготь, и блестящей пашне бегают жеребята, в бороздах копаются грачи, высоко в небе кружит одинокий копчик, пряно дышит теплая земля.

Петрушка целый день мне не давал покоя. Как разыгравшийся котенок, он метался по лугу, пел на разные голоса хорошие песни, которых знал множество, служил обедню, передразнивал собак, ворон и жеребят, а больше бегал, бегал без конца. То тут, то там между скотины мелькала его белая рубаха с красными ластовицами, румяное личико и кудрявая голова. К обеду, глядя на него, даже баран развеселился и стал прыгать и кружиться, задрав нос. Петя, глянув, закатился со смеху.

— Ах ты старый хрен! — воскликнул он и, разбежавшись, ловко перепрыгнул через Ваську.

Тот оторопел от неожиданности. Заинтересованные овцы с любопытством подняли головы. Круто повернувшись, баран погнался за Петрушей, чтоб поддать ему, как Китовне, но товарищ, выждав, когда Васька подскочил на два-три аршина, разбежался навстречу и с криком: «Вот тебе и чехарда!» — перемахнул через его голову. Баран даже закашлялся со злости, а Петруша растянулся тут же рядом, притворившись мертвым. С налитыми кровью глазами Васька покружился, словно ястреб, над приятелем, понюхал ноги, поглядел победоносно на овец и, торжествующий, потрогал Петю за рубаху копытом.

— Ты что делаешь, разбойник? — закричал товарищ, вскакивая на ноги.

Насмерть перепуганный, баран шарахнулся в сторону, сбил ягненка, сам споткнулся, упершись лбом в бок коровы. Та пырнула его, баран бросился в лощину за свиньей и, стоя там, фыркал и сердито отдувался, с ненавистью глядя на Петрушу, а мы катались по траве как сумасшедшие.

— Теперь он мне житья не даст, — захлебывался Петя.

— Да, теперь держись, парняга, — вторил я.

Когда смех улегся, приятель посмотрел на солнце:

— Время есть. Измаялся я с ним вчистую...

У ручья мы разломали на кусочки затвердевший хлеб и, обмакивая его в ледяную воду, принялись обедать. Между делом Петя мастерил себе тростниковые дудки.

— Сейчас все овцы в пляс пойдут, — засмеялся он.

С косогора по глинистой пашне в синей нараспашку

рубахе и синих портках, с соломенным рыжим лукошком через плечо, к нам спускался худощавый низкорослый мужичонка.

— Робята, спички у вас нету? — стоя против солнца и глядя на нас из-под руки, кричал он тоненьким бабьим голосом.

— Есть, как нету, — отозвался я. — Пастухи — и чтоб без спичек?

Мужик сполз к ручью, бросил на траву лукошко, вытер подолом рубахи потное лицо в красных угрях.

— Чьи вы? — спросил он, щурясь.

— Боговы, — сказал Петруша.

Мужик ухмыльнулся.

— Видно, богатеевы: скотина-то его...

Опустившись на колени и захватывая полные пригоршни прозрачной, как стекло, воды, он начал шумно, с наслаждением, плескать себе в лицо, приговаривая:

— Вот так здорово!.. Вот так разлюли-малина!..

Смастерив три дудки, Петя лег навзничь и, держа их наготове между пальцами, весело запел:

Соловей, мой соловей, соловей мой батюшка!

Приударил в дудки — те согласно запищали.

Мужик оглянулся.

— Ишь ты, брат, — забавник ты!..

Соловей, мой батюшка, залетная пташечка!..

— Ого!

Залетная пташечка — дальняя милашечка!

Поспешно вытирая руки, мужик суетливо семенил ногами, повертывался во все стороны, сопел и дергал себя за рубаху, наконец, усевшись к Пете на зипун, промолвил:

— Ну-кось, дай мне подержать маненечко.

— Разве можешь? — обернулся тот.

— Коли-сь баловался. — Мужик улыбнулся в сырую бороду. Осмотрев внимательно язычки, он продул их и, выдернув из головы пару волос, подложил туда.— Вот как надо — так... Рожка нету?

— Нет.

Мужик рассеянно поглядел на небо, надул щеки, мы притихли... Вдруг под нашим ухом заиграли жаворонки. Петя быстро приподнялся, остро впившись взглядом

в пальцы замухрышки. Жаворонки смолкли... В дудках кто-то засмеялся.

— Ах, ты!..

Мужик сидел неподвижно, прикрыв глаза желтоватыми ресницами, а в дудках ворковали голуби, пищали молодые воробьи, плакал ребенок...

— Погоди... Ты... как же это? — Петя весь подался к замухрышке, лицо его дергалось, а руки теребили лапоть. — Ты постой... Ведь это... Слушай!.. Дяденька...

Как у Дуни много думы,
У красавицы забавы!.. —

взвизгнул мужичонка. Дудки подхватили, — понеслась забавно плясовая, но сейчас же оборвалась.

— Будет! — вытерев губы, мужик передал Петруше дудки. — Надо идти сеять — вечереет.

Крякнув, он заковылял к своей телеге; с косогора обернулся:

— Робята, что ж вы спички-то мне, а? — и вытащил из-за онучи глиняную трубку с выщербленным краем.

Петя сидел неподвижно.

В полверсте, по старому жнивью, пастух прогнал общественное стадо.

Небо розовело. Зажужжали комары.

— Хочешь, я к тебе в работники пойду? — поднялся Петя, но мужик уже шагал по пашне, широко расставив локти, маленький и серый, с круглою заплатой на спине.

III

Шавров сидел на бревне сзади сарая. Солнце золотило его бороду, играло ясным козырьком новой фуражки, а он весело посмеивался, глядя на поденщиц, мявших на гумне пеньку. Грудастая девка, с серыми навыкате глазами и с губами, похожими на красные ломти сырого мяса, взмахивая билом, через плечо кричала ему что-то хриповатым голосом, а хозяин тянул шею, глядя ей на икры. Тут же толклись Любка с Павлой, Тонкопряха, две соседки молодайки и Гавриловна.

— Пастыри, вы что же с этих пор? — увидел нас Созонт Максимович. — Солнышко-то еще где? В другой раз так не делайте, а то я вас кнутом!

Пахом со Власом насыпáли семена в телегу. Вася Батюшка возился с хомутами, Федор Тырин поил лошадей.

— Ну, что там, сухо на полях-то? — буркнул Федор, обращаясь к Пете.

— И-их! — воскликнул мальчик. — Троица господня!

Федор улыбнулся:

— Мать-то узна́ешь, ай нет? Эвон тащит снопы!..

Петя бросил сумку и стремглав пустился к Тонкопряхе.

— Пришла? Пришла?.. Пеньку тут мнешь?.. А мне не скучно... Мне тут весело... Пришла?..

Вдове Тонкопряхе, матери Петруши, было лет под сорок. Из себя она была высокая, худая и костистая, как бердо, с плоской грудью, загорелым лицом и корявыми руками. До семнадцати лет, девушкою, Дарья Тонкопряха круглый год скиталась по работницам и, кроме слез, нужды, попреков и насмешек, не видала ничего. Живя одно лето у попа в кухарках, она полюбила бондаря соседа, и тот ее полюбил, но у Дарьи не было новой сибирки и «котов» для праздника, а отец справить, по бедности, не мог. Бондарь с матерью согласны были взять ее и без сибирки, но отец его уперся, — счастья Дарья не узнала. Выдали ее в своей деревне через год. Бондарь запил и уехал на Украйну. Дарья поревела дня четыре, повалялась у отца в ногах, но пора была весенняя — горячая: надо было полоть просо, огурцы, опахивать картофель; Дарья торопливо принялась за дело, лето маялась, а к осени привыкла. Свекровь Дарью полюбила, муж был тихий и приветливый, жизнь наладилась и потекла в согласии. Иногда лишь, прорываясь, Дарья кляла свою «долю», стискивала зубы и тряслась, как порченая.

Потом появились дети, новые заботы, думы, радость, плач и смех. Сердце Дарьи отогрелось. Словно за те муки и нужду, что преследовали бабу с малых лет, кто-то сжалился над нею и разгладил детским писком и вознею на лице ее суровые морщины; кто-то ласковый шепнул ей на ухо приветливое слово, от которого она повеселела.

Дарья замужем жила пятнадцать лет, вырастила шестерых детей-красавцев, но в проклятый черный год холера всех скосила: свекровь, мужа и ребят, кроме маленького трехлетнего Пети.

Всю любовь, всю ласку и всю нежность, что остались в больном сердце, перенесла Дарья на последнего ребенка, но силы прежней не было: они нуждались. С пяти лет уж Пете приходилось ходить по кусочки, когда в доме не хватало хлеба.

Дарья билась, как в тенетах, бегая поденщицей, а мальчишка рос веселый, бойкий, словно молодой заяц. На шестом году сосед раз взял его в ночное, но не доглядел: Петя близко подошел к стреноженной кобыле, та ударила его копытом по лицу и повредила правый глаз. Окровавленного и насмерть перепуганного, он привез Петю в деревню, обмыл голову, залил березовкою глаз, дал крендель и велел сказать, что Петя сам ушибся. Мать пришла с работы вечером, когда ребенок спал. Увидав на нем повязку, разбудила, и когда Петя, с заплывшим сине-багровым пятном вместо глаза, приподнялся на постели и горько заплакал, Дарья ахнула и ночь каталась на полу безумною. Петя окривел.

К Шаврову попал он так же, как и я, — за долг. Созонт Максимович ссудил Дарье зимою муки и картошек и так же, как у нас, приехав за деньгами, приглянулся к мальчику, поговорил, а после выпросил у матери стеречь телят. Дарья сперва отказала, Шавров рассердился.

— Им — как людям, — говорил он, выходя из хаты, — а они — как змеи.

Не простившись, хлопнул дверью и уехал.

Оставшись наедине, Петя упросил мать отпустить его в работники.

— Что мне сидеть сложа руки? — говорил он.— Я большой, десятый год: кормить надо тебя...

Мать заплакала, но Петя был в отца — настойчивый, и Дарье пришлось согласиться. Снарядившись, она сбегала к Созонту; Шавров поломался, но принял...

Вечер был приветливый, душистый, радостный. Сине-голубое небо прослоилось тонкими летучими полосками облаков, развернувшаяся верба чуть-чуть шелестела, коньки крыш и крылья мельницы порозовели.

У амбара Пахом с хозяйским сыном зашпиливали семенной овес. Пахом, держа в руках гвозди, вполголоса, скороговоркою что-то говорил Власу, ударяя кулаком то по вязку, то себя в грудь, крестился на восход, а Влас, как бешеный, бегал вокруг него и хрипло через силу выдавливал:

— Т-ты это врешь!.. Я... я понимаю!.. Св-волочь!.. Вот увидишь!

При нашем приближении Пахом смолк и, встав на колесо, уперся коленом в грядку, натягивая на себя кромку веретья.

— Подтолкни оттуда, — бросил он Власу. — С передка толкни, куда ты?.. У-у, бестолочь поганая!..

Влас свирепо метнул на него мутными глазами.

Обнимая сына, Тонкопряха удивленно посмотрела на мужиков.

— Что, забавно? — засмеялся Петя. — Это он его ярит. У нас ведь каждый божий день такая склока: поругаются, а после драка, потом — мирно, завтра — сызнова...

Пахом и Влас, зашпилив воз и увязав его поводьями, торопливо пошли в крупорушку.

Этим вечером у нас было событие.

Управившись с хлопотами, сели ужинать на крыльце.

Созонт Максимович, примостившись рядом с толстой сероглазой девкой-поденщицей, шутил над Павлой, которая злилась и швыряла как попадя ложки; Китовна клевала носом, Федор Тырин чавкал, опустив глаза, Варвара, сидя между мужем и работником, скупо улыбалась, а Василий резал хлеб.

Подали травяные щи с убоиной.

— Как, Дарьюшка, овсы у вас еще не сеют? — начал хозяин, зачерпывая из деревянной солоницы пол-ложки крупной серой соли.

Пахом завозился и хихикнул. Варвара подвинулась.

— Поехали, — сказала Тонкопряха. — Вся почти Захаровка поднялась.

Вдруг побледневший Влас с размаху, в то время как Варвара подносила ложку ко рту, ударил ее по лицу. Ложка щелкнула о зубы и кусками разлетелась в стороны.

— С-сучка! — завопил он. — Потаскуха!.. Д-дьявол!..— и, сорвав платок с головы, поволок ее за косы в сени, пиная в грудь ногами. — Попалась, кляча!..

Все это произошло так быстро и неожиданно, что в первую минуту все только растерянно смотрели друг на друга бессмысленными, осоловелыми глазами. Тонкопряха вытянулась вверх и стала на полголовы выше мужиков, Гавриловна раскрыла рот, Федосья Китовна сморщила лицо и виновато заморгала, толстая девка втянула голову в плечи и сгорбилась, Созонт Максимович покраснел и тоже съежился, а остальные, за исключением Павлы, криво улыбавшейся и с любопытством посматривавшей на возню, затихли, онемели.

— Мам-ма! — первым взвизгнул Петя, бросаясь к Тонкопряхе.

И голос товарища был сигналом. Опрокидывая чашки,

кувшины и кринки с молоком, топча ложки и хлеб, падая, сопя, галдя и воя, все бросились в сени, к Власу, наваливаясь грудью один другому на спину.

Но Созонт Максимович вытолкал всех на крыльцо и, взяв в руки тяжелый водонос, ударил склонившегося Власа по затылку. Сын, как гриб, свалился на пол, выпустив из рук Варвару, которая по-собачьи поползла в темный угол, оставляя за собой кровавый след.

— Ты за что ее, проклятый? — визжал Шавров, подпрыгивая. — Тебе кто ж такую волю дал охаверничать, а?

Ослабевший Влас закрыл лицо руками.

— Спуталась она вот с этим, — указал он на Пахома.— Я учу ее... Блуди со мной, с ним не надо... Он себе пускай найдет такую, с моей нельзя... — И, снова тыкая рукою в сторону работника, добавил: — Говорил он нынче мне об ней, а сам — смеется. Я ее опять когда-нибудь по ложке...

Влас раскис, вспотел, стал заикаться. Тонкопряха вытирала слезы. Федор, злобно глядя на работника, тер живот ладонью. Пахом нагло скалил черные гнилые зубы.

— И придумает же, пес! — всплеснул он длинными руками. — Спуталась, грит, с этим! Девок, значит, других нету для меня? Уважил, Власушко, уважил, нечего сказать!.. Отвалился бы мой язык по самое горло, если я сбрехнул ему хоть слово!.. Ты ему не верь, Максимыч, не такая она баба, чтобы ёрничать, а ежели смеяться... что ж, над ним ведь все смеются, над слюнявым...

IV

Нанимались мы пасти скотину: я — овец, товарищ мой — телят со свиньями, но только из этого ничего не вышло: разговор шел, а дело повернулось наизнанку.

— Барин удалой, — сказал мне после ужина Созонт Максимович, — завтра снаряжайся с мужиками боронить.

— Я, дядя, на Мухторчике! — воскликнул Петя.

— Ты пасти скотину будешь,— сухо бросил Шавров.

Рано утром земля еще с изморосью, воздух свеж, густ и сочен, запахами трав спросонок пьянит голову на лугах цветистая роса, деревья — как живые, солнце красно, бодро и лучисто.

Бороны шуршат, подскакивая на шершавой, в колеях, дороге, лошади идут понуро. Пахом гнусит песню. В поле гам от разных пташек, надсадившиеся за ночь дергачи хрипят, цветы шевелятся.

— Сподручного видишь? — кивает кнутовищем Вася Батюшка.

Я смотрю налево, за овраг: по глинистому скату прошлогоднего жнивья бегает Петрушка за теленком. Овцы, как вытряхнутый из мешка горох, рассыпались по парине, коровы сошли вниз, к ручью, телята лезут к зелени. Петя машет на них палкой и свистит.

— Эй, Петру-ух-ха! — крикнул Влас. — О-го-го!..

Но мальчик скрылся за бугром, должно быть, не расслышав.

— Угоняют его за день-то, — бурчит Василий.

— А не брался бы пасти, — смеется Влас. — У нас, брат, не шути, а то подавишься.

— Мы это знаем — шутки плохи... На себе видали... — Вася Батюшка полез за табаком. — Мы это знаем.

О сошник позвякивает палица. Задние колеса на новой оси скрипят и плачут. Рябко́ с Волчком гоняются за сусликом.

— Б-бери его, бери разбойника! — кричит Пахом. — Грызи до смерти!..

От утренней зари и до вечерней, в течение двух недель, мы без отдыха сеяли яровое. Под конец все истощились, зачерствели, стали медно-красными от солнца, а от ветра лупленными. Вечером ломило ноги, в ушах стоял глухой шум, глаза обметались разной болью, покраснели, заслезились, по утрам слипались; потрескавшиеся губы и руки саднило. Работники стали злыми, били чем попадя лошадей, ругались скверно.

Весеннее солнце изменило и Петрушку: беленькие кудри его стали рыжими, скатавшись в войлок, лицо — шелудивым, руки — в цыпках, походка — вихлястая, как на ходулях. Стадо — голов в девяносто — было ему не под силу, мальчик возвращался домой изнуренным до последней степени, со следами слез на худеньком лице.

Загнав по хлевам скотину, мы бежали с ним в избушку, разувались, смазывали руки и губы свежим гусиным салом и, обнявшись, засыпали без ужина, а утром чуть свет приходил Созонт Максимович, крича:

— Енаралы, не-ежиться оставьте: время на работу!

Чертыхаясь, Вася Батюшка вздувал моргасик. Павла приносила чугун кашицы, Пахом щипал ее, а мы, как куры, тыкались под лавками, отыскивая обувь.

Обессилевший Петя часто засыпал, сидя с онучею в руках.

Его били, а он плакал.

Наконец, Федор сказал:

— Нынче за последками поедем.

— Уж давно пора — душа вся запеклась, — вздохнул Василий.

Обивая палицу в последний раз, Пахом выругался, Василий с Федором перекрестились, я подбросил шапку с радости, а Влас промолвил: «Отдых!», поглядел на солнышко и тоже выругался, говоря: «Ишь как припекает, пахать бы тебя, черта, на денек, так не разгулялось бы».

После обеда Пахом, укладываясь отдохнуть у колеса, процедил мечтательно, держа в зубах окурок:

— На лето беспременно наймусь к Микольскому барину... Эх, и жисть там, братцы, — чистое раздолье!

Никто ему не ответил. Свертывая трубкой дерн под изголовье, он стал на коленки и примолк. Я уткнулся рядом. От работы ли, иль так раздумье взяло, но мне вдруг взгрустнулось. Вспомнились домашние, которых я не видал недель восемь—десять, своя деревня, жизнь наша бессвязная, убогая, и мысли, словно потревоженные осы, стали жалить сердце.

«Как они теперь там? Бросили и не заглянут, рады, что с рук сбыли? Трудно здесь: чужие все, и все какие-то жадные, воры... Петю мучают, в семье согласья нету... Ни за что пропасть придется...»

Потом все заволоклось туманом: не то я уснул, не то какая муть залезла в голову и опамятовался только часа три спустя от внутреннего холода и разговора.

— Да-а, ты, брат, избалован. — Прислонившись спиною ко втулке, Вася Батюшка вертит цыгарку. — Ишь ты, с каких пор!

Пахом, лежа на спине, смеется. Солнышко слепит мои глаза. Я прислушиваюсь.

— ...Мне тринадцатый шел, вот не хуже этого, — Пахом кивает на меня, — а он — старше года на три... Лопоухий такой, длинный,как слега, из училища прогнавши...

— Ну? — сипит Василий.

Пахом приподнимается и, захлебываясь от восхищения, рассказывает о том, как он с барским сыном издевался над полешками.

— Осенью штуки четыре пошли домой с прибылью, — смеется он, закидывая за голову руки. — Беспременно закачусь к Микольскому, холера его слопай!..

Посмотрев на Федора, понизил голос:

— Тут, что ли, достанешь? Тут, брат, свой жеребец стоялый... Свят, свят, свят, а глазом под подол к снохе, фуфлыга!

Дни шли, и чем больше я присматривался к младшему работнику, чем больше слушал его скверные слова о бабах, тем казался он мне гаже, противнее. Два случая, происшедшие вскоре после пашни, окончательно заставили меня возненавидеть его.

Пахом любил шутить над Петей. Когда мальчик, еле держась на ногах от усталости, пригонял стадо домой и бежал скорей прилечь, Пахом совал ему в нос табак, тертый чемеричный корень или, размотав оборку на ноге и привязав ее концом к столу, орал над ухом:

— Петька, загорелись!

Мальчик испуганно вскакивал, бросаясь к двери, оборка дергала, он спотыкался и падал, безумно тараща единственный глаз. Пахом весело ржал, а Петя с разбитым лицом или коленями беспомощно и горько плакал.

Другая шутка у него была такая: осторожно разув товарища, Пахом снимал с него штаны, руки связывал назад, а лицо мазал сажей, потом звал в избушку Павлу с Любкой и соседских девушек.

— Где твои коровы? — неистово кричал он, подходя вплотную к сонному Петрушке и хлопая его по спине.

Тому, может быть, и в самом деле снилось в эту пору, что он в поле со скотиной и что стадо его лезет в хлеб. Перепуганный, он схватывался с места и кричал:

— Арря! Гей вы! Ф-ф-фе-ить!..

Но взрыв хохота и визг девиц приводили его в себя; с минуту он простаивал как истукан, ничего не понимая, а заметив свои голые ноги, краснел до корней волос, дергал связанными руками, умоляя:

— Развяжите! Развяжите!..

Прибегал сияющий Влас. Петю тормошили во все стороны, припевая:

— Беспорточный галяган, свою мать залягал! Беспорточный галяган, свою мать залягал!..

Подымали рубашонку, обнажая тело. Петя корчился, как будто его кусали миллионы ос, стонал, съедаемый стыдом, и жалобно молил, плакал...

Раз Пахом подслушал разговор: Петя с увлечением

рассказывал мне о своей маме, о том, как она учила его, пятилетнего, Христа славить.

— Твоя мать-то знаешь? — перебил его работник, широко осклабившись: — Мать-то твоя с солдатом хромым живет.

— Неправда! — горячо воскликнул Петя.

— Вот тебе — неправда, я сам видел, — и Пахом стал говорить о Тонкопряхе срамные слова.

Мальчик залился слезами.

— Врешь ты, врешь! — твердил он. — Разве можно маму обижать: она хорошая!..

А Пахом грозил, что, как только она придет к Шавровым, он утащит ее за сарай.

От обиды и слез Петя всю ночь не уснул.

— Я тебе говорил, какой он нехороший, — прижимаясь ко мне, шептал мальчик, — он даже себя не любит...

...Установился обычай: день я пас скотину вместе с Петей, вечером с Пахомом уезжал в ночное.

Работник, спутав лошадей, выбирал между кочек удобное место, укрывался с головою свитой, засыпал, а я должен был всю ночь приглядывать за лошадьми.

Однажды он спросил меня:

— Эй ты, Загроцкий, Дуньку Кулакову знаешь?

— Нет, — ответил я, — где она живет?

— Это не человек, — сказал Пахом. — Хочешь, научу?

Я закрыл глаза.

— Попробуй, дурак, потом спасибо скажешь, — красный и свирепый, прохрипел он сквозь стиснутые зубы.

Я замахал руками. Пахом выругал меня овцой.

И с тех пор мне стало противно смотреть на лицо его и на одежду. Я не переносил его хриплого голоса, тонких кривых ног, костистой шеи и спины; мне до ужаса стали омерзительными его серые глаза, большие, желтогрязные, как у старой лошади, зубы, скуластое лицо и жесткие, прямые, словно проволока, черные с отливом волосы.

Не было еще человека, которого бы я в эту пору ненавидел так сильно, с тошнотой, с брезгливостью и которому бы хотел так много зла и самых жестоких несчастий, как Пахому.

Моя злоба на работника дошла до того, что я через силу ел с ним из одной чашки, брезговал его вещами, портил их и подбивал к тому Петрушу. Но и это мне казалось недостаточным.

— Дяденька, — сказал я раз Шаврову за обедом, — меня этот, — указал я на Пахома, — гадостям учит.

Бабы не поняли и вопросительно смотрели на меня, Влас хохотал, подпрыгивая на скамейке, Вася Батюшка потупился и стал ковырять ногтем корочку хлеба, а Пахом покраснел, как кумач, и заморгал глазами.

— Бреши, сволочь! — крикнул он.

— Нет, я не брешу: помнишь, у овса в Телячьих Выпасках, забыл? Ты еще ругал меня в ту пору...

Меня затрясло от злости.

— Ты и вор к тому же, и Варвару научил избить, ты — самый нехороший человек, ты — гадина!..

Шавров прищурился.

— Дело!.. Лошадей не портит? Не заметил?

— Что вы, бог с вами, Созонт Максимович! — прерывающимся голосом проговорил Пахом. — Врет он, супостат!

Хозяин отрезал ломоть хлеба, собрал крошки со столешника, вытер красным платком потную лысину и принялся за щи.

— Его дело,— молвил он, прожевывая кусок мяса.— Ты живи по-своему: пройдох не слушайся.

Больше никто за весь обед не сказал ни слова.

— Я т-тебе припомню, — пригрозил Пахом, когда мы вышли в сени. — Я тебе припомню, по гроб жизни не забудешь вора!..

Началось преследование. Отношение к Пете резко изменилось к лучшему. Работник стал ласков, заигрывал с мальчиком, наделал ему разных дудок, подарил рожок и песенник, а «шутки» с табаком, чемеричным корнем и оборками перенес на меня. К ним Пахом прибавил мелко стриженный конский волос. После одной из таких понюшек я чуть не сошел с ума. Прямо из поля, где мы ночевали с ним и где он угостил меня сонного своим снадобьем, я в слезах и крови ушел в Осташково к отцу, заявив, что жить у Шавровых я больше не могу.

V

Наши спали. Я обошел кругом двора, постоял под окнами, тихонько постучался.

— Кто там? — выскочила мать.

Я залился слезами и прошел в чулан, уткнувшись лицом в прядево. Боль в носу и приступы надрывистого чи-

хания все еще не прекращались, туманя голову до ломоты.

Мать затряслась, думая, что случилось бог знает какое горе, торопливо зажгла лампу и завыла, как волчица, разбудив отца и Мотю, и все теребили меня за плечи, испуганно шепча:

— Ты что?.. О чем?.. Ай что неладно?..

Когда я поднял лицо и мать увидала на нем кровь, она шарахнулась и выронила лампу: стекло раскололось, загорелась посконь, смоченная керосином. Отец бросился тушить, Мотя закричала: «Ох, никак горим!» Я ударился на улицу.

— Погоди, Ванюшка, обожди, сыночек! — закричала мать, спотыкаясь в темных сенях.

Прибежали перепуганные мужики соседи, но отец уже залил и затоптал огонь. Тогда стали все ругаться: одни — Мотю, другие — отца, а некоторые подходили ко мне, брали за подбородок и спрашивали:

— Кто это тебе нос расквасил — отец или сам?

И, усевшись на порог, под звездами, достали кисеты и стали вертеть цыгарки, позевывая и скребя ногтями поясницы, а я лег на залавке в избе, укрывшись Мотиным платком. Покурив, вошел, кряхтя, отец. Сестра полезла на лежанку. Мать поставила на стол черепок с топленым салом, сделала фитиль из ниток и вздохнула. Прокричали петухи...

Каганец коптит; по грязным стенам прыгают уродливые тени. Жужжат и бьются в стекла потревоженные мухи...

Отец долго возился на печке, поправляя подушку, стучал ухватами и лапотными колодками, потом тяжело засопел, заурчал, зачмокал... Надо мною взводами шныряют черные, блестящие, с наперсток величиною, тараканы.

Мать осторожно подошла к изголовью, наклонившись, шепчет:

— Ты спишь?

Я закрыл глаза. Она бережно провела шершавою рукою по моему лицу, поправила платок, поцеловала в щеку и, присев, стала ласково перебирать мои волосы. Какая-то нежная теплота разлилась по телу, я еще плотнее прикрыл веки и тихо и плавно стал куда-то опускаться, но мать закашлялась, сон торопливо спрятался. Она стояла у шестка, опершись рукою на горнушку, другую прижимала к сердцу. Кашель был со свистом, ее всю трясло...

Каганец попрежнему мерцал, и тени прыгали, и бились

мухи. Два сверчка, один из-под заслонки, а другой еще откуда-то, как пьяные, орали на всю избу песни то согласно, то вразброд...

Мать поглядела на закисавшие на шестке хлебы, напилась квасу и, шепча что-то под нос, опустилась на коленки у стола.

Пропели вторые петухи. На конце деревни, между Драловкой и Заверинхой, ночной сторож бил в железную доску. Выли собаки.

— Батюшка!.. Желанный!.. Отча наш, жи если на небеси, воля твоя, царство твое, ласковый мой, пожалей нас, ради бога! — громко зашептала мать, глядя на иконы и неуклюже складывая потрескавшиеся пальцы для креста. Голос ее тороплив, сух и срывается... — Пожалей детишек малых, голубеночек!.. — Мать смотрит на меня; глаза ее блестят. — Дожить бы, когда подрастут они, освоятся с нуждой, привыкнут к бедности, чтоб не заглохли безо времени... Поставь их на ноги, мой милый... Хлеб наш насущный подай нам... Помяни родителей во царствии твоем...

Мать смотрит на руки.

— Ондрея... Катерину — отца с матерью... стариковых — Онисью с Лаврентием... ребятишек наших... — Она задумывается и считает по пальцам: — Акимушку, Назара, Устю, Митеньку... — И хрипит сквозь слезы: — Двоих... забыла... Помяни их так, ты знаешь... Дай им радость на том свете — в рай пошли их, в пресветлое местечко, в ра-ай!..

Она прижимает к груди руки, вытягивает шею, подается вперед и бормочет глухо, с болью:

— Прогневали мы тебя, спаситель, не взыщи, пожалей нас — больше не к кому приткнуться... Одолела бедность, за что ни возьмись — нужда, раззор... Корова вот решилась... На все нужны деньги, а у нас их нету, свечек тоже нету и ладану нету... Прости!.. Обожди до новины, страдалец наш... Тебя ведь тоже злые люди мучили... В ладонь-то гвозди, ну-ко!.. Казанская божья матушка! Святитель Миколай!..

По лицу ее ползут скупые, еле видные слезы. Оно дергается, словно слезы эти жгут лицо, как пламя, выедают старые, опухшие глаза... А губы все шепчут, все шепчут... Голова трясется и падает на грудь, руки непроизвольно хватаются за ворот рубашки, который как будто начинает душить... И не крестится уж... Стоит, вся вытянувшись, на

коленях, а по щекам — слезы, слезы... В рот лезут, капают на землю... И мутные такие — как смола, накипевшая на сердце...

Когда я проснулся, мать топила печку. В окнах золотилось утро. Сестра умывалась над лоханью. Около нее крутилась радостная Муха, наша собачонка. Было еще рано. По избе клубился едкий дым от конского навоза, которым топили печку, на столе дрались цыплята.

— Мама, я пойду к обедне, — обернулась Мотя.

— Ну дык что ж, ступай, — сказала мать.

К Мухе из-под голобца подкрался желтенький котенок, посмотрел на всех, утерся лапой, раздул хвост и прыгнул к ней на спину. Муха взвизгнула и бросилась под стол. Перепуганный котенок тоже подскочил, как будто наступил на раскаленное железо, потом вцепился в печной столб и, как по лестнице, забрался на макушку, к потолку. Дым застлал его, котенок начал фыркать.

— Где вы нового котенка взяли? — спросил я, смеясь.

— Ты проснулся? — улыбнулась мать, бросая ухват и подходя ко мне. — Вставай, уже давно телят прогнали... Отец никак за рыбой побежал — уху будем хлебать для праздника.

— Котенка-то?.. — спросила Мотя. — Ему ногу отдавила кованая лошадь.

— Она скоро полну избу натаскает всякой дряни, — перебила мать. — Ребятишки его мучили, она возьми — ударь какого-то за эту пакость, а ее срамили на всю улицу... Он, правда, весе-еленький, игру-ун, — переменила мать голос. — Ишь фырчит, кобель борзой!.. Давала ему есть-то?

— Хлебушка дала, — сказала Мотя, утираясь.

— Третьёводни выскочил на двор, паршивец, — распевала мать, гремя посудой, — да и в стаюшку, к мерину, а он ему ногу отдавил... Уж так-то жалко, так-то жалко!.. А того, Фролку дымчатого, — яйца стал он таскать, так старик пришиб... Длинный вырос без тебя-то, уши вострые, глаза большие, такой окаянный — чисто смерть!..

Ловя одним ухом материну болтовню, я слежу из-под платка за Мотей, и мне кажется, что с марта месяца, с тех пор, когда отец отвез меня в работники к Шаврову, прошло не два с малым месяца, а много-много лет, и за это время сестра выросла и возмужала. Передо мною стояла

не та Мотя, которую я привык с раннего детства, несмотря на разницу в наших годах, считать своей ровней-другом, бил, смеялся и передразнивал, вместе плакал над писанием и пел молитвы, а сильная, высокая, золотоголовая девушка, широкоплечая, с высокой грудью, загорелым лицом и мускулистыми руками. Мне только теперь пришло в голову, что вот уж сколько лет сестра косила и пахала, как мужчина, ни на шаг не отставая от отца, возила навоз, молотила так, что только цеп бухал и перегибалась надвое солома... Вспомнились слова и вздохи матери, смотревшей на ее работу:

— Эх, Матрена, кабы парень ты была — вечная бы нам помога!.. Вечная!..

И я дивился, глядя на нее. Почему-то прежде всего бросился в глаза мне взгляд сестры: не то еще больше суровый, не то — вдумчивый, таящий в себе нечто, ей одной понятное и близкое, взгляд — уже не детский, а много, больно переживший.

— Мотя, — прошептал я, — как ты выросла за это время!.. Мама, погляди-ка: ведь она уже невеста!..

Сестра тихо улыбнулась.

— Невеста без места, — проворчала мать. — Девятнадцать годов... Придет пора — поневоле заневестишься...

Разговор смутил Мотю.

— Я пойду... На свечки нету?

— Нету, дитятко.

Вот сестра застучала «котами» в сенях, потом на крыльце мимо окна промелькнула бордовая кофта и серый платок ее.

— Подымайся, Ваня, нежиться нам привыкать нельзя, — сказала мать. — Телу свое время отдавай, а остальное береги, а то намаешься на свете.

Я умылся, достал с полки книжку.

— Вот не хуже тебя, — продолжала мать, кивая на раскрытые двери, в которые вышла сестра, — как праздник, так и торчит, как прыщ, так и торчит. Люди отдыхают, а она свое: за книжку эту самую, за ижицу... — Мать даже подалась от печки шага на два ко мне, говоря: — Ну, чего она глядит в пустое место, бабье ль это дело?.. Эх, Матренушка-Матрена!..

Из дальнейшей воркотни старухи я узнал, что сестра читала без меня не только в праздник, но и в будни, вечером, после работы. Чтобы не баталиться с отцом, она на собственные сбережения купила маленькую лампу и не

жгла «чужого» керосина. Стала чаще и дольше молиться. Еще больше стала молчалива и тиха. Подруги и парни не любили ее: звали книжницей, монашкой, попадьей, смеялись над нею, а сестра отмалчивалась. Теперь вот пристрастилась к церковному пению и не пропускала ни одной обедни, если позволяло время.

— Мука, детка, с нею, — жаловалась мать. — Ну-ко-ся — людей пугается, подумать надо! Хоть клещами за язык тяни!.. Над нею ж и куражится последняя онуча, на смех подымает... Как на улице — крепится, виду не дает, а придет домой — пятна на щеках-то, губы все искусаны, трясется, как кликуша... А чего бы? Подошла, поговорила, не слиняет, спела песенку, на игрище сходила: дело молодое, девичье, веселое, а ей книжки да воянгили дались... Эх, девка, девка!.. Мне же... Не могу же я смотреть, когда она такая! — закричала мать. — Во мне нутро горит от слез!..

Отворились двери.

— Вот-та!.. — Отец вытряхнул на стол десятков восемь живых пескарей. — Ну, и благодать нынче денек!.. Проснулся?.. Чисти рыбу...

На столе пыхтел и брызгал самовар. Пахучие сине-золотистые кольца махорки, которую курит отец, сидя у стола, качаются и тают. За окном содомят ребятишки. В кутнике, завесившись платком, сестра надевает будничное платье. Пришла она из церкви радостная, светлая, прозрачная, с мягкою улыбкою и теплыми, бездонными глазами.

— Какая проповедь-то ныне говорилась? — кричит мать.

— Чтоб в мире жить и слушаться священство, — отвечает Мотя.

— Хорошо?

— Не дюже: сзади плохо слышно...

Мать вздыхает. В сенях кудахтают куры. Куцый воробей сел на завалинку и чистит нос. К нему крадется котенок.

— Тссс!.. — торопливо стучу в раму.

Воробей вспорхнул, котенок недовольно покосился на меня, мяукнул и, схватив куриное перо, помчался с ним по улице.

— Ну, так как же? — говорит отец.

Он хмурит брови и сопит. То, что я без спроса ушел от хозяина, ему не нравится.

— Надо бы терпеть, — сказал он утром, — не у матушки за пазухой, какой же ты работник после этого?..

Но дурацкие шутки Пахома ему тоже не понравились: он барабанит по столу и крутит головою.

— Не пойду, пускай они погибнут...

Мать опять вздыхает, искоса поглядывая на отца. За утро она успела выспросить у меня о жизни у Шавровых, раза три поплакала и держит теперь мою сторону.

— Парнишечка один, как перст, и то на муку всунули, — ворчит она, и речь ее приятна мне. — Им, жирным, хаханьки да хихиньки, а этак можно повредить чего-нибудь...

Я сажусь ближе к столу.

— Скорее там, а то простынет, — говорю я Моте и гляжусь в помятый самоварный бок.

— Надо, брат, идти обратно,— смотрит на меня отец.— Раз договор был, менять не полагается, нехорошо...

Я заливаюсь громким хохотом.

Отец удивленно поднимает голову.

— Морду-то мою как искарежило! — подпрыгиваю я.— Мать, иди-ка поглядись: твою тоже искарежит на коровью.

Отец с минуту пристально смотрит на меня; брови его шевелятся, но он крепится, а когда я насильно подтаскиваю к самовару мать, а она кричит и машет руками, отец улыбается.

— Сам, поди, озорничаешь там, оттого и обижают, — говорит он.

— Я только с Петрушей... С большими я не занимаюсь: они учат срамоте...

Мы уселись пить чай. Мать поставила на стол сковороду горячих пескарей, нарезала ломти хлеба; отец вынул из мешка всем по куску пиленого сахару, затворив остальное на ключ. В избу вошел Калебан, старинный мой приятель.

— Ай в побывку?.. Мы уж отхватались... — Калебан кивнул на самовар.

Нынешнюю весну он пахал и важен, как пятнадцать становых. От загара лицо его красно, большой нос, свинчаткой, весь облуплен, руки грязны, веки приопухли, выцвели. Как взрослый, он неторопливо достает табак, садится у порога на карачки и дымит, покашливая басом.

— Что ж ты, детка, с каких пор привык дурманиться? — спрашивает мать.

Калебан снисходительно смеется.

— А ваш, думаешь, не курит?

Мать вопросительно смотрит на меня, а я дую в блюдечко и говорю:

— Чай-то какой горячий...

Вдруг под окнами задребезжали дрожки, двери в избу с шумом отворились, все подняли головы: на пороге сам Созонт Максимович.

— Сук-кин сын! — кричит он и с размаху через стол бьет меня по темени кнутовищем так, что у меня выскакивает сахар изо рта. — Я т-тебя жизни лишу, такой, сякой! — визжит он и снова бьет, но я увертываюсь, кнутовище хлопает по скороводке, и пескари летят под лавку. Все сидят, разинув рты от изумления.

В первую минуту на меня нашел столбняк. Я смотрел, ничего не понимая, в жирное, свирепое лицо Шаврова; Мотя выронила из рук чайную чашку, и она со звоном покатилась по полу; отец склонил набок голову и даже зажмурился, а мать, как сидела на скамейке, сзади самовара, так и осталась неподвижною, с непрожеванным куском хлеба во рту. Только Калебан тянулся из-за плеч Созонта Максимовича, блестя серыми, навыкате, глазами, щелкал и хрипел:

— Украл, что ли, что-нибудь?

Шавров, стиснув зубы, взмахнул молча кнутовищем в третий раз.

— Я т-тебя...

— Постой, Созонт! — вскочил отец, хватая его за руку. — Не самоуправничай, не то плохо будет!..

Хозяин опамятовался. Опустив руки, он грузно сел на коник, рядом с отцом, вытер лоб полою, тряхнул оборочкой волос и, укоризненно смотря на меня, жалобно сказал:

— Что ж ты, пащенок, со мною сделал, а? Что ж ты сделал, жулик ты московский?

— Как ты смеешь бить чужого сына? — пришла мать в себя, поднимаясь со скамейки и смотря на Шаврова злыми глазами. — Какое ты право, рыжий сатана, имеешь? А? Да я тебе, разбойнику, всю голову сшибу ухватом!..

Мать бросилась к печке. Сестра ухватила ее за рукав.

— Дома мучили мальчонку, прибежал в крови, как резанный, и тут, при матери с отцом, увечишь, красномордый, а? Ты думаешь — богач? Ты думаешь, что на богатых нет управы? На-кось, выкуси!

— Отвяжись! — махнул рукой Шавров. — Сбесилась, черт немытый!.. — Он брезгливо сплюнул в угол.

После курной печки мать, на самом деле, была грязная, как чучело, в старом, клетчатом, прожженном в трех местах повойнике, изорванной рубахе и замызганном, полинявшем, в жирных пятнах, шугае, с оторванною проймой.

Калебан дергался и ржал до слез, а я лез дальше в угол под божницу.

Отец молча и внимательно рассматривал Шаврова.

— Что случилось? — наконец, спросил он, обращаясь не к хозяину, а ко мне.

— Ведь он, змеенок, жеребца испортил! — закричал Созонт Максимович, колотясь от злости и сжимая кнутовище. — Выстегнул вчистую глаз и убежал из поля, а? Подумай-ка, как его нужно казнить за такие дела, а? — Шавров захлебывался словами и чуть не плакал, глядя поочередно на всех. — Пахомка нынче утром приезжает из ночного... «Где же, мол, Ванюшка? Почему с таких пор, если я приказал стеречь до завтрака?» — «А ты погляди, грит, на Красавчика». — Подошел я: жеребец — как жеребец. «А ты, грит, погляди на левый глаз». — Я поглядел, да так и обмер: глаз-то — как подушка! «Господи, головушка моя несчастная, да кто же это, кричу, а? Да это кто ж так постарался, руки б того поотсохли?..» — «А кто постарался, грит, того уж нету: того черти с квасом слопали...» — «Чем же?» — «А кнутом, с верха: подъехал, хляснул да домой: пускай, бат, сдохнет вся его скотина, кровопивца, я к такой работе непривычен, меня дома заставляли что́ полегче робить... Накосяк через Телячьи Выпаски, овсами, укатил в Осташково, к своим...» — Гляжу вот — правда...

Шавров потен.

— Что ж ты мне наделал? — обращается Шавров снова ко мне. — Жеребцу-то цены не было!.. Ведь ты мне должен теперь двадцать лет за него служить, и то не выслужишь, чертенок ты несчастный, а? Стерва ты поганая!.. Хлопаешь глазищами, как б..., а конь испорчен, а? Куда мне теперь деть его? На водовозку?

Бессовестная ложь Пахома и его подлый подвох так меня ошеломили, что я сидел, как пришибленный, не в силах слова вымолвить.

— Отвечай, чего молчишь? — заорал отец, багровый, и, схватив меня за волосы, швырнул об пол.

— Тятя! — крикнул я.

Шавров впился в плечи, мать завыла, а я ошалел со

страху. Созонт Максимович придавил мне к полу шею так, чтоб я не мог кричать, отец перебрасывал в кутнике одежду, отыскивая веревку или кнут.

— Обожди, я принесу, — сказал Калебан, — постой чуточку, Лаврентьич!..

Он приволок пучок свежих лозин, и меня, обнажив, секли попеременно отец и хозяин. Били с хрипом, чмоканьем, сопя и задыхаясь, избороздив все тело мое — от лопаток до колен — кровавыми рубцами.

VI

Глаз у жеребца не вытек, а поджил, потому что Пахом так его ударил, что ядро осталось невредимым и разбухли только веки.

— Стал проглядывать чуть-чуть, слеза только шибка,— сказал Василий, отворяя нам с хозяином ворота, когда мы в полдень возвратились из Осташкова.

Шавров прошел в стайку, осмотрел Красавчика, перекрестился с радости, потом позвал Пахома, поправлявшего за домом изгородь, и наискось, через все лицо, посадил ему кнутом рубец. От неожиданности и боли Пахом взвизгнул. Шавров стегнул его вторично.

— Я тебя, Пахомушка, перекрестил, — сказал хозяин тихо, улыбаясь побледневшими губами... — На суде-то с тебя черта ли возьмешь... одна канитель... Да и время теперь не судебное... — Шавров поперхнулся. — По закону тебе тоже следовало бы глаз залить, ну да что ж... манечко прощается: глаз в работе нужен.

Ошалелый Пахом молчал, вытирая рукавом окровавленный рот.

— Ты его золой присыпь, — посоветовал Василий, наклоняясь к работнику, — от золы твердеет.

Слова его облили кипятком Пахома.

— Ты за что же? — неуклюже поднявшись, шагнул он вперед.

— За Красавчика, — сказал Шавров.

— Нет, ты это за что ж? — повторил работник.

— За увечье, вот за что, чего ты лупишься? Пугаешь?

— Ты за что же, кровопивца? — гаркнул Пахом в третий раз, бросаясь со сжатыми кулаками на хозяина.

— Погоди, братуха!.. — Шавров отступил на шаг, прикрыл глаза, будто от солнца, и неожиданно ударил Пахома под скулы.

Работник грохнулся навзничь, растопырив руки.

— Еще хочешь, али будя? — спросил Созонт Максимович.

Пахом бессмысленно таращил бельмами и царапал грязными ногами землю.

— Собирайтесь с лошадьми в ночное, — кинул нам с Василием хозяин. — А этот пусть прочухается.

Шавров брезгливо ткнул носком в плечо лежащего работника и отвернулся, но Пахом неожиданно вскочил на ноги и впился ему в кудрявые волосы.

— Все еще копаешься? — совсем уже тихо прошептал Шавров, ловко вывертываясь и оставляя в Пахомовых пальцах золотистый клок волос. Наотмашь он ударил его по переносью. Оскалив зубы, Пахом опрокинулся и заревел на всю деревню:

— Кар-раул!.. Убил!.. За что, злодей?.. Родные, Ванек ведь это, я присягу приму!..

— Врешь, стервец: мальчишка землю ел... Я его заставлял. Присяга твоя выйдет ложная...

На крыльце стояли бабы. В ворота просовывались любопытные.

— Что налезли? Кой ляд не видали? — закричал на них хозяин, беря в руки крепкий тяж, и, скривив губы, нехотя побрел в завозню.

— Завтра тебя рассчитаю, — обернулся он к Пахому.— Неси тебя черти, куда хочешь; нам таких не надобно...

На некоторое время жизнь потекла мирно, по-хорошему, и Петя даже хвалился матери, пришедшей навестить его:

— Теперь мы, маменька, бояре без Пахомки-то...

Но в воскресенье, когда девки развивают венки, нашему блаженству пришел неожиданный конец.

Вдребезги пьяный Пахом, снова появившийся после двухнедельного бродяжничанья в Мокрых Выселках, ходил по деревне из двора во двор, отыскивая меня.

— На что он тебе понадобился? — спрашивали мужики.

— На что? Хочу зарезать! — кричал работник, грозясь ножом-складнем. — Душа моя не терпит гадов, понимаете, на что?

Перепуганная бабушка затворила нас с Петрушей в погреб.

Утром Пахом ползал в ногах у Шаврова, целовал иконы в знак того, что пакостить не будет, и по-разному

юлил, как бес перед заутреней, но ушел хозяин в лавку, и работник, обнаглев, щипал Любку, подмигивал Васе Батюшке и ржал, как жеребец. Меня величал похабными словами. Петю — тоже.

— Давай, Ваня, с ним не разговаривать, — шепнул мне мальчик, отводя в сторону, — нам легче будет...

В самый разгар игрища работник пошел в лавку за деньгами.

— Ты, парень, шустер, — сказал ему Шавров, — денег я не делаю, ты это должен знать.

— Господи, Созонт Максимович, помилуйте, у вас — и денег нет?

После трепки за Красавчика Пахом называл хозяина на «вы».

— Чужим, которые сдуй в поле ветер, — усмехнулся Шавров.

— Я же отработаю.

— И дай бог. Лошадей поил?

— Поил, — понурив голову, буркнул опечаленный Пахом. — Хоть бы груздиков полфунта дали, али там — бутылочку фиалки... Кому праздник, а мне — будни, черт бы их побрал! Даже на людей глядеть не́ хоцца!..

— Из товара можно. Из товара я тебе могу на рупь отвесить всякой всячины. Товар — дело десятое.

Тогда Пахом продал сапоги Василию за четверть водки, Влас украл из клети кусок сала, и они большой компанией в хибарке у Василия бражничали, пели песни и дрались.

Накачавшись, Пахом вспомнил про меня.

— Пойду его увечить, — заявил он вслух.

— Отвязался бы, — сказал Василий.

— Не могу, друг, — вымолвил батрак, а Влас заржал:

— Лупи, кого попало, я — тоже пойду!

Мы с Петрушею стояли в хороводе рядом с Васиной избушкой. Пахом с гиком выскочил на улицу, расшвырял девиц, схватил нас за волосы и, стукая голова с головою, потащил в реку топить.

— Ябедники, так вас и раз-этак!.. Христопродавцы шелудивые!.. Безвинного человека в грязь втоптали!.. Я в-вам сейчас тариф жизни покажу, щенятам!.. — бормотал он.

— А-ай! — как поросенок, завизжал мой товарищ. — Брось, пожалуйста, я тебя дядей буду звать!..

Собрав силу, я схватил Пахома за лапоть, дернул,

и работник, нетвердо стоявший на ногах, упал, а мы сломя голову ударились, куда глаза глядят.

Федосья Китовна, выбежавшая к нам на подмогу, затворила нас сначала в горнице. Петя залез под кровать, а я — под стол. Оба — как шальные: глядим друг на друга, оттопырив губы, а из глаз ручьями текут слезы.

Пахом сквернословил на всю улицу, отчаянно стучал щеколдой, грозил сжечь всех, бабушка пугливо жалась, с печки Макса тянул шею, спрашивая:

— Это там чего? Приехал, что ли, кто?

— Пойдемте в погреб, а то кабы вы чего тут не украли, — спохватилась Китовна. — Вылезайте поскорее.

На ворохе картофеля мы плотно прижались друг к другу, думая каждый о своем. Чуть слышно доносились песни. У лавки верещала ливенка.

Сидим час, другой и третий, чуть не до петухов. Холодно тут. Петя зябко жмется.

— Мне недаром нынче снилось, что я с крыши падаю... Теперь нам как же быть, до завтра?

— Я не знаю... Подождем, когда уснет. Эх, силы у нас с тобой нету...

Петя вдруг затрясся.

— Стой... Там, кажется, стучат... Не *этот* ли? Беда!..

По моей спине поползли мурашки, и заныло сердце. Бессознательно я стал твердить, ломая пальцы:

— Господи Исусе!.. Господи Исусе!

Сверху звякнуло кольцо, скрипуче распахнулась погребица, мы с ужасом полезли в выбоину, где лежала зимою редька, и уткнулись головами в землю. На ступеньках кто-то шаркал лаптями, и щебень, попадавшийся под ноги, скрипел и цокал, сброшенный с порожек. Через минуту блеснул желтоватый полусвет, по серым стенам запрыгала мохнатая расплывчатая темнота, мутно выглянула плесень из углов, прелая доска с обломанным концом и золотая лужа под кадушкой. Держа в одной руке кувшин из-под кваса, а в другой сальный огарок, у творожной кадки стояла Варвара. Она поставила свечку на бочонок, почесала в голове, задумалась. Жиденькое пламя двумя блестящими звездочками отражалось в ее больших серых глазах, полуприкрытых длинными ресницами, пятнами скользило по лицу с еле заметным румянцем, словно корольком покрасило ровные губы, розовые ноздри, круглый, с ямочкою, подбородок.

Петя лежал неподвижно, пряча голову в моих коленях.

Поставив под кран кувшин с отбитой ручкой, молодайка оглянулась, потрогала втулку и, выпрямившись, торопливо подошла к срезку с солониной. Сняла камень с круга, нагнувшись со свечою, долго рассматривала что-то и, схватив кусок сырого мяса, жадно впилась в него мелкими зубами.

— Варва-ара!..

Баба по-собачьи рвала солонину, не расслышав возгласа.

— Вар...ва-ара!.. — прошептал я снова, с трудом переводя дыхание.

— Это разве не Пахом? — неожиданно вскочил просиявший Петя.

Молодайка ахнула и села тут же на полу, щелкая зубами и бессмысленно смотря на нас. По-рыбьи раскрывая рот, она шевелила непослушным языком, стараясь выплюнуть изо рта мясо, давилась, бормоча: «В-ва...в-а...ва...я...» — драла на себе рубашку и, наконец, продышавшись, расплакалась навзрыд.

— Испугалась, знать? — нагнулся подбежавший Петя. — Пахомка не уснул?

— Н-не знаю я! Не знаю! — затряслась Варвара. — Я пришла за квасом!.. Вы подсматривать? Я удавлюсь! Я в реку брошусь! Свои мучают, каждым куском попрекают, по рукам бьют за обедом, и работники — туда же!.. Я жизни лишусь, я сама не знаю, что наделаю!..

Варвара уткнулась лицом в угол и завыла нудно, протяжно, с надсадливостью.

VII

В Мокрых Выселках, через девять от нас дворов жил мужик — Егор Пазухин, человек необыкновенно бедный. Он имел двух дочерей на выданье и сына. В ранней молодости Егор похоронил отца и, оставшись тринадцатилетним мальчуганом, повел хозяйство с помощью матери, старухи бойкой, голосистой, чуть-чуть с придурью. Митрий, Овечья Лопатка, Егоров отец, умирая, оставил сыну в наследство курную избу, овцу с ягненком, полтора надела распашной земли и старую с бельмом кобылу — Феклу, над которой все смеялись.

Егор сам сеял, боронил, налаживал инструменты и сбрую, а осенью, управившись с полевыми работами, шел к Осташкову батрачить, оставляя дом на попечении ма-

тери. Когда ему исполнилось семнадцать с половиной лет, его женили. Егор был парень расторопный, крепкий, сметливый и весельчак, жена — под пару, но как молодые ни бились, как ни хрипели с утра до ночи над своею и над барской работой, к наследству, оставленному Митрием, ни пылинки не прибавилось, если не считать того, что рыжая кобыла околела, а на ее место завели гнедого мерина со сбитой холкой, корноухого Рупь-Пять, да овца за это время принесла штук пять ягнят, с трудов поседела, но ягнят поели волки, а сама овца пропала.

Подати, малоземелье, старые долги Шаврову, расход по хозяйству вечно держали семейство в тенётах; частые неурожаи, жизнь впроголодь, мордобития от грозного начальства шаг за шагом обессиливали мужика, незаметно стирая жадность и задор к работе; Егор постепенно опускался, махнув в конце концов рукой на возможность выбиться из крепких лап нужды.

К сорока годам жизни Егор не осилил даже того, чтобы переменить полусгнившую избенку. Курные выходили из моды, соседи один за другим ставили себе «по-белому»; у богатых появились горницы, в переднем углу — картины, святость, полотнища шпалер и разный причиндал; на столах, на радость и ликованье хозяев, запыхтели самовары, а Егор все еще коптился в старой отцовской мазанке, чая не пил, гостей с достатком не привечал и год от году становился угрюмее.

— Сына мне роди! — кричал он, пьяный, на жену. — Пошто ты мне таскаешь пакостниц? — Егор презрительно указывал на трех белоголовых девочек, печально жавшихся друг к другу. — Мне кормилец нужен!

Жена плакала, забившись головой в тряпье.

— Ты бога умоляй, — покорно шептала она. — Что ты ко мне пристаешь?

Егор больно бил ее за это и трясущимися от жалости губами позорил и клял ее.

Наконец, лет в сорок пять мужик-таки дождался сына, а младшая дочь умерла, наевшись гнилых яблок.

Было лето. Возвратившийся из ночного Егор осторожно развернул пеленки, глянул из-под седеющих густых бровей на красненькое тельце, усмехнулся.

— Молодец старуха! — неуклюже-ласково, стыдясь своего хорошего расположения, мужик потрепал жену по высохшей спине. — Корми его теперь в порядке, ради бога!

Женщина счастливо улыбнулась посиневшими от мук губами и, поймав руку мужа, поцеловала ее.

Егор сконфузился, отдернул руку; присев у изголовья, тряхнул головою:

— Дряни этой я больше хватать не буду. — Изрубцованным пальцем он ткнул на подоконник, где стояла порожняя бутылка из-под вина. — Баста, налакался.

И вот вырос сын Василий. Егор по-прежнему терпел нужду, получал тумаки и оплеухи за недоимку, сидел в чижовке, голодал, ходил оборванным, самовара так и не завел, но жизнь ему уже не представлялась мрачной; он терпеливо боролся с невзгодой, и в глазах его светилась упрямая надежда, а губы невольно раздвигались в светлую улыбку, когда он смотрел на мальчика.

— Ну, Васюха, помогать мне скоро будешь? Скоро нужда наша — к волкам в гости!..

— Я в работники пойду, — лепетал ребенок, — купим светлый самаляй...

Егор с наслаждением хохотал.

— Лошадей хороших, чай два раза, казипету на поддевки, так ай нет?

— Так...

— Красивую корову с лысинкой, чтобы вымя фунтов в тридцать, новую избу с теплушкой, а?

— А еще я куплю целый пе́щер бабок...

— Легко сказать! — подпрыгивал Егор. — Целый пе́щер, этакую, можно сказать, махину!.. Берегись, Макса-бурмистр, скоро перебьем твое богатство с Васюхой!..

После того как мальчик на восьмом году стал бегать в школу, для Егора открылся новый источник гордости и необычайной радости. Вася был понятлив и умен: грамота, над которою большинство детишек проливают столько слез, далась ему легко, и сын чуть ли не самого бедного в деревне мужика шел по ученью первым.

Зимними вечерами, сидя возле мальчика, Егор волновался и горел, следя за тем, как тот свободно и толково одолевал склады. Старик до того увлекался, что даже в манере сидеть, — приподняв одно плечо вверх и склонив голову на левую руку, — подражал ребенку.

Мальчик научил отца молиться, и Егор потом дивился этому: прожил он больше полста лет, ходил в церковь, но не знал ни одной молитвы, кроме «богородицы», которую путал, не понимал церковной службы, всегда к концу утомлявшей его; молясь дома, бессознательно твердил какие-

то заклинания с упоминанием божьего имени и относился к этому как к тягостному и скучному обязательству перед тремя закоптелыми иконами в углу.

И вот слабая рука ребенка вдруг легко повернула какой-то заржавевший винтик в голове его и, словно солнцем, осветила и согрела душу. Заклинания оказались осмысленными, полными того живого, что было скрыто в них от стосковавшейся души Егора формою запутанных слов, ближе и доступнее стал седенький мужицкий бог и сын его — Христос распятый.

Оставаясь один, Егор нередко снимал с крючка сумку с книжечками, брал одну из них, неумело раскрывал и гладил, стыдливо озираясь по сторонам и прислушиваясь к шорохам.

На тяжелом склоне серых дней жизнь принесла Егору неиспытанную радость в сыне.

Вася рос, учился, летом помогал в работе.

— Беспременно надо до дело́в парнишку довести,— говорил Егор жене. — Пускай добром помянет, когда вырастет. По-нашему жить — смерть.

Баба молчаливо соглашалась.

Обессилевшие, дряхлые, согнутые нуждой и каторжной работой, путно не кормившей, они долго-долго просиживали в полутемной избе, разговаривая шепотом, чтоб не потревожить мальчика, и выцветшие глаза их ласково светились, а сухие губы задушевно улыбались друг другу и тем светлым мыслям, что теснились в старых головах.

Весною, на одиннадцатом году, Вася окончил школу первым.

Прибежав домой, он закричал с порога:

— Меня все хвалили!.. На́больший из города гостинец дал!

— Эк-ка, отличили? — встрепенулся обрадованный отец.

— Да, молодчина, говорят, разумник!.. А батюшка за тропарь и литургию верных по волосьям гладил.

— Важно, ишь ты — литургию ему откатал? На-ка вот и от меня. — Егор развязал тряпицу и подал сыну двугривенный — деньги для мальчика невиданные. — Это тебе за труды и литургию, — улыбнулся он и, не говоря больше с домашними ни слова, побежал в училище.

Экзамены кончились. Инспектор, батюшка, учитель и еще какой-то человек в очках закусывали.

— Степан Васильевич, к вашей милости, — робко отворил старик двери.

Все подняли от тарелок головы.

— Это ты, Егор? — спросил учитель, вытирая платком рот и поднимаясь из-за стола.

— Я... с докукой к вам... с нуждой... — бормотал мужик, немного оробевший от ясных инспекторских пуговиц, но подвыпивший начальник добродушно улыбался, глядя на лохматого, растерявшегося Егора, и это его приободрило. Широко шагнув к столу, он вымолвил: — Хочу еще сына учить... Есть, чтоб дальше?

Все насторожились.

— Чтоб выше,— пояснил он, взмахивая грубыми руками. — Вы учили— хорошо, покорно благодарим, но только я хочу, чтоб Васю еще кто-нибудь учил... На земского!.. — неожиданно для самого себя выпалил Егор. — Господские робята учатся до двадцати годов, и я хочу до двадцати... Чем я хуже? Что мужик? Хочу до двадцати!.. На земского!.. А то — на дьякона... Куда годится...

Присутствующие переглянулись, и по их улыбкам Егор догадался, что сказал что-то неладное. Его сразу бросило в озноб, а по морщинистому лбу мелкими мутными капельками потекла испарина.

— Работником до гроба буду, помогите! — прохрипел он, опускаясь на колени.— Черви мы... Нужда заела... Пускай выбьется мальчишка. — Старик с тоской глядел в глаза инспектору и батюшке. — Все отдам, что есть, до дела б только довести... Причалу у нас нету в жизни никакого, собаками, которых все пинают в морду, маемся на свете... Так нельзя!..

Вскочивши на ноги, учитель подхватил его подмышки.

— Встань же, экий, право!.. Ну зачем это?.. Ты говори, а на колени... Ну, к чему это!.. Отец он Пазухина,— обернулся учитель, красный от смущения, к инспектору.

— Кланяйся земно господу богу, а не нам грешным, — разглаживая окладистую бороду, сказал священник, протягивая белую руку за рюмкой.

Сбитый с толку, Егор долго и скучно жаловался на свою жизнь, божился, что жив только сыном, для которого готов на все; ему тоже что-то говорили и хлопали по плечу, но вынес он одно: нужны деньги, без денег ничего не выйдет.

Задами, минуя свой двор, Егор отправился к Шаврову, упал и перед ним на колени, прося до осени полста.

— Пока начальник не уехал, — говорил он, склонив голову. — Пока он тут — сподручней всунуть... Без того не хочет, надо, говорит, прошенье подавать... А на кого мне подавать, на всех? На муку свою, на нужду, на маету?.. Созонт Максимович, ангел, выручи!..

— Ты старый-то заплатил бы... Тридцать рублей старого, — сказал Шавров. — Шесть лет уж жду, али забыл?

Клим Ноздрин, сосед Шаврова, первый подхалим в деревне, бывший в лавке, полюбопытствовал:

— Тебе, к примеру, для чего же этакие суммы — хату, что ли, переправить вздумал?

— Нет, Платоныч, для Васютки... В школу его надо. В городах есть школы разные, он — дошлый, в город его надо отправлять.

— Я думал на дело,— усмехнулся Клим, смотря на старика, как на сумасшедшего.— Чертову ты музыку городишь, брыдло!.. — Злобно сплюнув, Ноздрин закричал, краснея: — «В школу его надо», рвань паршивая! «В городе есть школы разные»? Глянул бы хоть на себя-то, да немного постыдился: сед, как пень, в лохмотьях, изба завалилась, издахаешь с голоду, а в башке — дурь непочатая!.. Эх вы — жители-одры! Гони его метлой, Созонт Максимович!..

Целую неделю Егор, забросивший хозяйство, ездил по уезду, надоедая своими разговорами попам, помещикам, лавочникам и их детям, всем, кто носил городскую одежду и, по его разуму, мог оказать ему помощь. Бледный, худой, истосковавшийся, он трясся по размытым весенним дорогам от деревни к деревне, робко жался на кухнях и порогах барских хором, торопливо сдергивал облупленную шапку, умолял и чуть не плакал, а получив отказ или недоумевающую улыбку, крепко поджимал бескровные губы, садился в телегу и ехал дальше.

И вот однажды верст за шестьдесят от Мокрых Выселок, у околицы большого однодворского села, по прозванию Городище, ему попалась на дороге нищенка старуха.

Егор посадил ее в телегу и подробно рассказал про свою беду.

— Да что ж ты, старый, мечешься? — сказала нищенка, прищурив правый глаз. — Эвона, гляди! — Старуха ткнула рукой влево, за овраг. — Видишь белый дом с зелеными окошками? Ну? Видишь? Это наша школа... Поез-

жай с Христом; там много всяких учится, там их — как жита в закроме... Кати!..

— А как там, — могут довести, как следует? — недоверчиво покосился мужик.

— Еще бы те! — мотнула пыльной головой попутчица. — Распервеющее место по губернии... Талька моя допреждя училась... Знаешь Тальку? Она у нас почти барыня.

В Городище, в образцовой школе, жили два учителя: Николай Захарыч и Сергей Иваныч, оба холостые. Первый — пожилой, с заметной проседью в острой бородке, круглолицый, второй — лет за двадцать, тоже круглолицый, но повыше ростом и потоньше первого. Молодой — из мужиков, а Николай Захарыч — сын священника, не захотевший идти по отцовской линии. Лет пять-шесть назад, приехав откуда-то издалека, Николай Захарыч, после долгих хлопот, поступил в городищенское училище за старшего учителя и завел новый порядок: учеников, окончивших школу, не бросал на божью волю, как повсеместно делали его товарищи учителя, а понуждал учиться дальше, на свои деньги покупал книжки и учил их по вечерам, при лампе, после обычных занятий, а летом — круглый день.

В первые три года на эти занятия никто не ходил, кроме нищенкиной внучки Тальки, которой все равно делать было нечего, да сына лавочника Фаддея Беспалого, отданного в школу из-за чванства перед мельником, у которого сын полгода жил в Рязани хлебопеком и при спорах говорил всем: «Низвините, это факт, а не действительность».

Николай Захарыч умолял мужиков на сходке не отнимать у него безо времени детей, бегал по деревне из двора во двор и по-разному старался, но мужики ему отвечали:

— Миколай Захарыч! Друг! Да разве мы не понимаем, что с грамотою лучше, но только нам не в писаря. «Верую» узнали — с нас и будет... Ты вот говоришь: учеба, подлежачее, рихметики, а мне за сына сулят на барском дворе три синих в лето и хозяйский харч, смекни-ка, в какую учебу его лучше ткнуть — в твою, ай в барскую, вот то-то и оно!.. Рихметики!..

Но когда через три года прошел по Городищу слух, что Талька нищенкина ездила с Николаем Захарычем в город на «ездаменты» и что там ее, обрядив, как барыню, во все новое, оставили учиться еще дальше, а из сына Беспалова

выйдет машинист, недоверие к учебе рухнуло, и отцы сами стали навязывать «маненько подшустрить» своих детишек.

Егор привязал отощавшую лошадь к палисаднику, пригладил ладонями по голове лохмы, обил с портов пыль, вздохнул, откашлялся.

— Тут, что ли, пройтить? — спросил он у зобастой бабы в желтом расстегае, несшей на коромысле ведра воды, кивая на решетчатые дверцы.

— Тут, а где же? — Баба остановилась и, выпятив живот, с любопытством поглядела на приезжего. — Ты, дядь, чей?

— Дальний, девка, аж из-под Осташкова. — Старик скупо улыбнулся. — С полным тебя встретил: может, бог пошлет удачу.

Двухэтажная школа помещалась в саду. Цвели яблони. Прямые, ровные дорожки, без одной соринки, усыпаны желтым песком. На тонких палочках, воткнутых в рыхлую землю, привязаны дощечки с надписями, в углу — грядки молодяжника, куртины с высадками, вдоль ограды — ряды распускающегося крыжовника, смородины, малины и акации. Егор, глядя, улыбался.

— Ишь ты, что натыкал: как у князя... Ах ты, господи, помилуй!..

Постучав в темно-зеленые, выкрашенные масляною краскою двери, он снял по привычке шапку, незаметно перекрестился и вытер ноги.

— Ты не туда ломишься! — закричала та же баба, проходя с пустыми ведрами. — Ступай отсель! — Она, как птица переломанным крылом, неопределенно махнула свободной рукой и скрылась за вишневником.

Егор, все так же держа шапку в руках, повернул за угол. Навстречу выскочил беловолосый мальчик лет тринадцати, с лопатою в руках.

— Погоди-ко, эй, шустряк, чего ты так несешься? — закричал Егор.

— А что? — остановился тот.

— Вот то-то, что «а что», где тут у вас на́больший?

— Николай Захарыч?

— Какой тебе Миколай Захарыч, самый на́больший? Мальчик прыснул.

— Это же и есть Николай Захарыч, эвона, — он указал лопатой за кусты сирени, — в парниках. Ты что, аль сына хочешь к нам приладить?

— Да, Васютку, — обрадовался Егор. — Ты тоже учишься?

— А как же... Я — талызинский, на фершала хочу.

— Это-то мне и нужно! — просиял мужик. — Слава тебе, господи, добрался!..

Осенью, после воздвиженья, Егор привез сына в Городище, пристроил его у своей новой приятельницы — нищенки, и Вася четыре года учился у Николая Захарыча разным наукам. Через каждые шесть недель Егор запрягал Гнедка Рупь-Пять, клал в телегу муку, картофель, полбутылки масла или кусок сала, мать завертывала в тряпицу пару сдобных лепешек и десяток яиц, укладывала чистые рубахи, и старик, перекрестясь, трогался в путь. В селе Верхососенье, на полпути от Городища, Егор забегал в бакалейную за нюхательным табаком для приятельницы: если были лишние деньги, прикупал на пятачок коробку «народного» чая, а приехав, здоровался с побирушкой и спрашивал:

— Ну, как твоя?

— Талька-то? — Старуха морщилась, поднимала кверху голову и, приставив кривой палец к бородавке на губе, важно отвечала:

— Талька, шельма, теперь свое дело знает, парень... Талька — ее, брат, теперь не схватишь, вот что я тебе скажу.

Егор кивал головою.

— Еще много?

— Скоро... одну зиму... А тогда и учительша. Егорушка, подумай-ка, эх, ми-и-лай!.. «Я, грит, тебя, бабонька, возьму к себе на воспитание... Будет, грит, таскаться-то с мешком: пора отдых знать...» — Старуха хныкала от радости и вытирала красно-бурый нос, похожий на лесную грушу, полой кацавейки. — «Будет, грит, помаялась...»

Прибежал Васютка.

— Вот он — сокол, — улыбалась нищенка. — На коленках не стоял?

— У нас не ставят, — скороговоркою отвечал он, целуя отца. — Поесть нечего?

— Ну, так розгами, если не на коленях, — поддерживал Егор.

Мальчик искоса глядел на него и нехотя, как с человеком, ничего не понимающим, отвечал:

— Что у нас церковная, что ли? Это дьякон своих чи-

стит, как облупленных, а наша министерская. — Он задорился, и в голосе его проскальзывала гордость. — У церковников за каждую провинность бьют, а мы в игры не пускаем, кто проштрафится.

— Ты бы насчет игров-то обождал, — говорил старик, разглядывая сына.— Нам с тобой учиться во все жилы надо, до делов скорее добиваться, а потом уж...

— Игры нужны для физического тела, — возражал Васютка, — так нам Николай Захарыч говорит, он первый затирала.

Сбитый с толку непонятными словами, Егор умолкал, а побирушка блаженно посмеивалась:

— Ох, уж этот Миколай Захарыч, супостат, ну, прямо — андел божий, язык отсохни!..

Вася доставал из печки вареные картошки, побирушка грела воду в чугуне, и друзья усаживались вокруг большой деревянной чашки чаевать. Утром Егор уезжал, опять наказывая сыну не лениться.

Когда на шестнадцатом году Василий с двумя товарищами поехал сдавать экзамен в город и слуху не подавал полторы недели, Егор исчах, пожелтел. С утра до ночи он толокся в волостном правлении, поджидая земскую почту, вздыхал, потел, надоедал начальству. Наконец, на двенадцатый день пришла открытка, в которой сын писал, что принят на казенный счет, просил родительского благословенья, чистых рубах и немного денег. Егор бросил пашню, заложил Шаврову женины холсты и шубу, благо было бабье лето, и в ту же ночь, не поужинавши, укатил на станцию, оттуда — к Васе. В городе прожил четыре дня и воротился молод-молодешенек.

Первые слова его, какие он сказал старухе, перешагнув порог своей избы, были следующие:

— Ну, и штука, Анна, сам не чаял!..

После того целую неделю, праздничный и гордый, рассказывал всему околотку, что́ он видел в большом городе, какое у Васи высокое начальство, дорогая обувь-одежа, на радости плакал и шутил, а старуха, слушая, крестилась на иконы и шептала:

— Ты, мужик, не сглазь, пожалуйста, к добру бы твои речи... Матушка царица, есть-то им дают чего-нибудь?

Егор прищелкивал:

— С таре-е-лочек, лупи их кожу-мясо!

Успех Васи окрылил Егора. Сразу и навсегда замерли в душе тяжелые сомнения, растравляемые в течение че-

тырех лет насмешками соседей: родилась уверенность, что все заботы не пропали даром.

Этот же успех заткнул глотку пустословам: куда-то спрятались ехидные улыбочки, презрительное фырканье и лицемерные сожаления о том, что старик губит сына, отрывая его от крестьянского дела, замолкли и пророчества о том, что Вася избалуется, привыкнет к легкой жизни, сладкой пище и прогулкам, а старого отца с матерью забудет; наоборот, все стали завидовать Егору и всячески выхвалять сына, вспоминая, как он еще в детстве был смышлен и ласков, никогда ни с кем не дрался, отцу помогал исправно, матерщины не любил, а праздники сидел за книгой.

На Ивана Богослова Егор зашел как-то в лавку за керосином. Шавров поздоровался с ним за руку, чего сроду не было, расправил огненную бороду и, кивая на самовар, сказал:

— Чайку чашечку не хочешь?

В лавке толкалось много мужиков. Все вздохнули и почтительно посторонились, услыхав, как потчуют Егора, а Созонт Максимович крикнул:

— Власик, принеси кубареточку Егору Митричу! — и, наливая стакан рыжего, спитого чая, умильно спросил:

— От Васютки слушку нет?

Егор расплылся в радостную улыбку, тряхнул лохмотами, на которые теперь не обращал внимания, и с готовностью ответил:

— Как не быть, намедни получил письмишко.

Вытащив искомканный, просаленный конверт, он бережно подал его Шаврову, а тот зачем-то нацепил на нос очки, сделал лицо строгим и торжественным, поглядел по сторонам, прокашлялся и вымолвил:

— Ну, слушайте. Читай, Демид.

Голубоглазый мужик в поярковой шляпе, оттопырив чапельником губы, взял в руки письмо, остальные грудью налегли на стойку, послышались вздохи и шепот одобрения:

— Ай да малый!

В письме Василий перечислял все науки, которым обучался в семинарии, и книги, какие читает. Мужики улыбались от непонятных слов и галдели:

— Магарыч бы с тебя, Митрич; этакое, можно сказать, счастье!

— Ну-ко, сообрази: по девяти книжкам, собака, жарит, ведь это с ума надо сойти, глаза полопайся.

— Вот тебе мужицкий сын!.. Ты куда же его теперь, Егорушка, денешь-то, а? Ить наша пропастная деревня ему теперь покажется овином, а?

— Ах ты, брат ты мой!

— Он, поди, теперь как барин ходит... Слышь, Егор, как барин, мол, разгуливат?

— Да, теперь он на мужика не похож,— отвечал Егор, обращаясь то в ту, то в другую сторону.— Теперь он как поповский сын, Вильямин Гаврилович.

— А у тебя, ну-ко-ся, хата по-черному, чума ее возьми, а? Вот наказанье-то!..

Шавров, играя перстнями, задумался.

— В случае чего можно ко мне в горницу,— сказал он ласково,— пускай прохлаждается, сколько душе угодно, у нас — тихо...

Мужики раскрывали рот от изумления. Кто-то, затаив дыхание, прошептал:

— А ведь пра-авда!..

— Господи, ну, как не правда! — в один голос подхватили все.— Больше некуда, как только к вам, Созонт Максимович, ей-богу, право!.. Уж вы потеснитесь как-нибудь, пожалуйста!..

Шавров ответил:

— Да ведь она у меня слободная, горница-то: мне даже и тесниться незачем.

Клим Ноздрин, сосед Шаврова, тот, что больше всех ругал Васю за ученье, буркнул, ковыряя ногтем стойку:

— Из курной да — в горницу... это я понимаю.

— Что же, он не стоит, по-твоему, ай что? — загалдели мужики.— Знамо дело, ему теперь нужóн чистый воздух!

Ошеломленный Егор сидел с выпученными от непривычки глазами, а кругом кричали, как на сходке, спорили и переругивались, чуть не хватая друг друга за воротки. Привлеченные шумом, с улицы заходили новые посетители и, узнав в чем дело и прочитав письмо, так же горячо и с тою же заботливостью принимались рассуждать о том, как и где Васю устроить.

— Захочет ли еще он у нас теперь жить-то,— сказал печально косорукий, отставной пастух Игнашка Смерд,— поглядит на нашу бедность, скажет: «Ну вас!» — да укатит к себе в большой город.

Всех сразу передернуло, на Игнашку злобно зашипели

и замахали руками, а Егора будто исподтишка толкнули с кручи в ледяную воду, так и заныло и замерло его сердце. Ни с кем не попрощавшись и не поблагодарив за чай-сахар, он торопливо выскочил из лавки, направляясь к своему приятелю солдату, который писал ему письма к Васе, и слезно, своими заботами о нем, своею нуждой и горем умолял сына не забывать деревни, не отказываться от родительского крова и не брезговать черным углом, в котором он вырос. Отослав письмо, старик с нетерпением и болью ждал ответа, а получив, сразу успокоился и повеселел: Вася писал, что по деревне и родителям скучает и никак не дождется весны, когда их распустят по домам.

— И чудак этот пастух, трясло б его осиной,— говорил Егор жене.— Скажет тоже, чего не следует: уедет, бат, в город. Вот, ей-богу, какой бестолковый народ пошел на свете — словно овцы!..

Василия ждали на девятую пятницу. Станция от Мокрых Выселок рукой подать, машина ходит в поздний завтрак, а Егор всю ночь сидел на конике, боясь проспать, и уехал, когда еще только чуть-чуть забрезжило в окнах. Эту неделю скотину стерег один Петя, а я с бабами окучивал картофель.

— Нынче Васька-дворянин приедет,— отряхивая с подола землю, вымолвила Любка.— То-то расфуфырится, мамочки мои!

— С медалью будто ходит, как поповы дети, а избенка курная, умора! — подхватила Павла и, весело засмеявшись, неожиданно спросила у меня:

— А ты в дворянины почему не учишься?

Я сказал:

— Не всем такое счастье, я в работниках служу.

— Оно и лучше! — воскликнула баба.— Эка невидаль — медаль на шапке! У нас урядник-то с медалью каждый праздник чай пьет.

Когда мы приехали домой, старуха Пазухина, мать Васютки, разметала перед хатой улицу. На крыльце, добродушно посмеиваясь, стоял принарядившийся Созонт Максимович, около сновали бабы и детишки. У нас тоже мыли горницу к приезду. Дочери Егора, Пелагея с Домной, то и дело бегали на задворки взглянуть — не едут ли.

— Кабы у нас лапша-то не перепрела! — кричала старуха Анна.— Полечка, милая, ткнись в печку — лапша-то, мол, кабы не перепрела! — Она то смеялась, то, бросив метлу, садилась на дороге и с радости вопила в полный

голос, а соседки ее уговаривали. Одни за другим к Созонту Максимовичу подходили мужики, побросавшие работу, спрашивая:

— Ну, что, скоро, али нет еще?

— Одиннадцатый час, пора,— говорил Шавров, вертя в руках серебряные, с бублик величиною, часы.

За деревней запылило.

— Едут! — завизжали ребятишки, бросаясь навстречу. Большие вытянули шеи, суетливо оправляя рубахи; разговор примолк, и чем ближе подъезжала телега, тем сильнее росло нетерпение. Анна помчалась в амбар за новым сарафаном. Ей кричали:

— Не ходи уж, после принарядишься, гляди-ко: близко!

Она остановилась, развела руками, поглядела на грязный подол и снова побежала:

— Как же это, господи, Васютка едет, а я пугалом одета; я успею...

Несколько человек, потеряв терпение, замахали руками. Лошаденка затрусила. Клубы желтоватой пыли, как пургой, обволокли телегу, скрыв ее от глаз, а когда она остановилась, оттуда высунулась бритая улыбающаяся рожа мещанина, щетинника Ульяныча.

— Здравствуйте вам,— проговорил он, чихая от пыли.— Аль кто умер? Продать нечего?

— Черт бы тебя побрал! — закричал Созонт Максимович, топая ногами.

Ульяныч вытаращил глаза от изумления.

— Носит тебя, домового, не́впору!.. Тут, можно сказать, заждались до́ смерти, а он, как нарочно... Отвернул бы хоть с дороги-то, анчутка безбородый!

Вася с отцом выехали с другого переулка, откуда их не ждали, и Созонт Максимович даже немного обиделся за это.

— Словно на смех,— проворчал он.— Их ждешь с большака, откуда много ближе, а они прутся с полей; тоже норовят смудрить, навыворот как-нибудь уладить...

Егор сиял, как новый самовар. На телеге, доверху для мягкости набитой сеном, рядом с ним сидел оторопевший от такой встречи и от такого множества народа белокурый паренек с большими синими глазами, худенький, немного бледный, коротко подстриженный. На нем — суконная господская шинель с серебряными пуговицами, темно-синий

картуз при звезде и новая курточка, из-под которой выглядывает тонкий краешек белого воротничка.

— Сыночек, Васенька! — закричала мать, бросаясь к телеге.— Деточка моя ненаглядная, соколик ясный!..

Парень соскочил с веретья, крепко обнимая залитую слезами старуху. Сбоку прижались плачущие сестры, становясь на цыпочки и целуя его в щеки, голову и суконную одежду. Егор бережно, словно икону, держал в руках свалившийся картуз Васютки, потихоньку гладя козырек и сдувая пыль с околыша.

В толпе гудели:

— Вот это я понима-аю!.. Вот это, братцы мои, ловко!..

— Пуговицы-то, пуговицы-то, господи!

«Книжка» — высокий, тощий мужик, сипел двоюродному брату, крутя головой:

— Микит, ты слышь, гляди-ка: ну, прям, не отличишь от Винамей Гаврилыча, грозой меня убей, не отличишь!..

— Экось, сучьего сына, до каких делов дотяпался: в перчатках, серые портки на улицу, аж страшно!.. Вот так Васенька-Васёнок, вот так молодчинище — за всю деревню постарался!..

Потом, как в церкви, мужики стали в порядок и один за другим подходили к приезжему здороваться. Некоторые бестолковые бабы, по забывчивости, крестились, целуя его, а опомнившись, сплевывали и говорили:

— Ах ты, чума тебя возьми, миленка,— словно к Миколай-угоднику присунулась!..

Глядя на ноги, смеялись:

— Ты по-бабьи, в полусапожках, деточка! Не холодно зимой-то? Пальчики не мерзнут?

Сзади, от дверей, раздался испуганный шепот:

— Робят, что ж вы Созонт Максимыча-то, а? Вы о чем же думали? Его надо передо́м; вот бестолочь какая!.. Робят, пропустите, ай оглохли?.. Потеснитесь малость... К сторонке, к сторонке... Ну и наказание, ей-богу... Староста, чего же ты пялишь бельма — доставай медаль — и в шею!

— Эй вы, а то ж-живо! — взмахнул палкой Морозенок, брат старосты.— Чиш-ше!..

Размякший от всеобщего почета, Шавров крякнул, оправил жилетку, подойдя, троекратно поцеловался с Васей, а с Егором поздоровался за руку и, ласково улыбаясь, проговорил при гробовой тишине:

— Пойдем ко мне, Егорыч, на чашечку чая: я уж бабам приказал наладить самоваришко.

Лица у всех после слов Созонта Максимовича стали такими, будто каждому положили в рот по куску сахара.

— Чаевать зовет... Самовар, бат, с самого утра фырчит: пожалуйте, грит, милости вас просим,— зашептали бабы.

Но стоявшая рядом с Василием мать замахала руками:

— Нет, Созонтий, уж он нынче пусть у нас побудет: чаю у нас тоже прорва наготовлена.

Бабы дергали сзади ее, щипали за крестцы, шипели:

— Замолчи, дуреха, замолчи!..

А она не унималась:

— Чаю у нас даже не повыхлебать!

— Ваш-то в чугуне, навозом, поди, пахнет, от него стошнит...— мягко заметил Шавров.

— Ничего, родимый, уж мы как-нибудь, по бедности своей, в чугуне... А к тебе он завтра примчится... Как только проснется, так и привалит...

— Ну, как хотите,— сказал хозяин, разобиженный.— Как вам угодно, я всем сердцем... Если в случае понадобится сахар или монпасеи, приходите в лавку... Опахал картошки? — обернулся он ко мне.— Дрова бы сложил в кучу; бегаешь по всем местам, как полоумный!..— Вытулив хребет и как-то по-особому, не по-шавровски, расставляя ноги в светлых сапогах, Созонт Максимович побрел к себе...

Вася перецеловался со всеми, сколько у избы было народу, всем пожимал крепко руки и приговаривал:

— Ну, здравствуйте!.. Живы-здоровы? Вот и слава богу, вот и хорошо!

Подходя ко мне, спросил у «Книжки»:

— А это чей же такой тощенький: я его что-то не знаю?..

— А это, Василий Егорович, работник Максимыча,— закричало несколько голосов.— Это Ванюшка осташковский, грамотей хороший, читарь, но только, конечно, против вас в подметки не годится!..

Вечером подвыпивший Егор плясал на старости годов «камаринского мужика» и называл себя удаленьким молодчиком, старуху — душой девицей и лез к ней жировать, а у нас Шавров, смертельно пьяный, таскал по полу окровавленную Гавриловну за волосы, а из покрасневших глаз его потоком лились слезы.

— Тварь последняя ликует, а я ни к чему живу!.. У-у-у, сволочи паршивые, без ножа порежу всех!..

И там и тут,— у Пазухиных и у нас,— под окнами стояли ротозеи...

VIII

Утром по деревне прошел слух, что Васька-дворянин обулся в лапти, надел синюю посконную рубаху, такие же портки и, стоя по колена в луже, помогает отцу чистить хлев. Первыми на такое чудо, как и всегда, сбежались ребятишки, черномазыми чертями облепившие забор, потом у соседок оказалась недохватка по хозяйству, и все побежали к Пазухиным.

— Что, Василий Егорович, не хотите нашей крестьянской работушки забыть? — участливо спрашивали они, перемаргиваясь между собою и любопытно заглядывая парню в лицо.— Тянет к земле-матушке? Уж это беспременно так!..

А бабы ныли:

— Ну-кось: руки-то — как сахарные, а он вилами-тройчатками копает!.. Егор, ты постыдился бы маленько, а?.. Ведь этак ты его испортить можешь. Ты над этим думал, пес?

Сконфуженный старик ворчал:

— Господи помилуй, разве я его неволю; он сам охотится... Я говорил уж: бросьте, мол, Василий Егорыч, а он — свое... Какой же я ему теперь указчик, у его мозги пошире...

Вскоре из двора во двор стали ползать сплетни и ехидные усмешки: Васька-то, де, одну зиму подворянился, а к лету не годился — вытурили, но только он куражится и никому о том не сказывает. Другие же не верили, что парень выгнан из училища, но тем не менее ругали его еще пуще, говоря, что раз дошел до господской линии, лезть в черную крестьянскую работу — срам и чванство, и смотреть на это даже со стороны обидно, а Егор — дурак плешивый, если позволяет сыну куролесить.

— Читал бы под окошком книги или на гармонии зажаривал, а то — наво-оз!.. Мы знаем эту моду, нас, брат, не обманешь, даром что не учены!.. Гляньте, мол, робята: грамота мне словно — тьфу, а окромя того — работать понимаю, одно слово — золотых дел мастер!

— Га, пугать задумал, мы и так пужливы!.. Сел за

книжки, значит, и сиди, как черт, а то — гуляй по холодочку, это — твое дело, это мы можем понимать, а навоз мой пращур чистил!.. Бает: нечего орясничать, работать надо, ну, и гнись, козел глумной, погей, смеши деревню!..

Багровый от злости Ноздрин, стоя без шапки, как собака, тявкал на всю улицу:

— Ты — муж-жик?.. Ты до причалу доволокся? Топерича ты — господин в серых штанах и при медали? Так покажи мне форс господский, чтоб поглядел я и сказал: как будто наш, простой, а куролесит лучше барина!.. А посконная рубаха? А лохматые портки? Рубаха ребра мне истерла, а тройчатки вымотали силу!..

Вездесущий дух — пастух Игнашка Смерд — вздохнул, качая головою, вытер мутные глаза и прошептал:

— Ох, брось, родимый Вася, бро-ось: пропахнешь нехорошим духом, не возьмут тебя больше господа к себе в училишшу, оставь, ягненочек, пускай отец копается, а ты блюди себя... Оставь, зачем ты этак, глупый!.. Брось их к бесу, вилки-то; бросай, куда попало!..

Когда об этом происшествии узнал Созонт Максимович, то весь перекосился. Ночью его Любка захватила в крупорушке с Павлой; он был встрепанный и красноглазый, говорил осипшим голосом, пил квас со льдом, через все лицо имел багровую царапину и с постели на полу не поднимался.

— Ну-ко, слышишь, пан Твардовский, сбегай за Егоршей! — крикнул он мне через двери, грузно приподнимаясь на локте.— Сей секунд чтоб! — и припал сухими ярко-красными с налетом шелухи губами к медной объемистой кружке, доверху наполненной молодым, пенистым квасом.

Егор пришел без шапки, босиком, прямо оторванный от работы. Ноги его выше щиколоток были вымазаны коричневым навозом, между пальцами торчала прелая солома, а на лбу еще не высохли крупные капли пота.

Одернув вздувшуюся на боках пузырями рубаху, он перекрестился на иконы, поздоровался с Китовной, вопросительно уставившись в лицо ей.

— В горницу пройди, Егорушка, он там,— не поднимая головы, промолвила старуха. История прошлой ночи пришибла ее, и бабушка с утра ни с кем не разговаривала, сидя на залавке и вытирая рукавами слезинки.

Весело ухмыльнувшись, Егор отворил стеклянные

двери в горницу и, увидя на полу, на пестром самодельном ковре Созонта Максимовича Шаврова, подмигнул:

— Али голова болит? Вставай, вставай, невесты у ворот заждались; ах ты, соня!.. Вот дрыхнуть-то здоровый, батюшки мои! — замотал он головою.

— Ты мне сколько должен? — скаля зубы, злобно перебил его Созонт Максимович, и лицо его сразу налилось кровью, а губы побелели.

Егор оторопел.

— Да как тебе сказать, чтобы не сбрехнуть,— уже насильно улыбаясь, хотя втайне и думая, что Шавров шутит, пролепетал старик,— ковша три опохмелки, что? Это можно в один минт сварганить, баб-то нету, хе-хе-хе!..— Заглядывая хозяину в глаза, Егор тряс длинной бородой и хлипал.— Мы не хуже твоего вчерась тоже порядочно клюкнули, а нынче с самого утра вот тут шурум-бурум,— Егор дотронулся до лба и до висков.— Квас-то у тебя никак свежий? Глотну маленько, может, отойдет от сердца...

Но Шавров порывисто дернул кружку из-под носа Егора, и квас расплескался по ковру и полу.

— В дворяне записался, чертова паскуда? — схватив себя за грудь, прохрипел Созонт Максимович, трясясь и пуча красные глаза.— Заплати долги спачала, а потом дворянься, а покамест я в деревне дворянин, а ты и твой щенок — холопы мне!.. Перчатки, бляху на картуз, ошейники — в дворяне? Деньги дай!.. Зарежу, твари безживотные!..

Шавров вскочил с постели, покружился, как разъяренный бык, по горнице и, отыскав за большим степным зеркалом, с краев облепленным конфетными бумажками и водочными ярлыками, связку акациевых бирок, вытащил одну из них и, насмешливо и с ненавистью глядя на перепуганного старика, прошипел:

— Шесть красных и семь гривен, чуешь? Через неделю я у тебя последние портки продам... Пошел, лярва, вон!..

Пришибленный Егор, виновато улыбаясь, потный, с трясущимися от стыда и гнева руками, как-то боком, пряча в сторону слезящиеся глаза, прошел через теплушку, долго шарил руками у притолоки, хотя дверь была настежь отворена, беззвучно, как по мягкой овчине, спустился с крыльца. Почему-то было жалко и смешно смотреть на его круглую загорелую лысину, похожую на новый, хо-

рошо выжженный горшок, еще мало побывавший в печке и не обкоптившийся, на седые спутанные волосы, узенькой полоской идущие по затылку от уха и до уха, в которых торчал старый ржаной колос, на длинную, тонкую, морщинистую, как неудойное коровье вымя, шею и на грязные, в заплатах, пестрядинные штаны, мешком свисавшую мотню, на синюю рубаху, от лопаток до крестцов пропитанную потом.

Вошла Павла.

— Батюшка, у лавки мужики стоят, Иван Белых да Алексан Головочесов, просят в долг до новины.

Шавров метнулся.

— Пускай подохнут с новиной, ни маковой росинки никому!..

Солдатка удивленно подняла брови.

— Есть, которые на деньги. Там их много.

— Всем только на деньги. Будет, поблаженствовали за мое здоровье... Я им да-ам до новины! — заревел Шавров, крепко ругаясь и стуча кулаком по сундуку.— Они у меня узнают, как я есть дармовщица, сук-кины сыны, бр-родяги, нищета сверленая!..

Павла как-то по-особенному дернула подбородком и бросила резко:

— Нам это не выгодно — на деньги; брать никто не будет!..

— А я снаряжу тебя с поклонами, чтоб брали,— еще резче отозвался хозяин и, вытащив из-под себя ключи, сказал: — Принеси мне льду из погреба...

И когда солдатка возвратилась с полною чашкою хрустящего льда, он, глотая его крупными кусками, говорил: — Гнилье заставлю втридорога брать: я им страшней бога!.. Можешь ты это понимать, или нет?

Переменив голос, ласково спросил:

— Ты что пасмурная, грызлась, что ли?

— Там их три,— надула губы Павла,— проходу не дают, срамотно даже слушать... Я им не слуга в лаптях, чтоб этак величаться!.. Я лучше со двора уйду... Без мужа меня всякая глиста в полон может забрать...

Концом кисейного передника молодайка вытерла глаза.

Глядя на нее, я думал:

«Если бы я мог с тобою справиться, если б на то была моя воля, эх, и бил бы я тебя, стерву!»

А солдатка, словно догадавшись, о чем я думаю, зашипела:

— Ты чего, чертенок, голову просовываешь? Я т-тебя, короста!..— и как-то из-под низу, наотмашь хлестнула по щеке.

— Ва-анька! — заорал Шавров. — Бесенок! Отломаю голову, если будешь подслушивать!..

Мимо Китовны, которая в таком же положении и на том же месте, на залавке, продолжала сидеть, пригорюнившись, я стрелой вылетел в сени, а оттуда под навес, схватил первые попавшиеся грабли и начал сгребать в кучу мусор, раздумывая: «Вот бы его теперь спохачом-то обозвать, черта рыжего, а эту — шваброй...»

IX

Был на исходе летний вечер. Червонным золотом подернулась парча далеких облаков; легкой сероватой дымкой окуталось небо. Заблестели коньки крыш, пожаром зажглись окна, поперек дороги легли длинные строгие тени. Мягкая, лиловая, полупрозрачная на заходящем солнце пыль, поднятая телегами и пришедшим с поля стадом, неподвижным туманом заволокла улицу. Серебряные нити последних лучей, стрелами протянувшиеся от еле видных щелей на дощатом заборе, боролись с надвигающимися сумерками, печально бледнея и тая.

В избушку, где я обувался, стремительно вскочил, весь в поту и пыли, возбужденный Петя, крича не своим голосом:

— Сейчас Васю видел!.. Ваня, сейчас видел Васю за околицей!..

Из горницы, через двор, неслись визги и дикие пьяные песни Шаврова, второй день кутившего с дьячком и работниками; под навесом, склонив голову на грудь, сидела Любка; Гавриловна с Варварой доили коров, а бабушка ушла от стыда к соседям.

Я подвил оборку, отряхнулся и, доставая с голобца одежду, сказал товарищу, поглядывая в окно:

— Ты разве не слышал, что там делается? Лезь-ка на амбар, пока не поздно: я в ночное собираюсь...

— Да ведь и он тоже в ночное! — захлебнулся от восторга мальчик.— Лапти обул, синяя рубаха с ластовицами, кругом его ребятишки, а он сидит на гнедке Егорием Победоносцем и этак руками — то туда, то сюда, а те слушают, вытянув шеи, и молчат...

Петя поднимал и опускал худые, в цыпках, руки, пово-

рачивался во все стороны, и глаз его блестел, как свечка, а лицо от торопливости подергивалось.

— Иди спать! — прикрикнул я.— Пахома ждешь?

Раньше такие слова и такое событие, как пьянство в доме, к которому он с детства не привык и всегда до слез боялся, особенно если пьянство было с дракою, оглушили бы товарища, но теперь он словно ошалел.

— Поровнялся со мной, кричит: «Здравствуй, пастушок!» А я — в рожь, а стадо — кто куда, а они хохочут... «Ах ты, говорит, разбойник, разве можно хлеба́ мять?..» А я вот как испугался, прямо — смертушка...

Петя трещал, как сорока, склонив набок голову, и порыжевший хохолок его на грязном темени вертелся и подпрыгивал.

— Ты ужинал?.. Скорей собирайся... Что, Мухторчик не лягается? Мне бы снять шапчонку, да и гаркнуть: здравствуйте, Василий Егорович, с приездом вас! А я, нуко — в рожь: вот демон кривоглазый!..

— Ты в ночное, что ли, собираешься? На что тебе Мухторчик? — прервал я болтовню его.

Товарищ, отыскивая под дерюгой оброти, закрутил в знак согласия головой, но я сказал:

— На амбар лезь, пока цел, а в ночное тебе ехать незачем!..

— Поучи кобеля на месяц лаять! — вдруг выпалил Петруша и ни с того ни с сего начал крыть меня бранью.

— Ты какой указчик мне — отец аль брат? — топорщась, как ободранный цыпленок, налетал он.— К черту амбар, лезь сам, лошади хозяйские!..

— Петя, милый, что с тобою? — прошептал я, не веря собственным ушам.— За что ты меня этак?

Мальчик как будто опомнился. Вытерев ладонью мокрый лоб, пытливо посмотрел на меня, и вдруг брови его, будто от изумления, высоко приподнялись, подбородок запрыгал, и щеки опустились вниз, и из серых глаз товарища горохом посыпались слезы.

— Н-не могу я... Силы нету...— простонал он и, прикрывшись рукавом разорванной рубахи, упал на помост.— Измучился весь... С часу на час ждешь беды... Аж голова болит от нехорошей жизни, а тут еще ты привязываешься!.. Мне поглядеть на Васю хочется, а ты: на амбар лезь!.. Я скоро совсем уйду от вас!..

Дорогою приятель повеселел. Неумело сидя на Мух-

торчике и придерживаясь руками за гриву, Петя тараторил:

— Вот этой стежкою пальнули, видишь? Вася впереди, а робятишки сзади... Приедем в Заполоски, первым делом наберу сухих котяшьев, вторым — разведу огонь, потом подсяду и скажу: «Что, Васильюшка, учиться мне не пособите?» — «Отчего, скажет, нельзя; сейчас аль после?» — И почнет опять этак руками — то туда, то сюда, а я буду слушать...

На сине-пепельном придвинувшемся небе против нас золотилась первая вечерняя звезда. По обеим сторонам узкой дороги, поросшей меж колей пыреем и белоголовником, неподвижною стеною стояла выколосившаяся зелено-бурая, в сумерках почерневшая рожь, с круглыми, похожими на блюда, вымочинами, кое-где обметанными куколем, краснушкою и васильками; там и сям широко разметались рубежи-полынники и одинокие ракитки; на косогоре, в темном ковре проса, испещренного межами, будто две сестры, обнялись стройные осины. Серые копыта лошадей, трава и хлеб — росисты; от росы отволгли гривы. Кругом изумительная тишина, от которой слышен звон в ушах. Изредка лишь где-то далеко вавакнет самка-перепел, дернет коростель, прохрустит былинка на зубах нагнувшейся лошади, сухо звякнет подкова о подкову, тяжело, словно после неотвязной думы, вздохнет поле и замолкнет, и пугливо притаится вечер, и тревожней замерцают звезды. Земля дышит ровно, бесконечно глубоко, как натрудившаяся в родах женщина, и мягкие сумерки — ее слабая, еще мученическая улыбка, которая под утро расцветет в ликующую песню, в трели, в радужные краски, в лучисто-искрящийся, крепкий и здоровый смех.

Товарищ затянул было песню, но, посмотрев на тихие, молитвенно спокойные поля и на темную полосу безоблачного неба, мягкою завесою подернувшую даль, замолк, прижавшись к теплой холке мерина, и до самого табуна, версты две-три, мы ехали, не проронив ни слова, и лишь когда метнулся яркий огонек костра в овраге и темные снующие фигуры детей вокруг него, Петя неудержимо весело, всем своим существом, засмеялся.

— Господи, как хорошо-то!..

Он соскочил с Мухторчика и, как заяц, начал бегать по росистой траве.

Проголодавшиеся лошади, пользуясь остановкой, набросились на рожь. Саврасый жеребеночек-сосун, люби-

мец Федора, гремя бубенчиком, смешно расставил тонкие, неокрепшие ноги, оттопырил белый хвостик, тыкаясь губами в полное материнское вымя: как ребенок, он звучно глотал молоко и причмокивал, а воронуха-мать, обернувшись, любовно обнюхивала его спину с темным желобочком.

Облокотившись на руку, Васютка Пазухин полулежал у костра. Остроглазый мальчуган в отцовской шапке доставал голою рукой из золы печеные картошки; другой, беленький, похожий на Петрушу, тащил мешок с хлебом и бутылку молока. Два длинноволосых карапуза, лет по семи, растянувшись на животе, смотрели, не мигая, в лицо Васе. В нескольких шагах от костра, сжавшись в тесный круг, человек одиннадцать играли в «лису».

— Жарят, черти! — засмеялся Петя, спрыгивая с мерина. — Бог помочь вам!

Сидевшие у огня пузыри кувырком подкатились к нам.

— Пошто поздно? — спросили они в один голос и, не дождавшись ответа, побежали обратно.

— Шавровские пастухи на четырех... Красавчика с Буланкою оставили дома,— доложили они товарищам и опять улеглись на животы, подперев ладонями пухлые подбородки.

— Сейчас спросишь или потом? — тихонько обратился я к Петруше, выбирая поудобней место для спанья, но присмиревший на людях товарищ, прячась за меня, глядел во все глаза на Васю, не отвечая ни слова.

— Посытней бы жить нам, вот что плохо, — очевидно, продолжая прерванную нашим приездом беседу, заговорил он. Голубовато-золотистое пламя костра чуть-чуть освещало его лицо и большие потемневшие глаза его. — Школ больше, книг, людей ученых... А то, что же это, — дети мрут, скотина дохнет, кругом пьянство, урожаи скоком, голод; поневоле озвереешь... А ученье... — Вася взял себя обеими руками за голову и как-то восторженно, светло и любовно прошептал: — Как это хорошо — учиться!..

Лощиною, из-за кустов, ночь незаметно подкралась к табуну, окутала всех мягким покрывалом, стерла линии, темным колпаком накрыла тлеющий костер; испуганные язычки жидкого пламени тревожно замерцали, торопливо прячась под узорный пепел.

Приподнявшись так, чтобы нас всех видеть, Вася долго говорил нам о России, о той стране, в которой мы живем, о ее могучей необъятности, о том, что на полдень и на пол-

ночь, по всем четырем сторонам, живет столько мужиков, таких же, как и мы, что ходи десять, двадцать, сто лет, всех не пересмотришь, полей не измеряешь, людей не перечтешь, и что за русскими людьми есть разные другие люди — немцы, а всего их без числа, без края... Потом говорил о том, что земля наша — малая песчинка в мире и что звезды, которые нам кажутся блестящим бисером на небе, сродницы ее, подруги.

Я не могу и десятой части передать того, что говорил Васютка в этот необыкновенный и на всю жизнь памятный вечер. Помню только, сначала я не поверил ему, как и большинство улыбающихся товарищей, но потом я прижался к дремавшему карапузу, голова моя закружилась; я забыл, где нахожусь и кого слушаю и кто я в жизни, и каким-то чародейством были для меня слова его. Шальным я убежал в овраг, к ручью, бросился на росистую траву и, не знаю, с горя ли, иль с радости, заплакал так, что во мне перевернулось все нутро, и я потерял сознание...

X

Настоящая глава — одно из грустнейших воспоминаний моего отрочества, и события, в ней описываемые, а также и последующие, много способствовали тому, что я, может быть, преждевременно вылупился из отроческой скорлупы.

Петруша, Вася Пазухин и большинство ребят уехали из ночного еще до солнца. На день в поле остались только дети да те из подростков, у которых не было дома неотложного дела.

Раннее утро на лугу — бесконечно красивое время: тогда роса горит и переливается ярчайшими самоцветами, воздух чист и прян, как мед, а хлеба́ в розовом, колеблющемся, необъятном покрывале.

Бодрые, обласканные солнышком, мы веселою гурьбою выкупались в бочаге, напекли картошек и, усевшись в круг, завтракали.

— Намнемся досыта и в чехарду, — лукаво щурясь, говорит Алеша Маслов, востроглазый, продувной мальчишка, подталкивая в бок мешковатого Селезня, которому вчера досталось больше всех в «лису».— Ты как, Семен?

— Дыть я, чего ж, я не сробею... Только чтобы озорства не было, — медленно, будто вытягивая слова из же-

лудка, сопит тот. — По-божьи согласен, по-чертову согласья нету...

Слова его внутри бухнут и прилипают к языку; он их отдирает, тужится, мотает головой и, не осилив, сует в рот нечищенную картошку, пачкая подбородок и губы золой.

— Поглядыва-ай!.. Поглядыва-ай!..

Надев на палку картуз, из-за холма, в котором будто бы в старое время хоронили утопленников, нам машет караульщик Пронька, указывая вдаль, на синеющий бугор.

— Объездчик едет!.. Привьет во-спу!..

По пыльной дороге, пока еле видный, мчался верхом человек в красной рубахе.

Алеша приложил руку к козырьку и, посмотрев, сказал:

— Никак в самом деле он... Лошадей надо пересчитать... Ну да, свернул на нашу стежку!..

Неизвестный человек, объездчик, по предположению Алеши и Проньки, несся во всю прыть, оставляя за собою клубы пыли. Изредка он взмахивал руками, и тогда рубаха его надувалась пузырем.

Мы встали на ноги.

Вот ближе, ближе... Лошадь — гнедой масти, во лбу звездочка.

— Пахом ваш! — закричал Алеша. — На Красавчике!

— Да, Пахом.

Круто осаживая около нас вспенившегося жеребца, работник гаркнул:

— Марш домой!..

Он бледен, пьян, без шапки, босиком.

Ни слова не говоря я торопливо схватил оброти.

— И ты! — Пахом ткнул кнутовищем Селезню. — Марш все домой!..

— А что ты нам, хозяин, что ли? — попробовал защищаться Пронька. — «Марш все домой!» Нам приказано до вечера стеречь.

— Молчать, кутенок дохлый! — заревел Пахом и хлестнул его кнутом по голове. — Сказал и — слушайся!.. Марш без разговоров!..

— Я отцу пожалуюсь, — заплакал Пронька, но тем не менее покорно взял одежду, направляясь к своим лошадям.

Пахом гарцевал и лаялся, как пес; с удил Красавчика сочилась кровь.

Дождавшись, когда все сели на лошадей, он гикнул и помчался тою же дорогой, что приехал, бросив:

— Езжай рысью, кто отстанет — лупка!.. Нынче — пиршество!..

Перепуганные, а некоторые и в слезах, мы молча подъезжали к Мокрым Выселкам, теряясь в догадках. В поле, несмотря на будни, не было ни одного человека. Кое-где на пашне серели распряженные телеги; в бороздах, свалившись набок или задрав обжи вверх, валялись сохи, опрокинутые бороны; у канавы, между Кукушечьим перелеском и Святым Колодцем, лежал веревочный кошель, набитый сеном, пыльный шарф, возилки, синий — из рубахи — мешок с хлебом; в озими телята, а кругом на всем пространстве ни души.

— Неладно что-нибудь, — промолвил Селезень, — к чему бы этак? На дворе покос, а люди празднуют... Пронька, больно тебя устегнул работник-то?

— Нет, погладил! — еще всхлипывая, отозвался тот. — Тебя бы этак!..

— Что ж, я бит: меня с шести лет в работу впятили... Погодьте, никак колокольчик? Ишь ты, даже много! Свадьба, что ли?

Действительно, из-за осинника кто-то азартно звенел колокольцами. С еще большим недоумением мы переглянулись, подстегивая лошадей, а когда въехали на улицу, перед изумленными глазами открылась такая картина.

Пьяный Шавров, одетый в желтую полушелковую рубаху и плисовые шаровары, сидел в тарантасе. Жирно политые лампадным маслом волосы его блестели, расстегнутый ворот рубахи обнажал широкую грудь в рыжей шерсти; померкнувшие оловянные глаза бессмысленно таращились. Рядом с ним, по правую руку, вертелся дьячок-приятель, где-то с ног до головы выделавшийся в навозе; по левую — работник, Вася Батюшка, чинный и благообразный, в вышитой темно-красной, бордовой рубахе и полосатой, с хозяйского плеча, жилетке, а на козлах, в сарафане, в розовом платке, успевший уже перерядиться, Пахом. В тарантас, пестро украшенный лентами, было запряжено штук двенадцать пьяных баб. У каждой наискось, через плечо подмышку, лямка. Бабы — молодые, лучшие из Мокрых Выселок. Впереди их, парами, под предводительством того замухрышки, который нам играл с Петрушею на дудках, стояли музыканты, держа наготове балалайки, косы, бубны, старые ведра и заслонки из печей; за ними девки, переряженные парнями, а парни, переряженные девками, лица парней были вымазаны сажей, а на головах

высокие соломенные колпаки. Сзади тарантаса, меж полукольца нарядных мужиков и баб, на привязанной к оси корове, сидел счастливо улыбающийся Влас, закутанный в голубое байковое одеяло.

И над всем этим, как кошмар, стоял неистовый хохот, матерщина, свист и песни. А по задворкам, где на картофельных полосах ходила беспризорная скотина, прятались между пучков соломы перепуганные дети и старухи. С голубого неба радостно светило ласковое солнышко, плыли шапочками облака, на крышах мирно ворковали голуби и щебетали ласточки.

Сзади меня, забыв о недавнем огорчении, взвизгивая и закрывая ладонями лица, хохотали Пронька и Алеша. Недалеко от них, став на четвереньки, Клим Ноздрин, одетый в вывороченную шубу, лаял на жеребенка-сосунка, а жена его, хватая Клима за ноги, кричала:

— Встань, дворной, а то штаны порвешь, — они три гривны за аршин!.. Не лай, а то ударю чем-нибудь!..

Жеребенок пятился от Клима и предостерегающе стучал точеной ножкой.

А Шавров, склонив на грудь голову, сидел в тарантасе неподвижно, временами лишь устало поднимая руку и прикладывая ее, словно силясь что-то вспомнить, к бледному потному лбу. Это что-то, очевидно, было очень важное, нужное, спешное, потому что лицо его мучительно кривилось, глаза еще глубже уходили под щетинистые брови, широкая спина сутулилась, а плечи низко, безнадежно опускались...

И не в состоянии вспомнить, он, как спросонок, поднимал тупые, бессмысленные глаза на баб, и тогда руки его плетью падали в колени.

— Что ты рот распялил, матери твоей калач с изюмом? — раздался пьяный окрик. — Покатай меня по улице!

Я вздрогнул. В белой до пят женской рубахе, в холщовом саване на голове, махая отмороженными култышками, ко мне нетвердою походкой шел пастух Игнашка Смерд.

— Покатай, пожалуйста, я тебе дам на подсолнухи!..

Стиснув зубы, я изо всей силы ударил его толстым кнутовищем по лицу и, рвануз поводья, с глазами, полными слез, ускакал к себе.

Весь двор был застлан веретьями, на которых еще валялись неубранные четвертные бутыли из-под вина, стрелки зеленого лука, серые пятна рассыпанной соли, обглоданные селедочные головы — остаток пиршества.

По ним бегали собаки, вырывая друг у друга кости, важно разгуливал индюк и космоногая наседка с цыплятами, а на крыльце, склонив на руки голову, плакала Гавриловна, жена Шаврова.

Бросив лошадям травы, я побежал в избушку, чтобы разузнать у Пети, что́ это такое, но, вспомнив, что товарищ в поле, растерянно остановился у порога.

Вдруг с улицы, очевидно по данному сигналу, раздался оглушительный треск и звон заслонок, а за ними сотни пьяных глоток застонали и завыли что-то.

Я вышел за ворота.

Вытянувшись пестрым холстом, с тарантасом посредине, толпа неслась, как сумасшедшая, вдоль улицы. Недавней задумчивости Шаврова будто не было: привстав, держась рукою за дьячка, он гикал, матерщинничал, подбрасывал картуз; ему подобострастно подражали; Пахом хлестал вожжами по вспотевшим бабам; Вася Батюшка скромно хихикал, а впереди, сплетаясь в круг, отступая и сходясь, танцевали ряженые, дребезжали косы, ведра, прозвонки и колокольчики...

Приседая на карачки, тощий замухрышка с наслаждением бил ладонью в бубен, тоненько, надсадливо крича:

Устюшкина мать
Собиралась умирать:
Ползает, икает,
Ногами брыкает...

Рядом с ним беременная баба, высоко закинув голову и обнажая синие цинготные десны, ревела во всю мочь, прикладывая руку к щеке:

Я б-ба рада... тебе воспитала,
Только в грудях нету... моих молока...

Оглядываясь по сторонам, она дергала подбородком, и большой рот ее, как пушечное жерло, выбрасывал осколки слов:

Пон-несу... эт-т-у малую-утку
Ко сест-ри-це своей ко родной...

Взметая мусор, орава вихрем пронеслась по улице на другой конец деревни, оставляя за собою груды пьяных, ползавших в пыли на четвереньках.

На обратном пути, против наглухо закрытого дома Пазухиных, Шавров велел остановиться,

— Почему Егорши нет? — спросил он, глядя на толпу. — Приказ мой был, ай нет?

Музыка ударила «Камаринского».

— Помолчите! — ощетинился хозяин. — Где Егорша с дворянином?

— Не знаем, — сказал за всех Игнашка Смерд, — спрятался, должно быть...

— Стучи в двери!

Шавров потен, зол, глаза полуприкрыты.

Клим Ноздрин стал колотить щеколдой.

— Не слышишь, старый дьявол, тебя требоват Созонт Максимович!.. Отворяй живее!..

Дом словно вымер. Ноздрин ударил в дверь ногою. К нему подскочили на подмогу, и шаткие стены задрожали, как живые.

— Молчит, рвань, приспичило! — ухмыльнулся Влас.— Ужо-ко слезу я.

Скромный Вася Батюшка, достав из кармана вчетверо сложенный кубовый платочек, аккуратно вытерся и поглядел на Шаврова.

— Пойтить, что ли, мне? — вздохнул он и, соскочив с тарантаса, обошел вокруг избенки.

— Все закрыто, со двора и с улицы, — развел он руками. — Что за народ, мать их курицу!..

Он неторопливо выдернул из стоявшей поблизости мяльницы дубовое било, попробовал в руке его и, подойдя к окну, с размаху ударил в раму. Стекла взвизгнули, рассыпавшись слезами, внутри кто-то ахнул, толпа заржала и засвистела.

Так же спокойно, степенно, улыбаясь, работник подошел ко второму окну, подняв било, приловчаясь, но дверь из сеней раскрылась настежь, и на пороге появился бледный, трясущийся Егор, с водоносом в руках.

— Разбойники! Побойтесь бога!.. Братцы! Где же ваша совесть? Уб-бью, сволочи!..

Егор рванулся за порог, подняв над головою водонос, толпа шарахнулась и отступила.

— Тю-лю! Эй-эй! Га-га!..

— Бери его, лохматого!..

— Цель в морду билом! Швыряй билом!..

Опять откуда-то вынырнула жена Клима Ноздрина, схватила мужа за рубаху, награждая подзатыльниками.

— У тебя сколько кутят-то, мразь ты этакая, а? Четыре? — вращая желтыми белками, выла она. — Оглушит

тебя водоносом сдуру, а я с ими тогда майся! Брось! Уйди, а то ударю чем-нибудь!.. — И, повернувшись к Егору, сжала кулаки: — Ты что же это, анафема, разбойничаешь, а? Захотел в острог? Ударь только, ударь! Я т-те-бе все бельма выдеру, кудлатому мошеннику!..

Тяжело дыша, растрепанный Егор, как зверь среди борзых, метался у дверей, отбиваясь от градом сыпавшихся на него палок и кирпичей, но вскочивший с козел Пахом бросился к старику под ноги и повалил его на спину. Выпуская из рук водонос, Егор заплакал, а соседи, с которыми еще только вчера он беседовал, шутил, рассказывал про сына, схватив его за ноги и за руки, с песнями и хохотом поволокли по улице...

Другая же часть мужиков, под предводительством Пахома и Власа, ворвавшись в сени, отшвырнула бросившуюся к ним навстречу старуху Анну, хватая Васютку.

Еще как только Егор отворил уличные двери, выбегая на улицу с водоносом, Вася взял из-под лавки топор, становясь за спиною отца, но когда Егора повалили и поволокли по улице, в сени вскочили Пахом и Влас, — руки его не поднялись на убийство: не то страхом, не то жалостью забилось его сердце, топор сам собою выпал.

Две руки схватили его за плечи, другие две рванули назад, он впился пальцами в скамейку и замер, бледный, будто не живой.

— Тащи купать! — скомандовал Шавров.

И когда Васю, вместе со скамейкою, волокли по выгону к реке, от сарая, хватаясь за живот, хохотал до слез урядник, только что приехавший к Шаврову.

— Дьяволы!.. Что вы делаете, дьяволы!.. Ох, и умру сейчас! Максимыч, шутоломный! Что ты выдумал?..

Он повалился в бричку и задергался, а белая фуражка его со звездою откатилась в подворотню.

Раскачав, Васю бросили в реку. Он выпустил скамейку и, барахтаясь, подплыл к мосткам. Его вытащили за рубаху.

— Бросай еще! — сказал Шавров.

Его снова бросили и снова — до шести-семи раз, до тех пор, пока он не посинел и не стал падать от слабости. За все время Вася ни разу не крикнул, не сказал ни слова, крепко-крепко сцепив зубы; одни глаза огнем горели, но и те к концу стали тухнуть, лицо млеть, а губы вянуть и дрожать...

Когда, брошенный в последний раз, он не мог уже выплыть, Пахому пришлось доставать его.

— Будет, что ли? — вопросительно посмотрел Пахом на хозяина, держа Васю на руках.

— Будет, — ответил за Шаврова Влас.

Его положили на траву.

— Очухайся маленько... Это, брат, тебе не сырые портки на улицу!..

Вспотевшие, достаточно усталые мужики неторопливо поплелись в деревню, к нашему крыльцу.

А там толпились дети, все еще хохочущий урядник, Павла и обходчик Севастьянов.

— Погляди-ка на подпаска! — крикнул мне Алеша Маслов, когда я, шатаясь, шел к себе в избушку.

Скуля, в грязи и рвоте, у фундамента барахтался Петруша. Скотины он не пас сегодня: на «пиршестве» его споили, и он где-то спал.

— Эй ты, Жилиный! — увидел он меня. — Подыми меня, а то я нынче пьян, — и скверно выругался, высунув язык и передразнивая меня.

— Севастьянов, дай ему за меня в рыло! Дай!.. — сквозь икоту пролепетал он.

Урядник присел на карачки, раскрыв рот; Павла скромно опустила длинные ресницы; ребятишки, как галки, закружились от восторга и захлопали в ладоши.

Схватившись за голову, я закричал:

— Ты знаешь, что сделали с Васей?! — и помчался куда-то вдоль деревни, а товарищ, приподнявшись на колени, под неистовый хохот и визг, опять стал ругать меня последними словами и грозить кулаком...

XI

Тогда я думал, что за всю мою жизнь я не прощу Шаврову издевательства над Васей, не прощу его работникам и всем Мокрым Выселкам — жалким и бессовестным людям, раболепно унижающимся перед разжиревшей мразью.

Я знал, что вся деревня по уши должна хозяину; знал, что всякого, осмелившегося идти наперекор ему, Шавров способен пустить по́ миру; знал, что грозная для бедняков полиция — правая рука его; знал и то, что слова его: «Я им страшнее бога» — не бахвальство! И тем не менее жгучая ненависть терзала мое сердце, и на глазах навертывались

слезы при одном воспоминании о только что пережитом позоре.

В первый раз сознательно я понял, какая громадная сила — богатство, как из-за денег, из-за страха быть разоренными мирные, неглупые и безусловно не злые люди становятся собаками, которых толстая мошна науськивает на других хороших, добрых людей, семейство Пазухиных, в частности на Васю, которого в душе они любили и гордились им, — науськивает только потому, что неумышленно было задето самолюбие. Я ни на минуту не сомневался в том, что, если бы Шаврову пришла в голову шальная мысль приказать мужикам выпороть среди улицы собственных жен или стариков отцов, многие из них спьяна, из угодства, подчинились бы ему и высекли... Хозяин вырос в моих глазах в громадную, всемогущую, злую силу денег, перед которою все преклоняются, с готовностью исполняя капризы и самодурства ее.

В этот вечер мне стала понятною прославленность Шаврова, его ум, сноровка, необыкновенные качества характера, о чем так много и так громко говорили по волости его прихвостни и подлокотники. И мне думалось: умри Шавров, завтра же прославят умным, добросовестным, рубахой-мужиком слюнтяя Власа.

И первое сознание такой несправедливости было мучительно, как тяжкая болезнь: вместе с ним въедалась в мои кости злоба к непорядку, отвращение к двоедушным людям, и я чуть не рвал на себе волосы, съедаемый стыдом, бессильем и обидой...

Давно уже спустился вечер, вызвездилось небо, на деревне примолк шум и песни, а я еще сидел за околицей в хлебах, погруженный в поток новых горьких мыслей. Бесконечно было жалко Васю. Представлялось, как теперь терзается он злобой и желанием отомстить своим обидчикам и как сознание бессилья надрывает его сердце.

— Может быть, вдвоем придумаем? Спалить их разве, сволочей? За одну беду — семь бед на их проклятые головы!..

Эта мысль окрылила меня.

— Пускай потом острог, Сибирь, пускай рвут тело на куски, зато злодейство втуне не останется.

И, когда решение созрело, я поспешно пошел к Пазухиным.

Ночь была тихая, душная, безросная. Серые избы почернели и разбухли. В грудах щебня курлыкали жабы,

дрались кошки, под поветями пищали и возились воробьи.

Обычно Вася спал в сенях, на двух прилаженных к стенке скамейках, и я направился туда. Осторожно стукнул. Двери сами собой отворились.

— Вася!

На соломе кто-то завозился.

— Что ж ты, где лежишь? На постель бы шел... Это — я...

Я наклонился — и сейчас же отскочил: в лицо меня лизнула Дамка, их собака, а постель была пуста. Я обшарил сени и чулан, постоял на крыльце и хотел было уже идти домой, как услышал странный шорох и хрип со двора.

Закутанный в тулуп, под навесом, на кострике лежал Вася, а в ногах, обняв его колени и прижавшись головою к ним, — Шавров, шепча:

— Детка моя... Вася!.. Детка моя... Детонька умильная!.. Детонька умильная!..

Высвободив из-под тулупа тонкую, худую руку, Вася молча гладил его волосы, а Шавров ползал, бился и хрипел, обливаясь слезами.

Хватаясь за забор, чтоб не упасть, я опустился рядом с ними.

...В третий раз захлопал крыльями и закричал петух над нами. Из соседнего двора ему отозвался один, потом другой, третий, и через минуту весь околоток огласился разноголосым пением.

— Ступай, Ваня, отдохни: скоро рассвет,— дотронулся Васютка до моей руки.— Ты, кажется, в обиде на меня?

Он плотнее закутался в тулуп и лег навзничь.

— Не сердись: он больной, несчастный... Таких жаль до слез... Большая сила, ум, в хороших руках из него вышел бы полезный человек, а он гибнет, как муха, как дерево, иссеченное в молодости топором...

Вася закашлялся.

— Нам не мстить им надо, — проговорил он, оправившись, — а помочь, всю душу положить на то, чтобы они свет увидели; а мстить слепым, несчастным людям глупо, подло...

Он устало закрыл лицо руками.

— Ступай, голубчик, ляг... Знобит меня...

Заря уже горела ярким полымем. Половина неба окуталась в бледно-розовые ткани, а другая — в темно-синие, и на ней еще мерцали трепетные звезды.

Над рекой и по выгону стлался легкий, светло-серый поползень-туман, предвестник сухменя.

В воротах, открыв рот, раскинув руки и подогнув одну ногу под себя, храпел Влас, а на одеяле, с которым он не расставался, Рябко́ с Волчком.

Чтобы не будить домашних, я через окно влез в теплушку, оттуда, мимо спящих баб, прошел в сени и, сняв с крючка войлок, лег на полу, и только тогда почувствовал, как я разбит. Помню, уж слиплись глаза и в голове стало мутиться, а тело пронизала сладкая истома, еще один миг, и я уснул бы, но вдруг рядом, в чулане, где спала Варвара, кто-то зашаркал ногами и запыхтел.

«Должно быть, Влас пришел, — подумал я. — Ломает тебя, черта страшного!..» — и, чтобы не слышать шороха, укрылся с головой свитой.

Но возня не унималась. Сначала раздался испуганный шепот, потом визг, от одной стены к другой кто-то быстро пробежал босыми ногами, споткнулся, всхлипнул, кто-то торопливо раскрывал окно, к нему подбежали, началась борьба... Я уже сидел, трясясь... Кто-то зажимал кому-то рот, скрипел кроватью, на пол шлепались подушки, кто-то хрипло, громко дышал, а кто-то другой отчаянно отбивался, силясь закричать, но ему мешали, и этот другой лишь тоненько, по-заячьи пищал и бился... Потом на пол сразу что-то грузно ухнуло, так что застонали половицы, и в уши мои, как горячей смолой, плеснуло:

— Батюшка, не надо!.. Золотой, не трогай!.. Миленький, грешно!.. Ой, пожалей! Ой, родненький!.. Ой, ба-ат...

Баба завизжала, словно под ножом.

— Убили! Кар-раул! Зарезали! — что есть силы закричал я, выбегая на крыльцо. — Православные, скорее! Православные!..

Двери из чулана с треском распахнулись, и Варвара, полуобнаженная, в рубахе — ленточками, с перекошенным от ужаса лицом, рыдая, пробежала мимо.

Я завопил еще отчаянней:

— Смертоубийство, правосла-авные!

Схватив за ворот рубахи, Шавров ударил меня сзади в голову, зажимая рот, но из теплушки уже выскочили Павла, Любка, Федор Тырин и Гавриловна.

— К Варваре приставал... Хотел ее зарезать!.. — лепе-

тал я. — Всю рубаху на ней изорвал, меня ударил в голову...

— Срам-ник! — вся как-то сжавшись, бледная, прошептала Любка и, подойдя к отцу, плюнула ему в лицо.

После этого все разом завыли и закрутились по крыльцу.

Гавриловна вцепилась мужу в бороду, а он наотмашь хлестал ее кулаком по лицу; растерявшийся Федор бестолково метался, хватая то одного, то другого за руки, но, получив несколько увесистых оплеух от Шаврова, озверел и вцепился ему в волосы...

Сбитого с ног хозяина мы молотили поленьями, скамейкой, кирпичами — всем, что попадалось под руки, до тех пор пока не сбежались соседи и не разлили нас водою.

А в обед Варвару нашли удавившейся...

XII

В разгар страды, в августе, мне пришлось вторично пережить такое же состояние, как и в детстве, когда в нашей волости открылась земская библиотека, — состояние великой радости и необычайного душевного подъема.

Прошло недели три-четыре после отвратительного пьянства Шаврова и смерти Варвары. Работники по-прежнему с утра до поздней ночи проводили в поле, Петя пас скотину, а я приучался косить рожь. Ни бесчеловечное глумление над Пазухиными, ни смерть младшей снохи Шаврова, этой доброй, тихой и застенчивой женщины, никого за всю жизнь не обидевшей, ни горе ее матери, ополоумевшей от неожиданной беды, ни моя ненависть к хозяину не могли заглушить в душе моей первой беседы Васи в ночном, его чарующих слов о жизни земли, о небе, о далеких людях и больших городах. Нестерпимо хотелось самому обо всем знать так же много и подробно, как Вася, хотелось видеть города, измерить вдоль и поперек землю, поглядеть на мир. Что бы я ни делал, о чем бы ни заходила речь — с Петрушей ли, с работниками, или с Китовной, которая теперь осела, как ощипанная галка, я мысленно переносился в город. Невиданный, он представлялся мне хрустальным, часто — золотым, сияющим, где по прямым, чистым дорожкам ходят старцы с книгами в руках, читая их без перерыва, а вокруг маршируют солдаты, свистят паровозы, гуляют в форменной одежде товарищи Васи, гремит музыка, воюют с неприятелем... И ча-

сто Пахома или Федора, еще чаще Петю, я представлял этим благообразным старцем с книгами, который *все знает,* всему может научить, и говорил ему что-то долго, быстро, глотая слова и захлебываясь от торопливости и страха, — говорил о том, как мне много хочется знать о земле и звездах, столько, сколько и он знает, как я буду послушен и терпелив, как старанием превзойду даже Васютку Пазухина... Грубая брань работника, затрещина или хохот товарища приводили меня в себя, я поспешно хватался за работу, а если это было во время обеда, уходил от телеги под копны и там сызнова старался вызвать в своем разгоряченном воображении страшный, непонятный, обольстительный хрустальный город.

Иногда он представлялся мне большою книгой, тою большой Голубиной Книгой, о которой пели странники:

В долину книга — сорок локоть,
Поперек книга — тридцати локоть,
В толщину книга — десяти локоть...

Тогда стирались паровозы, старцы и товарищи Васютки: лежала в чистом поле, на равнине, меж звенящих хлебов, большая книга-город сорока локоть; по ней с трепетом и благоговением ходят люди и черпают и пьют, как сладкий мед, все то́, что в ней написано: о звездах, о земле, о жизни и счастливых людях.

Петруша, несмотря на то, что речь Васютки в ночном произвела на него не меньшее впечатление, был гораздо хладнокровнее меня: он знал доподлинно, что, кончив срок службы, он поедет в городищенскую школу, и если беспокоился, то только лишь о том, где и как ему за это время подучиться, чтобы его принял к себе Николай Захарович. Как и я, он понимал, что больше, как к Васютке, обратиться некуда, но мы оба несмотря на обещание его, стыдились приставать с докукой, и товарищ втихомолку плакал.

Наконец, не хватило терпения, и мы вечером, убравшись со скотиной, тайком от домашних, побежали к Васе. Пазухины ужинали.

— От хозяина зачем-нибудь? — хмуря брови и подозрительно осматривая нас, спросил Егор. — Скажите: дома нет.

— Нет, дяденька, мы к Василию Егорычу, — потупившись, промолвил Петя: — по своей нужде.

— К Василию? Ну, это ваше дело.

Тот проворно выскочил из-за стола.

— Пойдемте на крыльцо, там лучше разговаривать, — сказал он.

— Каши-то поел бы! — закричала мать. — Она нынче с коровьим маслом... Ах ты, господи, ну что с ним станешь делать?

— Ладно, ладно, когда-нибудь в другой раз поем, — смеялся Вася.

От купанья он уже оправился и по-прежнему был весел.

Усадив нас на снопы старновки, он до поздних петухов, когда уже порозовело небо, беседовал с нами.

Анна, мать, то и дело выбегала из чулана, упрашивая сына отдохнуть, так как завтра опять косовица; парень любовно гладил ее, как маленькую, по волосам, говоря:

— Сейчас, мама. Ты пока ступай, приляжь, а я скоро приду... Ступай, ступай, старушка! — и снова толковал нам о том, как лучше, сподручнее устроиться с ученьем, а мать, счастливая от ласки, плотно прижималась к нему, шепча:

— Матерей, детки, не забывайте, родную кровь-то: господь счастья даст за это.

Пьяными поднялись мы с крыльца, крепко держа в руках данные Васюткой книги. Уже скрипели ворота, из труб вился дым, у колодцев и амбаров мелькали серые женские фигуры, и скрип ворот, и лай проснувшихся собак, и шелест босых ног по мягкой пыли звонко раздавались в чистом, предутреннем, еще не стряхнувшем ночной дремоты, сыроватом августовском воздухе.

Мокрые, продрогшие от росы, но счастливые вниманием и ласкою Васи, его разговором, открывшим нам дорогу в жизни, мы бесшумно прошли в избушку, переменили рубахи и, обнявшись, легли на полатях.

С той поры настало удивительное время, которое я и теперь с любовью вспоминаю, — время необычайной напряженности в труде и глубокой веры в будущее, веры, окрылявшей нас и подававшей силы и терпение. Как и прежде, я вставал вместе с работниками задолго до восхода солнца, отправляясь на работу. Было жнитво. Часов до восьми, не разгибая спины, мы косили рожь. Непокрытую голову палило солнце, тело ели комары и мошки, на лице от пота выступала соль, слепившая глаза, руки покрывались подушками сплошных мозолей, которые под косьем прорывались, и из них сочилась липкая белая жид-

кость вперемешку с кровью; на раны садилась пыль, разъедавшая их, но я не обращал на это внимания, с нетерпением поджидая завтрака, когда можно было сесть за книгу.

Чтобы я исправнее работал, батраки становили меня между Пахомом — впереди и Власом — сзади. Приноровившийся к косьбе и более сильный, чем я, Пахом гнал без передышки из конца в конец, а мне, косившему впервые, надо было поспевать за ним, так как сзади, по пятам моим, шел Влас.

— Веселей, с... с..., жилы подрежу! — гоготал он, и я выбивался из последних сил, пока однажды надо мной не сжалился Вася Батюшка и не показал, как надо держать косу для того, чтобы она шла плавней и легче.

Но вот из-за бугра показывалась Любка с завтраком. Еще далеко, версты за две с половиною, желтел ее платок.

— Летит, гагара! — восхищенно кричал Влас, блестя голодными глазами. — Папушечки несешь, дери тебя медведь!..

Эти две версты Любка шла чрезвычайно медленно. Всех охватывало раздражение, искрились глаза, еще сильнее ныли надерганные руки. Влас махал ей шапкой, матерщинничая; над ним, сквозь плохо скрываемую злобу, хохотали и задорили избить ее, но работы еще никто не бросал. Проходили ряда по три, девка скрывалась в овраг и, перейдя его, неожиданно показывалась около телеги. Став на колесо, она прикладывала к губам ладони, тоненько крича:

— Мужики-и, идите скорей за-автракать, а то простыы-нет!

— Бросай! — махал рукой Пахом. — Ты, что же, курва, кобелей ловила, али что? Гляди, где солнышко-то!

В его голосе была не злоба, а скорее добродушие.

Любка неизменно ему отвечала:

— Не пяль глотку, леший, сам знаешь: не ближняя дорога!

Молча все брали по пряди душистой соломы, перегибали и не спеша вытирали косы, потом отцепляли торбочки с брусками, клали их каждый на свой ряд и вперевалку плелись к телеге. Василий расстилал веретье, Влас с чересседельником или дугой гонялся за сестрой, которая визжала и отругивалась, Федор мерил скошенное, а я хватал книжку, забывая об усталости и голоде. Надо мной

смеялись и бранили, жаловались Шаврову. Пахом несколько раз пытался порвать мои книги, но я был упрям, добросовестно работал, а на брань и насмешки не обращал внимания.

В этом отношении опять Петруше было лучше, и я ему завидовал: с утра он угонял скотину в поле и там, как барин, что хотел, то и делал, никто его не ругал, никто не приставал с насмешками, никто не вырывал и не бросал куда попало книг.

Самое трудное время было с завтрака до обеда, от жары тогда болела голова, и занятия мои не так были успешны. Тотчас же после еды мужики ложились спать, а я ехал с лошадьми на водопой. Истомившись от зноя и жажды, искусанные оводами и мухами, лошади еще издали, только чутьем услышав воду, неслись вскачь, а когда с откоса от Каменных Баб, как лезвие, блестела речка, они вихрем проносились по крутому взлобью, бултыхаясь в воду и разбрызгивая миллионы бриллиантовых искр. Я едва успевал бросить в сторону книги и вместе с лошадьми погружался в чистую, как слезы, прохладную воду. Лошади фыркали и ржали от удовольствия, а я нырял вокруг них, плескался и кричал, сам не зная что. Потом, теплые, отяжелевшие, с алмазными капельками в гривах, они медленно плелись в гору, я же, сев на Мухторчика, у которого была хорошая привычка — идти сзади всех, учил уроки. Когда мерин останавливался — значило, что кто-нибудь отстал. Я подгонял, и так тихонько, шаг за шагом, не отрываясь от книги, добредал до телеги.

Но лучшею порою в занятиях была все-таки ночь. Дождавшись, когда работники уходили из избушки под навес, где меньше было насекомых, мы с Петей зажигали небольшую лампочку, подаренную Китовной, и чуть не до самого рассвета корпели над задачами, писали сочинения, диктант, выспрашивали друг у друга басни и стихотворения.

На первых порах хозяин нас преследовал, боясь, что мы нечаянно можем спалить его избушку, так что нам приходилось завешивать окна, чтоб не видно было света. Но потом, приглядевшись к нашему учению и заинтересовавшись им, Шавров предложил нам вечерами сидеть в горнице. Мы отказались, находя это стеснительным и для него и для себя. Тогда он сам стал приходить в избушку, заставляя нас читать про старину. Ему очень нравились рассказы о Петре Великом, он весь кипел от удивления

и радости, слушая, как царь простым работником учился строить корабли в чужой земле.

— Вот хозяин! Вот башка! — твердил он.— Вот дому рачитель, батюшка! Еще бы нам такого сокола! — Созонт так разошелся, что однажды дал нам полную бутылку керосина без денег.

— Читайте, — говорил он, — может быть, из вас ни черта из обоих не выйдет, но учитесь, я от бутылки не обеднею.

Так прошли спожинки, август, кончилось жнитво, убрали хлеб с полей, засеяли озимое. Вася Пазухин уехал в город. Поглощенные работой и учением, мы не замечали времени. И вдруг тяжелое, ужасное несчастье огнем спалило наши думы и Петрушу вместе с ними.

XIII

Была молотьба. В час или два ночи нас разбудил хозяин, отправив сзывать народ на помочь. На гумне, с фонарями в руках, уже копались машинист с работниками, прилаживая привод; у хрептуга с поло́вой темным колыхающимся пятном стояли приготовленные лошади. Павла с Любкой разметали ток, Федор Тырин, тоже с фонарем, свежевал на дворе овцу; вокруг него крутился молодой еще глупый щенок, которого он то и дело тыкал ногой в морду, приговаривая:

— Двадцать раз сказал тебе: не лезь, куда не просят!

Щенок взвизгивал, садился на задние лапы, облизываясь, и опят лез к нему под ноги.

Федор опять бил его ногою в морду:

— Двадцать раз сказал: не лезь, не лезь!..

Влас, как домово́й, шуршал соломой, раскрывая ржаной скирд.

— Стучите всем подряд! — прилаживая к барабану шаткий стан, крикнул нам хозяин.— Вина, мол, будет много. А кто не пойдет или ругаться станет, мне скажите.

Скотину в этот день стерег хромой старик Фаддей с внуком, человек к труду не ладный, а Петруша гонял лошадей.

— Под ноги гляди, как будешь на кругу стоять, не разевай рот,— говорил ему машинист, подавая большой кнут, сделанный из чересседельника.— Вишь, тут: ролики,

веретено, разный причиндал натыкан... Чтоб греха какого не было...

Петя, большой любитель лошадей, нетерпеливо слушал его наставления, твердя:

— Я знаю, знаю... Что ты меня учишь? Я же знаю...

— Знаешь, да не знаешь,— продолжал мужик.— Ты слушай, что тебе толкуют, ишь ты — знахарь! Ну, с богом!

Машинист взялся за ремень, барабан зашелестел оставшимся в нем колосом, захлопал подшипниками, лошади дернули и попятились, скрипя водилами; Петя свистнул и взмахнул кнутом, они понатужились, выгибая горбом спины; с клади, как блины, зашлепали тяжелые снопы, разбрызгивая зерна; барабан завыл и заметался, щелкая голодными зубами; мелко задрожал подснопник; бабы, держа грабли наготове, стали в две шеренги. Вдруг с треском захрустел и вылетел измятыми клоками пересеченной соломы первый сноп. Вверх поднялся столб мякины, бабы, склонив головы, торопливо закрывали платками щеки от колючих зерен, среди мужиков раздавался смех и ропот одобрения.

— Ровней гони! — крикнул машинист Петруше и, надев на волосы узкий ремешок, стал бросать в барабанную пасть сноп за снопом. Треск и гул, и скрип водил, и визги ролика стали сплошными, превращаясь с окриками и шипением в трудовую бодрящую музыку.

За столом, в обед, над Петею еще шутила Зиновея, соседка Пазухиных, прозванная за смуглый цвет лица Голенищем. Когда Созонт обносил всех вином и очередь дошла до товарища, Зиновея крикнула:

— Максимыч, не давай Петьке вина: он пьяный нехорош.

— Как так нехорош? — пряча в бороде улыбку, спросил Шавров.

— Как нехорош-то? — Молодайка хитро посмотрела на зардевшегося Петю.— Жировать к девкам лезет, ей-жеей!.. Сама видала.

— Правда, девки?

— Правда, правда!.. Как напьется, так спокою нет,— подхватили те.

Мужики захохотали.

— Ты что же это, а? Ах ты, бесстыдник! Разве ж можно этак, а? Ну-ка мать, часом, узнает!..

— Вот так Петька, не будь дурен!

— Хорош, хорош, мошенник! Захаровским ребятам надо рассказать, как он наблошнился тут!..

Петя уже протянул было руку за вином, но, когда раздался смех, он еще больше сконфузился, шепча:

— Неправда, я не люблю с ними жировать, я еще маленький.

— То-то вот и дело — маленький, а уж проходу не даешь им! Это, брат, не ладно дело! — кричал со слезами на глазах дядя Евстигнеич, самый смешливый мужик в Мокрых Выселках.— Маленький, а уж проходу не даешь им!..

Доселе молчавший Пахом приставил к губам палец.

— Потихоньку, братцы, говорите, а то кабы становой не услыхал, тогда Петьке бяда!

— Да, в сам-деле, тише... Девки, тише! — зашушукались кругом.

Товарищ не вытерпел.

— А сам-то,— закричал он на Пахома,— как праздник, так на игрище, молчал бы! На тебя уж жаловались дяденьке!..

Мужики даже закашлялись от смеха.

— Ага, и ты попался, мальчик? И ты с ним за компанию? Во-во!..— дергая Пахома за рубаху, залился Евстигнеич.— Сами себя выдают! Повыдали, капальи!..

Наконец, машинист сказал:

— Уж, видно, дай ему, Созонт Максимович, чибарушечку, пускай промочит глотку! Слышь, жирует-то Пахомка, а на него только свалили зря... Ты, Зиновеюшка,— обернулся он к молодухе,— ночью-то, может, не разглядела, который из них был с тобой, Пахом аль этот?

На минуту у всех захватило дух, и изо ртов торчали только куски хлеба, да глаза повылазили на лоб, а потом все так фыркнули и заревели, что хоть вон беги.

А машинист похлопал Петю по плечу:

— Не робей, Петух, не поддавайся курице!.. Налей, Созонушка, налей ему: он лошадей хорошо погоняет.

Петя благодарно посмотрел на машиниста, выхлопнул стаканчик и, щипнув меня, сказал тихонько:

— Вот как мы их с дядей, вдребезги! Другой раз не полезут, да?

Так же споро, пересыпаемая шутками, возней и песнями, шла работа и после обеда. Гумно уставилось лохматыми ометами свежей соломы, в которой с наслаждением копошились дети; у сарая наметали с крышей наравне зерно. Золотистым мякинным налетом покрылись

близлежащие деревья, спины лошадей и выгон. Над кипевшим током столбом стояла светло-розовая пыль.

— Эй, бабы, живее! Эй, девки, проворней! — покрикивал машинист, и, когда смеялся, круглое, почерневшее от пыли лицо его расплывалось еще шире, а ровные зубы блестели, как сахар.— Эй, немного, милые, немно-ого!..

— Эй, немного, косорылые, го-го-го! — передразнивал его с клади Влас.

И вдруг ужаснейший, животный крик прорезал воздух:

— Ма-ама!..

Все сразу выпрямились и замерли. Лошади испуганно шарахнулись и понесли.

А с круга снова:

— Ма-ма-а!..

Мужики, как дикие, метнулись к приводу. Машинист вырвал из моих рук неразвязанный сноп, со всей силой ткнув его гузовкой в визжащий барабан. Я видел, как Петруша, с искаженным от страха лицом, дергал ногою, стараясь вытащить размотавшуюся онучу из шестерни, как лошади, храпя, рванули во второй раз, а он закружился и замахал руками; видел, как машинист со снопом старновки подбежал к жужжащему маховику, прижимая его к ободу, и как сорвавшийся ремень ударил машиниста кромкой по лицу, и он, как цыпленок, отлетел к телегам; слышал отвратительный вой барабана, как соринку, проглотившего сноп, и последний, отчаянный вопль падавшего на веретено товарища,— вопль, который на всю жизнь остался в моей памяти. Обезумев, я бросился к лошадям, на скаку поймал Мухторчика за гриву и повис на ней. Меня швыряло, как тряпицу, раза два я чуть не срывался под ноги, но откуда-то явилась неимоверная сила и цепкость: кольцом обвившись вокруг шеи, я дотянулся рукою до морды мерина и впился ногтями в его ноздри так, что он заржал от боли и закружил головою, останавливаясь; но его ударило водилом в зад; Мухторчик, как бешеный, прыгнул в сторону, на ток; постромками его рвануло снова к приводу; падая, мерин по-собачьи взвизгнул и поволокся за водилом, а я отлетел в сторону и долго лежал, ничего не соображая, ударившись боком о тачку. А когда вскочил, окровавленный хозяин торопливо обрезал постромки у последней, дрожащей, как лист, лошади; кругом выли бабы, бестолково бегая по току; у веретена же, раскинув руки, в луже свежей густой крови, белый как мел ле-

жал мой товарищ Петя с оторванной по колено ногою...

Тонкопряху известили о несчастье вечером. Под окнами толпилась вся деревня. Дарья молча прошла мимо мужиков, на минуту остановилась на ступеньках крыльца, прижимая руку к сердцу, и, увидев Любку, спросила:

— Жив еще?

Она была на вид спокойна, и только землистая бледность щек, сухие, блестящие глаза да странная одышка, будто она все время несла непосильную тяжесть, выдавали ее.

— Жив, мол?

Лицо Любки дернулось и сразу покраснело; отвернувшись от Дарьи, она сквозь рыданья выкрикнула:

— Скорее, дышит!..

— Дышит?

Женщина перекрестилась на восток и, низко склонив голову, пошла в сени.

В кутнике, на пучке соломы, покрытой рядном, окруженный толпою заплаканных баб, лежал Петя в забытьи. Желтая старуха с провалившимся ртом и растрепанными космами позеленевших от дряхлости волос, обхватив обеими ладонями его изуродованную ногу, впилась острыми глазами в сочащееся черной кровью мясо, страстно шепча:

— «На море-окияне, на острове Буяне, лежит белгорюч камень. На сем камне стоит изба-таволожная, стоит стол престольный. На сем столе сидит девица-душа красная, пресвятая богородица, в три золотые пяла шьет...»

Кровь тяжелыми каплями стекала по сухим рукам ее в подставленную шайку.

— «Шьет она, вышивает золотой иглой, ниткой шелковою. Зашей, мать богородица, у раба божьего Петры кровавую рану...»

Вошедшую мать первою увидела Федосья Китовна. Бессознательно метнувшись с места, она загородила своим телом мальчика.

— Дарьюшка!.. Дарьюшка!..

Старуха протянула к Тонкопряхе руки и, упав к ней на грудь, забилась.

— Дарьюшка!.. Дарьюшка!..

— «Чтобы крови не хаживати, не шипети и не баливати — в новый месяц и в полный месяц, и в самые межные дни, и во веки веков...»

А Китовна ползала в ногах закрывшей глаза матери.

— «Аминь! Аминь! Аминь!» — трясясь, шептала ворожея.

— Пустите меня,— прошептала Дарья, отстраняя баб. Подойдя, нагнулась к изголовью.

— Мальчик мой...

Посмотрела ему на ноги и опустилась на пол.

В полночь Петя пришел в себя. На загнетке стояла полуприкрученная лампа, слабо освещая бледное лицо его. В углу, под образами, склонив набок голову, дремала Китовна. Шавров, сняв сапоги, ходил по горнице, скрипя рассохшимися половицами, останавливался перед зеркалом, внимательно рассматривая водочные ярлыки на нем, поправлял косо накрытые скатерти или, открыв фортку, жадно глотал свежий воздух. Облокотившись на подушку, возле мальчика сидела Тонкопряха, осторожно сгоняя с него мух, у ног ее — на примосте — пять-шесть старух и Любка.

Жужжат мухи. Изредка кто́-нибудь громко вздохнет или почешет в голове, шаркнет по соломе босой ногой; кто-нибудь забудется и кашлянет, зашуршат в сенях собаки.

У порога стоит на коленях нищая-дурочка, Наталья Ивановна. Сложив щепотью все пять пальцев, она смотрит на иконы, громко, сквозь зевоту, бормоча:

— Спаси меня, господи, грешную рабу твою Наталью Ивановну Рассохину... Слышь, Любашка, завтра мне огурцов соленых дай, а то меня ругают дома: ты, бат, огурцов не носишь... А где их взять?.. — Лениво крестится, кладя щепоть на лоб и плечи, слева направо. — Спаси меня, господи, грешную рабу твою, Наталью Ивановну Рассохину...

Обернувшись к Китовне, смеется:

— Уснула, плеха? Теперь бы тебя щелчком в нос-то!— и пялится через стол к старухе, хитро сморщив прыщеватое лицо, но на нее грозятся; нищая неохотно садится на пол, обидчиво брюзжа: — Помолиться путно не дают, а богачи считаются... Что́ я, насмерть бы ее убила?

Глядя на Петрушу, начинает плакать, громко сморкаясь в конец головного платка.

Неожиданно товарищ застонал. Все насторожились и притихли, Петя медленно открыл глаза.

— Во-дицы, — чуть слышно прошептал он, облизывая синие потрескавшиеся губы. Напившись, пролежал несколько минут, не шевелясь, потом опять открыл глаза

и слабо, робко, виновато улыбнулся. Увидев мать, тоскливо застонал, забился, протянул к ней руки: — Мамочка!.. Мамуля!..

Тонкопряха молча поцеловала его руку, пригладила волосы, смахнула выступивший на лице пот.

— Больно мне, родная...

— Лежи смирно, детка, — подошла Федосья Китовна. — Не разговаривай.

Петя опять тихо улыбнулся.

— Ваня... Васе Пазухину... поклон от меня... передай... Скажи: горе вышло... сплоховался я... Обойми меня в последний раз...

Петя дотронулся ледяными пальцами до моей щеки, погладил ее, хотел улыбнуться, но губы его задрожали, из-под ресниц выступили слезы.

— При... ди... ко... мне... Не плачь... не плачь... не плачь!..

Всю ночь и следующий день Петруша то терял сознание, то плакал, то кричал, метаясь по постели. Остановившаяся было кровь опять прорвала пелену и засочилась — водянистая, липкая, похожая на сыворотку. Перед заходом солнца он примолк, будто уснул, но не успели отойти от него, как товарищ широко открыл глаза, полуприподнялся и, вцепившись восковыми пальцами в рядно, протяжно застонал:

— Ох, тошно!.. Тошно!.. Ваня! Мама!

Схватив себя за шею, опрокинулся навзничь и медленно стал дергаться в предсмертной муке...

Спускалась ночь. Выл ветер. Ветка ивы надоедливо царапала стекло...

В гробу товарищ лежал длинный, тонкий и прозрачный. Над головой его мерцала принесенная из горницы тяжелая лампада, бросая пятна теней на лицо.

В избе пахло ладаном и потом. Все спали, кроме Тонкопряхи; сидя на помосте, Дарья молча навивала на палец свои распущенные волосы, прядь за прядью вырывая их из головы. Время от времени на нее с любопытством смотрела Наталья Ивановна.

— Ты не спишь? — спрашивала она, приподнимая с мешка голову. — А я уж собралась вздремнуть маленько... Ну, сиди, сиди!..

Потом ее заинтересовало занятие Тонкопряхи: она

встала и, прижавшись рядом, также распустила свои волосы, заглядывая Дарье в лицо и хихикая.

Я с ужасом смотрел на них, боясь встать с места.

А утром Тонкопряха села на скамейку против сына; откинув покрывало, залилась веселым хохотом, ударила в ладоши и запела:

Вдоль по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому...

— плыла лебедь!.. — подхватила проснувшаяся Наталья Ивановна, вскакивая с кутника и прищелкивая пальцами, но Дарья дико взвизгнула, метнув безумными глазами на нее, и опрометью выскочила из избы...

И в этот день все небо было в тучах, так же хлестал дождь и выл и рвал повети ветер...

XIV

В конопляное братьё Шавров поймал старшего работника с мешком зерна.

— Пшеницу тащишь, жулик? — сурово сдвинув брови, рванул хозяин за плечо его.

Вася Батюшка спустил с плеча мешок, оправил съехавшую набок шапку и, не глядя на Созонта, ответил:

— Ячменя немного...

— Напрасно. Отнеси назад.

Шавров помог работнику поднять мешок снова на плечи и, высыпая ячмень в закром, говорил ему:

— Ты меня не обокрал, а только до смерти обидел, и этого я тебе не прощу... Выверни мешок-то, там, кажись, еще осталось... Эх вы, голодраные!..

Затворив амбар, обмяк:

— У нас будешь завтракать или пойдешь сейчас к себе?

— Погляжу, — сказал Василий.

— Оставайся, нынче Федор валуха зарезал.

За столом все толковали о том, что если бы Василий не попался, то честно-благородно кончил бы срок, до котого оставалось восемь недель, а там, глядишь бы, нанялся на новый — с хорошею прибавкой.

— Он ведь все лето таскал: это вы только не знали! — неожиданно выпалил Влас. — Канифасовое платье-то Конопатке на какие, по-вашему, суммы справлено? Он молодец, черт крутолобый!..

Вася Батюшка ему на это ответил:

— Воровал, да не бит, а тебе-то с измальства ум отшибли: скажешь — нет?

— Теперь бы вот этому еще надо всыпать, — продолжал Влас, указывая на Пахома: — он тоже лаудит муку с мельницы.

Пахом окрысился и бросил под стол ложку.

— Ты меня сперва поймай, тогда и всыпь? — закричал он.— А то вот как всыплю, в стену влипнешь!

Павла, ненавидевшая Власа, вымолвила:

— Уж чьи бы мычали, а наши молчали.

И Вася Батюшка сказал:

— Конечно, не поймавши, нельзя хаять.

Позавтракав, все сели на крыльце курить; хозяин говорил:

— Тебе, Василий, рублишка четыре с меня приходится, так ты их уж не спрашивай... Главная статья, если б не свидетели, а раз вышло при свидетелях, я могу тебя месяцев на несколько закатить к Исусу...

— Свидетели-то ведь все свои, поверят ли им? — спрашивал работник.

Шавров ответил:

— Зачем свои? Есть, которые окромя своих... Ванюшке с Пахомом беспременно поверят: они мне не зятья, не братья.

— Вряд ли, — сомнительно покачал головою работник. — Денег у тебя несметная сила, скажут: подкупил— и больше ничего.

— Не скажут, что пустое толковать!..

— А, может, Ванюшка с Пахомом и не согласятся на меня показывать, почем ты знаешь? — попробовал еще раз защититься Василий. — Обету они тебе не давали кляузничать.

Шавров досадливо махнул рукой:

— Из-за четырех рублей ты, прости господи, жилишься, как сатана кургузая!.. Сказал, что мой верх, значит, верно!.. Ну, к чему зря слова тратить?..

Тогда Вася Батюшка собрал пожитки, попрощался и побрел с узелочком подмышкой в свою хибарку.

А через неделю в избе у нас сидел новый работник — Демка-солдат, год назад отбывший военную службу.

Это был живой, опрятный, краснощекий мужик среднего роста, остриженный «под польку», с пухлыми женскими руками и чисто выбритым круглым подбородком.

Покручивая и без того лихо заправленные черные усы, он говорил Шаврову:

— Виноват, а чай у вас один раз или два раза в день?

Созонт, прикрыв ресницы, медленно цедил:

— Чаем, служба, редко балуем... Разве когда от безделья или гости. В будни не чаюем...

Демка веселыми глазами обвел всех домашних и, манерно отвернув полу кафтана, достал пачку папирос.

— Будьте наскольно-нибудь великодушны, разрешите выкурить цыгареточку, — обратился он к бабам.

— Кури, чего ты спрашиваешь, — кивнула бабушка.

— Нельзя, — ответил Демка, — закон порядок требует, женское сословие надо уважать.

Пахом, все время наблюдавший за солдатом, отозвался с голобца:

— Глядя, какое сословье, а то есть, которых дрючком уважают.

— Дуракам закон не писан, — пустив синее колечко в потолок, сказал Демка.

Все добродушно переглянулись.

— Виноват, а отпуск по семейным обстоятельствам возможен? — обратился он снова к хозяину.

Тот отрицательно покачал головою.

— Пропало дело! — горестно всплеснул руками Демка. — Дозвольте осмотреть казарму.

— Ступай, гляди казарму. Ванька, проводи его, — сказал Шавров.

Отворив в избушку дверь, солдат попятился.

— Виноват, это что же — хлев или отхожее? Кто дневальный? Молодой человек, не вы? — отшвыривая ногою помойное ведро, стоявшее на пороге, зыкнул он.

За страду пол в избе не подметался, на окнах и в углу висела паутина, лавку и шесток засорили куры, грязь везде действительно невозможная.

Часа три, даже больше, он скоблил ножом лавки, стол, подоконники, ровнял лопатой земляной пол, тер тряпкой с мылом окна, притолоки и даже иконы.

Потом побежал к Созонту в лавку и, принеся оттуда кусок мела, приказал мне истолочь его в ступе, а сам, усевшись на пороге и посвистывая, вязал из пакли кисть.

— Виноват, вы почему стоите развесив уши? — обратился он к Пахому. — Соберите свою одежду и выколотите пыль; кстати, сами умойтесь с мылом, смотреть противно!..

Пахом усмехнулся.

— Молодой человек, истолкли мел или нет еще? — продолжал солдат. — Шевелите руками по-человечьи!..

К полудню наша избушка смеялась, как живая. Выбеленные стены, потолок и печка блестели, как молодой снег, а стол и лавка казались час назад выстроганными.

— Даже дух-то и то лучше стал,— говорил Пахом, расхаживая по хате, заложив назад руки.

Демка же притащил откуда-то детский молочный горшочек.

— Молодой человек, вымойте эту плошку и налейте доверху водой, — сказал он мне, а сам нарвал в огороде свежей зелени и, обернув горшок курительной бумагой, воткнул ее туда, поставив на окно. Покрутившись, опять убежал во двор.

— Ну, уж это-то совсем ни к чему, — проговорил Пахом, выдергивая из горшка зелень и бросая ее за окно. — То изба как церковь, а он натаскал травы на кой-то ляд; что́ мы овцы, что ли?

Солдат возвратился с сундучком в руках.

— Послушайте, как вас? — обернулся он к Пахому. — Не можете ли вы принести мне пару досок из сарая? Хозяин разрешил.

— Нет, не могу, — сказал Пахом, садясь на коник, — я тебе не работник; ступай сам.

— Вы очень сурьезно отвечаете, — заметил Демка.

Из двух нестроганных шелевок он сбил себе кровать, положив на нее полосатый, туго набитый овсяной соломой, тюфяк, а сверху серое каемчатое шерстяное одеяло и подушку в белой наволочке, посредине которой разноцветными нитками было вышито: «ПоМнИ, пОмНи, ДрУг лЮбЕзНыЙ, сВоЮ пРеЖнЮю ЛюБоВь».

Забыв обоюдную неприязнь, мы сидели с Пахомом рядом на конике, вылупив глаза от удивления.

А солдат между тем раскрыл сундук, доставая оттуда красное складное зеркальце. Посмотревшись в него и поправив усы, он повесил его над кроватью. За зеркальцем появились щетки — черная и белая, кривые ножницы, расческа, вакса, кусок розового мыла, бритва, ремень с медной пряжкой, вышитое полотенце и много разных других вещей, которых мы сроду не видели. Обнюхивая, обдувая, разглядывая на свет и улыбаясь каждой вещи, Демка бережно раскладывал их на подоконнике, частью — на лавке, около своей постели. В заключение вытащил

ладони в полторы картину в черной рамке, за стеклом, приладив ее рядом с зеркалом.

Когда он вышел, Пахом орлом слетел с коника, бухаясь в постель.

— Вот где, Ванек, благодать-то — три недели можно без просыпа спать! — блаженно закрывая глаза, проговорил он. — Чего только он, дурак, в работники пошел с таким имуществом! Должно быть, очень жадный, а?

Упершись ногами в стену и перекосив лицо, Пахом сладко, с завыванием, потянулся и чихнул, вытираясь Демкиным новым полотенцем.

— Чай, от полюбовницы рушник-то, — кивнул он, дергая его за кружева, — или слямзил у кого... Пройдоха этот солдатишка!..

Став на колени, батрак погляделся в зеркало.

— Гляди-кось, миленький, гляди-ко! — неожиданно зашипел он и, сорвав с гвоздя картину, бесконечно удивленный, ткнул ее мне в руки. — Ты только гляди-ко!

На картине три бравых солдата, заломив набекрень картузы, грозили друг другу обнаженными шашками, а четвертый, помоложе всех, присев на стул, нежно гладил маленькую рябую собачку на колесиках, и этот четвертый, в мундире, белых господских перчатках и высоких мелко набранных сапогах, был не кто иной, как Демка, наш новый работник.

— Братуха, это кто же тебя этак сделал? — все еще не закрывая рта от изумления, спросил Пахом вошедшего солдата. — Живой ведь, глаза лопни!..

Тот взглянул на Пахома и тоже раскрыл рот и вытянул лицо.

— В-виноват, вам кто же позволил, как свинье, с ногами лезть на кровать? — благим матом закричал он.

— А что я ее съел, что ли? — проговорил Пахом, нехотя слезая. — Я за всю жизнь на таких хороших кроватях не лежал...

Смущенный окриком, он отошел к дверям.

— Гляди: она такая же, не полиняла...

Солдат порывисто оправил одеяло, взбил подушку и, став посередь избы, сказал, стараясь быть хладнокровным:

— Господа, вы — молодой человек, — указал он на меня, — и вы, не знаю, как вас звать, — указал он на Пахома. — Очень покорнейше прошу вас в этот угол не ходить, поняли?

— Понимаем, — сказал я.

— Понимаем, да не все, — сказал Пахом.

— Кто ляжет на постель или притронется к карточке, или к бритве, или к мылу, — Демка обвел взглядом и рукой свое хозяйство, — с тем я расправлюсь по-военному, поняли?

— Это — как еще придется, — недоверчиво косясь на солдата, вымолвил Пахом. — Мы тоже можем двинуть по-мужицкому. Правда, Иван? Что в сам-деле? Задается, тварь!.. — Пахом назло сплюнул на стену и добавил: — Не успел наняться, уж скандалит, шустрый!.. Мы вот с товарищем все лето прожили душа в душу... Правда, Иван?

Сердце у солдата, очевидно, отошло.

— Говоришь вот: душа в душу... Эх, дружок. Ну, как же не скандалить, посуди сам, — более мягко вымолвил он, став вполоборота к Пахому: — я, можно сказать, все жилы надуваю, чтобы все шло по-благородному, а вы, извините, в грязных лаптях замололись на самое чистое место... Нельзя же этак! Ты возьми, к примеру, эту штуку...— Демка подошел к окну и... с минуту стоял неподвижно, будто что-то рассматривая или вспоминая, потом круто обернулся и с угрозой низким голосом спросил:

— Виноват, а где же цветы, которые стояли?

— Цветы? — переспросил Пахом. — Трава?

— Цветы! — повысил голос Демка. — Молодой человек, вы не видели, куда он их девал?

— За окошком, где им место, — ухмыльнулся Пахом. — Цветы! Вот глупый! Натащил травы и верещит, как поросенок!..

Ни слова не говоря, Демка, схватив с окна горшок, в мелкие куски разбил его о Пахомов затылок и побежал вытирать облитые водою руки. Пахом, крикнув: «Ванька, помогай, пожалуйста!» — наскочил на него сзади и опрокинул.

Это была первая по счету драка их.

Вечером, садясь ужинать, исцарапанный солдат, брезгливо глядя на Пахома, говорил:

— Я теперь с вами на всю жизнь обрываю разговоры.

— Да обрывай, а мне какое дело, — небрежно отвечал Пахом. — Ты мне — разговоры, а я тебе — морду!

Домашние заливались хохотом.

— Ну-ну! Валяй, служивый! Глаз-то ты ему — побожьи!..

— С фрунта, — скромно улыбался Демка.

— Вот видишь, — упрекнул меня Пахом, — я говорил тебе: «Ванюшка, пособи!» Не послухал, а теперь он нам житья не даст,— вот видишь? Эх, ты, розя!..

За три недели, вплоть до самого страшного события, какое у нас вышло, солдат с Пахомом дрались четырнадцать раз и все из-за постели, карточки.

Сначала Пахом донимал Демку тем, что тот фальшивый человек, прохвост: вывесил картину, а собака на ней на колесиках. Потом, разозлившись на неизменный ответ солдата: «Я с дураками пива не варю» — вымазал картину дегтем.

Драка длилась долго, с передышками. Пахом изранил Демке ухо, плечи, спину, сам разбух и почернел от «фонарей», но чем больше он дрался, тем большую имел охоту досадить противнику. Уже и зеркальце, и карточка, и мыло, и прочий форс лежали в сундуке; уже про чистый пол, уборку и вышитое полотенце, которое в конце концов стало общим, не было помина, и неприкосновенною оставалась лишь одна кровать — гордость Демки, но вскоре и ее Пахом изрезал, а с подушкой сделал еще хуже.

XV

С первой же недели новый наш работник — Демка-солдат — стал бесом крутиться около баб. В доме ли, на улице, или во дворе, только, бывало, и слышно:

— Павла Прокофьевна, виноват! Любава Созонтьевна, позвольте! Господа женщины, смею ли вас обеспокоить?

Не особенно склонный путаться с бабами, я не придавал солдатовым подсасываньям значения, хотя и видел, что господская любезность его, замысловатые речи, залихватские усы, первая в Мокрых Выселках постель, на которую сбегалось любоваться полдеревни, и умильные взгляды дело делают: Любка с Павлой млели. Но Пахом день ото дня становился угрюмее и злее.

Пахом с половины лета жил с Павлой. Удивительно, это сожительство во многом изменило его к лучшему. В те минуты, когда, бывало, Павла принесет ему починенные рубахи или скажет: «Ложись, Пахом, я у тебя в голове покопаю» — некрасивое лицо его становилось таким светлым, ласковым и благодарным, таким хорошим, что както понималось, почему эта здоровая король-баба польстилась на худосочного матерщинника и пьяницу.

Раз, лежа на печи, я случайно был свидетелем такой

сцены: Пахом только что приехал с пашни и, сидя на скамейке против заднего окна, разувался. Вошла Павла.

— Дома сидишь?

— На базар уехал с требухой, — не особенно ласково ответил он, выдергивая из ушника оборку.

— Чего тебя трясет? — удивилась она. — Видно, отлупили?

Подойдя к скамейке, Павла дернула его за оборку.

— Били?

— Не мешай! — еще сердитее сказал Пахом.

— А вот буду мешать! — засмеялась Павла. — Ты что мне сделаешь?

Схватив за ногу, она стащила его на пол. И вдруг сумрачное лицо работника стало необыкновенно приветливым, добрым, ребяческим. Обняв солдатку, он припал к ее плечу и долго-долго целовал его, урывками шепча:

— Ах ты, баловница!..

Пахом целовал плечо у бабы!..

А та теребила его волосы, спрашивая:

— Что ты такой сумрачный? Ай вправду что случилось, а?

— Ничего, устал я, — кротко вымолвил работник, прижимаясь к ней, словно к родной матери.

Но проворовался Вася Батюшка, пришел на его место краснощекий солдат Демка с вычурными разговорами и вышитой подушкой, и краешек светлого в жизни померк для Пахома.

Только в последние дни я догадался о причине той глубокой ненависти, какую питал он к Демке, будучи в полной уверенности, что озорство и зависть к мягкой постели толкают Пахома на скандалы, а не ревность, не отчаянная борьба за крупицу счастья, случайно выпавшую на его несчастную, нищенскую долю.

Страшное случилось на покров. Гавриловна с Любкой уехали гостить в Осташково, Китовна говела. Влас играл с ребятами в карты на другом конце деревни, Шавров торговал, а в доме оставалась одна Павла да старик Макса.

Серый, злой, взлохмаченный Пахом, понуря голову, ходил по двору от одной стены к другой.

День был пасмурный, под стать ему, небо — дымчатое; по ветру кружились желтые ракитовые листья.

— Резки бы надо приготовить на ночь, — подошел я к нему.

Пахом равнодушно поглядел на меня, на полуприкры-

тые уличные двери в новый дом, на собак, копавшихся в корыте, и, дернув острым плечом, ответил:

— На какой она черт?

— Как хочешь, — сказал я, — ты всегда что-нибудь выдумываешь, а хозяин потом лается.

Батрак сделал два шага ко мне и глухо вымолвил:

— Не тревожь меня, могу ударить... Не тревожь!..

Взявшись руками за голову, он поплелся за сарай, но в это время из теплушки отворилась дверь, и Демка, как сытый кот, наевшийся сметаны, вышел, жмурясь, на порог, а из-за плеч его выглядывала раскрасневшаяся Павла. Мельком взглянув на нас, солдат прищелкнул пальцами и улыбнулся, направляясь к воротам.

— Ага! Ну, что?.. Вот видишь? — забормотал Пахом, цепляясь за забор. — Ну, разве ж меня можно обмануть? Ну, господи!..

Из желтых «воровских» глаз его, одна за другою, покатились слезы. Вероятно, от стыда он цыкнул на меня и затопал ногами, а потом, втянув голову в плечи, быстро, боком, как подшибленный грач, побежал в избушку и грыз там с жестоким остервенением солдатову подушку, кромсал ножом одеяло и тюфяк, визжал, захлебываясь словами:

— Пропала моя голова!.. Пропала моя голова!..

Эти слезы и эта беспомощность, это отчаяние и эта напряженная борьба за маковое зернышко любви и ласки, которую из прихоти, а может быть, и искренно, давала ему развратная солдатка, тронули меня.

— Держи, Пахом, крепче! — закричал я, подбегая к работнику и хватая одеяло за угол. — Вдребезги все разнесем!.. В трущоб, рас-так их в спину!.. Блудня несчастная!..

Если б я сдержался и не крикнул так, может быть, у нас все вышло б по-хорошему: мы, может быть, отучили бы Демку от красных слов и мягких взглядов, может быть, даже заказали бы ему дорожку и к Павле; но нелепый крик мой почему-то взбесил Пахома.

Вылупив глаза, он дал мне локтем в душу так, что я отлетел к порогу и ползком, боясь быть изувеченным, выкарабкался в сени, а оттуда — на потолок, спрятавшись там за печным бо́ровом.

А из избушки еще долго раздавались треск и брань.

В раскрытые двери вылетали поломанные скамейки, кувшины, горшки, Демкина кровать, сундук и все, что

было там. Под конец грохнулись сорванные с петель двери, и все затихло.

— Пахомушка, можно мне теперь слезть? — спросил я, выбираясь из засады, и, не дождавшись ответа, свесил вниз голову.

Сени были пусты. В навозной жиже, натекшей со двора, валялся мой мешок с чистыми рубахами и солдатова суконная штанина, а другая, перерванная надвое, моталась на крючке. Кучу хлама и обломков покрывал слой пуха и перетертой овсяной соломы из туфяка, вперемешку с клочками одеяла...

Наши жены — ружья заряжены,
Вот кто наши жены, —

донесся сладкий голос со двора. В дверной раме мелькнула тень, потом фигура Демки. То, что он увидел, вероятно, так было неожиданно, что некоторое время солдат стоял без движения, с открытым ртом, а когда, опомнившись, Демка вымолвил своей любимое «виноват», — голос его был придушенный, с цыплячьим сипом.

Прыгнув через мусор в избу, солдат вылетел оттуда бешеным, вцепился руками в притолоку и начал биться головою об нее и выть, и рвать на себе волосы.

— Демьян, это не я! — закричал я в ужасе, чувствуя, как по моему телу побежали мурашки. — Это Пахом, накажи меня господь, не я!..

Демка схватил пест.

— Убью, собака! — завизжал он и полез на потолок. Я бил его по голове и по рукам бабьим донцем, не пуская и вопя:

— Демьян, это не я! Демьян, это не я!

Солдат срывался и больше свирепел; еще один момент — и он бы меня, пожалуй, укокошил; я уже бросил к чертям донце и раздергивал поветь, чтобы выскочить через крышу, но в это время со двора, еще сильнее и отчаяннее моего, кто-то завыл:

— Спасите!.. Караул!..

В окнах зазвенели разбитые стекла, Демка опрометью соскочил с прилаженной к стене кадушки, а я вихрем вылетел на задворки.

Кричала Павла. Простоволосая, истерзанная, с кровавыми царапинами на полном теле, она металась по двору, а за нею, по-звериному рыча, с колом в руках, гонялся Пахом.

Когда Демка выбежал из сеней, Пахом настиг солдатку. Он уже взмахнул колом, чтобы ударить ее, у меня уж замер дух, но подоспевший солдат с силой ткнул его пестом между лопаток, и Пахом как сноп свалился наземь.

Сев верхом, Демка вцепился обеими руками в его волосы, молотя Пахомовым лицом о ступеньки крыльца.

С улицы на крик бежал Шавров. Павла бросилась к нему навстречу, упав на грудь, заголосила:

— Миленький!.. Срамотно говорить!.. Папашечка!.. Родимый мой!..

— Постой, баба! — оттолкнул ее хозяин. — Сук-кин сын!..

Он хлестнул работника вожжами по голове, а тот, собрав силу, сбросил с себя Демку, хватаясь руками за перила и хрипя:

— Убить хотите? Бейте!.. Бейте, сволочи!.. — и, облапив солдатову ногу, впился в нее зубами.

— Уб-б...айт-т...

— Павла Прокофьевна, помогите, — закричал солдат. — Живее!..

Кулаками Демка отбивался от Пахома, но тот, припав к ноге, замер, и только когда солдат ударил его несколько раз поданным Павлою колом по спине, захлипал и засопел, и изо рта его, и из ушей, и из носа хлынула кровь, и руки сами собой расцепились.

— Наддай! — сказал Шавров.

Демка размахнулся и ударил батрака колом по пояснице.

Пахом пополз.

— Еще наддай! — ударом ноги в лицо сбрасывая его со ступенек, повторил Созонт.

Солдат зажмурился и, гокнув, как во время рубки дров, с еще большей силой опустил кол на Пахомово темя...

XVI

В ту же ночь, окольными путями, мы ехали втроем: солдат, Шавров и я — по направлению к городу. Дорога была хлябкая, тяжело нагруженные мукой телеги то и дело застревали в колдобинах; моросил осенник; лошади выбились из сил.

Укрывшись дерюжкою, Созонт изредка оборачивался, крича с брички:

— Робята, гони легче, вот тут болотце... Вправо!.. Вправо!..

Иногда он слезал и, взяв переднюю под уздцы, сам провожал по рытвинам. Солдат был нежен, угощал меня папиросами, спрашивал, не промок ли я. На ровной дороге, идя рядом с бричкою, он шушукался с хозяином.

— Ванюшка, подстегни-ка заднюю! — кричал тогда Шавров. — Кстати, глянь: хомут в порядке ли.

Привязанный к гужу Красавчик бился и храпел.

На полдороге, за Вислозаводскими прудами, нам встретился пьяный осташковский кузнец Мартышка и Очки.

— Земляки, а что у вас огонь есть ай нету? — спросил он, с трудом вываливаясь из телеги.— Растерялся я, как плут, а, между прочим, покурить до смерти хочется...

Шавров стегнул Мухторчика, ускакав вперед, а Демка, меняя голос, закричал:

— Какой тебе огонь? Не подходи, а то лошадей перепугаешь!

Расставив ко́злами ноги, кузнец проводил обоз.

— Хоть бы сказали: чьи? Едут в город темной ночью, а не знаешь — кто? — бормотал он, садясь в повозку.

Около города дождь затих. С холодной стороны небо вызвездилось, а с восхода побелело. Темно-красная кладбищенская церковь и ряд городских кирпичных заводов, с ометами сырца вокруг, встретили нас неприветливо, угрюмо. Пробило час.

— Сюда вот, — вымолвил Шавров, завертывая в переулок.

Спрыгнув с брички, он неуверенно звякнул щеколдою, откашлялся в рукав, велел мне отойти к задним возам, опять ударил в двери и на грубый полусонный окрик: «Кто там?» — тихо вымолвил:

— Свои, Викентьич. Отворяй скорее.

В открытую калитку просунулась плешивая голова.

— Это ты, Созонт? Не мог, по-человечьи, утром? Эко, ей-богу, право.

— А ты не ворчи, — сказал хозяин, — раз статья такая вышла, значит неспроста... Отворяй скорее! Барин почивают?

Семь больших возов и бричка с трудом поместились в тесном дворике.

Хозяин убежал с плешивым стариком на кухню, а мы с Демкой распрягали лошадей.

— В первый раз, Петрович, в городе? — спрашивал солдат. — Великолепнейшее жительство!..

«Душегуб», — хотелось мне ответить.

Поставив лошадей к забору, Демка сам нырнул на кухню, а мне велел идти в дворницкую, полуразрушенную хибарку, прилепившуюся у ворот.

Мимо окон шастали по грязи сапоги, чей-то недовольный голос выругался, отыскивая скобу в калитке. Расправляя уставшие ноги, я уселся на деревянном обрубке возле печки, глядя на тускло мерцавший огарок в засиженном мухами грязно-зеленом фонаре, и незаметно уснул.

— Ты, что же — насмехаешься, ай что? — толкал меня в плечо сторож. — Айда за мной!

Огарок в фонаре оплыл и синенькое пламя еле брезжило.

Дернув за сибирку, сторож открыл настежь двери, пропуская меня вперед.

В доме яркий свет большой лампы на минуту ослепил меня. Протирая глаза, я прижался к притолоке, рядом со сторожем, державшим меня за рукав, ничего не понимая.

— Привел, ваше благородие! — проговорил старик, пихнув меня на середину комнаты.

В боковушке скрипнул стул или скамейка, раздались тяжелые шаги, и на пороге показался начальник.

Сдвинув брови, он сердито поглядел на меня, шагая вперед. Я задрожал всем телом.

— Убийца!. — крикнул начальник и ударил меня по губам.

Я растаращил руки, защищаясь от новых ударов, а начальник, молотя меня, брызгал слюною:

— Ты за что убил работника, собака, а? Кто тебе дал право? В каторгу!.. В острог!.. К расстрелу!..

Схватив за волосы, он раз десять проволок меня по горнице, как гроздья лука из гряды, вырывая волосы из головы, потом швырнул к дверям, крича:

— Городовой!

В комнату вошел вооруженный человек.

— Свяжи его, мерзавца!

— Слушаю-с! — бесстрастно вымолвил тот.

Откуда-то появилась веревка, городовой стянул мне назад руки, а пристав сел к столу писать бумагу. Лицо его от натуги было красно, глаза блестели; обмакивая в чер-

нила ручку, он другой рукой снимал с обшлага мундира мои волосы, брезгливо сбрасывая их на пол.

В бумаге написал, что я, Иван Володимеров, четырнадцатилетний крестьянин села Осташково, той же волости, вместе с ефрейтором запаса, крестьянином деревни Павловой, Демьяном Кузьмичом Мохнатовым, убили сына дворовой крестьянки Пахома Плаксина, за что должны сидеть в тюрьме и мучиться, а потом идти на всю жизнь в Сибирь, в каторжные работы.

Прочитав бумагу, начальник закричал:

— Сознаешь себя виновным?

В ту пору он так меня напугал, что я действительно был в уверенности, что я вместе с неизвестным мне ефрейтором запаса Демьяном Кузьмичом Мохнатовым убил Пахома. Не запираясь, я ответил:

— Сознаю.

Городовой взял меня за ухо и вывел в сени.

А там загремел замок, в лицо пахнуло сыростью, зашарканной одеждой, слеповато блеснул тот же грязно-зеленый, засиженный мухами фонарь с огарком.

Упав на пол, я залился слезами, только теперь со всею отчетливостью понимая, какое несчастье свалилось на мою бедную голову.

Меня кто-то тормошил, кто-то уговаривал, ворочал с боку на бок, а я плакал, плакал без конца, покуда не охрип и не обессилел.

— Первый пункт — твердо надейтесь на милость божью, — шептал кто-то, склонившись надо мною. — С казанской божьей матерью не пропадешь, Петрович!.. Вытрите лицо — кровица кой-где запеклась.

Возле меня сидел Демка, тоже связанный. Приблизив круглое лицо ко мне, он шевелил усами.

— Несчастье, можно сказать, на нас вышло... Из меня, брат, тоже вытрясли всю амуницию. Нам, главная задача, ни в чем не нужно сознаваться... Молчок — самый лучший приятель на свете... Режьте меня, жгите, по кишке вытягивайте, — знать не знаю, не причинен!.. Пьяный, мол, прибег... Голова разбита... На деревне дрался с парнями... Бежит, хватается за темя, зявит: «Ой, батюшки! ой, батюшки!» Понимаете? Будет допрос, приедет следователь — тоже в одно слово: ребята угостили... Тогда мы выкрутимся, поняли? А то — погибнем: до смерти замучают в остроге... Гвозди будут вбивать в спину, — в день по пальцу резать — хуже смерти!..

Демка вплотную приник ко мне.

— Хозяин, говорите, был в лавке; Павла Прокофьевна, говорите, спала после обеда в теплушке; вы бегали, ради праздника, с ребятами по улице, а я копался, говорите, у сарая со старым ружьем... С ружьем, поняли?.. И вот будто завыли собаки, и вы будто побежали поглядеть, чего там делается, а из ворот будто летит Пахом без шапки и кричит: «Ой, батюшки! ой, батюшки!» а с волосьев, по рукам — ключом бьет кровь... Бежал, бежал, хвать обземь и давай брыкать ногами, а кровь— хлы-хлы-хлы! хлы-хлы-хлы!.. Вы испугались, помчались будто сказать нам, а как мы пришли, Пахомка — мертвый, понимаете?.. Все одно будем твердить... Не сбивайтесь, а то — пропадем, поняли?

— А хозяин тоже сидит в тюрьме? — спросил я.

— Сидит! — горестно воскликнул Демка. — Но только, Петрович, это еще не тюрьма, а кордегардия, а в тюрьме, если, не дай бог, спутаемся в показаниях, нас будут мучить день и ночь, на цепь прикуют, каждую субботу розги...

Демка закрутил в отчаянии головою и, отодвинувшись к стене, захлипал:

— Не спутаться бы нам, Иван Петрович!.. Сердце мое чует, что мы спутаемся!..

Еще несколько раз он внятно повторил мне все то, что я должен показать начальству, заставлял меня снимать с него допрос: я был начальником, а Демка— мною, потом он становился начальником, я отвечал ему. В тех местах, где я путал, солдат поправлял меня.

Вся эта история — и побои, и сидение в кордегардии — продолжалась не больше часа, но мне это время показалось вечностью.

Когда я в последний раз толково повторил Демке свои показания, не менее его довольный зародившеюся надеждой избавиться от неминуемой смерти, он повеселел. Глядя на мое опухшее лицо, с участием говорил:

— Видишь, как тут чистят? Му́ка, браток, смерть нам!.. А в остроге еще хуже... Кабы не связанные руки, посмотрели бы вы, что они мне со спиною сделали!.. Кусками драли!.. Ремни вырезали из спины-то!..

— Мохнатов, на допрос! — отворил городовой двери.— Проворнее!

— Это разве ты Мохнатов-то?— спросил я у солдата, вспомнив начальническую бумагу.— Гляди же, Демьянушка, не сбейся! Показывай, как сейчас говорили!..

Через несколько минут солдат возвратился в каталажку, и к допросу вызвали меня.

— Рассказывай, как дело было? — гаркнул на меня начальник.

Все мои слова, наспех заготовленные в то время, как я шел к нему в горницу, тотчас же вылетели из головы. Повалившись в ноги, я твердил, обливаясь слезами:

— Не я! Желанненький, не я! Не мучайте меня — я не причастен...

Я ползал за начальником, стараясь поймать его за ногу, чтобы поцеловать. Не замечая меня, он широко шагал, заложив назад руки. Когда я выкрикнул: «Пахома убил Демка с хозяином»,— пристав сразу остановился.

— Кто, кто? Ну-ка, повтори!

«Пропал! — мелькнуло в голове. — Запутался!»

— Не знаю! — завопил я.— Режьте меня, мучайте, не знаю! Я не знаю!.. Не знаю!..

Обезумев, я начал грызть половик, биться и пронзительно, не человечьим голосом визжать, катаясь по полу. Мне до безумия было страшно того, что я делаю, но чем больше я силился удержаться, тем сильнее тело мое, ставшее мне непослушным, извивалось и корчилось, а голос тем сильнее и пронзительнее выл. Ни начальник, ни городовой, двое здоровеннейших людей, не могли сдержать меня, и в конце концов меня выбросили в коридор.

Демка в каталажке поливал водою мою голову, сердито говоря:

— Это — подлость! Условились не сбиваться, а вы черт знает чего наделали, болван! Теперь я через вас должен пропасть!.. Видите: я хорошо ответил, и меня уж развязали, а вы, по-свински, нахрюкали пакости, и я теперь обязан погибать... Я вам не прощу, Петрович: я собственными руками задушу вас, поняли?..

Стыдясь взглянуть на Демку, я шептал с мольбою:

— Прости меня... Я испугался... Он кричит и топает ногами... Он отца бил...

— Мало ль что, ты не баба!.. Он кричит, а ты молчи... Думай, что он на стену кричит... А накричится, твой черед: вот так, мол, и так, ваше высокоблагородие... Его, мол, еще с весны ребята грозились пришить под горячую руку, понимаете?

Приведенный к становому в третий раз, я за своею подписью дал ему показание, что видел Пахома бегущим во

двор с пробитой головой; видел, как он падал около порога, а хозяин в это время торговал; солдат копался у сарая со старым ружьем. Павла же спала в теплушке. Первым о несчастии сообщил всем я.

Крыльцо было вымыто. Пятна крови соскоблены с порожек. Пахом, прикрытый лоскутом веретья, лежал под навесом. Его сторожили двое десятских. Урядник, еще не зная, что скажет по случаю несчастия городское начальство, то лебезил перед Шавровым, то сурово морщился, повышая голос.

— Лексей Лексеич, вы бы настоечки-то пригубили,— говорила ему Павла.— Это ведь у нас только для благородных, а своим мы и не даем; пригубьте, право...

— Покорнейше благодарствую, Павла Прокофьевна,— говорил урядник, прикладывая похожую на полено руку к сердцу,— больше некуда.— И, беспокойно глядя по сторонам, добавил: — Мне много пить нельзя через событие. Мне на предмет допроса нужно быть очень аккуратным: я два раза присягу принимал.

— Да вы выпейте пичужечку, а предметы после,— ласково хихикая, хлопал его по плечу Шавров.— Вы выпейте во здравие!..

Подозрительно глядя на Созонта, полицейский брал чайный стакан, залпом опрокидывал его в ярко-красную пасть и, будто устыдившись, вылетал во двор, подступая с кулаками к десятским:

— Вы как караулите мертвое тело, а? Инструкции не знаете? Смотри-и!..

Те пугливо жались, сдергивая шапки, а когда урядник исчезал, ругали его матерно, потом крестились, говоря:

— Сукин сын, до какой срамоты доводит при покойнике!

Один из них, волосом чалый, на вид болезненный, в дырявой разлетайке, время от времени сбрасывал с убитого лохмотья, качая головою:

— Эх, Пахом, Пахом! Достукался на младости годов!.. Что бы тебе, дурню, посмирнее жить на белом свете!.. Эх... Пахом, Пахом!..

Покойник, прищурив заплывший зеленовато-багровый глаз, словно подмаргивая им, насмешливо улыбался.

Поздним вечером хозяин с Демкою опять нагружали

воза пшеницей, ячменем, свиными тушами, живыми овцами, гусями и укатили к полночи в город, а мне приказали ни на шаг не отлучаться от солдатки. Павла уложила меня спать в горнице, на хозяйской кровати, а сама легла в дверях, на полу, и всю ночь во сне стонала, а я, лежа с открытыми глазами, думал, думал, не сводя концы с концами мыслей...

С раннего утра на следующий день ошалелый с перепуга сотский наряжал всю деревню на сход — и мужиков, и баб, и парней, и детишек,— а начальник, сидя у нас под святыми, снимал допрос с Павлы и Федосьи Китовны. Созонт крутился по сеням, и зубы его щелкали, как у передрогшего пса. За домашними, по выбору Шаврова, в горницу прошли: Клим Ноздрин — продажная душа, Ванява Жареный, Сергун Вдовин и Тимота́-ублюдок — самые захудалые и самые бессовестные люди в Мокрых Выселках, больше всех задолжавшие Созонту.

После чая с выпивкою становой читал хозяину их показания, и лицо Шаврова стало светлым, а с ним посветлели Павла и солдат. На сходке пристав кричал до надсады, требуя ему найти виновников убийства.

— Я этого дела не оставлю! — сучил он кулаки.— Из земли выкопайте душегубов, а то всех сгною в остроге!

Троих парней, наиболее перепугавшихся от его крика и хотевших спрятаться в овин, начальник велел тут же арестовать.

— Ага! На воре шапка загорелась?

Поднялся плач, по деревне забегали растрепанные бабы, хватая за полы начальника и падая перед ним в грязь на колени, а он ярился еще пуще и размахивал над головами куцкою.

Урядник затворил парней на ключ в старостин амбар, приставив стражу, а сам, вместе с приставом, уехал в волость. К вечеру они воротились, привезя с собой еще двух человек: доктора со следователем. Опять начались допросы, кто убил Пахома, опять Шавров насильно улыбался, а солдат даже удрал в избушку. Канитель тянулась за полночь, но резали Пахома на другое утро.

— Всё в порядке,— сказал нам Созонт, выйдя в сени. — Сала на нем, черте, пальца на два! Сейчас нас будут допрашивать. Тебя, Ванюша, кажись, первым.

— Иван Володимеров! — крикнул урядник, отворяя двери.

Я вошел в горницу и поклонился всем четверым, каждому по очереди, в ноги.

Поправляя круглые очки, следователь сказал мне:

— Ну-с, расскажи нам, мальчик, как били Пахома Плаксина.

— Не знаю,— сказал я,— режьте на куски, жгите, я ничего не знаю.

И я снова опустился на колени.

— Ты не трясись,— ласково перебил меня начальник.— Ты побойчее как-нибудь...

— Я ничего не знаю,— повторил я.— Если хочете, расспрашивайте у хозяина с Демкой — они затиралы... Еще Павла — затирала... Их зовите к ответу, а я ничего не знаю...

Со мною бились долго, но толку не вышло ни на грош — я твердил:

— Не знаю! Не знаю! Не знаю!..

Несколько раз следователь с удивлением глядел на пристава; тот морщился.

Пожав плечами, он досадливо махнул рукою:

— Пошел вон! Постой! Отчего у тебя лицо опухло?

Указав на станового, я ответил:

— Это вот он мне, как допрашивал позапрошлою ночью в городе. Солдату ремни вырезал из спины...

— Пошел вон!

В сенях, очевидно, где-то подслушивавший мои показания Шавров схватил меня за ворот, скрипя зубами.

— «Не з-знаю», сволочь, а?

Он швырнул меня с крыльца на дорогу. Вслед за мною полетели мои лапти, рубахи, шарф — все мои пожитки.

— Скройся с глаз моих, Июда!

Не сказав ни слова и ни с кем не попрощавшись, я пошел домой в Осташково.

XVII

В ту же осень, недели через три после моего прихода, сестру на двадцать первом году выдали замуж.

У нас обычай: как только минуло девушке шестнадцать-семнадцать лет, родители норовят поскорее сбыть ее с рук.

С волею их не считаются, пропивают часто под хмельную руку где-нибудь у кабака, и не редки случаи,

когда невеста видит в первый раз жениха своего под венцом.

Оставаться в девках считается позором для всего семейства, и мало-мальски засидевшуюся ходят «напяливать». Это — уж забота матерей. С поклонами и просьбами они подымают на ноги многочисленных кумушек, тетушек, троюродных сестриц — походить по женихам, приглядеться к «заведению», потолковать. В случае удачи кумушки и тетки получают рушники, «штуки» на платье, шали, нарукавники, а за неудачу — выговор.

Те, что с достатком, идут напяливать засидевшихся невест к гольтепе из хороших, а бедные ищут вдовцов, охаверников, порченых, лоскутников и пьяниц — таких же несчастных, как сами.

Соблазненные овцой или полутелком, что идет на придачу, хорошей обужей-одежей, многоречивыми обещаниями «в случае чего — помочь», а чаще, под суровым давлением родителей, парни скрепя сердце женятся на нелюбимых, надевая на весь век ярмо бестолковой жизни, которая потом переходит в тяжелую повседневную муку неровень.

— Я у батюшки-то то́-то ела и пила, вот та́к-то обряжалась, а у тебя что́ — сумка сальная да гашник вшивый! — зудит день и ночь постылая жена. — К чему ты меня брал? Да я бы вышла за купца, кабы не ты, растрепа!..

Начинаются ссоры, побои, увечья. Муж ищет отраду и семью у «винопольки», а из жены часто выходит кликуша.

И ее доля не легка: иной раз из привольной жизни многочисленного, здорового, трудоспособного и согласного между собой семейства она попадает в какой-то вертеп. Там она росла незаметной, под опекой и ласкою матери, имея под руками готовый хлеб, а замужество толкнуло ее к голодным и несчастным людям, выбившимся из сил в борьбе с нуждою. На ее неопытные, слабые плечи неожиданно падает вся тяжесть каторжной работы — и в доме и в поле; вечно сердце ее терзается заботою о завтрашнем дне, изморенное тело недоедает, недосыпает...

А если к этому прибавить разутых и раздетых детей, свекровь-змею и мужа-пьяницу, то станет понятным тот ад, та непрерывная дикая брань с упреками, злобой и насмешками, с истерическими воплями, отчаянием, порою

с преступлениями, которые составляют неизбежную канву мучительной крестьянской жизни.

Что же сказать о бедноте, о том, как она живет, женится и умирает? Измотав всю свою силу и мощь до замужества, надорвав себя часто в тринадцать-четырнадцать лет, пережив не одну страшную минуту в доме пьяного отца, покорная и разбитая, вступает бедная крестьянская девушка в жизнь. Не ждет она от этой жизни перемены, на брак смотрит не как на светлую зарю счастья, сулящую нечто неизведанное и прекрасное, а как на необходимость, как на новое, еще горшее тягло.

И редкая из них действительно находит хоть крупицу счастья, редкая с любовью и восторгом помянет свою молодость — нечем ее помянуть, слезами разве, горем, маятой?..

Много нужно силы душевной, много терпения и крепости, еще больше горячей веры в лучшее, которое где-то там, дальше, за нами, впереди, чтобы не умереть, не сойти с ума, не отчаяться и не погибнуть. Нужна своя внутренняя жизнь, тайная и непрерывная работа души, напряженной и тоскующей, чтобы суметь вырваться из цепких лап невежества, рабства, вопиющей нужды и холопского деспотизма замордованных людей.

Этой внутреннею силою была крепка душа моей сестры.

Еще на девятнадцатом году Мотю стали звать вековушкою. Все были уверены, что замуж ее не возьмет никто: и потому, что она некрасива, и потому, что мы бедны, и потому, что отец наш слыл в Осташкове за дерзкого на язык пьяницу и нерачителя в хозяйстве.

Сестра замуж и сама не собиралась: все так же нигде не показывалась, избегая людей и лишних разговоров, просиживая все свободное время за евангелием.

Скоро все подруги ее вышли замуж и обзавелись детьми. Приезжая гостить к матерям, забегали навестить Мотю.

— Ну-ка, девка, погляди сопатенького,— говорили они, показывая детей.— Смеется уж, всех узнает,— в отца смышленый... Мой-то, слышишь, сметливый, первеющий по всей деревне!..

Или:

— Зубки прорезаться стали: теперь ему гвозди впору есть, лохматому казютке!

Участливо глядя на сестру, наперебой хвастались новой жизнью, где «всего вдосталь, говядину едят каждый праздник, чай — два раза на неделе, а по воскресеньям — со сдобными лепешками; батюшка-матушка — ласковы, муж — никак не налюбуется».

— У тебя вот скоро загуляем,— утешали они Мотю,— пьяные напьемся, песни будем драть на всю деревню!..

Сестра отмалчивалась. Редко когда улыбнется, бросит:

— Мы уж вино запасаем.

Она тяготилась их участием.

В последних числах октября я ушел с артелью плотников на железную дорогу — учиться ремеслу и деньги зарабатывать. Мысль о городищенском училище, о городе, о новой жизни пришлось бросить: дома не было ни хлеба, ни денег, ни одежи.

— Ты теперь не маленький,— сказали мне,— пора кормить семью... Пускай, кто жирен, учится, нам впору дыхать...

Недели через две, смотрю, ко мне приезжает отец.

— Ты зачем?

— Зачем, зачем, без дела не приехал бы,— бормотал он, привязывая лошаденку к коновязи.— Раз дело приспичило, значит, и приехал.

Отец подтянул веревку, заменявшую ему кушак, развел руками, поглядел на небо и, мигнув мне, выпалил:

— Намедни Матрешку пропили, вот зачем!.. Просись у хозяина дня на четыре в отпуск.

Он ухмыльнулся, дернув бородою:

— Мы, брат, живо: чик-чик и — готова дочь попова!..

— Как пропили? — остановился я, пропуская мимо ушей подозрительно веселую болтовню его.

Отец осел и, ковыряя кнутовищем стружки у станка, опять забормотал, воротя лицо на ветру:

— Разве не знаешь, как девок пропивают? Пропили — и все.

У меня упало сердце.

— За кого же? Свой деревенский или как? Расскажи хоть толком!

— А за Мишку Сорочинского! — почему-то слишком весело воскликнул он.— Тут даже нечего рассказывать!..

— За Ми-ишку? — закричал я.

Отец поднял брови.

— За кого же? Стало быть, за Мишку!.. Он мужик не глупый.— Он засуетился, как побитый.— Ну, как тебе ска-

зать? Немного того... Как будто, видишь ли... дыть ей-то тоже двадцать другой год!..

Отец потупился.

— Опять вино... Вина он даст на свадьбу... Ты думаешь, что та-ак? Ого! Я сам — не промах!.. Два ведра вина и семь целковых денег начисто... Пойми-ка эту загибулю!.. Два ведра!.. Их тоже не укупишь — нынче дорого все стало... А она хозяйкою будет... Это, браток, много значит по крестьянству... Какая в том беда, что немолодой?.. Молокосос по нынешнему времени хуже: живо убежит в Украйну... А там его ищи-свищи!..

— Плачет сестра-то? Глядел бы за нею!..

— Ори, дурак! Язык длинен! — побагровел отец и, вытерев шапкою потное лицо, потупился.— Ей плакать не о чем.

Он наклонился к земле, поднял заржавевший штукатурный гвоздь и положил его к себе в карман.

— Плачет!.. Мелешь ты черт знает что!..

Полоса за полосой тянется однообразное жнивье, над ним — отяжелевшие грачи и голуби. По мелко расчесанной пашне пробивается нежная фиолетовая озимь. Бодро бежит, потряхивая головою, лошадь; четко стучат копыта о сухую, гладко прикатанную дорогу. Невесело на сердце. Представляется испитое лицо «жениха» Моти — Мишки Сорочинского, мужика лет тридцати, вдовца, лохмотника, горького пьяницы. Всегда неумытый и оттого позеленевший; волосы на голове похожи на мочало и пропитаны копотью; шея — тонкая, трясучая, из левого уха течет гной. На плечах — замызганный, грязный полушубок, дырявый, вытертый, с махрами и «колоколушками» по подолу, с холщовыми заплатами на спине и на плечах. В полушубке много насекомых, так как Мишка не снимает его ни зимой, ни летом. Войлочная, масленая шапка — как на чучеле.

Еще на значительном расстоянии от него смердит тухлым запахом курной избы, никогда не мытого тела и собственной нечистоплотностью.

— Дух этот у меня завсегда,— сам же бахвалится он, скаля желтые гнилые зубы.— Захочу — и сей секунд будет по первое число.

По слухам, он страдает нехорошею болезнью, и соседи его избегают: не пьют из одной кружки, не просят докурить цыгарки, ничего не берут взаймы.

Избенка его — без крыши и двора. Окруженная бес-

численными подпорками, стоит она, точно калека у церковной паперти, с краю деревни, уткнувшись подслеповатыми окнами в овраг. Вместо стекол в окнах — тряпки и синяя сахарная бумага, пол — земляной; входная дверь сбита с крючьев, а над ней голодной пастью зияет черная дымовая дыра, обметанная сажей и пыльной паутиной. Зимой хижину заносит снегом, весной, до троицы, у порога зеленые лужи, в которых барахтаются чужие свиньи.

Ни скотины, ни птицы нет, землю сам не убирает, отдавая ее исполу одному из бедняков, вроде Егора Пазухина, и его же презирает за это.

— Вить это вам, дьяволáм, много надо — все никак не нахватаетесь, все вам больше бы, ну и копайтесь, как жуки в навозе, а мое дело маленькое — покурил Савкова — да на печку, ближе к небушку... Работу, сказать тебе, дураки одни любят, вот что!.. На черта, друг с заплатой, воды не навозишься, хоть лопни... Я так рассуждаю: несчастные вы люди, вот что, да... Сволочь двужильная!..

И в этой смрадной яме, с постылым человеком, должна жить сестра моя — Матрена Сорочинская, Мишки-пьяницы, последнего из последних человека, богом данная жена!..

Дома до самого вечера я упорно молчал, не говоря ни с кем ни слова. Мать несколько раз пыталась приласкать меня, но я отвертывался.

— Видно, бьет тебя хозяин-то, что ты какой пасмурный? — обняла она меня.

— Бьет. Уйди, не лезь!..

— А ты слушайся: в чужих людях строго.— Мать вздохнула, почесала за ухом и, переступив с ноги на ногу, обидчиво промолвила: — Зыкаешь ты, как шипучка, нельзя слово сказать; я чай, тебе мать, не черт... Эх, детка, детка, много ты горя хватишь со своим поганым норовом!..

В сумерках мы остались вдвоем с сестрой. На взгляд она не изменилась — та же молчаливая, чужая.

— Замуж захотела? — подошел я хмурый.— За кого идешь? За Мишку-рвань?

Мотя не ответила.

— Слышишь? — повторил я.

Сестра с усилием разжала губы, прошептав чуть внятно:

— Слышу.

— Что же ты молчишь? Разговаривай!

Она опустила голову.

— Мне не о чем.

— Эх ты, стерва! — сжал я кулаки, но удержался и, припав к Моте, зашептал умоляюще: — Откажись, бога ради, не хочу, мол... Разве ж он жених тебе? Матреша, милая, родная моя, откажись!.. Хочешь, мы пойдем с тобою на чугунку? Матреша!..

Сестра крепко сжала мои плечи и зарыдала — долго, надрывисто, беспомощно... Всю боль, всю душу, кажется, хотела выплакать.

— Отец... он просит... как останемся одни, грозится... Голод у нас, а тот дает денег семь рублей... вино на свадьбу... Ему нету терпежу от смеха, что я — вековушка, а он смех не любит, а виновата — я: я непригожая, рябая, перестарок... Если б заставлял, я не пошла бы, а то просит, понимаешь, про-осит! — и забилась на руках у меня...

...Мотя, сестра ты моя милая, светлая!.. Сестра моя несчастная!..

На столе, на разостланной чистой скатерти, рядом с хлебом и солью, коптил ржавый светец. Когда двери в избу отворялись, пламя низко падало и меркло, лица покрывались темно-красным налетом, в углах и у порога бесформенными пятнами дрожала темнота. К потным окнам прилипла безглазая ночь, на дворе стонала гукалка, шлепали по грязи лапти, в переулках лаяли продрогшие собаки, а с реки, словно в ответ им, гоготали потревоженные гуси.

— Пора бы уж, чего зря время проводить? — ворчит тетка.— Малаш, сколько рушников-то припасли?

— Четырнадцать да шесть для обихода,— отвечает мать.— Утирки окромя того...

Тетка косится на самодовольно улыбающегося Сорочинского, сердито сплевывает, поджимая тонкие губы, и, наклонившись к матери, тихонько шепчет:

— Черт лесной!.. Как будто для хорошего... Ишь, ножки-то расправил, крученый!.. Еще смеется, пакостник!..

— Начинайте, девки,— наклонилась мать к сидящим на кутнике подругам Моти.

Те тихо, неуверенно запели:

У ворот сосеночка, у ворот зеленая,
У ворот суряжена, у ворот украшена,
Колыбель привешена...

Белей муки в избу вошла сестра, пугливо оглядела всех и, крепко сцепив руки, замерла.

Глянув на нее, мать схватила себя за ворот рубахи и опрометью выскочила на улицу.

— Ишь ты — бзыкнула, шлея под хвост попала! — ухмыльнулся Сорочинский.

— Сиди, дворно́й, не тявкай! — подскочила к нему тетка с покатком.— Принесла тебя нечистая сила!

Мишка подмигнул девкам, поскреб в грязной голове и лениво полез за табаком, закрывая полою шубы драные колени.

Отец взял новую паневу, которою носят только замужние женщины, перекрестился на образа и, ни на кого не глядя, стал у лавки.

— Иди, Матреша! Иди, детка,— взяла тетка сестру за руку.— Становись на лавку! Ничего, ничего...

Мотя влезла. Низкий потолок мешал ей выпрямиться; она наклонила голову, ссутулилась, опустила вдоль туловища руки, медленно передвигаясь от залавка к конику и обратно.

Сложив паневу торбой, отец ходил за нею, приговаривая:

— «Прынь, прынь, мое дитятко, во вечный хомут!»

Остановившись и проведя рукою по лицу, сестра задумалась.

— «Хочу — прыну, хочу — нет»,—сквозь зубы прошептала она отвертываясь.

Мишка скалил зубы.

— «Прынь, прынь, мое дитятко, во вечный хомут!» — умоляюще проговорил отец вторично, снова расставляя перед Мотей, как кормушку с овсом, паневу. Руки его дрожали, голос странно прерывался и хрипел, длинные волосы на голове беспорядочно растрепались, а на лбу крупными каплями выступил пот.

— «Хочу — прыну, хочу — нет!» — все так же безучастно, все так же отвернувшись к стене, медленно, с усилием, прошептала сестра.

— Бросьте, ну вас к черту! — сплюнул Мишка.— Затеяли комедь, ядрена Фекла!.. На радости бы дернуть, а они слюни распустили!.. Девки, чего вы приуныли? Тяни веселее — по копейке на рыло дам.

Придержав большим пальцем ноздрю, он громко высморкался и зевнул.

Как во этой колыбели бояре качалися:
Боярин Михайлушка, боярыня Матренушка... —

подхватили запевальщицы.

С голобца захохотали набившиеся в избу парни.

— «Прынь, прынь, мое дитятко, во вечный хомут!» — в третий и последний раз вымолвил отец, стоя супротив сестры.

— «Прыну, прыну, батюшка!» — неожиданно громко, надтреснуто воскликнула сестра и, присев на лавку, опустила в паневу ноги.

Отец схватил ее за голову и судорожно прижал к себе.

— Сердце мое!.. Мотя!.. Детка моя!.. Девочка моя обиженная! — залаял и задергался он.

XVIII

С утра ходили «звальщики». Отворив в избу дверь к холостому парню, величали:

— «Александр Семеныч, приходи к нашему князю винображному, Михайле Игнатьичу, хлеба-соли покушати, добрых речей послушати, пожалуйста, не оставь».

Они — в праздничных поддевках, смазных сапогах и новых вышитых рубахах, важные, как старики.

С ранних петухов мать с теткою варили красное вино. Подростки и бабы не пьют на свадьбах водки, и их обыкновенно угощают кагором или лиссабонским, но у нас не было денег на кагор, и тетка научила делать вино по-домашнему.

— Оно, Маланьюшка, еще слаще будет,— говорила тетка, засучивая рукава,— и в голове зашумит скорее, а то базарного-то бабы выжрут, спьяна, три ведра, рази его накупишься!..

Она варила в горшке тертую свеклу с перцем, а мать пережигала сахар. Красный свекольный сок, подслащенный топленым сахаром, наполовину разбавляли спиртом, кладя калган и еще какие-то коренья, получалась темно-красная, густая, похожая на кровь, приторно сладкая

жижа, очень хмельная, при огне на вид — красивая. Десять бутылок этого вина нам хватило на всю свадьбу. Бабы пили его с удовольствием, после двух-трех рюмок пьянели, переходя на водку, а водкой потчевать дешевле.

Девки пекли куличи. Вечером, в лучших нарядах, с венками искусственных цветов на голове и с распущенными волосами, они сидели у нас на девичнике. В переднем углу — Мотя под кисеей, как под саваном, рядом — золовка, а кругом — подруги.

На середине стола — разряженный завитушками кулич, подальше — коврига хлеба с солью, на обоих концах — ветки сосны в пивных бутылках с лоскутами цветной материи, свинцовой бумаги и лесными орехами.

Приходили степенные мужики и нарядные бабы, истово крестились в угол, встряхивая волосами в кружок, не спеша доставали из-под полы краюху хлеба и, кладя на нее медяк, говорили:

— Матрена Петровна, мало примай, на бо́льшем не осужай.

Сестра, беря хлеб, благодарила:

— Спасибо тебе, дядюшка, Василий Онисимыч! Спасибо тебе, тетушка, Настасья Ивановна! Приходите к столу яств-питьев откушати.

Когда время пришло, стала вопить:

Ох, д' уж, кормилец ты мой, родимый батюшка,
Петр Лаврентьевич!
Ох, д' уж, кормилица моя, родимая матушка,
Маланья Андреевна,
Да спасибо ж вам за хлеб за соль, за ласку-заботушку,
Да за прохладное-то житье, ох, да за девичье...

А девушки пели:

Как Михайла коня поил,
Лели-люли, коня поил,
А Матрена воду брала,
Лели-люли, воду брала,
Алли-лё-е!..
Приглянулась девка красна
Удалому молодчику,
Удалому молодчику —
Михайлушке Игнатьичу,
Лели-люли, Игнатьичу,
Алли-лё-е!..

Насмешкой была эта песня, издевательством. Может быть, другому кому-нибудь и под стать, но не Моте, не

«удалому мо́лодцу» — Мишке-пьянице, лоскутнику, лентяю, сифилитику... Но — таков обычай, таковы народные свадебные песни, что же делать?..

Взяв за рученьку за белу,
Ласково в глаза глядел,
Называл своею кралей,
В алы губки целовал, —

торжественно печально пел девичий хор, как серебром, переливая слова песни игривыми: лели-люли, алли-лё!..

А Мотя в это время жаловалась кому-то, и жалобы ее, несясь в терцию выше и выделяясь из общей массы голосов, составляли печальную, на редкость простую и однообразную, но и на редкость красивую гармонию. Печальную, как вся ее жизнь, как жизнь народа, создавшего песню и жалобы, красивую, как молодость, как тихая, затаенная мечта о лучшей доле.

При горе и радости, при буйном разгуле и в черные дни, рождении, браке и смерти, при плодородии и голоде,— деревня знает свои песни — веселые или скорбные крики души.

Ох, д' уж покрасуйся ты, моя руса коса,
Ох, да уж на последнем своем на весельице,—
Не понравилась моему кормильцу-батюшке,
Не понравилась моей кормилице-матушке
Служба моя верная, безответная:
Ох, да отдают они меня во чужие люди... —

тоскливо жаловалась Мотя. Голова ее все ниже и ниже склонялась на грудь, в голосе звенели слезы.

А девушки-подруги пели:

Свет Михайла — словно сокол,
Чернобров, румян и статен,
Ходит, важно подбоченясь,
Вкруг Матренина двора:
Ходит лебедь, ищет, белый,
Лебедушку-девушку...

Мотя под конец не выдержала: долго сдерживаемые слезы прорвались, она упала головой на край стола и громко, на всю избу, разрыдалась, как маленький ребенок, по-ребячьи всхлипывая и вытирая ладонями глаза.

Песня оборвалась. Срам — невеста плачет! Радовалась бы, вековушка!

Подруги бросились утешать сестру, прося перестать, успокоиться.

Чтобы не разрыдаться самому, я выскочил в сени, оттуда — в чулан. Прислонившись к мешку с зерном, там сидела мать и горько, горько плакала.

...Мотя!..

А из избы уже опять неслась свадебная песня, бойкая и жизнерадостная:

Из-за лесу, лесу зеленого,
Прилетали пчелы, пчелы золотые...

...Мотя!..

На другой день молодых перевенчали. Вечером, во время свадебного ужина, все мертвецки напились, не исключая и «князя винображного». На всю улицу горланили нелепые песни и прибаутки, бесперечь кричали «горько!», блевали тут же под столом.

В конце ужина отец подрался с зятем, споря о том, кто кого богаче и лучше. Им кричали: «Оба хороши!» Они не слушались, били кулаками по столу, швырялись посудой, сквернословили. Мишка выдернул отцу полбороды, а отец чуть не убил бруском его за это.

— Вши с голоду развозились! — смеялись пото́м на деревне.

Ходили слухи, что после гулянья Мишка из мести к отцу побил Мотю, что первую и вторую ночь сестра не ночевала у него.

Правда ли это, я не знаю. Я вообще ничего почти не знаю. Не знаю, какова была сестра в церкви, что она чувствовала там — под венцом, как плакала ее душа. Я не хотел и не мог пойти туда, ибо до бешенства мне стали ненавистны и до слез жалки эти несчастные люди, способные так мучить собственных детей своих, плоть от плоти своей. День и половину ночи я провел в лозняке, на берегу реки, Я думал... Впрочем, нет,— я ничего тогда не думал. Бродили какие-то обрывки мыслей в голове, какие-то слова; какая-то боль тупою теркой рвала сердце; минутами душила злоба, и хотелось выть, кричать, царапать тело...

В этот вечер я дал себе клятву не бить детей, не мучить женщин и не пить вина,— не жить вообще тою дикою, мучительною жизнью, какою живут они, а искать всеми

своими силами лучшее, которое — я твердо верил — есть на свете.

Когда па деревне затихли последние пьяные крики, я, не заходя домой, пошел к тетке. Мать, конечно, была там.

— Буянят еще? — спросила она, приподнимая с лавки голову.

— Не знаю, я не был там.

Мать устало посмотрела на меня, качнула головой и, закрыв лицо руками, простонала с мольбою и страхом:

— Ваня, мальчик мой милый, неужто и ты когда-нибудь станешь таким же? Ванечка!..— и судорожно зарыдала.

— Не стану, мать! — воскликнул я.— Клянусь тебе богом, не стану! — И я опустился на колени перед нею, поцеловав землю в знак того, что мои слова правдивы и крепки.

На заре я ушел из Осташкова.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЮНОСТЬ

Часть первая

I

Догорает июньский день. Жар свалил, и груди дышится легче. Огненно-красным шаром, окутанное прозрачной пеленою облаков, заходит солнце. Мерно колышется рожь, серовато-лиловым туманом ходит поверху ее цветень.

Меж хлебов, по извилистой дороге, на полверсты растянулись мужицкие телеги. Звенят косы и смех, чередуясь с песнями. Едут с покоса домой. Пахнет дегтем и человеческим потом, пряно струится аромат свежескошенного сена, а кругом необъятная даль — поля, хлеба, покосы...

С гиком и присвистом вереница босоногих ребятишек, верхом на лошадях, обгоняет обоз.

Заяц! Заяц!..

Развеваются длинные волосы, задором и детским молодечеством блестят глаза, пышет здоровьем тело.

Сзади меня едет Мотя и ласково кивает головою. Пошел пятый год, как она замужем. Взгляд ее спокойнее, свежее, мягче: время заживило в сердце раны, стерло темные борозды с лица.

— В городах-то так же живут, Ваня? Ты бывал там? — спрашивает она.

В погоне за куском хлеба я несколько лет мотался по России, многое видел. Был и в городе, к которому когда-то рвалась душа моя, пил мед и яд его.

— Не так, Мотя... там тяжело простому человеку.

— А где же ему хорошо? — в раздумье спрашивает сестра.— В деревне, что ли?.. Вспомни-ка, как мы росли!..

Я вспоминаю, как давил меня город, как я, простой деревенский человек, тосковал по просторам полей, отзывчивым, нехитрым, близким людям. Не скрывая злобы, я начинаю позорить его. А в уме неотступно стоит: плохо там, тесно, неуютно, люди злы, жестоки, часто неспра-

ведливы, но все ли? Не в городе ли ты осмыслил жизнь, не городские ли люди научили тебя уму-разуму?.. Не побудь там, ты исчах бы в батраках у таких, как Созонт Шавров, как собака, замотался, опаршивел бы в их цепких лапах...

Это раздражает, и я кричу:

— Хорошо, Мотя, там, где нас нету!..

— Отчего же, Ваня, люди бегут туда? Неужто все глупые? Стало быть, не все плохо...

Вечер потух. С полночи потянуло прохладой. Трава покрылась росою.

Скрипят и хлюпают втулками колеса, ржут лошади. Сзади поет гармоника, визгливо смеется баба: ее, очевидно, щиплют; кто-то свистит на собак.

Все под грушею, под зеленою,
Ой, лели, лели, лей-ели...
Да жена мужу все корилася.

Слабо, неуверенно, как огонек, вспыхнув, песня так же быстро обрывается. Слышен только сап лошадей, хлопанье кнута, смех бабы.

На колени она становилася,—

неожиданно подхватывают песню с другого конца обоза.

Медленно шелестит рожь; резко взмахивая серыми крыльями, почти касаясь ими матово-зеленых, влажных колосьев, сверху вниз, снизу вверх, толчками, пролетает сова; сумерки глотают ее.

Ты не бей меня, пожалей, молоду...

Кучка ребятишек, поровнявшись с нами, долго переглядывалась, перешептывалась, подталкивала друг друга.

— Ну, что же вы? — нетерпеливо крикнул полупьяный голос.

Дети, ободренные окриком, вразброд запели на манер частушки:

Уж ты, тетушка Матрена,
Наведена, напудрена,
На улицу выходила,
Девкам речи говорила:
— Уж вы, девушки-злодейки,
Не любите мово мужа...
— Ну, на черта он нам нужен?
Привяжи себе на шею
Да носи его...

Взрослые заливисто хохочут, малыши заканчивают песню отборной бранью.

Мотю передернуло, лицо потемнело и сжалось, губы затряслись и стали тоньше, но она не промолвила ни слова и только, когда ватага ускакала вперед, обратилась ко мне:

— Слыхал? Про меня сложили, а зачем? Сделала ли я кому-нибудь дурное?.. Поют вот, а большие радуются, что дети их умеют сквернословить...

Вытянув шею, приподнявшись, чуть не кричит:

— Ты вот про город... А только люди везде несчастны!.. В деревне того хуже! Хуже!..

Подъезжали к деревне. Песни стали звонче, воздух гуще, голоса слышнее. Оживление и смех волнами перекатывались по обозу. Дорога поднималась в гору. У моста через ручей караван неожиданно остановился.

— Что там такое? — сердито закричал кто-то сбоку.

Словно в ответ впереди послышалось надрывистое:

— Н-но!.. Н-но!..

Загалдели:

— Стала у кого-то!

— Кажись, ягненок попал под колеса!

— Какой тебе ягненок, у Сашки кобыла не везет!

— Поскореича, дьяволы!..

Слезли с возов, подошли к шершавой лошаденке и хилому мужику. Хохочут, обступив гурьбой.

— Два именинника!..

— Лександра, ты бы подпер ее сзади: гляди, полекшает!

Рябой, косоглазый, скуластый Выгода сипит простуженным басом:

— Пой вечную память! Пой вечную память!

— Кой там черт, плясовую! — кричат другие.

Выгода дергает комолою бородой, скалится.

— Ну, плясовую! Пой плясовую!

Несколько человек схватились за тяжи.

Выгода, распялив пасть, запел:

Александру мы уважим:
По губам его помажем...
Эх, дубинушка, ухни!
Вот зеленая сама пойдет, сама пойдет!..

Дядя Саша, по прозванию Астатуй Лебастарный, беспомощно суетился вокруг длинношерстной больной лоша-

денки, махал на нее руками, чмокал, прыгал, подталкивал со всех сторон, но она только дрожала всем худым, изъязвленным телом, жалобно глядела по сторонам, сопела, качаясь на разбитых ногах, но с места не двигалась. По впалым бокам ее, по вытертой коже, приросшей к ребрам, по крутым желобам между ребер струился пот, под брюхом набилось мыло, усталые глаза по-человечьи плакали...

— Н-но! Н-но, матушка!.. Н-но, кормилица!.. Да что же ты это, а?.. Ну, да чего ж ты, а?.. Н-но!..— истерично кричал Саша, забегая то с того, то с другого бока лошади, хватался за тяж, дергал вожжи, оброть.

— Немного осталось... Дотяни... Понатужься!..

Кобыла не шла. Вóрот у Саши расстегнулся, старая запыленная грудь похожа на лубок, по земле треплется сползшая с ног дырявая онуча.

Кто-то нарочно наступил на онучу, дядя Саша упал. Раздался взрыв хохота.

— Бросьте, робятишки, какой тут смех! Не надомно!..

Теми же глазами, что у лошади, дядя Саша с тоскою глядит на мужиков.

— Сам-то рассупонился, старый верблюд!..

— Не надомно! — хватается Саша за пыльную грудь.

— Не на-дом-но! — передразнивают его.— Чего глаза-то лупишь — подгоняй!

Старик нагнулся повязывать онучу, короткая линючая рубаха сдернулась вверх, обнажая острые крестцы и часть сиденья. Хлопая его ладонью по телу, Выгода ржет:

— Подцень портки, баб испугаешь!..

Саша охает и виновато улыбается.

— Ну его к чертовой матери, поезжай мимо! — опять сердятся сзади.— Замотают лошадей, сукины сыны, а тут стой через них!

Подскочил Илья Барский, Мышонок, Капрал.

— Ну-ко, отступись! — кричит Мышонок.— Левка, заводи свово саврасого вперед!

Капрал развязал вожжи, зацепил их арканом за шею Сашиной кобыленки, а концами обмотал задок передней телеги.

— Трогай!

Сытый мерин легко сдвинул воз, аркан натянулся, обхватив мертвою петлей шею кобыленки; она напряглась, неестественно задрав голову вверх. На боках и животе ее шнурами выступили жилы, мускулы на спине округлились.

— Эй, не отставай!..

— Подстегивай, чего рот раззявил, ворона трепаная!

Раз-два... Раз-два... У лошаденки дугою выгнулась спина, затряслись и закачались ноги; полустертые, редкие зубы оскалились... Выпучив глаза, она захрипела и ткнулась мордой в землю...

— Поцелуй собаку! — злобно сплюнул Выгода.

Аркан сдавил ей шею так, что глаза наполовину выскочили из орбит, губы обметались кровавой пеной.

— Стойте, ребятушки, погодите малость!..

— Гони, чего там — стой: за посто́й деньги платят!

Дядя Саша, бледный и беспомощный, метался вокруг упавшей лошади, не зная, что делать. Седые липкие волосы поминутно падали ему на глаза, и он тряс, как от пчел, головою, охал, бестолково поддергивал штаны.

Подскочила Мотя.

— Развяжи супонь... Аркан надо перерезать!..

— Так вот я дал,— оттаскивая сестру, заорал Капрал,— новые-то вожжи, барыня выискалась!..

Дядя Саша беспомощно смотрел на сестру, на Капрала.

Передняя повозка снова дернула, веревка снова натянулась, таща за собою лошадь.

— Уда́вите! — не своим голосом закричала Мотя, хватаясь за аркан.— Что же вы делаете, бессовестные?

— Обождите, правда. Ай разорить хотите мужика? Како время-то подходит — страда али нет? — вступились и другие.

Остановились. Развязали вожжи. Лошадь лежала неподвижно. Кто-то пхнул ее в бок ногою. Ребра кобылы порывисто заходили, и она с трудом подняла голову. Плакала крупными слезами, которые, как роса, выступали из-под опущенных ресниц ее. Плакал дядя Саша, Астатуй Лебастарный, без слез плакала сестра.

В телегу запрягли другую лошадь; воз вывезли на гору.

— Ты ее, Иваныч, не води домой, гнедушку-то, пускай тут отдохнет на вольной травке!.. Чижело одной-то, вот и стала, лихоманка! — участливо говорили те самые люди, что минуту перед этим с хохотом и бранью издевались над двумя калеками: обессилевшей лошадью и стариком.

— Ну-ка, девки, будет вам зубы-то перемывать! — крикнул Илья Барский. — Дома посмеетесь. Берись кто за что — живо домчим тележонку!..

Толпа подхватила воз и с шутками и смехом повезла его вдоль улицы.

Вечер становился темнее, росней. Ярко, отчетливо, радостно горели звезды. Пахло навозом, дымом, теплою рекой.

II

На Ильин день сестра родила в поле. Пошла дергать лен, до обеда проработала, а к вечеру начались роды.

Мы с отцом только что убрали в сарай снопы, привезенные для завтрашней молотьбы, и собирались пойти ужинать. Вошел Мишка Сорочинский.

— Видно, Иван, покумимся с тобой: Матрена чижика приперла из Оближного, завтра крестить думаем.

За чужой спиной Мишка раздобрел, выглядит чище; вместо обычного полушубка, кишащего насекомыми, на нем своего сукна однорядка с плисовым воротником, на ногах новые «чуни».

— Не знаю, как вон отец... молотить было собирались.

— А мне что? — с охотой отозвался отец. — Ступай, крести. Мальчик?

— Мальчик!

— Ну, вот видишь, — пахарь! Крестником тебе будет, ступай... Молотьба не убежит.

Утром я был у Моти. Она бледна как смерть, но глаза ярки и радостны. Развернув пеленки, показала мне красный, беспомощно копошащийся комочек.

— Человек будет, мужик!

Мишка, обрадовавшийся случаю напиться, побежал за водкой, мать стряпала, мы с кумом отправились к попу.

Придя, разостлали на столе «для счастья» полушубок вверх шерстью, положила на него ребенка.

— Поздравляем вас с Ильей... Михайловичем...

— Мальчишка этот живуч будет, — рассуждал за обедом мой отец, махая новой красной ложкой; нос у него тоже покраснел, как кирпич. — Он — полевой: такие живучи! Это еще старые люди заприметили... Бывало, мой отец покойный...

— Дай бог! Дай бог!.. Чтобы счастлив был, богат, умен...

— Нищую братию чтоб не забывал, — вставил слово побирушка Чирей, прожевывая кусок баранины.

— Да, нищую братию чтоб не забывал! — поддакнули ему.

Счастливее всех была Мотя. Светлая улыбка так и не сходила с ее лица.

Когда поставили гречневую кашу, Сорочинский стал обносить по последней и обещал:

— Вырастет парнишка пятнадцати годов, справлю ему поддевку тонкого сукна и опойковые сапоги со светлыми калошами. Чего ты ухмыляешься? — сердито поглядел он на соседа — Федьку Рака, который, прищурившись, шевелил татарскими усами. — Капиталов не добуду?

— Как не добудешь... знамо дело!.. По глазам видать...

Кума сказала, что найдет крестнику хорошую невесту, а к именинам на будущий год подарит ему новую рубаху; она ее сама и сошьет.

— Уж такую закачу... фу-ты, ну-ты... с прозументами... складок сколько насажаю!..

Дед обещал мерку крупы на кашу, пойдет в солдаты — три рубля денег, бабка — полотенце с кружевами, две пары льняных подштанников, еще чего-нибудь, глядя по достатку, а повитуха, веселая и милая старушка-песенница, была бедный человек.

— Мне дать нечего, — засмеялась она, — у меня у самой ничего нету... Я буду приходить к Ильюше играть: строить ему городушки, рассказывать сказки, побасенки, все, что в голову влезет.

— И на этом спасибо, — ответили ей, — в рабочую пору глаз за маленьким дороже дорогих подарков.

После больших стол накрыли детям, сбежавшимся со всего конца: у нас это в обычае — где родился новый человек, ребятишек угощают обедом.

С тех пор Мотя стала неузнаваема. Вечно сомкнутые губы теперь играли улыбкой, движения стали упруже и свободнее; работая, она перекликалась с соседями, шутила.

Первые годы замужества, первый ребенок — мертвая девочка, шелудивый недотепа муж замкнули было ее душу. Ильюша, как цыпленок скорлупу, пробил горький нарост на сердце, и оно опять засветилось и заликовало. Как сестра ни билась и ни плакала, в конце концов с болью поняла, что она — Сорочинская, ею навсегда останется. Подчинилась неизбежности, направив свою деятельную силу на дом и хозяйство. Упорно, не покладая

рук, не зная отдыха ни в будни, ни в праздник, как лошадь, работала за пятерых и в доме и в поле. Мишка кое-как помогал, но дело с непривычки тяготило, и при первой возможности он отлынивал: выдумает общественную сходку, на которую ему непременно нужно поспеть, неотложное дело на станции или в соседской деревне и, пока Мотя на работе, как бездомный кобель, слоняется около избенки, вбивает там какие-то колышки или кропотливо, с жаром примется мерять аршином свою усадьбу, высчитывая что-то на пальцах, прикидывая и так, и эдак, и сбоку, и спереди... Пыхтит и мается до пота, до ломоты в пояснице, до тупого, злобного раздражения на весь белый свет... Потом спохватится, плюнет, пульнет куда-нибудь в ров аршин и вразвалку, попыхивая цыгаркой, отправляется с удочками на плес.

Отношения у них были странные, почти не супружеские: целыми днями и больше не говорили друг другу ни слова; никогда сестра не называла его по имени: за глаза — «он», в глаза — «эй» или — «слушай, молодец!..»

— Михайла, а ить баба-то твоя позабыла, как тебя зовут: эй да эй!.. Ты бы малость поучил! — находились добрые советчики.

Сорочинский петушился:

— Я и то, брат, собираюсь сказать: брось-ка, барыня, дурацкую удаль, величай меня — Михайла Игнатьич, я не какой-нибудь, да... а то я тебя, мол, того... не пожалею коромысла!

— Ну, вот!.. Про то и речь!.. Чего, сам-дель, глядеть на домову́ю!..

— Я ей нынче же вовью, глаза лопни!..

Бахвалился, форсил, а на самом деле, как огня, боялся Моти. Еще на втором году замужества он как-то вздумал было проявить свою власть, но сестра так его отхлестала, что он несколько дней не заглядывал в избу и ночевал в сенях. Он только тогда и нашелся сказать ей:

— Вся в отца, дьявол, кулашница!.. Погоди, я тебе припомню это, живорезке!..

На третий год, сколотив денег, Мотя подновила избу, поставила печку с трубой, купила лошадь. И хозяйство постепенно стало налаживаться.

В это время как раз родилась у нее мертвая девочка. Роды перенесла легко, но с тем, что девочка неживая, долго не могла примириться, себя считая в чем-то виноватой. На лице легли горькие складки, опустилась вся,

потом совсем слегла. Никому не жаловалась, стала еще больше нелюдимой, даже мать, между делом забегавшая проведать ее, не могла добиться путного.

— Пустое... пройдет... поправлюсь...

Закроет глаза, отвернется к стене, чтоб не приставали.

И вот теперь я думаю: сколько страхов, надежд и отчаяния перенесла она в последнюю беременность! Как она, вероятно, волновалась и ждала благополучных родов...

— А ну, как опять мертвый?..

И мне вдвойне становится понятней ее радость матери, — ведь Ильюшечка живой!.. Худенький, маленький, такой беспомощный, а все же живой, настоящий...

III

После города надоедливой и скучной показалась мне деревенская зима.

Весь январь и февраль бушевали метели. Не раз, вставая утром, приходилось откапывать двери во двор, чтобы выбраться из хаты; в переулках сугробы сравнялись с крышами надворных построек; голодные собаки свободно перебегали по ним, ныряя по всему околотку.

В праздники, задав скотине корм, молодежь набивалась к кому-нибудь в избу — играть в карты. Часто до самого рассвета, при бледном мерцании крошечной лампы, подвешенной к черноблестящему потолку, в удушливом табачном дыму, с раскрасневшимися, злыми лицами, они сидели, хищно заглядывая друг другу в карты, ожесточенно ругаясь при проигрыше.

Ни книг, ни газет, к которым я, живя в городе, привык, нельзя было достать. Маленькая земская библиотека давно была прочитана, и безделье и скука разнообразились лишь редкими посещениями Моти, на минутку прибегавшей к нам с ребенком.

На первой неделе поста вдруг были брошены в деревню слухи, всколыхнувшие до дна ее сонную одурь:

— Началась где-то война.

Строились сотни догадок и предположений. Одни говорили, что война с турками, другие — с арапами, третьи толковали о поднявшемся Китае и близкой кончине мира. Но время шло, и как-то незаметно на язык подвернулся таинственный «гапонец», живущий за тридевятью царствами и питающийся человеческим мясом. Это было страшнее Китая. Говорили о нем шепотом, с оглядкой

и молитвой, боясь, что он может услышать, выскочить из-за угла и тут же «слопать» вместе с шапкой. Тряслись при мысли о наборе. Выбирали место, где бы закопать добро, «если придет в нашу деревню».

В сырое, туманное мартовское утро посыльный из волости верхом на пегой кляче развозил запасным повестки: не отлучаться из дома, ждать набора.

Через день приехал земский начальник, собрал волостной сход. Прочитав длинную бумагу, из которой никто ни слова не понял, земский вытер платком розовую лысину, заговорил о шапках: ими надо закидать кого-то. Потребовал денег.

Мужики остолбенели.

— Сколько, ваше благородие?

— Триста.

— Что вы, пожалейте, — может, полтораста хватит?.. Шапки — вещья не мудрая!..

— Дураки, — сказал земский, — на святое дело, а вы, как жиды, торгуетесь.

— Господи, да мы понимаем, только не по силам.

После долгих просьб согласился на двести.

Старики дома ругались:

— Ша-пки!.. Шапок не хватило, дьяволы рогатые!.. Он себе зажилит, лопни его утроба!.. На ша-пки!.. Нету, мол, и больше ничего!.. И так, мол, выбившись из сил!.. Мы эти шапки еще с Туретчины помним...

— Что ж с ними сделаешь, не драться же? — оправдывались сыновья. — Говорит: надо шапками действовать, вся сила в шапках... Мы их, говорит, как мошек изничтожим!.. Давайте, а то хуже будет... Я, бат, по всем волостям собираю... Бумагу вычитал про вер-отество, с им разве сговоришь: у него глотка-то пошире жерела... И то насилу уломали на две сотни.

— Съедете вот сами-то скоро!.. Отество!.. Загнул куда, мошенник!.. Без отества жили, мол, и будем жить... Правов таких нет, чтоб на отество!..

По избам ходила попова дочка Лизавета Марковна, прося на раненых холстину; рассказывала про войну: где она, с кем воюют, за что. Об этом узнал урядник, Данил Акимыч, сказал ей, что так нельзя, сидите дома, с холстиною он сам управится, и велел тащить с каждого двора по два аршина рядниныы, по аршину льняной. Запрет урядника стал известен деревне, и у всех закопошились в голове черные мысли:

— Что там такое? Почему надо молчать, где и как воюют?

Появились какие-то странники, говорившие о птицах с железными клювами, вырывающих глаза и внутренности у людей, о печати антихриста, о близкой и неминуемой кончине мира.

— Согрешили, окаянные, — как вороны каркали они.— Бога позабыли, святую середу-пятницу не почитаем... Близится!.. Ждите теперь огненной планиды на небе!..

Под благовещение всю ночь шел дождь. Ветер с бешенством носился по деревне, срывая с домов ветхие соломенные крыши, бросаясь снопами и прядями в лица прохожих, залезал в трубу и выл там стаей голодных волков.

Накануне, в сумерках, был объявлен призыв. Рано утром молебен, и запасные поедут в город.

Ветер подхватывал колокольный звон, сзывающий к молитве, то унося его куда-то далеко-далеко, то с дерзкою силой бросая в окна, и он жалобно стонал, словно от боли, мешаясь с дребезжанием стекла и скрипом старых ветел.

Запрягались подводы, укладывались солдатские пожитки. Унылое горе и тупое отчаяние ходили из двора во двор, нагло скаля зубы, колотили в ставни и двери, водворяясь хозяевами в темных и курных избушках. Покорные и молчаливые, люди безропотно подставляли свои заскорузлые руки, изъеденные работой, чтобы с песней и прибаутками заковали их незваные гости и повели куда-то, где тоска, лишения, чужие, страшные люди и холодный ужас смерти.

А ветер все бросает колокольные стоны, и сердце мечется и вторит им надрывно:

— Господи, спаси и помилуй нас, немощных!..

Серые промокшие полушубки и свиты, обветренные и печальные лица наполнили неприютный храм — молятся, просят чего-то, плачут... Покупают свечи и заказывают молебны «заступнице всех скорбящих», кладут в церковный ящик последние пятаки и гривны. Будут сидеть без керосина и соли, а может быть, и без хлеба, будут зажигать одною спичкою каганцы с топленым салом в трех-четырех избах, кормить грудных детей жевкою из черного гнилого хлеба, будут бедствовать, но сейчас они не думают об этом: они привыкли ко всему, ко всему...

Теперь в храме они просят чуда:

— Отврати от нас войну, небесный царь... Пускай наши дети останутся с нами, пожалей нас!..

Урядник торопит, кричит, размахивая красными руками, хочет быть строгим, но голос срывается, и щетинистое лицо перекошено, как от зубной боли.

Трясущиеся губы непослушны, и прощание молчаливо:

— Прощайте!..

— Милые!..

Старые выцветшие глаза смотрят беспомощно на дорогу, по которой протянулись гуськом подводы. Туманом слез застилается свет, и впереди маячат только бесформенные темные пятна, сливающиеся в одну общую мглу с бурым снегом. Ветер выбивает из-под грязных платков космы седых волос, и они треплются, застилая лицо, а люди всё глядят на дорогу и ждут чуда: вот они сейчас воротятся — их дети.

Не свершилось чудо: мелькнула последняя черная точка за изгибом дороги, и серая мгла проглотила подводы.

Навеки?..

IV

Все думы, все взоры и все разговоры деревни были теперь обращены на чужую, далекую сторону, туда, где умирали ее дети.

Старики, сидя на завалинках, рассказывали о Севастополе, Кавказе, венгерском походе, русско-турецкой войне; люди жадно прислушивались к их дряхлым голосам, и каждый думал о том, что и сейчас так же вот льются реки крови и так же стонет земля от боли.

Изредка в руки крестьян попадались газеты: их кто-нибудь, бывая в городе, выпрашивал у купцов. Несмотря на величину Осташкова, весть о том, что привезли газеты, разносилась в несколько минут, и чуть не полдеревни сбегалось слушать. Молодежь, убогие старики и старухи, солдатки, дети тесной толпой обступали чтеца, с напряжением глядя ему в рот, ловя каждое слово, каждый звук. Читали молитвенно, нараспев, бережно держа в руках помятый лист бумаги, при тишине, какая может быть только в храме да когда в доме покойник. Начинали с объявлений, чтобы не пропустить ни одной печатной буквы, чтобы ни один значок, ни одна черточка не оставались неразгаданными. Проходили вереницы врачей, акушерок, «молодых интеллигентных девушек», «легких и нежных

слабительных», одолей, лаинов, сперминов, усатинов, перуинов, сиролинов, снадобий от дряхлости, истерии, малокровия, ожирения, чахотки — все вытягивали шеи, шепча друг другу:

— Ты понял, к чему это? Это для наших солдат заготовлено...

Биржевой отдел, курс акций, извещения банкирских контор принимались как количество ежедневно затрачиваемых капиталов на войну или пожертвования «людей с карманом».

Горячо рассуждали, растолковывая газетную мудрость непонятливым старухам.

Если попадалась «побасенка», недоумевали, пытливо смотря друг на друга:

— А это к чему же?

Затаив дыхание, вытянув жилистые шеи, подставляя уши к самому лицу чтеца, напряженно слушали телеграммы с войны. Цифры убитых и раненых заставляли навзрыд плакать женщин и угрюмо смотреть тяжелыми взглядами в землю мужчин. И сейчас же по-детски радовались, высказывая наивное одобрение, при известии о том, что казаки расстреляли китайца шпиона или что при перестрелке на передовых позициях захвачено несколько пленных.

Стали ругаться японцем и Маньчжурией; храбрых в драке и озорников называли — Стессель, Куропаткин.

Приходили в неописуемый восторг от мальчика Зуева, разведчика.

Все верили, что победа будет на нашей стороне, что, «натрепав японцам холку», солдаты к осени воротятся домой, но когда набор повторился, выхватив всех здоровых и крепких мужчин из уезда, когда все чаще и чаще приходили известия о поражениях русской армии, заволновались и затосковали серяки и ядом на душу легла «измена».

Кто и как изменял и кому, люди не знали, но все неудачи и промахи полководцев приписывали «ему» — таинственному, хитрому и жестокому, продающему кровь народную за золото.

Стали реже сходиться и меньше толковать о Востоке: закралась тупая безнадежность в душу, лишнее слово бередило сердце.

И вот в солнечное, ласковое августовское утро, когда уже легкий морозец серебрит росистую траву, а воздух становится по-осеннему прозрачным и звонким, часть их пришла.

Странным это вышло, неожиданным: подъехала крестьянская телега, похожая на решето, в ней куча серых тел в истертых военных шинелях, безруких, безногих, с кровавыми повязками на головах, с костылями, с землистыми лицами, с лихорадочным румянцем на острых скулах.

А в деревне не этого ждали, потому что думали: вот теперь скоро получим письмо от ребят — едем, мол, домой, ждите! Все выйдут встречать их, заготовят вина, закусок, лошадей украсят лентами, сами принарядятся. Вылезут из вагонов бравые солдаты, смеющиеся и довольные...

...Мужики еще до рассвета уехали за снопами; раненых встречали перепуганные женщины и дети. Вместо лихих молодцов-усачей на них смотрели откуда-то издали вялые, потухшие взоры, в которых светились тоска и смертельная усталость; вместо приветливых улыбок рот скашивали болезненные гримасы, и хрипящие разбитые голоса сыпали срамные слова и бессмысленные проклятия вместо приветствий.

Подвода медленно двигалась от одного двора к другому. Тряская дорога разбередила неподжившие раны, больные тихо стонали, стискивая челюсти, мучительно кашляли, выплевывая кровь. Вокруг суетился тщедушный, хлипкий, словно замусленный, мужичонка в сермяжной рубахе распоясокой, привезший «товар» со станции. Поддергивая на ходу сползавшие портки, он бестолково метался во все стороны, и в глазах его горел ужас.

— Бабоньки, милые, потише, пожалуйста! — плаксиво просил он, толкаясь между женщин. — Полегче как-нибудь, а то обеспокоите! Полегче!..

Прыгал как подстреленный воробей.

Матери и жены брали под руки увечных и вели в избу или в сени, торопливо расстилали постель, бесшумно ступая босыми ногами, а когда в глазах темнело и пол начинал колыхаться, молчаливо и неуклюже взмахивали руками, хватаясь за грудь, и падали на землю.

Уткнувшись по-собачьи в угол, голосили старухи, еще более посеревшие и сжавшиеся, а около пугливо жались дети с полными слез глазами.

V

В начале сентября полевые работы в деревне кончаются, но в этом году затянулись. Все спожинки шел дождь, молотьба то и дело прерывалась, с делами упра-

вились только к воздвиженью, нашему храмовому празднику.

Молодежь сидит на завалинках. Парни в расшитых рубахах, сапогах с напуском и вычурных жилетках, девки, как мак, в цветных платьях и шелковых косынках, в ярко начищенных, со скрипом полусапожках.

— Песни бы пели,— говорят им.— Что вы мокрыми курами сидите?

Блеклые желтые листья кружатся по ветру. Улица к празднику чисто выметена. Растрепанные соломенные крыши, плетневые заборы, покосившиеся ворота сараев в пятнах зеленовато-серых лишаев, груды камней, раскрытые скотиной ометы прошлогодней соломы не кажутся такими убогими под ярким солнцем.

От шинка идет Митроха Камзырь, обнявшись с Полюлей; оба пошатываются.

— Ты, кума, слухай! — трясет он за рукав ее.— Ты слухай-ка!

А кума, подперев ладонью щеку, пронзительно воет:

И... эх, развесе-лая наша бисе-эдда,
И... эх, д' где мой батю-э-вушка живет...

— Митрофан Андреич, развяжи бабе чересседельник-то: хрипит! — хохочут над ними.

Митроха оборачивается и строго глядит на мужиков. Через минуту бородатое лицо его расплывается в широчайшую улыбку.

— Ничего, ничего, ребятишки... Пускай ее повеселится, она — кума мне, камзырь ее в спину! — Тормошит песенницу: — Погоди-ка, кума, на минутку; я тебе что-то скажу!.. А ты перестань, эко глотку-то как пялит!..

У ворот своей избы, прислонившись спиною к забору, сидит Прохор Галкин, маньчжурец. Продолговатое лицо его, обросшее колючей щетиной, землисто, щеки втянуты, большие, глубоко посаженные голубые глаза лихорадочно блестят. Темные круги под ними делают их еще больше, блеск — болезненнее. На сухой, пыльной земле и разбросанных вдоль забора полусгнивших бревнах жмутся солдатки, мужики, старухи, напряженно слушая его.

— Холод, вьюга, сугробы снега выше колен, а мы без полушубков, без рукавиц...

Голос его хрипл, взмах скрюченных пальцев порывист, дыхание часто, неравномерно, словно его кто держит за горло цепкими руками.

— ...Под Ялу пошли в дело, а в роте полста больных... их тоже тащат, а куда уж к черту... Ну, конечно, попадали, которых расстреляли... Война, будь она трижды проклята!.. Нам впору было окна бить по кабакам, над китайцами охальничать, а не с тем... С тем туго, да... Он косоглаз, ледащ, а сунься, да... с большими-то буркалами...

Галкин строго глядит в лица слушателей.

— ...Рубахи истлели, вошь замучила, начальство не знает, что́ делать, пьянствует, а те — чистенькие: рушнички, мыльце, корпия, струменты разные... а главное — человека помнят!.. Солдат-то для их — сперва человек, вот оно что!.. Загвоздка небольшая, а верная!..

Достав кисет, он неуклюже возится с цыгаркой. Рядом сидевший парень помог свернуть. Маньчжурец, жадно затянувшись, продолжает, печально глядя в землю:

— Ранили меня в апреле... Видите: руки-ноги свело, это оттого... С месяц лежал без памяти, потом лучше стало... Вот тут-то я и понял, какая это война, а то валандался в крови по горло, не понимал... Помогли, спасибо, и добрые люди посмотреть другими глазами на белый свет... Помогли друзья, но только это напрасно, очень даже не нужно и, можно сказать, вредно, потому что лучше было бы в моем положении овцой круговой издохнуть... А то что же теперь — табак?..

Щеки его задергало, словно он собирался заплакать, нижняя челюсть выпятилась вперед, лицо еще больше посерело. Изуродованные руки беспомощно упали на колени.

Медленно, с перерывами солдат рассказывал о сражениях, о голоде и нужде в армии, об отношениях начальников, и толпа, охваченная тревогою за близких, которые еще там, где-то далеко, где потоки крови и слез, тихо жалась, молчаливая, пришибленная. Мерещились туманные, холодные поля, по которым взад и вперед снуют пушки, бегают с ружьями люди... Докуда это?..

И, может быть, впервые в головах этих людей земли путано, непривычно, робко закопошились темные, но назойливые мысли о жизненных порядках: их неустройстве и безалаберности.

Галкин говорил о боге и правительстве, о других землях и новых порядках, о правде, которая между нами, но которую мы все еще никак не сыщем, и о каких-то людях, которым эта правда ясна. Истощенное лицо его оживилось, солдат ерзал на месте, взмахивал тонкою, бледною

рукой. Забыв о недавнем глумлении его над духовенством, мужики слушали жадно, молитвенно, с тоскою в глазах. Прохор выносил на вольный свет их сокровенные думы, их неуверенные мечты, но не поохаверничать над ними, не посмеяться, а поплакать.

— Разве ж это жизнь, родные вы люди? Ну-ко, подумайте, а? Ведь это ж в аду, поди, вольготнее!.. Жигун вон натесался, над ним все насмехаются, осуждают... А что человек за всю свою жизнь добра не видел, всю жизнь червем маялся, никто не помнит!.. Выпил полбутылку, а валяется пьяней грязи... Отчего? Жизнь-то его нам известна или нет?.. Мало он горб гнул?

— А мы мало? — резко выкрикнул кто-то.

Маньчжурец не слушал.

— Мало каменьев переворочал?.. Другая лошадь столько не моталась на своем веку!.. Четыре-пять раз в году мужик лежит мертвецки пьян, бьет жену, детей, скверно ругается, а сколько он работает, как день за днем исходит кровью, этого не знают!.. Эх, мать честная, отец праведный!..

Голос Прохора дребезжал, плечи нервно подергивались, он плотно прижимался к стене, время от времени закрывая лицо.

— Вредно мне говорить много... крови дурной в теле пропасть, разгорячусь — всего ломит...

Подгулявшая деревня затихла. В соседнем доме с визгом хлопнула дверь, на порог выскочил пьяный шахтер Петя.

Я с ха-зяином расчелся,
Ничего мне не прише-лось...

В руках его ливенка, новый картуз залихватски торчит на затылке.

— Наше вам, двенадцать с полтиной,— весело осклабившись, подошел он на нетвердых ногах к завалинке. Увидя Галкина, радостно подмигнул:

— И ты тут, крестолюбивый воин? Здравия желаю!..

— Здравствуй, Петя, здравствуй, милый человек, гуляешь?

— Загулял, браток, напропалую! — размахивая гармоникой, воскликнул шахтер.— Нынче на четырех с колокольчиком, а что завтра будет — черту да моей душе известно!..— Шахтер задорно мотнул головою, перевернулся на каблуках.— Прощевайте, друзья!

— С богом, Петр Григорьевич.

Ночь рассеяла по небу яркие звезды. Один за другим гасли в окнах огни. Со свистом и песнями возвращались с игрища девушки и парни. Кряхтя и разминая отекшие ноги, шли на покой старики. Маньчжурец остался один. Долго сидел, одинокий, борясь с неотвязными думами.

VI

Прошла мокрая осень, наступили филипповки. Снова невидимая щедрая рука заботливо намела высокие сугробы, крепкий дедушка мороз сковал хрустальный мост через реку, снова деревня оделась белым погребальным покровом на долгие месяцы.

— Надо делать что-нибудь, так жить нельзя,— говорил я, сидя как-то с Галкиным.— Будем молчать — хуже заездят.

Он недоверчиво поглядел на меня, кивнул головой, зажмурился. Поглаживая высохшими руками костыль, спросил:

— А что делать?

Я стал жаловаться, как деревня темна, пьяна, жестока, суеверна.

— Ты же сам кричал, что у тебя все сердце выболело!..

— Ну, и что ж? Чего ты лотошишь? — не открывая глаз, спросил он.— Что ж, они не знают, что ли, этого?

Крепко сжав тонкие губы, он поднялся с порога, направляясь к своей хате.

— Всякому свое горе больно... Всякий о том знает... Что ж тут такого?.. Тут ничего нет... Скучно будет дома, заглянь ко мне,— обернулся он на полдороге.

Это было вскоре же после воздвиженья.

С первых дней, как Прохор, приехав с войны, чуть-чуть оправился и стал выходить на улицу беседовать с мужиками, с того времени, как я услышал его речи, меня тянуло к нему, я искал случая поговорить с ним по душе.

Он принял меня недоверчиво, выпытывал, выщупывал, налетал петухом, наконец смилостивился, заговорил почеловечьи.

И с тех пор ежедневно, как только вырывалось свободное время, я бежал к нему.

— Правду мы сыщем, вот увидишь,— говорил, бывало, маньчжурец,— в гроб не лягу, пока не откопаю ее!.. По-

гляди-ка кругом: люди запутались, осатанели, не знают, куда приткнуться!..

— Верно, солдат.

— Верно? То-то вот и дело, братуха!.. То-то и дело!..

Отшвыривая костыли, Прохор стучал кулаками, хорохорился, бил себя культяпками в грудь.

— Аминь, рассыпься!..

Однажды, выйдя за водою, я услышал его надтреснутый голос:

— Штаб-лекарь! Штаб-лекарь!..

Оглянулся по сторонам: никого нет.

— Ванюш, это я тебя зову! — кричал Галкин, высунув из сенных дверей стриженую голову.— Подь-ка ко мне на минуту!

Я поставил у колодца ведра, взошел на крыльцо.

— К попу я нынче, друг, собираюсь,— радостно зашептал он.— Зайди вечерком побалакать. Ирод-то твой, четвертовластник, дома?

— Какой Ирод?

— Ну, вот — какой! Семя блудницы вавилонской, вот какой!.. Райское древо твоего великого грехопадения!..

— Я, Прохор, не понимаю тебя... Ты все загадками да страшными словами норовишь оглушить...

Солдат самодовольно улыбнулся.

— А ты погоди, не косороться, слушай-ка: дома отец?

— Так бы и говорил, к чему ты все мудришь?

— Э, отвяжись, пожалуйста, если ни черта не смыслишь!.. Дома, что ли?

— Лапти плетет.

— Казютка приспичил!.. Жалко, парень... И завтра будет дома? Очень даже жалко!.. Что никуда не гонишь его, дьявола лохматого?.. Лошаденку было я хотел у тебя стибрить. Оказия, понимаешь, такая — есть на примете человек в Захаровке. На своих рысаках,— Прохор печально указал на костыли,— не доскачу, девять верст, ну, вот я и подумал: велю, мол, Ванюше конягу запречь, съезжу к нему, попытаю. Экая досада, леший тебя задави! Хороший, говорят, мужик: занятно бы поговорить с ним!.. Вдруг он того... нашей веры-то, а? — Глаза солдата весело заиграли.— Клад ведь это, а? Как ты рассуждаешь?

И, еще ближе придвинувшись ко мне, шепчет в самое ухо:

— Наши ротозеи-то ругают его: умней-де бога хочет стать, сукин сын, над святостью насмехается, шалаберни-

чает, а я, голубок, другое думаю: беспременно нашей веры, потому шалопай так не почнет мудровать — не хватит склепки, верь мне! — Галкин вдруг превесело захихикал: — Как я, брат, онамедни до-ма-то!.. Вот была чуда!.. Мать язвит: прокляну, кобылятник хромой, с ума ты спятил!.. А я: да проклинай!.. Угрозила!.. Да топором бого́в-то, да в печку!..

Лучистые морщины расплылись по желтому лицу его.

— А к Исусу не потянут за это? — спросил я.

— Эка! Смазал! — пренебрежительно дернул маньчжурец верхней губой.— Мельница пустая!..

— Не боишься — твое дело. Только зачем же надумал к попу?

— Зачем? Надо. Я тебе опосля расскажу, пока молчи, не спрашивай: с мыслей собьешь...

Прохор вышел на крыльцо, затворив за собою двери. В него пахнуло снежной пылью; солдат торопливо прикрыл рукою раздувшийся ворот рубахи.

— Ну-ко, подержи костыли... Зачем? Эх ты, чудачок! По законам он силен, а правда на нашей стороне... Зачем! Все тебе, братец ты мой, разжуй, все растолки!.. Нам вместе надо действовать, вот зачем, теперь понял?

— Плохо,— усмехнулся я.

— Ты — дурак! У тебя чердак рассохся! Я с тобой не желаю делов иметь! — сердито закричал он, хлопая дверью.

Вечером я был у Прохора. Старуха сучила хлопок, сестра пряла.

— Ты к мужику?

— К нему.

— Ушел куда-то. С самого обеда не видать. Простынет по такой пурге. Садись на лавку-то.

Семейство Галкина состояло из четырех человек: самого калеки-хозяина, брата его, помоложе, жившего в работниках, шестидесятилетней старухи матери и сестры-невесты. При одном наделе земли хлеба на год не хватало, приходилось кормиться тем, что заработает ме́ньший брат и Настя. Изба была маленькая, тесная, с неровным земляным полом, крохотными оконцами. Чистота и опрятность еще кое-как скрашивали убожество.

— Эх, Ваня, бросили бы вы эту музыку...

Я насторожился.

— Какую, тетя?

— Не знаю я, милый, а только чую сердцем, что у вас неладное что-то...

Добрые выцветшие глаза старухи тоскливо смотрят мне в душу в страхе и тайной надежде на сочувствие.

— Бросьте, родимые, мало ли горя мы в жизни видали? И так в слезах век прошел!.. Прохор молчит, ты вот молчишь, Настя смеется... Что же мне делать, не чужие вы мне!..

Она заплакала.

На дворе шла метель, залепляя пушистыми хлопьями окна, тускло мерцала маленькая лампочка, на припечке трещал сверчок.

— Что-то долго нет,— через некоторое время проговорила старуха, но загремел засов, послышалась грубая брань и визг собаки.

— Идет, кажется,— встрепенулась она.

Собака снова завизжала. Галкин в сенях пробурчал:

— Лезет, дьявол, чтоб тебя ободрало!

Он вошел усталый, обсыпанный снегом, с побледневшим, утомленным лицом.

— Пог-года... погибели на нее нету! Ужинали али нет?

— Тебя поджидали,— ответила сестра, вставая с лавки.— Сейчас соберу.

— Ну, как твои дела? — не вытерпел я.

Солдат исподлобья поглядел на меня и с неохотою ответил:

— Что ж дела?.. Дела как были, так и есть... Настюш, квасу принеси, укис, поди?

— Укис, ужо примчу.

— Захвати, кстати, редечки.

Скрутив цыгарку, он подсел к дверям, скривил губы в какое-то подобие усмешки и проговорил:

— Изругал меня поп-то, будь он неладен. «Смутьян, говорит, вероотступник, соцалист... В тебя черт, говорит, вселяет пакостные мысли...» Я ведь, как пришел, сейчас ему все начистоту, по-божьи... Еще как-то назвал, не помню уж... Я ему — свое, а он — свое, ногами топает, думает, я его испугался... «Палку, говорит, на тебя надо хорошую»,— а я ему: «Кого бить-то, поглядели бы! Вы, батюшка, лучше вникните в мои слова, мы с вами сговоримся, у нас с вами одна забота!..» К-куды, тебе! Закусил удила, слюною брызжет... «Так тебе, кричит, и надо, что тебя всего изуродовало...» За вас же, мол... Я тоже из сердцов стал выходить... «Врешь, брат, не из-за меня, а из-за господа бога!.. На всю жизнь заметил тебя, шельму!.. Умничать

больше не будешь». Эх!..— Махнув рукой, Галкин отвернулся к стене.— Зверье какое-то, тигры лютые!.. Куда с такими приткнешься?

VII

Рождество прошло незаметно. Дошли вести о сдаче Порт-Артура, о поражениях под Ляояном; все отнеслись к этому равнодушно: пили, гуляли, работали. Молодежь устраивала игрища, катанье на салазках, вечеринки. Затевались свадьбы. Все — как всегда.

И, несмотря на все это, как будто все что-то смутно предчувствовали. Часто в мелочах, в незначительных событиях, словах,— там, где меньше всего можно было подозревать что-либо,— невольно бросалась в глаза эта печать нового настроения деревни: не то какой-то торжественности, не то безнадежности, тоски.

Все время мы с Галкиным присматривались к людям, толковали, как умели, намечая для себя наиболее подходящих. Для обоих ясно представлялось, что по-старому больше жить нельзя.

Соберутся ли, бывало, мужики играть в карты или на посиделки, солдат непременно притащится, выглядит, вынюхает и по малейшему поводу начинает свое. Чаще всего его просили рассказать о японце. Невиданные в наших краях порядки врага, о которых Прохор был наслышан, восхищали слушателей. «Кабы нам, робята, этак!» — Они настаивали на подробностях, а маньчжурец, по темноте привирая, весь горел от воодушевления.

— Не так, братцы, и у них спервоначалу было. Вы вот слушайте-ка!..

С умилением рассказывал где-то слышанные или читанные отрывки из французской революции, Людовика величал «микадой». «А у немцев, скажет, еще лучше случай вышел!» И плетет им о Гарибальди, еще о чем-нибудь, что втемяшится в голову.

В своих беседах Галкин не ограничивался Осташковым: не раз и не два, под предлогом увидеть своих товарищей убогих, он пробирался в соседние деревни, где с той же жадностью прислушивались к его речам.

— Идет, милачок, наше дело, очень даже подвигается,— счастливо ухмылялся он.— Весна бы, чума ее возьми, скорее приходила, тогда легче орудовать, а то дороги плохи, холодно... Уж я теперь поработаю во славу божию — всего

себя положу на святое дело!.. У тебя в Зазубрине клюет? Ходил туда?

— Ничего, идет ладно.

— Ну, вот! Ну, вот! Старайся, браток, не сиди сложа руки: превеликий нам грех будет перед господом богом, если умолчим,— превеликий страшный грех!..

Побывав раза три у «милого человека» — Ильи Микитича Лопатина из Захаровки, Прохор за последние дни возлюбил упоминать при разговоре — к месту и не к месту — имя божие.

— Он меня пришиб, миленок, до самого нутра разумной речью от писания!

Вообще от своего нового приятеля Галкин был в неописуемом восторге.

— Такие люди, друг, на редкость хороши,— говорил он о Лопатине,— из тысячи один бывает.— Подумав, добавлял:— Нет, из меллиона.

Когда людей накопилось достаточно, маньчжурец сказал мне:

— Давай, дружок, просеем.

Достав с божницы карандаш и лист бумаги, он называл мне по именам всех, кто думает о жизни так же, как и мы, а я записывал. Насчитали двадцать человек.

— В два месяца!.. Ты слышишь, ай нет?

Схватив меня за волосы, стал неистово драть.

— Постой, ты что — драться? С ума ты спятил!..— закричал я от боли.

— Молчи!.. Только два месяца!.. Голубчик мой!.. А что у нас через два года-то будет, а? Ванюша, милый ты мой товарищ!..

Он крепко обхватил меня за шею, поцеловал и заплакал. Я тоже не удержался от слез.

— Вот ты какая клячуга! — набросился солдат на Настюшку, которая, сидя возле нас, весело улыбалась.— Смеешься, пострели тебя горой!

Она залилась еще пуще.

— Разревелись, демоны, просватали вас, что ли?

Мы посмотрели друг на друга и тоже расхохотались.

— Гляди-ка, Ваня, гляди-ка, — не унималась девушка,— как у него нос-то покраснел!.. Ах ты, уродец хроменький! — Она обняла брата.— То ругается, то плачет, то смеется!..

Эта ласка совсем растрогала приятеля. Он по-детски смеялся, тормошил меня и Настю, крича во все горло:

— Жива душа народная!.. Аминь, рассыпься!.. Завтра же пойду к Илье Микитичу!..

Из двадцати человек мы выбрали десять наиболее разумных, надежных, работящих и решили устроить в Новый год наше первое товарищеское собрание.

Когда я уходил поздним вечером от Галкина, Настя вышла затворить за мной двери.

— Хороший человек твой брат, Настюша,— сказал я девушке.

— И ты, Ваня, хороший,— застенчиво ответила она.

— Ты — тоже хорошая,— сказал я ей.

VIII

Новый год. В празднично прибранной избе на столе, покрытом свежей скатертью, ворчит самовар. Около него расписные чайные чашки, фунтовая связка бубликов рядом с ломтями горячего черного хлеба. На деревянной тарелке мелко нарезанное свиное сало. День солнечный. По выбеленным бревенчатым стенам, по кружевам полотенец, украшающим передний угол, по бокам чистого самовара прыгают зайчики. Серый кот, подняв мягкую лапу, зорко следит за ними.

В кутнике сидят: Петя-шахтер, Колоухий, Сашка Богач, Ефим Овечкин, «Князь» — наши с солдатом надежные приятели. Ждем Пашу Штундиста и Рылова.

Колоухий — высокий сгорбленный мужик лет сорока, сухой, чахоточный, говорит низким басом; когда волнуется, на скулах его сквозь блекло-русую бородку, спускающуюся вниз растрепанной мочкой, выступает яркий румянец. До сих пор, несмотря на болезнь, он силен, вспыльчив, но умеет сдерживаться. Очень беден.

Сашка Богач — широкобородый, голубоглазый мужик среднего достатка, с необыкновенно доброй, застенчивой улыбкой. Одет чисто, опрятно.

Ефим Овечкин и «Князь» — молодожены, ходят на заработки, оба хорошо грамотны.

Галкин сияет. Напротив него на низкой скамеечке сидит его милый друг — Илья Лопатин из Захаровки, высокий сухожилый мужик с прямым длинным носом, маленькой черной бородкой острячком, в белых валенках и казинетовой коротайке. Нервно перебирая тонкими пальцами смушковую шапку, он говорит, впиваясь глазами в собеседника:

— Разве ты не видишь, что кругом делается?..

— Как не вижу? Знамо дело, вижу,— отвечает Галкин.

— Жутко глаза открывать на белый свет!..

На коленях у него карманное евангелие в красном захватанном переплете.

Жмурясь на солнце, Колоухий согласно кивает головою. Богач щекочет у кота за ухом и улыбается. Прохор, искоса поглядывая на перешептывающихся «Князя» и Овечкина, завивает на палец клочки отросшей редкой бороды и счастливо ежится, когда ему что-нибудь в словах Лопатина особенно нравится.

— Ты слышишь, как земля стонет? Надо слушать. Она защиты у нас просит... А мы, поджав хвосты, блудливыми псами по ней шляемся!.. Боимся подать голос. Кто же, окромя нас, защитит ее?

Илья Микитич до тридцати трех лет ходил в Одессу на заработки, познакомился там с евангелистами, принял их веру и с тех пор, четвертый год, ведет непрерывную борьбу с мужиками-однодеревенцами, полицией и попами. Чем больше его травили, тем сердце его разгоралось ярче. Из тихого мужика, склонного к домовничеству, к разведению породистой птицы, хороших лошадей, к уединенному спасению своей души, через два-три года, после того как дом его сожгли, пару лошадей изувечили, после публичного предания его попом анафеме,— он стал ярым врагом зла, беззакония, лжи, жестокости, народной слепоты, хамства.

— Пора одуматься!.. Время защитить землю!..

Порывисто раскрыв на закладке апокалипсис, он, задыхаясь от волнения, читает:

— «Се гряду скоро,— сказал первый и последний и живый,— держи, еже имаши, да никто же приимет венца твоего. Побеждаяй, той облечется в ризы белые...» Это нам говорит святой дух, а мы погрязли в тине, уподобились скотам бессмысленным... С нас взыщет бог и покарает своею яростью!..

Глаза Ильи Микитича разгораются, а губы вздрагивают.

— Чаша гнева божьего переполнилась,— будто ослабев, шепчет он.

— Переполнилась,— отзывается Галкин.

Все задумались. Старуха, сидя у шестка, вздыхает. Настя с любопытством осматривает Лопатина из-за куде-

ли; она забыла про работу, толстый простень едва-едва шевелится в руках ее.

— Чего ты нам кисель по углам размазываешь! — вдруг запальчиво кричит шахтер.— «Аще», «яко»!.. Мы это слыхали!.. Говори, как действовать!..

Все вздрагивают, обертываются к Пете; лицо его красно, он жадно кусает красивый светлый ус, а руками отыскивает в домотканом пиджаке карманы.

— Погоди, голубь, не сразу вскачь,— мягко перебивает его Лопатин, пристально всматриваясь в возбужденное лицо парня. Видно, что слова Петрухи ему не понравились: щеки его посерели.— Напрасно, голубь, порочишь писанье: в ём большой смысл положен... С жару, с полымя шею свернешь... Мы таких видали!.. Надо умно, с толком, вот как я понимаю...

— Он тоже так,— сказал маньчжурец,— он только бестерпелив, мошейник...

В избу вошли Рылов и Штундист. Первый — еще мальчик, с наивным девичьим лицом, на котором светились серые, вопрошающие глаза и мягкая, детски застенчивая улыбка. Второй — коренастее, старше. Широкие плечи, неуклюжая поступь, замкнутое лицо. Оба молча кивнули головами, проходя к лежанке.

— Что ж вы не молитесь богу? — лукаво прищурилась Настя.

Рылов смутился, покраснел, виновато опустив глаза.

— Мы не к обедне пришли,— тихо бросил Штундист.

Прохор счастливо засмеялся.

— Теперь, ребятушки, все в соборе,— встрепенулся он.— Садитесь чай пить, а я доложу.

Кряхтя, он полез в укладку, доставая оттуда лист курительной бумаги, исписанный каракулями.

— Читай, Вань, мое сочинение,— сказал он, подавая мне бумагу.

— «Житье наше — сволочь,— начал я,— ложись в передний угол и протягивай лапы. Одно только и остается. А так нельзя. Я много народу видал на разных востоках и в Расее много народу видал. Есть, которые идут за неправдой, этих больше всего, а которые против неправды, этих меньше всего. Нам надо держаться, которые против неправды. У нас в деревне Осташкове и в округе кругом тоже есть такие люди, которые не за неправду, а сами по себе. Первый — Иван Володимеров, мой закадычный друг. Я его нарочно зову штаб-лекарем, и вы его так зовите,

потому что он хороший человек и ведет со мной одну линию, а чтобы полиция не узнала, и богачи, и все люди, кто есть Иван Володимеров, и какие у него в голове мысли, и что он думает, я окрестил его штаб-лекарем. Второй — Петя, несчастный человек, хоть он и шахтер и глотку подрать любит...»

— Ты, Петруша, не сердись, пожалуйста,— смущенно перебил меня Галкин, обращаясь к шахтеру,— я ведь все по правде, как думал.

— Ничего, браток, ничего я не сержусь. За правду разве сердятся? Я ведь на самом деле — несчастный!..

— «У него душа горит и мается»...

— Это — тоже верно!.. Ох, как верно!..— воскрикнул шахтер.— Читай дальше!.. Как все хорошо писано!..

Он прикрыл глаза руками.

— «...а приткнуться он не знает куда. Это тоже хороший помощник, но вина ему надо пить поменьше...»

— Я его брошу,— сказал Петя.

— И милое дело,— погладил его по плечу солдат.

— «Самый задушевный человек — и мы, может, все его ногтя не стоим — Илья Микитич Лопатин. Из его бы хороший губернатор был, из милого, крепкий человек, на хитрости не согласный. Я думаю, что он лучше умрет, а не продаст души...»

— Это и все мы так должны,— сказал Штундист.

— Ну да.

— «...Есть еще Саша Богач и Максим...»

— Вот и до нас с тобой очередь дошла,— улыбнулся Богач, моргая Колоухому.

— Об кажном написано, что мы за люди.

— «Это неправильно, что Максима прозвали Колоухим, его надо бы — Востроухим, в тех видах, что любит он к правде прислушиваться...»

— Ишь ты — в точку!

— Да уж служивый не подгадит!..

— «...А Паша Штундист — мать родную может удавить за измену или за плутни... Рылов еще цыпленок, но из него и из нашей Настюшки...»

— Иди, Настюнь, ближе: про тебя читаем! — крикнул Галкин.

— «...из обоих из них выйдут хорошие люди, толковые насчет правов...»

— Вот калечина-малечина! — прыснула Настя.

— Молчи, Фекла! — закричал на нее Галкин.— Не правда, что ли?

— «...Женить бы их, леших, тогда дело пошло бы еще лучше...»

— Это ни к чему,— досадно сказал я, откладывая бумагу.— Рылов, какой тебе год?

— Семнадцатый... Мне еще на службу идти...— пролепетал тот, зардевшись.

— Молокосос, за спиной солдатчина, а лезешь жениться,— не скрывая раздражения, поднялся я из-за стола.— А той скоро девятнадцать,— махнул я на девушку.— Да еще и пойдет ли она за Рылова?.. Не в свое дело ты лезешь, солдат!.. Не хочу больше читать бумагу!..

Нахлобучив шапку, я шагнул к дверям.

Все с удивлением глядели на меня, а я чувствовал, что все лицо мое горит, и не поднимал ни на кого глаз.

— Постой, чего ты взъелся? — схватил меня за полу маньчжурец.

— Ничего, какое тебе дело? — сердито огрызнулся я.— Сказал, не буду — и не буду... Мое слово — олово!..

— Ну, что за дурень! — всплеснул он руками.— Даже пошутить нельзя, ей-богу, правда!

— А ты над собой позубоскаль! — вдруг резко ответила за меня молчавшая доселе Настя.— Выискался, хват!..

— Ну, подняли канитель, вз-зы! вз-зы!..

— На, Вань, замарай, что он там наляпал,— обратилась она ко мне, подавая карандаш.— Рылов-то твой еще лапти плесть не умеет... жениха нашел облупленного...

— Да я же ничего! Я и жениться-то пока не думал! — взмолился Рылов.— Какая женитьба — мне в солдаты идти!.. Чего вы ко мне привязались? Ну-ка я сам замажу!

Смущенный, с выступившими слезами, он взял из моих рук карандаш и стал тщательно зачеркивать ненужное.

— Ну, теперь, Иван, садись читай! Читай! — загалдели все.— Нечего там — читай, про это замазали!..

Виновато хлопая меня по спине, солдат говорил:

— Бездымный порох ты, мошейник! Ей-же-ей, бездымный порох! Разве я что?.. Я не знал, что ты с ей в сердцах!.. Это, конечно, ваше дело... Уж ты прости, пожалуйста, я хотел к лучшему, ан — обмишулился!..

— «Баб тоже надо к делу приучать,— начал я дальше,— они большая помога. Настюшка все знает, что я думаю, и очень одобряет меня. Мать нашу в компанию не принимать: она только плакать будет либо всем все рас-

скажет. А насчет Ивáновой сестры — Матрены Сорочинской — надо хлопотать: баба — золото...»

— Теперь дальше будет описываться, чтó нам делать,— сказал Прохор.— Отдохни, Петрович, немного; поди, язык заболтался, а ты, мать, поди посиди у суседей.

— Я ведь не сболтну,— подняла старуха голову.— Чего ты меня гонишь?

Солдат подумал и сказал:

— Чуднáя ты, мать, ей-богу!.. Разве я тебя гоню? Я говорю: ступай, мать, к суседям. Я сам знаю, что не сболтнешь, но только у меня сердце не на месте: чужой человек, а сидит в нашей компании.

Накидывая на плечи полушубок, старуха обиженно ворчала:

— Спасибо, милый сынок, растила тебя, растила, а теперь чужая стала!.. Бог с тобой!..

Галкин опять ей сказал:

— Ведь вот ты, мать, какая: к каждому слову репьем цепляешься!.. Ну, сиди в избе, коли охота... Лезь вон на печку, может, бог даст, уснешь там... Тебе говоришь одно, а ты — другое!.. Настюшь, постели ей на печи соломки!..

— Там пыльно, жарко, нынче ведь хлебы пекли: печь-то огненная,— заупрямилась старуха.

— Что за привередница! — повысил голос маньчжурец.

Старуха покорно залезла на печь, положила на высохшие, медно-красные обветренные руки голову в заплатанном повойнике. Из-за печного колпака, между двух полуседых косиц волос, любопытно блестели ее маленькие желто-серые глаза.

— «...Сначала нужно хлопотать насчет земли: в земле вся сила. А самим жить покрепче, в ладу, работать дружно, хайла на ворон не пялить. Первым долгом выстроить середь деревни большую училищу, и ребятишки чтоб с кокардами и в серой форме. А когда соберемся с силами, девкам тоже выстроить училищу, пускай себе на здоровье учатся, нас добром вспоминают...»

— Это уж такое дело...

— Читай, читай, Иван Петрович!

— «...Обязательно в каждой деревне показывать туманные картины, как бывало в Никольск-Уссурийске,— разлюбезное это дело! А рядом чтобы граммофон играл...»

— Это, например, к чему же? Для забавы, что ли?

— Да, это для забавы. Гармоня такая особая...

— Это бы надо по зимам... Какие на пашне гармотоны!..

— Это мы выясним...

— То-то, обсуждайте с толком,— вставила старуха.

Все залились хохотом, глядя на нее.

— «...Еще нам безотлагательно послать Илью Микитича и Ваню в город; пусть они там поищут людей, которые знают справедливые законы; надо сговориться с ними, получить от них бумаги насчет земли и правов...»

— Это верно! Это так! — в один голос прошептали слушатели.

«...Я и сам бы поехал, да ноги мешают, а, между прочим, они тоже не плохо оборудуют, потому что они народ крепкий, здоровый, бывалый. Когда будет наш верх, первым делом выселить в Роговик Перетканного, черта лысого, барскую подлизалу. Ванюшкина отца — тоже. Он хоть и бедный человек и много маялся, но сволочная голова, ездит день и ночь па парне и ходу ему не дает...»

— Я на это не согласен,— сказал я, глядя на маньчжурца.

— Почему? — удивился он.— Скажешь: родитель у тетя хороший?

— Как и у других.

— Ну, ладно, кончай писанье-то,— сказал Галкин, нахмурившись.

Мужики сидели молча.

— Читай, Петрович,— проговорил шахтер.— По-моему, тоже обижать старого человека не следует.

Я опять продолжал:

— «...Сейчас нам надо больше действовать так: разговаривать с каждым, всех в свою веру подталкивать. Веры, говоря по правде, все мы одной, но много — бараны. Воров из острога — не знаю — не то выпускать, не то не надобно. Должно быть, придется выпустить. Бумагу эту я написал вчера вечером. Как мы уговорились нынче собраться, вечером я и написал ее, чтобы был порядок и чтобы все знали, как я думаю и какие во мне ходят мысли. С подлинным верно, Прохор Сергеев Галкин, обиженный человек и негодная калека...»

Когда присутствующие передохнули и выпили по чашке чая, Галкин неуверенно оглядел всех:

— Ну что, ребятеж, как писанье?

— Очень даже умно! — загалдели все сразу.

— Дотошный ты, Прохор Сергеич!..

— Стало быть, принимаете? — спросил повеселевший маньчжурец.

— Принимаем! Принимаем!

— Завсем?

— Завсем!

Солдат стал обнимать всех по очереди...

— Теперь вы свои слова высказывайте, товарищи,— предложил он.

Наклонившись над блюдечком, он обводил всех светлым, ласковым взглядом.

— Я думаю так: нам надо бросить водку,— поглаживая окладистую русую бороду, первым отозвался Александр Богач.— Это правильно — мир и согласие, у Прохора они в бумаге выставлены важно, но через водку добра не будет.— Он потупился и добавил:— Я сам люблю ее, грешную, ну, а если за такое дело принимаемся, значит, без глупостев. Выходит так, что мы теперь, как братья, а то и лучше...

Лопатин сказал так:

— Про попов ты, Прохор Сергеич, забыл заметить, это обязательно необходимо.

Галкин повинился, что он про них запамятовал.

— Я ведь не хуже твоего не люблю их,— засмеялся он, обращаясь к Илье Микитичу.

Рылов наклонился к Штундисту, шепча ему что-то. Штундист откашлялся, подергал себя за верхнюю губу, где пробивался золотисто-желтый пушок, и сказал, глядя себе под ноги:

— Людей надо в город... Чтобы эти бумаги скорее...

И так по очереди все что-нибудь предлагали.

С жаром обсуждались незначительные мелочи, все подробности новой жизни. Разошлись по домам, когда уже стемнело.

На душе было радостно, и сердце пело по-весеннему.

IX

В субботу на базаре, через несколько дней после собрания, ко мне подошел Илья Микитич.

— Когда, дружок, покатим?

— Хоть завтра,— ответил я.

Илья Микитич пришел рано утром на крещенье. Я сбегал за Галкиным, уговорил мать пойти ради годового праздника в церковь, отец копался на дворе: мы стали

втроем совещаться: что делать, куда ехать, у кого добыть необходимые бумаги. Настоящих людей, которые помогали бы крестьянству, я не знал. Не знал и Лопатин. Живя лет пятнадцать назад в Одессе, он слышал разговоры о бунтовщиках, но по рассказам выходило, что это были господские кобельки, недовольные тем, что царь освободил мужиков от крепости.

— К таким нечестивцам идти — что в воду,— закончил Лопатин свой рассказ. — Пускай они исчахнут!

А Галкин божился, что есть другие люди, не фальшивые, те, что гибнут за черный народ бескорыстно.

— Робятушки, слышите! Да погоди же, ну вас к чертовой матери! Дайте слово сказать! — Он сучил руками, дожидаясь очереди; дождавшись, умильно склонил набок голову, ласково улыбнулся, дивясь нашей бестолковости.— Чудаки-рыбаки! Разве я написал бы в бумаге, что надо искать их? Да повезите меня в Харбин: сейчас десяток откопаю — и из солдат и из докторов!.. Эх, мать, Прасковья лупоглазая! Я все законы читал, книжки, обидно даже, что не верите!..

Прохор нахмурил брови, одно плечо приподнял, ссутулился.

— У меня в ту пору муть была большая в голове, мало соображал — что к чему, а то бы дело у нас веселее шло. Они насчет войны все больше: зачем и в каких видах, а про землю — это, говорят, потом... Потом да потом, по губам долотом!.. Фершелочек один...— Галкин весь расплылся.— Умнеющий мальчонка! Таких, бат, как мы, теперь везде много, в каждом городе... И у нас должны быть, искать надо.

Когда стали перебирать купцов и мещан уездного города, которых знали наперечет, выяснилось одно беспутство и плесень — хуже, чем в деревне.

— Придется ехать в губернию,— сказал Илья Микитич.

— Ежжайте, робятушки, ежжайте,— напутствовал маньчжурец.— Ищите — люди есть!

Чтобы меньше было в деревне разговоров, мы на станцию пошли пешком.

— Говори: идем в земство,— учил Лопатин,— ты за прививками, а я — насчет пчелы.

В город приехали вечером. Шум, гам, свистки, сотни суетящихся людей закружили голову: стоим на платформе, выпучив глаза, и спрашиваем друг друга: куда теперь?

— Проваливай, не разевай рот! — кричит жандарм.— Расставились, Ахремки!..

— Видишь азията? — шепчет мне Илья Микитич.— Вон он, вынырнул! Пойдем от греха к сторонке.

Глаза у Лопатина блестят, он суетлив; говоря мне что-нибудь, наклоняется к самому уху и кричит.

— Землячок, где тут хорошие люди живут? — хватает он за руку первого попавшегося артельщика.

Тот осмотрел нас с ног до головы, оправил белый фартук, засмеялся.

— Хороших людей в городе много... Вам по какому случаю?

— Да как тебе сказать, не ошибиться, милый,— лебезит перед ним Илья Микитич,— случаев у нас хоть отбавляй!.. Насчет земли, правов... Почти, можно сказать, от общества, а толков не знаем.

— Тогда к адвокату: это по его части,— сказал артельщик.— Вот этой улицей. Присяжный поверенный Горшков...

Уже огни зажгли в фонарях, когда нам указали квартиру. Разряженная горничная отворила тяжелые двери; мельком взглянув на нас, презрительно бросила:

— Не принимаем. Приходите завтра утром.

— Вот погляди на шмарвозину,— обиделся Илья Микитич.— Отец в деревне лаптем щи хлебает, а она уж вон как — через верхнюю губу плюет!

Переночевав на постоялом, с шести часов утра мы дежурили у квартиры. Часов в одиннацдать, наконец, впустили.

Лопатин подробно рассказал адвокату дело, передал список людей, состоящих в группе, сказал, что дело мы затеяли не с жиру, а потому, что дохнуть нечем, попросил у него бумаги, предупредив что фальшивые — те, что пишутся господскими детьми,— нам не нужны: от них вред, паутина, и его господь накажет за обман.

Краснощекий, средних лет, хорошо выбритый, в свежей глаженной рубашке, адвокат сначала слушал нас серьезно, поджав губы, время от времени вставляя:

— Ну, дальше!.. Ну, дальше!..

Потом глаза его подернулись пленкой, заиграли, запрыгали, адвокат стал тужиться, багроветь, еще один момент, и он расхохотался нам в лицо — весело, звонко, с раскатцем, как молодой жеребенок. Смеялся долго, с кашлем, теребил русую бороду, сквозь слезы смотрел на нас

прищуренными глазами, пил воду из графина со стеклянной пробкой.

Отдышавшись, устало вымолвил:

— Поезжайте домой... Сейчас же!..

Провожая из комнаты, опять прыскал:

— Надумают же! Ну и потешные!.. Ведь за это — тюрьма!..

— Кому потеха, а кому слезы,— ответил Лопатин.— А тюрьмой нас не пугайте.

— Видно, не тот? — обратился он ко мне на улице.— Чего он смеялся, глупый человек?

Подошли к разносчику-мальчугану.

— Есть, паренек, какие-нибудь адвокаты в вашем городе?

— Ого, этих чертей сколько угодно! — он назвал нам двух, указав квартиры.

Но толку и там не добились. Один — с обрюзглым, усталым лицом — перебил нас в самом начале, заявив, что такими делами не занимается.

— Почему же, ведь это дело божье? — промолвил Илья Микитич.

Адвокат «пожалуйста» просил не отнимать у него времени.

— Проводи их,— сказал он горничной.— Надо смотреть, кого пускаешь.

Девушка сказала:

— Выходите. Через разных вас щуняют, черт вас носит, бестолковых!

Второй — длиннолицый, с кадыком — выслушал нас внимательно.

— Гм... Д-да... Знамение времени... Встает несчастная Русь... копошится... Знамение времени...

Жмет нам крепко руки. Холодные бескровные пальцы его дрожат. А мы с восторгом глядим на его обсосанную фигурку и радуемся сердцем: кажется, это и есть нужный нам человек!.. Кажется, он, миляга!..

Кончили. Передохнули. Говорили вперебой, торопливо, боясь забыть чего-либо, перепутать. Лопатин вытирает пот с раскрасневшегося, взволнованного лица, глаза его любовно светятся, правду говорит Прохор: есть честные люди на свете.

Ждем, что он скажет.

— Хорошее дело затеяли, друзья!.. Помогай вам бог!..

Смотрит на нас туманными глазами, щиплет рыжие

клочки бороды, поправляет на столе хрустальную чернильницу, конверты, кожаный портфель с металлическими наугольниками.

— Хор-рошее! Святое дело!.. Долго терпели... Но всему есть предел. Радостно то, что вы сами додумались: это — залог успеха!..

— Это Галкин у нас старается. Без него не додумались бы,— поясняю я.

— Все равно, голубчик, все равно. От всего сердца хочется помочь вам... вложить свою лепту в великое дело...

Говорил долго, запутанно, а мы давно уже потеряли нить его речи: стоим истуканами, ничего не понимая, чувствуем лишь, что человек врет, хочет показаться благодетелем, а не лежит у него сердце к народному делу... Ошиблись!..

Взяли шапки, прощаемся.

— Помогай вам бог, друзья мои! От всей души желаю.

Тащит за рукав на кухню.

— Может быть, хотите кушать?

— Нет, спасибо, господин, на ласке: мы сыты.

День пропал. По тротуарам бродит разряженная толпа, шумит, смеется.

По камням мостовой щелкают подковами разгоряченные лошади. В санях сидят богато одетые женщины, офицеры, дети, похожие на кукол. Гудит трамвай, вспыхивает синим пламенем электричество, невиданною роскошью блестят большие окна магазинов.

Пришли на постоялый, заплатили по пятаку за ночлег, поели хлеба с водой, легли на нарах. Как голодные собаки, тело облепили клопы. В комнате душно, сыро, пахнет прелыми тряпками, отхожим...

Петухи поют. За дощатой перегородкой кто-то шаркает босыми ногами, с присвистом сморкается. Кто-то во сне стонет. Рядом кряхтит и ворочается Лопатин.

— Петрович, дремлешь?

— Нет, Микитич, не могу.

— Я тоже, друг... Куда же нам завтра? А?

Я предлагаю:

— Пойдем искать студентов.

— Студентов?

— Да. От них, может, чего узнаем.

— А это, например, какой же такой народ?

— Студенты? Не могу хорошо растолковать тебе, только я с одним жил в дружбе... Расспрашивал, бывало,

как живем, советовал больше читать, учиться; нас, мужиков, называл великой черноземной силой.

— Черноземной силой, говоришь? — Илья Микитич протягивает в темноте руки и натыкается на мой подбородок.— Очень правильно, Петрович, сказано... очень правильно!..— Тихо шепчет:— Великая земельная сила... Что ж, пойдем к студентам. Где найти-то их?

Утром в трактире к нам подошел полупьяный старичишка, щипаный, мозглявый, верткий, с красненьким воробьиным носом.

— Дальние, ребятушки?

Лопатин улыбнулся.

— Не так, чтобы... Из-под Осташкова.

Старик мотает головой: делает вид, что хорошо знает и Осташково и мужиков.

— От мира насчет земли?

— Почти так.

— Дело! Без земли мужику — как без рук. Вам прошение надо написать на высочайшее имя.

Подергиваясь, прихрамывая, торопливо сморкаясь в тряпицу, садится за наш стол, с торжественным видом рассказывает о том, какое трудное дело — толково написать прошение в столицу, объясняет, как оно пишется, какой от этого бывает толк.

— По адвокатам не ходите: там не любят черный народ, особливо, если карман тонок...

— Вот видишь,— перебивает старика Илья Микитич, обращаясь ко мне: — «По аблакатам не ходите», а нас вихрем к ним понесло!..

— Совсем ни к чему! Только зря обувь бить! — уверенно подтверждает старик.— Пишите прямо его величеству: прочитает бумагу, сядет на трон и рассудит, что и как, потом сделает распоряжение: верных моих крестьян таких-то, волости-губернии такой-то разобрать в земельной тяжбе справедливо, решенье прислать мне в собственные руки, быть по сему, государь император, царь всероссийский и польский. Тогда крутиться некуда; хошь не хошь — распоряжение государя императора уважь.

Старик в увлечении хлопнул даже кулаком по столу.

— Ты как, Петрович, может, в самом деле написать? — смотрит на меня Лопатин.

— Давай писать. Взялись за дело, надо по форме.

Половой принес бумаги, чернил. Усевшись по обеим сторонам старика, мы несколько часов подряд диктовали

ему свои жалобы: «Вот это, вот это, вот это... Описывай всю жизнь нашу... какая горькая жизнь в деревне».

Лист пришел к концу, старик стал сердиться, не рад, что связался с нами, а мы ему все зудим-зудим, как будто нет краю мужицким болям.

На втором листе писарь попросил дать передышку. Велели мальчику принести шкалик водки. Выпивая маленькими глотками водку, старик задумался, низко склонил к столу седую бесприютную голову.

— Я уж и от себя что-нибудь прибавлю,— проговорил он.— Ведь не в одной деревне людям плохо... Я вот жизнь прожил, а не видал радости...

— Пиши, деда, пиши и ты,— прошептал Лопатин.

X

Неудачи облепили нас, как паршь голодную собаку. Над нами смеялись, грозили полицией, с бранью выгоняли из квартир, вздыхали, многозначительно переглядывались, а мы, как шальные, ходили из улицы в улицу, из двора во двор: искали студентов. Взятые из дома деньги вышли, хлеб ели не досыта, отравой въедалось в душу сомнение: нам ли за это дело браться?..

Я стал неразговорчив, по малейшему поводу трясся и сучил кулаками, ночи напролет не спал,— измучил Лопатина.

На шестой день странствований, вечером, по пути на вокзал, где мы устроились с бесплатной ночевкой, на перекрестке двух улиц мы встретили Осипа Поддевкина. Поддевкин шел по улице, часто нагибался к мостовой, будто отыскивая окурки, а на самом деле сгребал конский навоз и, крадучись, бросал его в почтовые ящики.

— Это ты что же выдумал? — спросил я, разглядев его занятие.— Тебе за это башку проломят!

Он прищурил маленькие белобровые глаза, ехидно кривя рот.

— Я вот сейчас с Марьевского моста швырнул в прорубь собачонку купчихи Усовой, за это тоже башку проломят?

Плоскогрудый, со втянутыми грязношафранными щеками, поросшими колючей щетиной, большеголовый, он широко расставил свои кривые ноги в стоптанных галошах, откинул на крестцы полы желтенького ватного пиджака, подперся руками в бедра.

— Я, может, нынче архиерею дерзил, ну? — Поддевкин оттопырил сковородником губы.— Вы знаете, кто есть Осип Аверьянович Поддевкин? Что? Я, может, с Николай Иванычем — студентом — печатал все дни запрещенные листки!

— Про что, милачок, про что ты? — подпрыгнул, хватая его за руку, Илья Микитич.— Про какого ты Миколая Иваныча? Где он?

— Цыц! — крикнул на него Поддевкин.— Нишкни. Это дело запрещенное!

Он петухом налетел на Илью Микитича — нос к носу; как крылья, расставил красные руки.

— Может быть, вы переряженные крючки, чего у меня выпытываете? Не вижу по харям?

Осип запахнул пиджак, оправил барашковую шапку, круто обернулся к нам спиной.

— Идите своей дорогой, а я своей.

— Этого оставить нельзя! — испуганно завопил Илья Микитич, хватая Поддевкина опять за руку.— Расскажи, пожалуйста, кто это Миколай Иваныч! Мы тебя без этого не отпустим!

Осип Аверьянович вспылил.

— Ну, студент! Ну, подметные письма печатал!..— вытянув шею, задергал он подбородком; как челнок — вверх и вниз заходил его острый, искусанный блохами кадык.— Ну, не признает начальства!

— Где он, Ося? Где? — тормошил Поддевкина задыхающийся Лопатин.— Эко, господи!.. Насилушку наткнулись!.. Где он, голубеночек?..

— Вы, видно, тоже из таких? — равнодушно спросил Поддевкин, глядя куда-то поверх наших голов.

— Из их же! Из их же! — воскрикнул Лопатин.— Говори скорей, где Миколай Иваныч? Другу́ неделю его ищем...

— Посадили его онамедни в каменный мешок,— с удовольствием ответил Осип.— К тройному расстрелу поведут... Ну?

— Постой, не ври, это ты следы заметаешь! — завизжал Лопатин.— Коли намекнул, досказывай, а то у нас с тобой драка будет... я человек горячий!..

Илья Микитич уже тряс Поддевкина за «жабры».

Мимо проехал водовоз.

— Будошника-то сзади разве не видите? — спросил он, вытираясь полою полушубка.— Он вас сейчас помирит.

— Николай Иваныча теперь не достанете,— сказал Осип, когда мы спрятались от будочника за угол.— Был, да сплыл... А если вам надо таких, ищите по ночлежкам — там всякий народ водится... Это неправда, что я был в одной компании с ним.— Поддевкин усмехнулся.— Не взяли они меня через характер: по пьяной лавочке я хуже свиньи...

Помолчав, он глубоко надвинул на лоб шапку, опустил красивейшие девичьи ресницы, так не подходившие к его цыганскому лицу, махнул рукой.

— Уходите-ка, друзья, от меня к черту, да право!.. Вы, может, в самом деле переодетые крючки!..

Заложив руки в карманы, не попрощавшись, широко зашагал, хрустя снегом, по пустынным улицам пригорода.

Большая станционная зала, где мы с Лопатиным устроились, прокопченная гарью, с удушливым запахом пота и дыма, с паутиной по карнизу и высоко подвешенными газовыми рожками, была битком набита народом. Ехали в отпуск солдаты, мужики-белорусы в Сибирь, мастеровщина, шахтеры. Все это беспорядочными, скверно-пахнущими серыми кучами разбросалось на заплеванном асфальтовом полу, покрытом мусором, окурками, лоскутками бумаги, обсосанными селедочными головками, галдело, плакало, молилось, со свистом и хрипом кашляло, не в меру громко гоготало. Как пастух среди овец, меж узлов, постелей, сундуков, корзин, спящих детей и женщин, мирно беседующих групп ходил русый красавец жандарм в белых перчатках.

Закусив, мы выбрали себе место в углу; приглядевшись к соседям, начали совещаться о том, что делать завтра, куда пойти, кого спросить. Встреча с Осипом, его рассказ про Николая Ивановича, даже не самый рассказ, а его последние слова, что студент не один, что в городе есть еще люди, подобные ему, окрылил нас, раздул слабую искорку веры в живой огонек. Ласково поглаживая меня по плечу, Илья Микитич, наклонившись, шептал:

— Ничего, Петрович, не дается без труда... Другой раз дуешься, дуешься, того гляди — пупок лопнет!..

— Он вот говорил: по ночлежкам надо искать... Там будто бы того... Мы завтра туда?

— Видишь ли...

В это время лежавший сзади человек в вылинявшем картузе и бобриковом пальтишке, из-под которого видне-

лась серая сарпинковая рубаха с тесемками вместо пуговиц, с виду лет двадцати семи, потрогал его за руку.

— Товарищ, у вас нет ли спички?

— Я не курю,— сухо ответил Илья Микитич.

Человек поднялся и попросил спичку у солдата.

— Товарищем меня обозвал,— подмигнул Лопатин.— Спасибо, денег с собой нет, а то, по-товарищески-то, обчистил бы, лахарь!..

Илья Микитич знал, что я курю и что у меня вышел табак. Помявшись, взглянул украдкой несколько раз на соседа, не вытерпел:

— У вас, извините, нет ли лишней штучки для Петровича?

Он кивнул на папироску, потом на меня.

— Добились мы с ним, даже на табачишко не уберегли...

— Есть,— с готовностью ответил тот.— Пожалуйста.

Разговорились. Видим: парень сметливый, балагур, с головой. Рассказал нам, что из Питера, слесарь, ждет пересадки пятый час, зовут Платон Матвеич. Блестя темными выпуклыми глазами, неожиданно спросил Лопатина:

— Почему вы засмеялись, когда я вас назвал товарищем?

Илья Микитич неловко завозился на своей сибирке, стал отнекиваться.

— Нет, в самом деле почему? — напирал Платон.

Тогда Лопатин сказал:

— Чудным мне это показалось: видимся в первый раз, а вы на меня — товарищ!.. Какой же, думаю, я товарищ?..

Незнакомец засмеялся.

— Первейшие товарищи! — воскликнул он.— Оба голодны, спим на полу, в грязи, обоих могут выгнать отсюда, а почнем артачиться — накладут в загривок. Чем не товарищи?

— Это верно, браток,— привскочил Илья Микитич.— Слова твои, если хочешь знать правду,— золото!.. Житья нам нет путного!..

Чем дальше говорил наш новый собеседник, тем увлекательнее. Пропало к нему недоверие. Пошептавшись, мы сказали:

— Обожди-ка, слушай: ложись к нам в середку и рассказывай, будет сподручнее. Не ровен час, какая-нибудь собака подслушает...

— Не из одной ли он компании с Николаем Иванычем, поласковее будь,— предупредил я Лопатина.

Слесарь перелег к нам в середину и стал говорить о жизни на заводах, но мы перебили:

— Это мы, друг, знаем: сами хватили горячего до слез!.. Расскажи, что делать?..

И мы передали ему свои похождения.

— Так, ребята, нельзя! — со смехом воскликнул рабочий.— Вы могли весь коленкор испортить... В ночлежки! Зачем вас идол понесет в ночлежки?.. К адвокатам на какой-то рожон шлялись!..

— Как же, Платонушка, быть-то?

— А вот надо сообразить: дело не шуточное... Взяли список товарищей-то от адвоката? Нет?.. Ведь вас же слопают! Надо секретно!.. Эх вы, гуси-лебеди!.. Надо обмозговать...

Утром он свел нас в трактир, напоил чаем и посоветовал ехать домой.

— Недели через две получите письмо: приезжайте, дескать, лыки покупать. На вокзале вас встретит человек в поддевке, спросит: «Вы откуда?» Скажите: «Осташковские, знакомые Платона». Будьте с синими платками под шеей. Дальше все само собою оборудуется.

Достав кошелек, слесарь подал три рубля денег на дорогу.

— Как же так? — растерялся Илья Микитич.— Небось последние?

— Последние не отдал бы,— сказал он.

Илья Микитич повертел в руках кредитку, поглядел на меня: как ты, дескать, Иван, думаешь? Сложив ее вчетверо, осторожно положил на стол.

— Оторопь берет, Платонушка! Может быть, ты жулик?

Рабочий нахмурился, искоса поглядел на Лопатина.

— Не глупи,— просто сказал он.— Язык крепче держите за зубами, занимайтесь делом, деньги — чепуха!

Шагая рядом с вагоном, Платон Матвеич уже ласково улыбался нам.

— Счастливой дороги!

XI

Галкин встретил нас сурово.

— Вы чего-то, робятушки, долго прохлаждались — али неудача?

— Не совсем,— сказал Илья Микитич, подмаргивая мне.— Собери товарищей: доклад скажем.

Когда мы сообщили о всех злоключениях и подошли к истории с Платоном Матвеичем, шахтер не вытерпел:

— У нас тут без вас тоже случай вышел...

— А ты слушай похождения! — закричали на него.— Об этом после!

— Боюсь, кабы не забыть.

— Да не тебе, что ли, говорят? Вот балда! Успеешь!

— Колоухий, ты мне тогда напомни!

— Петра-а...

Рассказ о петербургских январских событиях, переданный со слов рабочего, произвел на слушателей потрясающее впечатление. Галкин, мать и Настя плакали, а остальные сидели убитыми.

— Бросьте, милые, булгатиться,— запричитала старуха,— кабы и вам эдак не всыпали...

— Типун ти на язык! — цыкнул Прохор. Возбужденный, с красными глазами, он крикнул нам: — Надо сейчас же чего-нибудь с урядником сделать. Так нельзя оставить.

— Делать с ним ничего не надо,— сказал Колоухий,— толку от урядниковой смерти, как от клопа смеху... Окромя всего прочего, он нам никакого зла не принес...

— Понимаешь ты, чертово отродье! — налетел на него Петя.

— Да уймись же, Петра, что ты всем глаза царапаешь! — схватил его за руку Богач.— Остынь...

Дольше всех возились с маньчжурцем: он лотошил, горячился, сыпал, как горохом, бранными словами, но и его кое-как успокоили.

— Душа у меня не терпит... в ее все равно отравы влили...

Неожиданно всех удивила Настя.

— Храбрец,— обратилась она к брату,— вы теперь и так на примете: Ваня, ты и этот вот — разновер-то.— Она указала на Лопатина.

— Ну, и что ж из этого?

— А то, что случись какая беда, на вас первых ткнут пальцем. Кто же дальше будет стараться?

— Свои же и продадут. Это она правильно!

Вся пунцовая от смущения, от непривычки говорить равным голосом с мужчинами, от волновавших ее мыслей, девушка глядела своими добрыми серыми глазами в лицо Прохора, склонив русую голову набок.

— Кто-нибудь найдется! — буркнул маньчжурец.— Свет не без добрых людей...

— А ты мне укажи! — настаивала Настя.

— Штундист может! Можешь, Паша?

— Не знаю... Если больше никого не найдется, могу,— выдергивая из полы шерсть, низко склонившись к лавке, отозвался тот.

— И народ собирать, и слова им говорить, и бумаги искать в городе...

— Нет, я вон — про что Прохор...— тихонько вымолвил он.— Урядника если.

— Ему про Фому, а он про малиновый куст! — досадливо махнула девушка рукой. — Ты, шахтер, можешь?

— Я? Я все могу! — ответил Петя.

— Ой ли?..

— Все... У меня сердце от безделья лопается, а вы — тары-бары, четыре пары... Слов хоть отбавляй, а дела ни на собачью слезу... Попов насобирали... в библии глядят...

— Кто же еще есть? — спрашивала Настя брата.— Рылов — молодое бя, сам не согласится в чужой пехтерь лезти, дядя Александр Богач — малограмотен, у Колоухова — семейство, мое, бабье дело — тоже сторона... Кто еще?

— Ну, ну, вали!..— пристально вглядываясь, будто в первый раз различая ее настоящее лицо, одобрительно шептали мужики.

— Вот вам и ну! Сами знаете, что надо, мне вас не учить...

Словно опомнившись, или проснувшись от сладкого сна, или испугавшись своей смелости, Настя еще больше зарделась и оборвала речь.

— Хоть бы ты не лезла, мокрохвостая! — опять заскулила старуха.— Прешь дуром не знам куды!.. Чего-ка тебе, робенку, надоть?..

— Мать,— сказал ей Прохор,— чужого человека я оконфузил бы до смерти, убей меня бог!.. Чего ты, зуда, зудишь? Чего тебе не сидится смирно?.. Мать, уйди от греха в чулан...

Губы у него затряслись. Старуха, наклонившись под шесток, начала заботливо сгребать золу в старое ведро.

— Какой вострый,— через значительный промежуток времени стала набирать она себе под нос: — «Мать, поди в чулан»... На холод-то!.. Сидит-сидит, да и выдумат, чего не след... «Поди-ка в чулан...» Что ли, сейчас троица?..

Настины и наши доводы были основательными, возразить Галкину было нечего. Побарабанив пальцами по лавке, поглядев в промерзлое окно на улицу, ни с того ни с сего набросился на нас с Ильей Микитичем.

— Почему вы, идолы, не прихватили с собой Платона Матвеича? У меня с ним должен быть сурьезный разговор по этому случаю. Почему он к нам не приехал?.. Деньги у человека брать руки не отвалились, а к себе позвать — язык отвалился?..

— Погоди-ка, парень, у нас адрец его есть,— нашелся Илья Микитич.

— Есть? — обрадовался Прохор.— Ну, и то хоть хорошо! Я ему нынче же напишу большое письмо, чтобы ехал в гости... Кстати, вас отругаю за ротозейство...

Илья Микитич обратился к шахтеру:

— Про какую ты новость обмолвился, Петрушка?

Шахтер, осклабившись, ответил:

— У нас тут пилатовская баба на днях черта родила... А-а, будь она трижды проклята, собака!

— Чего ты городишь, пустомеля? — рассердился Лопатин.

— Ну, ей же богу! Весь в шерсти, как стерва, а голова человечья: уши, ноздри, голубые глаза...

Мы в недоумении переглядываемся, остальные ржут. У Рылова даже выступили слезы на глазах.

— Слова его, робята, верны,— поддержал Богач шахтера.— Поп крестить не хочет чудину: «Ты, бат, видно, с лешим спуталась на старости, негодная блудница?..» Баба крестится на всех богов, что от мужа, а он: «Леший — тебе муж, волчья отрава!..»

XII

На Парфена и Луку было получено письмо из города, на Федора Стратилата мы с Микитичем ездили туда, а три-четыре дня спустя по всему Осташкову читали листки.

В городе нас встретили очень приветливо, особенно стриженная по-солдатски барышня: не знает, на какое место посадить, надоела даже. Вместе с нею жили два человека: один из них, одетый в поддевку, продавал нам на вокзале лыки.

Когда мы рассказывали, с чего и как зародился в нашей деревне кружок, молодые люди ласково улыбались,

барышня прыгала на стуле, громко хлопая в ладоши, Прохору велела передать поклон.

— Интересно бы повидать его!..

Потом нас посадили вместе с собою обедать — каждому в особой посуде, потом — чай пить и все уговаривали:

— А вы кушайте, пожалуйста... Не стесняйтесь!..

Зашла речь о подложных бумагах. Над ними посмеялись.

— Вы кто же будете — студенты? — спросил я у барышни.

— Это ты, Петрович, к делу,— просиял Лопатин.— Об этом надо узнать в первую голову!

— Нет, я не студентка,— ответила барышня,— я уроки даю, а они вот,— она указала на молодых людей,— студенты.

Илья Микитич впился в нее глазами.

— Это верно?

Барышня рассмеялась.

— Почему же нет?

— Нам надобно студентов,— опустив глаза, сказал Лопатин.— Петрович вот говорит, что в городах только студенты до нас жалостливы, а остальные — хоть бы пропали, и то не беда... Если, к слову, вы не студенты, мы искать обязаны. Говорите по совести, чтобы как перед богом...

Он покраснел, смутился.

— Бог é знает... По лицу вы — хорошие, а, между прочим, в чужую душу не залезешь...

— Честное слово, студенты! — воскликнула барышня.

— Студенты, студенты! Товарищ говорит правду,— подошел к нему один из молодых людей, тот, что нас встретил.— Эх, вы, Фома неверующий!.. Хотите спросить у хозяйки?

— Что вы! Бож-же сохрани!.. Ни за какие тыщи!..— испугался Лопатин.— Я вам верю!.. Я — чтоб крепче было!.. Простите меня.

Когда дело уладилось, я спросил:

— Расскажите, пожалуйста, что за фальшивые бумаги ходят по народу?

— Таких бумаг нет,— сказал мне второй парень, постарше. Он все время молчал, приглядываясь к нам через очки.— Это выдумка.

— Чья?

— Н-не знаю... Может быть, сами же мужики выдумали.

Поднявшись с постели, на которой он сидел, парень вышел из комнаты.

— Сурьезный,— подмигнул Лопатин.

— Да, фальшивых бумаг нет,— подхватила барышня,— есть дурные газеты...

— Газеты нам ни к чему... Газет мы можем у мальчишек накупить... Нам надобны бумаги...

Очкастый — Дмитрий, войдя в комнату, подал нам два продолговатых листика, говоря:

— Вот прочитайте: сами увидите..

Усевшись в углу в другой комнате, мы просмотрели с Ильей Микитичем данные бумаги. С первых же строк у нас захватило дух от смелых слов. Каждому хотелось первому прочесть листки, мы вырывали их друг у друга; Лопатин разгорелся, ноздри у него раздувались, как у лошади, стал заикаться, трясти козлиной бородой...

Выйдя к студентам, мы сказали:

— Фитки — настоящие... Спасибо, дай вам, господи, здоровья!..

Илья Микитич обхватил барышню за голову, целуя ее в стриженую макушку, лезет целоваться к студентам. Те целуются, не брезгуют.

— Давайте таких бумаг много! — заявил Лопатин.— На всю губернию!..

— Есть еще лучше,— ответила барышня.— Вам, товарищ, понравились? — обратилась она ко мне.

— Да,— смущенно сказал я.

Награждая нас листками, она предупредила, что, если мы попадемся с ними полиции, нас посадят в тюрьму, будут судить, хлопот не оберешься. О тройном расстреле, про который говорил нам Осип, умолчала.

— Не боитесь?

— Боимся, барышня, как не боимся! Один черт тюрьме рад... Что же делать?.. Будем действовать насколько осторожно...

Парни научили прятать листки под рубашкой — на голом теле.

— Если будет надобность, снова приезжайте.

Илья Микитич, усмехаясь, говорил им:

— Теперь будем вас сильно тревожить. Рады не рады, а не открутитесь. Будьте здоровехоньки, соколики!..

— Что-о? — опять тревожно встретил Галкин.—И нынче один адрец привезли?

Микитич перебил:

— Пошто человека вводишь в грусть?

Попросив Настюшку отвернуться, мы вытащили целый ворох листков и книжек.

— Беги за народом! — завопил Галкин, увидя связки.— Собирай всех подряд: Колоухого, Лексана Богача, еще собирай Петю-шахтера, Рылова... Бумаги, мол, получены...

— А не лучше сначала самим разобрать? — предложил я.— Узнаем, что привезли, тогда соберем. Времени хватит.

— Лучше,— сказала Настя.

Даже старуха вставила слово:

— Чего ты, шустрый, сразу! Надо толком... Потише-то будто пригляднее выйдет.

Подойдя к столу, она стала щупать корявыми пальцами тоненькие книжечки в цветных обложках, открывала их, внимательно разглядывая, крутила седой головой в замызганном повойнике.

— Вы, робятушки, не бросайте, которые негодные, отдайте мне стены облепить.

Мы покатились со смеху.

Вчетвером — Лопатин, Прохор, Настя, я — мы читали без перерыва весь вечер и всю ночь. Галкин, слушая, выл, стучал по лавке костылями, приговаривал:

— Все — истинная правда!.. Все, как в аптеке!..

Настюня слушала молча, а Лопатин счастливо улыбался, изредка вставляя:

— Вот утэти вот слова похожи на Исаю: «Народ мой...» Хороший, видать, составитель, дай ему, господи, здоровья!.. А утэто вот — будто Амос-пророк писал: «Слушайте, вы!.. Придут и на вас дни!..»

Старуха сначала тоже прислушивалась, вздыхала, хлипала, потом отошла к печке, прикурнула на шестке и захрапела, разинув рот.

— Что ж ты, мать, уснула? — обидчиво окликнул ее Прохор.

— А?.. А?.. Что ты, сынок?..

— Уснула, мол, чего? Разве можно от таких слов спать?

— Умаялась я за день, миленький... Спину ломит.

Солдат с досадою махнул рукой.

— Прямо до ужасти удивительно! — с искренним изумлением воскликнул он, указывая на старуху. — Считается: люди, а? Ну, что тут скажешь?

Он посидел, помолчал, задумался. Встрепенувшись, опять сердито посмотрел на шесток:

— Мать, да встань же, ради создателя, чего ты меня из себя выводишь?.. Ма-ать!.. Слушай!.. Это я не тебе говорю?.. А?.. Ну, крест господний, велю стащить за ноги!.. Ну, крест господний! Мать, да неужто мне с тобой баталиться?..

— Ах ты, бож-же милостивый,— заохала старуха.— Что ты от меня желаешь?.. Пристал и пристал недуром!.. Ну, что тебе?.. Глядеться в меня?..

— Садись к столу слушать писание.

— Да оно мне не надобно, твое писание!.. Разве я смыслю?

— Сиди смирно, слушай.

Жмурясь от света, старуха покорно села на лавку. Склонив на руки голову, таращила некоторое время больные, выплаканные глаза и снова уснула сидя.

Настя увела ее, как маленькую, на лежанку, прикрыла дерюгой, под голову бросила подушку.

Занималась заря. Пропели третьи петухи. Стала трещать и меркнуть выгоревшая лампа. Посерели, осунулись лица...

XIII

На второй день было собрание. Внимательно выслушав наше донесение о второй поездке, мужики пожелали посмотреть привезенное добро своими глазами.

Как и старуха, сперва ощупали книжечки, перелистали, осмотрели обложки и заглавия, подивились красным печатям:

— Все в порядке... печати... полная форма!..

Три дня читали. Малограмотные и которые совсем не умели читать приходили ко мне с Галкиным, другие разбирались сами.

Шахтер рычал, читая книжки, выгнал всех домашних из избы, побил ни за что мокро-выселскую дурочку нищую Наталью Ивановну Рассохину, в мелкие клочки изорвал на себе новую сатиновую рубаху. В тот же вечер повалил у попа ограду, в колодец бросил дохлую собаку.

Вздумал я прочитать листик отцу. Он внимательно выслушал, в упор поглядел мне в глаза.

— Что ж ты молчишь? — спросил я.— Скажешь: тут неправда?

— Н-не знаю. Есть еще?

— Есть.

— Прочитай.

Я прочитал ему еще несколько листков.

— Ну, как?

Отец задумался, нахмурив брови.

— Где ты их берешь?

— Это тебе все равно! Говори: верно написано?

— Глупости,— сказал он,— какой-нибудь дурак писал.

— Что ты сказал? — вскричал я.— Вырази еще раз!

Отец с удивлением обернулся.

— Такой же, мол, дурак, как ты, писал!.. За это можно пострадать, понял, откуда звон?.. Советую, брось... С жиру им, сволочам, нечего делать, вот и строят чертову склыку! — с бешенством крикнул он, хлопая дверью.

Поздно вечером, отложив и спрятав то, что нам самим было надобно, мы разбросали прокламации и книжки по деревням. Клали на крыльца, завалинки, просовывали через трещины в сени, прилепляли жеваным хлебом на заборах, воротах, перекрестных столбах, церковной паперти, на дверях волостного правления. Одну Рылов ухитрился приладить уряднику на окно. Утром ждали с нетерпением, что будет.

Большинство мужиков, прочитав прокламации, сейчас же жгли их, некоторые отнесли в волость, более услужливые — уряднику, который, никогда не видев прокламаций и не зная вообще об их существовании, принимал листки неохотно.

— На кой они мне черт? Мне бы узнать, какой сукин сын у меня окошко выдавил... Я бы ему показал Москву с колоколами!

К обеду по деревне пошли слухи, что в Осташково приехали «стюденты» с подметными письмами: будут наводить новые порядки. Первым делом расстригут попа, а на его место поставят своего, потом перепись: у кого сколько скотины, хлеба. Лишнее заберут, а что надо — оставят на пропитание.

— Сообрази-ка: восемь сотен! — таинственно шептала мне соседка, прибежавшая к нам поделиться новостью. — Во-семь сотен!.. Этакая махина!..

— Неужто, Аксинья, восемь сотен? — с ужасом спрашивал я.

— Восемь со-тен!.. Прям, как стадо ходят, ажно жутко!

— Где же они живут?

— А я уж и сама не знаю, — разводила она руками, — по овинам, поди, в ометах, в старых ригах...

Слухи о студентах испугали урядника. Захватив листки, он поскакал в город и возвратился оттуда с приставом. В Осташкове начался переполох. По улице забегали простоволосые бабы, завизжали дети, старухи забивались в погреба. Человек двенадцать потащили на допрос. Они отвечали, что «письма» подбрасывают студенты.

— Какие студенты?

— Бог их знает, трудно углядеть: все до одного оборотни!

Наш успех был невелик, но мы все-таки были довольны и тем, что люди заговорили. Сойдутся ли, бывало, у колодца, или на крыльце где-нибудь, сторожко оглянутся, спросят о скотине, цене на хлеб, еще о чем-нибудь, потопчутся и таинственно зашепчут:

— Читал?

— Чего?

— А «это»?

— Как же, в одну заваляшенькую поглядел.

Начнут рассуждать: отчего, почему?..

Трофим Бычок, мужик с похабным прозвищем, прочитавший несколько раз библию, пустил было слух, что в городе Вязьме, — а какой это губернии, он не знал, — родился от блудливой девки Макриды антихрист, который «почал орудовать». Но оттого, что он не мог сказать, какой Вязьма губернии, ему не поверили и к похабному прозвищу приклепали новое: «Блудливая ведомость».

Когда волнение улеглось и становой уехал, мы повторили посев.

— Ого! — говорили на следующий день. — «Они», змеи, настойчивы! Чево-ка нынче накакрячили?..

— В Захаровке-то тоже! — кричал, стоя средь улицы, дядя Левон Кила-с-горшок, бывший сотский. — Сейчас зять у меня был: словно, бат, их черт ломает — по всей улице метелью!.. Народ-то, бат, аж диву дался!.. Бросили работы!..

— Ведь не в одной Захаровке, — отвечал ему с гумна Прокоп Ленивцев, — по всей округе прет!

— Что, робятушки, ангили с небушка сеять золотом на наши деревянные головы!.. — кричал во все горло Прохор, выползши на середину дороги, — Что за слова, убей меня бог, ентаревые!.. И ни на макову росинку хвальши!.. Читайте, православные, набирайтесь ума-разума!..

В полдень его вызвал урядник: он теперь уже уразумел, что за листки летают по Осташкову.

— Ты это чего надумал, хромой дьявол?

— Про что вы рассуждаете, Данил Акимыч?

— Говорят: ты письма разбрасываешь!

Прохор, насколько мог, вылупил глаза, притворившись овцой.

— Данил Акимыч, ягодка, скажите мне, Христа ради, кто это мутит: я пойду ему в бесстыжие бельма наплюю!.. Не таите, сделайте милость!..

— Не могу сказать, лучше не спрашивай, — крутил головой урядник: — «Читай, православные!» Раз заставляешь читать, ты и подбросил... А за это — Сибирь!..

Тогда Галкин показал на костыли, печально говоря:

— Я ведь, Данил Акимыч, без ног: мне несподручно...

Урядник поглядел на его ноги, потер лоб, всполошился:

— Это ты верно!.. Без ног ты не можешь по всей волости!.. Это какая-нибудь стерва другая!..

— И потом, глядите, Данил Акимыч, — поддакивал маньчжурец, — «оно» ведь день ото дня все больше, тут не один, а шайка... — Спохватившись, куда он прет, до пота испугавшись этого, Галкин повернул оглобли. — Причем я ведь, Данила Акимыч, не какой-нибудь: я — Егорьевский, на сражениях участвовал, дважды принимал присягу... Чудаки вы!

— Ну, скакай домой, что уж там язык ломать, — махнул рукой урядник. — Черт бы их побрал, безживотных, мотаются с листками, а ты через них ночи не спи.

— А вы спите, Данил Акимыч, — советовал Прохор. — Из-за плевого дела тéрпите беспокойство!..

— Я начальник над вами, как же я буду спать?.. Сознайся, ведь читал «их»?

— Господи, ну как же не читать? Читал, Данил Акимыч, читал! — с готовностью ответил Прохор. — Она у меня и сейчас в кармане, грешная! — Маньчжурец подал листок уряднику. — Сгоряча даже хотел на память заучить, ан опосля гляжу: белиберда! И так, извините, обидно стало!.. Эх, думаю, сучьего сына, убил бы я тебя!..

— Правда, что ли, что студенты-то приехали? — выпытывал урядник.

Галкин развел руками.

— А чума их знает! Бабы по деревне вякают, что правда.

В это время дверь с шумом растворилась, в комнату, как полоумная, влетела Прохорова мать.

— Ваше благородье!.. Кормилец!.. Ангел божий!.. Он не виноват!.. Может, это кто другие!.. Пожалейте мою старость!..

Прохор затрясся, побледнел.

«Выдаст... Пропало дело!»

Но, пересиливая волнение, беззаботно сказал:

— Чего ты испугалась, деревня? Разве господин урядник не понимает, что я присяжный человек? Пойдем скорей к себе в хату.

— Ваше благородье!.. Провались я на этом месте — не он!.. Чтоб мне света белого не видеть!.. — пуще выла старуха.

— Э-э, какая ты несговорчивая, — насильно тащил ее маньчжурец, — я ж тебе говорю, пойдем скореича!..

На улице, впившись пальцами в ее руку, так, что женщина застонала от боли, он бешено прохрипел:

— Зар-режу, дьявол старый!.. Только сделай еще раз!..

Старуха зарыдала.

— Уходи! — оттолкнул ее солдат. — Скройся с глаз долой, сердобольная ворона!..

XIV

На пестрой неделе, за три дня до мясного заговенья, в округе произошли великие события, а в Осташкове опять заговорили о студентах.

Перед событиями к нам приезжала стриженая барышня. Чужие люди у нас диво, городские — два. Барышня оделась в голубое шелковое платье, пальто на меху — настоящая дворянка. На станции спросила Лопатина, ее послали в Захаровку, а Лопатин в этот день ушел с книжками в Мытищи, приказав жене молчать... Больше часа барышня стояла перед бабой, спрашивая, где Илья Микитич, а та резала корове бураки и молчала, даже не поздоровалась с приезжей. Барышня решила, что баба немая, пошла искать Лопатина по деревне, за ней набрался человек в двадцать пять хвост любопытных, никто

не знал, где Илья Микитич. Было холодно, в тонких ботинках барышня промокла, посинела, чуть не плачет, а захаровцы, особенно бабы, пристают к ней с расспросами: по какому случаю ей понадобился Илья Микитич?

— Ведь он у нас разновер, Ильюшка-то.

— Поп-от его страсть как не любит, чихотку!

— Может, тебе позвать Васютку Прокуду, лавошника: у него всякий товар, какой душа желает...

Барышня спросила меня.

— Не знаем, — сказали ей,— у нас таких нету. Поспрошай в Свирепине.

Человек пятнадцать вызвалось проводить ее: благо недалеко — три версты. Она отказалась от провожатых, захватив с собой лишь одного мальчугана, уверявшего, что он меня хорошо знает, что я действительно живу в Свирепине. Но остальные тоже пошли провожать: мальчишка-то дуроломный, еще не в ту деревню заведет, не того мужика укажет!.. Барышня сказала, что она меня хорошо знает, не ошибется.

— Ну, тогда провожать нечего, — согласились захаровцы и пошли не вместе с нею, а поодаль, шагах в сорока, только чтобы не терять ее из вида. А когда сравнялись с рощей, которую дорога огибала полукругом, двинули напрямки через сугробы, прибежав в Свирепино раньше барышни.

— А мы уж тут, — добродушно улыбаясь, встретили они ее у свирепинской околицы. — Видать, что не привычны ходить пешечком... Пока присядьте, ребята побежали искать Ивана... Присядьте...

В Свирепине меня не нашли. Старуха Прасковья Шитикова, прибежавшая последнею, печально сказала барышне:

— Был он у меня, деточка, на прошлой неделе, а сейчас нету!.. Может, опять когда приедет, бог его знает... Вы с им на Украйне, что ли, виделись?

— Да, — сказала барышня.

Свирепинцы переглянулись с захаровцами.

— Полюбовница... Разыскивает!..

В избе у нас сидела Настя, Аксинья-соседка, Мотя с мальчиком. Говорили, конечно, о подметных письмах и студентах.

Мать, любительница святости, несмотря на язвительный смех отца, как и Трофим Бычок, утверждала, что «народился антихрист».

— Ваньтя, Ваньтя, — с треском влетел в избу Климка Щукин, пасынок Аксиньи. — Беги скорей на улицу: к тебе приехала крымская полюбовница!.. Ей-богу!.. В дипломате!.. В мужиковской шапке!.. Хвостом-то так и мельтешит по снегу... Богатая!.. Беги!..

Не успел Климка закончить своей захлебывающейся речи, в двери, как лиса, просунула коргастую голову Чиказенчиха, смутьянка, помешавшаяся на сплетнях.

— А к вам гости, — сладенько пропела она, пряча блудливую улыбку. — Тебя, Иван, ищет!.. Прямо с машины... С Совастопали!..

Я в недоумении поглядел на мать, на отца, на Мотю. У них вытянулись лица. Настя густо, виновато покраснела.

— Ее свирепинские парни провожают!.. — продолжал, прыская, Климка. — Которые свистят во след-от, глаза лопни!..

Толпа захаровцев, свирепинцев, осташковцев подошла, гудя, к нашей избе.

— Хоз-зя́ва!.. Дома ай нет?

В раму застучали палки, кулаки, к стеклу прилипли расплющенные рожи.

Вместе с домашними я выскочил на крыльцо, столкнувшись на пороге с барышней.

— Наконец-то! — чуть не со слезами воскликнула она, протягивая ко мне руки.

И по тому, как измученная поисками и любопытными расспросами барышня обрадовалась мне, как бросилась навстречу и как крепко сжала мои руки, все окончательно уверились в том, что приехавшая — моя крымская полюбовница.

— Не с брюхом ли?.. Петре Лаврентьичу внучка!.. — фыркали из сеней.

— Он, поди, как змей теперь шипит!.. Мужик сурьезный, взбаломошный, горячий...

— К вечеру беспременно произойдет сраженье!..

— Ваньтя-то! — моталась в толпе Чиказенчиха. — Услыхал, что прикатила, в лице переменился, побледнел, глазами туды-суды, сам не знает куды!.. Пришпилила молодчика!..

— Шахтер, — увидал я Петю, — разгони их, сволочей!.. Что они, как собаки, лезут?

— Да я, Вань, не могу, — смущенно замялся Петя. — Их дьяволов, полна улица... Чего ты, скажут, задаешься? Свою ждешь? — Он осклабился.

— Это же городская барышня!.. Осел!.. «Свою ждешь»!

— Как? — разинул шахтер рот. — Это которая бумаги составляет? — Лицо его побагровело, ноздри раздулись. — На какую, право, беду без соображенья можно напороться... Ведь это даже удивительно!..

Схватив дубовый пест, он зверем выпрыгнул из сеней в середину толпы.

— Марш!..

Полетели пинки, затрещины, поднялся визг; через минуту под окнами на измятом снегу валялась только кем-то оброненная сандального цвета однопалая варежка.

— Скажи Прохору, что приехала стриженая барышня, — шепнул я Насте. — Беги одним духом... Это неправда, что полюбовница!..

Когда барышня сняла шапку и все увидали, что она по-солдатски стрижена, мать горько заплакала.

— Ваня!.. Милый!.. Что же ты наделал?.. Стыдобушка моя!..

— Отстань, мать! — досадливо закричал я. — Что ты в наших делах смыслишь?.. Чайку бы вот надо... Отец, ты не сходишь за водой?

— Нет, не схожу, — с глубоким презрением глядя на барышню, ответил он. — У меня для вас чаю не наготовлено. Да, — стукнул отец по лавке кулаком, — не наготовлено! Богат — в трактир веди свою дворянку, а в моем доме не имеешь правов распоряжаться!.. Наш-шел курву!.. — Сжимая кулаки, он шагнул вперед. — Вон из моей хаты!.. Я х-хозяин!..

Если бы не Прохор с Настей, с шумом влетевшие в этот момент в избу, у нас бы действительно загорелось такое сражение, что от отцовской хаты не осталось бы и щепок.

— Поглядим, какую ты правду говоришь! — по-детски захлебываясь, еще из сеней визжал Прохор. — Ежели ты, кляча крученая, обманула, косу оторву! Где она тут, мошейница?.. Ваня, жив-здоров? Где барышня?.. Ах ты, мать чесная, отец праведный!..

Перебравшись через порог, маньчжурец столкнулся нос к носу с барышней.

— Так и есть, — промолвил он, роняя костыли. — Как же это?..

Смущенный, посеревший, он прижался в дверях к Пете.

— Ты уж, Петруш, здесь? Успел? Какой ты хитрый!.. Здравствуйте, барышня!.. Проведать нас приехали? Все ли живы-здоровы?..

Глядя на шахтера, на меня, на Настю, он счастливо хихикал, морща испитое лицо свое.

— Пойдем, Галкин, к тебе в избу, — сказал я, одеваясь. — На наших черт насел, чтоб им лопнуть!.. Барышня, захватите свой дипломатик!..

А по деревне звонили:

— Петрушке-то Володимерову счастье: деньги, поди, приперла — несусветную силу!

— Где он ее, шельму, подцепил? Вот тебе и Ваньтя!

— Нет, та-то дура: на мужика полестилась!.. Привередница!..

До глубокой полночи барышня беседовала с нами... Устала, охрипла, язык не ворочается, бесперечь пила воду, а мы все приставали:

— Еще немного, барышня, еще чуть-чуть.

— Не зовите меня барышней, — просила она, — зовите товарищем.

Мы поправлялись:

— Ну-к, еще про что-нибудь, товарищ-барышня!

— Какие вы все странные, — смеялась она.

И мы смеялись.

— Главная статья: нет привычки... Барышня — это постоянно, кого ни встретишь в дипломате, а товарищ... Мужик мужика, конечно... это дело десятое!..

— Мужик мужика променял на быка, — передразнивал Галкин. — Нет привычки, надобно стараться!

Он всеми силами старался помочь барышне, в особо интересных местах рассказа гладил ее по голове, заставил сесть на подушку, чтобы было мягче, как ребенок, смеялся, когда она улыбалась чему-нибудь, шипел на всех.

Было поздно. Сквозь забитые одеждой окна мягко гудел колокол: церковный сторож отбивал часы; скрипел снег под ногами колотушечника. Лица товарищей возбужденно счастливы.

Через день-два после отъезда барышни по Осташкову разнеслась весть, что в смежном с нами уезде «началось».

С отрядами казаков и стражников по деревням ездил

губернатор, драл мужиков розгами. В одной деревне наводил суд и расправу, а «это», как головня, перебрасывалось в соседнюю: там и тут зловеще вспыхивали зарева.

Ульяныч, мещанин-щетинник, рассказывая, только крутил головою от изумления.

— Теперь никогда не поеду торговать туда, а то и мне достанется.

— Там уж тебя ждут! — смеялись над ним.

В Пилатовке по поводу событий говорили:

— «Они» смикитили, что из середки уезда начинать — никто не делат. Приехал набольший, собрал их у нас в Роговике...

— Кого?

— Дыть стюдентов, кого же!.. Ваньтя тоже был, шахтеришко. Собрал в Роговике на сход... Ну, как?.. Как прикажете!.. Давайте перебросимся на вьюжный край, а оттелева — холстом... А ты, Ваньть, тут буторажь!.. «Они» — хитрые, жабы!..

Сладкодеревенцы, горлопяты, бахвалились:

— Скоро нас соборовать начнут, дай вот только губернатор приедет, он нам привьет воспу!..

Шахтер самолично созвал группу, предлагая «подтереть слюни и — за дело»... Того же мнения были Штундист, Богач, маньчжурец и Рылов, а Лопатин, я, Максим Колоухий и другие растерялись: может быть, еще не время?..

Первый раз наше собрание носило бурный характер; все переругались, как враги, а разошлись ни с чем.

На следующий день написали в город письмо, а пока решили разбросать «литературу».

— Сигнал! — кричали осташковцы, бегая с листками по деревне.

Но пришла другая весть: у князя казаки. Наиболее жидкие под разными предлогами разбежались, куда глаза глядят. Остальные даже днем держали двери на запирке.

Вызванный из города товарищ приехал ночью. Как и барышня, не зная расположения деревни, он долго плутал, отыскивая избу Галкина. Счастливый случай помог ему постучаться к дяде Саше Астатую. Тот, трясущийся, привел его ко мне.

Товарищ Лыко, — он нам лыки продавал на вокзале, — собрав компанию, сказал:

— Делать ничего не надо, вы попусту спешите... Дожидайтесь от нас знака. Зачем сейчас губить себя?..

— А если не сгубим? — зло выкрикнул шахтер. — Ты тоже с библией приехал?

Опершись локтем на стол, покусывая русый ус, Лыко несколько минут внимательно разглядывал Петрушу. Тот, выпятив грудь, стоял посередь избы, не опуская глаз. Горожанин улыбнулся.

— Ничего не боитесь?

— Нет! — Петя даже надул щеки. — Еще не родился, кто меня напугает!

— Ого!..

— А все-таки начинать не надо, — твердо сказал Лыко.

— Мы с вами, Нилушко, в один голос, — расцвел Лопатин, — только разве с ими сговоришь!..

Хрустя пальцами, шахтер с презрением следил за ним.

Лыко привез с собою снадобьев, научил печатать на *гектографе.*

Уезжая, Лыко набросал несколько черновиков, но мы после его отъезда переделали черновики по-своему, более понятно, выбросив все «литературы» и «гектографы», мужицкому уху чужие.

Много спорили о том, как подписаться. Прохор, первый затирала в сварах, настаивал на том, чтобы подписались: *«Беспощадный Осташковский Комитет из мужиков».*

— Ты, служба, в уме или выжил? — урезонивал его Илья Микитич. — Чего ты городишь? Разве можно на себя идти с доносом?

— Так подпишитесь, что, мол, кому надо, узнает, кто составляет бумаги, — вяло отозвался из кутника Максим Колоухий. — Что, мол, мы бы свои фамилии проставили, но почему — опасно: могут забрать...

Большинством голосов решено было подписаться: *«студенты».*

Работа кипела. Каждую ночь дороги и улицы пестрели синими листками. Становой переехал на житье в Осташково; в домах — то там, то здесь — производились обыски. Тщетно искали главарей: ни один ничего не знал или как бык глядел в землю.

Расширялась и внутренняя работа: главный кружок пополнился, и от него пошли отростки, товарищества и братства.

— Вчера сметану воровали из чужих погребов, а нынче урядник нехорош, — гнусавили старики.

XV

В субботу на масленой зять с Мотей пришли к нам в гости. После обеда я запряг лошадь и, усадив сестру с Ильюшей в сани, повез их кататься в соседнюю деревню, где был базар.

С разноцветными лентами на дугах, в светло вычищенной упряжи по улице разъезжали «молодые». Женщины, одетые по-праздничному, пели песни, вдоль дороги, по обеим ее сторонам, шеренгою стояли любопытные, глядя на катающихся, делились замечаниями о лошадях, сбруе. Под ногами, как котята, с счастливыми рожицами, шмыгали ребятишки; длинные карманы их сибирок набиты сластями. В крепких зубах трещат орехи, семечки, у трактира задорно пиликает ливенка, пляшут, присвистывая. Заезжий шарманщик с полудохлой морской свинкой гадает девкам на «билетиках».

Сделав пять-шесть кругов, мы заехали в трактир погреться и выпить чаю.

— Хорошо, Ильюша, на базаре?

— Да.

Ему — четвертый год. В новом полушубочке и белых валенках, в круглой барашковой шапке, из-под которой выбиваются колечки светлых волос, чистенький, с розовым румянцем на щеках, он широкими глазами рассматривает трактирную обстановку, поминутно дергая мать за рукав:

— Мама, это кто? А вон этот — с бородой?

— Мама, а самовара у них нету? У нас дома есть... Да, мама?

Мотя смеется.

К столу подошел Федька Почтик, мой приятель, и Калиныч; оба — новые члены главной организации.

Федька рассказал, что вчера захаровская баба, стиравшая на казаков белье, была опозорена ими и полумертвою брошена в овраге. Подняли ехавшие на базар торгаши. Сейчас еле жива.

— Кабы чего нынче не было,— шепчет Федька на ухо,— ребята рвут и мечут... Увези сестру с ребенком... кто знает!..

Допив чай, мы с сестрой поехали домой.

— Ваня, почему вы секретничаете от меня? — спросила Мотя дорогою.— Неужто вы, глупые, думаете, что я пойду на вас с ябедой?

Я придержал лошадь.

— Секретничаем, Мотя, потому, что надо секретничать. Ты — женщина...

— Стюня — тоже девушка.

— У тебя ребенок, хозяйство... Для только любопытства об этом не говорят.

— А ну-ка, я не из любопытства?

— Тоже не следует мешаться: ты — женщина, у тебя ребенок, хозяйство...

— Перестань об этом! — досадливо воскликнула она: — Ребенок, хозяйство... Почему не следует мешаться?

— Так, вообще...

— Напрасно, брат!.. — Мотя нахмурилась, прикрыв глаза длинными ресницами.

Минут двадцать ехали, не говоря ни слова.

— Знаешь, что? — встрепенулась сестра.— Ты все-таки дай мне книжек-то... Ладно?.. В жизни что-то новое, а я не смыслю... Почему только вы, мужики, должны знать?.. Хотите себе лучшего, а бабу — опять под лапоть?..

Дорога — вереница непрерывных ухабов — шла о бок с фруктовым садом князя Осташкова-Корытова, отделенная от него рвом, обсаженным по гребню сплошными рядами акаций, сирени, жимолости. Над деревьями кружились стаи галок; в теплом, золотистом навозе копались грачи. Перемежающееся небо то ярко по-весеннему голубело, то подергивалось серыми лохмами туч, белокудрявых по краям; оттого снег казался то искристо розовым, мягким, то, как сахар, бледно-синим, крупичатым.

— Гляди-ка, мама: робята! — Ильюша весело засмеялся, хлопая в ладоши.

Навстречу из-за садовой караулки вышло человек семь казаков. Здоровые, сильные, с залихватскими, закрученными усами, в высоких бараньих шапках — они раскатисто хохотали.

Один, поровнявшись с нами, отдал честь, вычурно расставив ноги, другие засмеялись над Мотей.

«Кабы чего не случилось нынче»,— вспомнились слова Почтика.— Прав он, рано еще...

Но другой голос, злой и настойчивый, шептал иное.

Отец и Сорочинский лежали на полу, обнявшись. Мать пугливо жалась в кутнике.

— Стащить бы куда-нибудь эту стерву,— брезгливо вымолвила Мотя, глядя на мужа.

— Не трогай, деточка, пускай дрыхнут! — отчаянно замахала мать руками.— Весь вечер баталились, хуже стю-

дентов!.. Я уж топоры от греха спрятала... Ты у нас ночуй, а то, боюсь, опять раздерутся!..

Прикрывшись с головой сибиркой, мать ткнулась на лавку. Я принес из сарая «Липочку-поповну». Загородив от пьяных свет, мы стали читать с сестрой.

Тихо. Жидкий свет прыгает по стенам и столу, по мелко набранным страницам книги и платку низко склонившейся сестры. Сонно трещат сверчки. Изредка раздается чавканье и придушенный храп пьяных; часто, срывами дышит мать; раскидавшись, розовенький, с закинутыми за голову руками, спит Ильюша. Мотя плачет. Тени медленно качаются и тают на лице ее.

Слабо вскрикнув, мать поднимает голову, долго, бессмысленно смотрит на лампу.

— С нами бог... с нами бог... Прасковея-пятница, Сергий преподобный.— Устало зевает, крестится.— Довольно бы, сынок, над книжкой: карасин береги...

— Сейчас, мама, кончим.

Щуря дикие глаза, отец привстал на локоть. Запустил пятерню в всклокоченные патлы, попросил напиться.

— Вы еще...— громко откашлялся, сплевывая, засопел,— не спите?

— Нет, не спим.

Охая, мать поднялась с постели, зачерпнула воды.

— Что ты, дьявол, в морду суешь! — крикнул на нее отец.

— Еще не угодишь, родимцам,— заворчала мать.— Нахватаются пьянее грязи да куражатся, паршивцы!.. Сам бы в таком разе брал!..

Отец швырнул в мать кружкой, ругаясь скверными словами, стал шарить около себя, чтобы еще чем-нибудь ударить ее.

Завозился Ильюша.

— Тять, потише, пожалуйста: мальчика разбудишь,— попросила Мотя.

— А ты что? «Мальчика разбудишь»! Сахарный у нее мальчик!.. Енерала выплеснула?., «Ма-альчика»?.. Я в своей избе, учить меня нечего!.. Не глянется, лети ко всем чертям! «Мальчика разбудишь», свинья грязная!..

Мотя виновато посмотрела на меня и опустила голову.

— Пошла теперь музыка на всю ночь!.. Эх ты, старый, бессовестный кобылятник!..— заплакала мать.— В кои-то веки пришла дочь в гости, и то ты ее гонишь со двора долой, пьяный дурак!

— Вот я тебе сейчас покажу дурака! — затрясся отец.— Я т-те-бя украшу!..

Я не вытерпел.

— Ты когда же, негодяй, бросишь нас мучить? — сквозь слезы закричал я, вскакивая из-за стола.

— Это отца-то? — изумленно спросил он, таращa красные глаза.— К примеру, жили вместе, я тебя растил, оберегал, заботился, а к чему пошло — негодяем?.. Родного отца?..

Голос его понизился, захрипел, шея вытянулась, веревками на ней вздулись жилы.

— Отца родного негодяем?

Со сжатыми кулаками, ополоумевший, он бросился к столу, чтобы ударить меня, но с лавки вскочила Мотя и, схватив его за руки, припала к ним.

— Тятя, не нужно!.. Родимый, не бей!..

Мальчик поднялся с постели и заплакал; Мишка, забиваясь под лавку, ругался матерщиной; стоя у шестка, мать верещала во весь голос.

— Отпусти! — мотая сестру из стороны в сторону, кричал отец.— Брось, а то расшибу!..

— Уйди с глаз долой, детенычек,— умоляла мать, махая на меня руками.— Уйди, Христа ради, пожалей меня!..

Я вышел из хаты.

— Ваня, где твои бумаги? — выскочила на крыльцо сестра, хватая меня за руки.— Он собирается пойти к уряднику... Скорее прибери!..

Отыскав в сенях топор, я отворил в избу двери. Отец сидел, обуваясь, на кутнике. Увидев топор, мать ахнула, завопила не своим голосом, бросаясь ко мне; Ильюша забился в угол и охрип там от плача, сестра ловила меня сзади за локти.

— Если ты, старый черт, пойдешь к уряднику,— сказал я, останавливаясь перед отцом,— я тебе голову отсеку на пороге.

— Ловко,— ответил он. Лицо его словно обрюзгло.— Спасибо, милый сынок!

Отец молча полез на печь.

XVI

— Мамочка, дай напиться!

— Что ты все пьешь, мой голубчик, третий раз просишь?.. Головка не болит? Весь горячий...

— Нет, не болит, дай напиться.

В окна глядит темная весенняя ночь. Порою ее непроницаемую пелену режет треск ломающегося льда: тогда из ветвей, с вершин осокорей, с шумом поднимаются уснувшие вороны, беспорядочно каркают, хлопая мокрыми крыльями, и снова затихают. Мелкий дождь забивает в стены гвозди: молоток стучит без перерыва, стены плачут от боли.

— Дай еще пить,— просит мальчик.— Мама, почему вороны кричат? Они не любят спать?

Лицо у Ильюши красное, дыханье горячо и часто, серые глаза возбужденно блестят.

— Мама, скоро рассветет?

— Скоро, детка, скоро! Не пей больше, ляг усни!.. Усни!..

Ребенок обхватил руками шею Моти.

— Я завтра опять пойду с тятей по рыбу... Пойдешь с нами, мама?

— Пойду, родной, усни... И я пойду, и крестный, и бабушка!.. Приляжь!..

Мальчик положил головку на подушку, но тотчас же привстал, улыбаясь.

— Я, мама, теперь не боюсь лягушек: они не кусаются... Тятя спит? Тятя, помнишь? У нас вечор в сачок залезло три... правда, тятя? А рыбка еще плавает?.. Покажи мне рыбку!..

Сестра вывернула фитиль, принесла с лавки ведро с водой, в котором шевелилось несколько гольтявок.

Ильюша запустил туда руку: поймав одну, засмеялся.

— Мама — живая! Видишь?.. Дай им хлеба.

— Они не едят его, сыночек.

— А чего же?

— Травку, червячков, песочек...

— Ну, дай им травки.

— Хорошо, детка, я потом накормлю.

— Дай сейчас!

— Сейчас нету...

— Дай сейчас! — заплакал и закапризничал он.

Мотя сходила на улицу и принесла оттуда несколько голых веток акации. Ильюша дремал.

Вся ночь прошла тревожно. Ребенок часто просыпался, стонал во сне, звал отца, мать, просил пить. Мотя сидела, склонившись над ним, до рассвета, прислушиваясь к дыханию, укрывая и кутая в одеяло.

Утром как будто прошло.— Ильюша встал веселый, сейчас же спросил: не пора ли идти по рыбу?

— Сейчас, парень, полетим,— отозвался Сорочинский, хватавший из чугуна горячие картошки.

Достав с печи лапти, мальчик подозвал к себе мать.

— Обуй-ка меня, Петровна...

Засмеялся.

— Тебя тятя так зовет!.. «Петровна, доставай-ка шти»,— передразнил он отца.— Почему он не зовет тебя мамой?

— Он, детка, большой...

— А я, когда вырасту, тоже буду звать: Петровна?

— Да, крошечка.

— Петровна — лучше?

— Лучше.

— Мамой — только маленькие?

— Только маленькие, милый...

— Не-ет,— Ильюша отрицательно покачал головою.— Так нехорошо!.. Я буду — мама, ладно?

— Ладно, ягодка.

— Мы нынче рыбы принесем еще больше, правда?

Лукаво сморщившись, он толкнул ручонкой склонившуюся перед ним Мотю в голову, спрашивая:

— Это тебя кто? Бука?

Сестра притворялась испуганной, Ильюша звонко смеялся. Но вскоре возбуждение прошло, он попросился в постель.

— Я немного полежу, — устало глядя поблекшими глазами на мать, проговорил он. — Разбуди меня, когда отец пойдет по рыбу...

Встревоженная сестра, прибежав к нам, сказала, что ребенок болен.

Мать испугалась, стала ругать Мотю.

— Простыл, сейчас время опасное — полая вода... Куда ты бельма пялила, дуреха рыжая?.. Не могла приглядеть за мальчонкой!..

Мотя плакала. Она не пускала его к реке, но его уволок подлец-мужишка! Он пришел домой с промоченными ножками, весь синий!.. Она запуталась в работе... А тот бродит день-деньской с наметкой!..

— Пойдем к нам,— просит сестра,— надо лечить!..

Ребенок метался, бредил, кричал. Он то схватывался ручонками за подушку и громко стонал, то прижимался к Моте, тоскливо спрашивая:

— Мама тут? Со мною?.. Больно!.. Не ходи, мамочка, я боюсь... Где тятя?

Ночью все тело его покрылось темными пятнами, глаза ввалились, нос заострился. Приходя в сознание, он еле лепетал:

— Болит головка... Поцелуй меня...

Мотя вся почернела, лицо сморщилось, стало сразу старым, щеки втянулись, под глазами легли синие круги; растрепанные волосы, кое-как подобранные под повойник, то и дело выбивались, в беспорядке падая на плечи. Сидя у постели сына, она всеми силами крепилась, и ни один мускул не дрогнул на ее окаменевшем лице. А когда пытка была невмоготу, поспешно выбегала в сени, с размаху падала на сырую, холодную землю и стонала, стискивая челюсти и скрипя в отчаянии зубами. В избу возвращалась с тем же каменным лицом.

Тепла ночь, темно-сине небо, ярко горят звезды. Весенний воздух густ, насыщен запахами влажной земли, прелой соломы, набухающих древесных почек. Матово-золотистой полоской лунный осколок протянул через тихо плещущую реку ломаную полосу. Под окнами избы в размытом глинистом овраге булькает ручей.

Звенит капель. Мигает, щурится светец на подоконнике. Сжав ладонями виски, около постели стоит на коленях Мотя.

— Спи, мой желанный, спи, родненький мой!.. Усни!.. Я тебе буду рассказывать сказки... Про царевну, про мальчика с пальчик, про жар-птицу... Спи...

Жадно глядит в прозрачно-полумертвое лицо Ильюши и бормочет, бормочет, сама не зная что...

— Вырастешь большой, будешь красивый, сильный... Спи спокойно, мой родимый, спи, дорогой!.. Единственный мой, желанный...

Припадет к горячей голове его и ласково смеется...

— Буду рассказывать тебе сказки... Расскажу про царевну, про мальчика с пальчик, жар-птицу...

...Через четыре дня, на рассвете, Ильюша, не приходя в сознание, умер.

Мотя сидела на лавке, безучастно смотря на хлопоты бабушки, обмывавшей на полу худенькое тельце.

Подостлав в переднем углу соломы, прикрыв ее новой дерюжкой, мальчика — чистенького, с расчесанными

льняными кудерьками и восковым личиком — положили под образ. Мертвый, он длиннее, тоньше, кисти рук и пальцы прозрачные.

Пришла тетка.

— Убрался, батюшка? — тоскливо сказала она, глядя на ребенка.— Не захотел с нами жить? — И горько заплакала.

Мать моя тоже заплакала, а Мотя молчала. Она сегодня и одета была лучше обыкновенного, и если бы не красные, воспаленные глаза и горячечный взгляд, можно было бы подумать, что она покорно равнодушна к смерти сына.

В избу вошел Сорочинский, посмотрел исподлобья на мальчика, сморщил по-старушечьи лицо, заморгал глазами.

— Михайла, досок бы надо на гроб,— обратилась к нему тетка.

Он вскинул голову.

— Деньжонок...

— Оставайся дома, я сама поеду,— ответила Мотя и, набросив на плечи сибирку, вышла из хаты.

Стали сходиться соседи. Они тихо здоровались, целовали покойника в лоб и в иконку, стоящую в ногах его, потом шепотом передавали друг другу новости: сколько у кого объягнилось ягнят, в какое бердо ткутся красна, кто вчера дрался, давно ли несутся куры.

Над изголовьем Ильюши горела тоненькая свечка, в избе было сыро и душно: пахло печеным хлебом, потом, грязной постелью, а за окном смеялось весеннее солнце, набухали и лопались древесные почки, верба стояла, унизанная желтенькими гусачками, от земли шел сизый пар.

Радостно звенела детвора, вырвавшаяся из зимних логовищ, весело кувыркаясь, хохоча и прыгая, как молодые разыгравшиеся ягнята. Их писк мешается с блеянием овец, топотом лошадиных копыт, задорно-пронзительным ревом тощих телят. А день ясный, свежий, тихий, пропитанный ароматами просыпающейся жизни, — и солнце, солнце, солнце без конца...

Вынос тела был на следующий день. Чисто выструганный гробик, с мягким запахом свежей смолы, обвязали полотенцами, накрыв сверху черным коленкором.

Несли дети.

День и сегодня все так же солнечный, так же парит земля, и весна все так же радостно поет, разбрасывая

пригоршни цветов и зелени, звенит, ликует, молится...

Стоном стонут похоронные колокола. Твердой походкой, немного сгорбившись, идет за гробом Мотя, за нею — мать, Сорочинский, Перфильевна, тетка.

Увидав меня, сестра повернула голову, собираясь что-то сказать, но забыла и, только когда мы подошли к церковной ограде, опять остановилась.

— Ваня, могилка-то хороша будет, глубокая? Поглубже надо.

— Глубокая, Мотя... Я и крест уже привез.

— Ага, вот славно, спасибо, милый!.. Камешек бы надо побольше... У нас, кажется, был где-то...

— Есть и камень.

— Есть?

Отслужили в церкви панихиду, крышку забили гвоздями, процессия тронулась на кладбище.

Под высокой березой, между сестрой Дуней, умершей двух лет, и дедушкой Андреем Ивановичем вырыта могила Илюше.

Гроб опустили.

Синею струйкой вьется кадильный дым, скорбно несутся последние песнопения, рыдает мать, припав к корням березы, рыдают тетка и Перфильевна, тихими, печальными нотами звучит голос священника.

И, как далекое эхо, ему вторит клир:

— Покой, господи, душу усопшего раба твоего...

Когда комья земли ударились о крышку маленького гроба, сестра рванулась вперед:

— Ему же больно, тише!.. — вскрикнула она и потеряла сознание.

XVII

Прошла пасха, Фомина неделя, засеяли овсы, пшеницу-ярь, принялись за огороды: возили на конопляники навоз, перепахивали под картофель и просо, сеяли рассаду, окапывали в садах деревья.

Отец, еще с поста заговоривший о моей женитьбе, стал теперь настаивать, торопить:

— Видишь: мать старая, ей пора и покой знать, а она везде за девочку бегает!.. Брось-ка, молодец, ерничать, и так уж призыв отбыл.

— У меня, сынок, все руки отбились, у одной-то,— в один голос ныла мать: — и дома я, и в огороде я, и на

речке с рубахами — я, все я да я!.. У добрых людей старухи шерстку прядут, а у меня овцы не стрижены!.. Женись, Ваня, дай мне помочь!..

На примете у них была Катюша Лапша из Столбецкого и Маша Кара — своя, осташковская. Потолковав между собой, родители сказали:

— Вот из этих двух любую выбирай, которая приглянется, та и наша мамаша!.. Гляди лучше: тебе с нею век вековать!..

Я ответил, что глядеть мне нечего: обе не по праву.

— Ну, так как же? — насупился отец.— Будешь ждать, когда именитая купчиха на паре приедет?

— Охота взять Настасью Галкину,— сказал я.

— Ты — хитрый, домовой! — засмеялся отец, подмаргивая.— Ну, что ж, валяй: девка — дай бог всякому!

Перед вечером я пошел к Прохору.

— Когда же вы, друзья, соберетесь в собрание? — встретил он меня.— Пора бы уж!..

— Погоди, Сергеич, соберемся как-нибудь; сейчас есть другая забота.

Я рассказал ему, в чем дело.

— Эх ты, голова садовая! — воскликнул Галкин.— Да я сам бы за тебя замуж пошел, верная старуха!.. А он: «Как Анастасе-ея! Как Анастасе-ея!..» Ты мне черт или первый друг? Говори сразу!.. «Как Анастасе-ея!..» Слушай, коли хочешь по правде,— маньчжурец стал трясти меня за воротник.— Сволочи несчастной за мешок золота не отдам девки, потому — ей цены нету, а тебе, товарищ, можно!.. С великим моим удовольствием можно, не погляжу, что отец у тебя — аспид и василиск!..

— Что тебе дался мой отец? — с досадой перебил я солдата.— На каждом шагу ты меня попрекаешь им!.. Я ведь не за отца сватаю.

— Понимаю, друг, что не за отца. А кабы за отца, я тебе башку, гадине, проломил бы, честное слово, не лгу!.. Я разве не чую, что за себя... Эх, и чего ты только заступаешься за Ирода! — с искренним огорчением закрутил Прохор головою.— Бил бы его, домового, хуже собаки, а он туда же — Филарет милостивый...

Повернувшись к окну, маньчжурец закричал:

— Настюша-а! Стюнька!

— Ты что? — спросил я.

— А вот мы сейчас все узнаем, ну-ко, сядь вон за грубку.

Вошла Настя.

— Ты зачем звал?

— Дело есть,— строго ответил Галкин.— Слушай, твои года какие? То-то вот и оно... Молодые девки в эту пору плохо спят... Замуж за Ивана хочешь?

— За какого Ивана?

— За слепого; у нас их не сорок: за Ивана Петровича Володимерова?

Девушка долго не отвечала.

— Та-ак,— наконец, сказала она,— сидел и надумал, славно!.. Прокламацию бы лучше сочинил, хромой сват!.. Больше ничего не скажешь?

У меня упало сердце.

— Ты не смейся,— рассердился Галкин,— я тебя всурьез расспрашиваю.

— Какой тут смех!.. Сейчас али после?.. Расстегай бы надо сменить, а то — видишь: весь картошкой выпачкан. Поди, и вино будем брать на свадьбу, а? Братух?

— Настасья, брось глупить, говори: пошла бы за Ванюшку?

— Пошла.

— Правда?

— Правда, клади в мешок.

— Эй, сокол, вылетай, го-го-го! — весело залился Прохор.— Сичас же станови магарыч, а то костыли обломаю!..

Я вышел из засады.

— Ай, ведь вы вправду! — испуганно метнулась Настя.— Да зачем же? Да не надо!..

— А то что же, шутить, что ли, с вами? — дергался на лавке солдат, оглушительно стуча по столу костылями.— Попалась, плеха, а? Попалась? Теперь, девка, от своего слова отказываться нельзя!.. Как хошь, а запрещается на попятный двор!.. А ты, грач, что рот разинул: обалдел? Говори ей слова!.. Цыпа, цыпа, цыпа!.. Ишь дьяволы, цыплята-то опять к амбару побежали!.. Пойду отгоню пока!.. Повáдились, холерные, будьте вы трижды прокляты!..

Мы остались вдвоем с девушкой.

— Так как же, Настя, ты в самом деле пошла бы за меня? — спросил я.— Отец хочет женить меня: в доме нужен лишний человек, а девушек, которых он мне сватает, я не знаю, или они мне не по сердцу... А тебя бы я крепко любил... Пойдешь, Настя?

Она стояла, потупившись, с ярким румянцем на щеках,

и то схватывала в руки передник, перебирая кромку дрожащими руками, то щипала концы головного платка, не поднимая на меня глаз.

— Я не знаю... Как мама и братец...

Казалось, что она вот-вот расплачется.

— Прохор согласен, я с ним говорил. Если я тебе не нравлюсь, так и скажи... С матерью поговорить или не нужно?

— Как хочешь.

— А тебе, значит, все равно: за кого не идти, только бы не в девках?

— Поговори.

И девушка поспешно вышла из избы.

Через минуту в окна ударился хохот, послышалась возня, прерываемая полусердитыми, полушутливыми криками Прохора:

— Брось, ведьма, ты с ума спятила? Перестань, слышишь?

Галкин сидел посередь улицы на земле, костыли его были отброшены далеко в сторону, а Настя, наклонившись, теребила его за голову, потом, схватив в охапку, поволокла по земле.

— Брось, окаянная, чтоб тебе лопнуть! — барахтался маньчжурец.— Обрадовалась, телка, не знает, что делать... Еще погоди — не завтра свадьба-то: возьмет да и откажется!..

— Да что-о ты?!

Она дала брату шлепка под затылок, ткнула в руки костыли и убежала к амбару.

— Вот чумовая девка — вконец замучила! — ввалился запыхавшийся Галкин.— Обрадовалась, кляча, здóрово, аж вся горит!.. Ну как, дружок, поладили?

— Как будто поладили, с матерью надо потолковать.

— Ну, слава богу. Старуха согласится: она любит тебя... Давай, браток, поцелуемся!..

XVIII

После небольшого перерыва в работе поле вновь покрылось серыми фигурами людей, там и сям задымились костры, по дорогам потянулись вереницы телег с нагроможденными на них сохами, лукошками, скрипучими боронами. Дети с мешками хлеба за плечами, как жуки, ползли по межам.

Осташково вымерло: не слышно ни песен, ни смеха. Кое-где раздаются окрики на лошадей, доносятся хозяйственные разговоры, стучит топор.

На Задней Лощине, перепахивая арендаторскую, я встретился с Мотей. Она осунулась, губы потрескались, лицо — в загаре и пыли.

— Здравствуй, Ваня,— вяло поздоровалась она.— Много еще пашни?

— Нет, скоро кончу. Ты, знать, все плачешь, сестра?

Мотя привязала лошадь к крючьям телеги, бросила ей под ноги кошель с сеном.

— Плачу? Чего ж плакать?.. Плакать поздно... Как там мать поживает — шерсть, поди, прядет?

— Да, с шерстью копается... Мы новую лошадь собираемся купить.

— Новую лошадь? Это хорошо... Да... Не помогут теперь слезы!.. Плачь не плачь — толк один!..

Облокотившись о грядку, она смотрела на меня потухшими глазами.

— Не воротишь, что прошло... Ты что-то не бываешь у меня?.. Приди, поговорим... Дело не в слезах: слезы — вода!.. Придешь?

— Приду.

В первое же воскресенье я пошел к сестре.

— Что, кум, ломит небось спину-то от пашни? — встретил меня на пороге ухмыляющийся Сорочинский. Глядясь в осколок зеркальца, прилепленного к притолоке, он старательно расчесывал себе прямой ряд на жирно намасленной деревянным маслом голове. — То ли дело открыть бакалейку: сама деньга́ в карман прет, холера ее задави, а то гнись, как черт, весь век, а сядешь за стол — жрать нечего!.. Собачья склыка — эта затея, пропади она пропадом!.. Кабы где перехватить две красных...

Когда Мишка ушел из хаты, сестра начала расспрашивать, подвигается ли наше дело, есть ли новые книги, просила принести что-нибудь.

— Я к тебе с нуждишкой: перешли кой-что ребятам в город...

Она положила на стол с десяток полотенец, несколько пар мужского белья, холстины, вареные яйца, пять-шесть сдобных лепешек.

— Денег вот немного.

Подала рублевую бумажку.

Драка на масленой состоялась: одному казаку пробили кирпичом голову, и он через несколько дней умер в больнице. Шестеро наших парней, в том числе Федька Почтик, сидели в остроге.

— Мотя, много это,— сказал я,— себе поберегла бы: еще, может, дети будут...

Она сурово перебила:

— Какие дети?.. У меня? Не будет, Ваня, детей, довольно!..

— Да ведь кто знает...

— Брось об этом! — раздраженно сказала она.

Мы вышли на улицу.

Июньские тихие зори зажглись на небе. Пышным заревом подернулись облака, еще кое-где пролизанные светом. Блекли, теряя резкость красок и очертаний, предметы. Бесшумно спускалась на землю летняя звездная ночь.

Кутаясь в теплый платок, худая, как скелет, сестра села на порог, безучастно смотря на вечерние блескавицы, широким размахом полосовавшие небо.

— Вот видишь: и жизнь почти прожита,— проговорила она печально.— Давно ли была совсем маленькой, таскалась к князю на поденщину, читала с тобой... Помнишь, хотели стать преподобными?.. Будто вчера все это... В другой раз — будто давно-давно... И жила не я, а кто-то другой... чужой мне...

Она облокотилась на колени, пряча лицо.

— Гляжу вот, думаю... жизни еще много, а она — темная, как ночь... Скучно это, тошно!.. Нутро болит от дум!.. Куда пойти — знаю и не знаю... Помоги мне, Ваня, выпутаться,— моляще прошептала она.

— Я сам, Мотя, ищу дорогу... Плохой я поводырь...

— Вот Ильюша... может быть, не умер бы... Сидели бы вот так же у хаты, и он рядом... играет, смеется... Часто и теперь чудится, что живой он, зовет меня... Ночью просыпаюсь, ищу на постели — не скатился, спит ли...

Сестра зарылась еще глубже, и плечи ее затряслись.

Серо-пурпуровые тени сменились бледными пятнами потухшей зари. Ярче выступили звезды. С востока небо почернело и надвинулось.

— Не надо отчаиваться, сестра: жизнь тяжела только временем. Нет такого горя, чтобы оно могло замотать человека!..

Я обнял ее, целуя волосы.

— Обожди, Ваня...— Сестра подняла голову.— Брось слова, послушай меня сердцем.

Словно взвешивая свои мысли или выбирая нужные из них, она медленно покачивалась, то сжимая мою руку, то едва притрагиваясь к ней.

— Видишь ли... Ты вот все сторонишься меня... и других подбиваешь... а я была бы вам нужна. Возьмите меня к себе. Я не пожалею себя, Ваня!.. Возьми меня с собою!..

Часть вторая

I

В первых числах октября мещанский сынишка Сапька Шмаков привез нам из города записку от Прохора.

«Я в темничном заключении сижу, а знаю, что делается на белом свете, — писал маньчжурец,— знаете ли вы?»

«Знаем,— ответили ему,— крепись, друг!»

Галкина схватили за иконы. Недели через две после нашей свадьбы в Осташково приехал становой, допросил старуху — Прохорову мать, Настю, меня, еще кое-кого из мужиков, после вытребовал солдата.

— Как тебе не стыдно, молодец,— с упреком сказал становой, глядя на маньчжурца,— еще называешься военный!.. Скоро тебя следователь позовет...

— Хоть черт! — воскликнул Прохор.— Для меня все едино с кем баталиться!..

— Заткни хайло! — стукнул по столу становой.

Галкин насмешливо повел плечом.

— Слушаю-с, да только не исполняю вашей команды.

Маньчжурцу почему-то захотелось показать перед нами всю свою прыть.

— А это видал? — налился кровью пристав, суча кулаками.

— Кулак-то?— спросил маньчжурец.— Видал!

— Ну, так помалкивай!

— Позвольте узнать почему?

— Так уж... Лучше будет!.. Посади его, Петров, под арест,— обратился полицейский к старшине.

Галкин храбрился: пел в каморке песни, ругался, обзывая всех несчастными лизоблюдами, стучал скамейкой

в переборку, жалел, что не захватил с собой с Дальнего Востока ружья и патронов.

— Вы бы у меня тут, черти, на карачках ползали!..

Потом ему стало скучно.

— Я,— говорит,— есть хочу... Нет такого закона, чтобы не жравши, я не цыганская лошадь!.. Скажите маме, чтобы принесла обедать.

Старуха пришла в слезах: с горя растеряла по дороге вареные картошки.

— Говорила тебе, Прохор, будь посмирнее, будь посмирнее!.. Ты меня ни во что не ставишь, а вот вышло помоему...

— Вышло — хомут да дышло... Не ныла бы!..

Солдат — хмурый, злой, лицо воротит в сторону.

— Петька-шахтер дома?

— А то где же? Он, поди-ка, не попался, жеребец!..

— Вели ему меня проведать...

Шахтер вихрем влетел в волость, выругал всех, кто только находился в присутствии, отнял у сторожа ключ и выпустил маньчжурца из чижовки.

— Вы, сволочи, проливали кровь на Дальнем Востоке? — спрашивал он, подходя с кулаками то к одному, то к другому.— Егория имеете за храбрость? Нет? А он имеет! Покажи им, Прош, Егория!..

— Он у меня дома лежит...

— Все равно — хоть дома, да есть!.. А как же вы держите мужика под стражей? Цыц!..

Писарь встал на носки, хотел внушительно сказать что-то, но Петя заорал снова:

— Не я сказал — цыц?!

Писарь пугливо замолчал.

Старшина убежал, сторож и десятский жмутся в угол, ласково глядят в шахтеровы глаза, с готовностью поддакивают, а Петруха, стоя губернатором, куражится:

— Я, если захочу, всех вас могу в полон взять: я ничего не боюсь.

— Главное дело, Петр Григорьевич,— становой! — ласковой собачкой крутится около него судья Малохлебов.— Они, начальство, придирчиво: вякнул,— значит, делай по-ейному...

— А я все-таки и станового не боюсь,— бахвалится и задирает голову шахтер.— Пойдем, Прохор, восвояси, ну их к черту на репицу!..

И все же, как ни крутился маньчжурец, а в капкан по-

пал. Вскоре после первого допроса нас потребовали в город. Пока то да се, как твоя фамилия, да род занятий, я сижу у ворот, дожидаюсь. Смотрю, выходит Прохор — взволнованный, бледный, за плечами городовой при оружии.

— Ванюш, несчастье,— лопочет солдат,— следователь в острог сажает, гадина!

— Ты бы не ругался,— советует городовой,— много хуже будет.

— Да-а, тебя бы, толсторылого, забякать! — огрызается на него Прохор.— «Хуже будет!..» Чай, там не жамками с конпасеем кормят!..

— Я тоже при власти... Не имеешь права и меня ругать,— отвечает полицейский...

— Аа-а, иди ты к черту!.. Власть!.. Ванюш, скажи матери, что, мол, на время... Вроде как бы для пробы... Мол, недельки через полторы прикатит... Потом, пожалуйста, привези мне костыли полегче...

Упросив городового посидеть в трактире, я побежал к следователю.

— Не за что же, ваше благородие! Выпустите на поруки...

— А ты кто?

Напустив в мундштук докуренной папиросы слюны, следователь выбросил ее за окно, на светло-зеленую куртинку подорожника.

— Зять его, Иван Володимеров.

— Закон,— сказал следователь.— Ступай отсюда, мне некогда...

Так и потел Галкин третий месяц на казенных хлебах.

За лето наше дело было приумолкло. Страдная пора, молотьба, огороды, пахота, домашние работы на время отвлекли товарищей от собраний, только маньчжурец, когда он еще был на воле, да Мотя, совершенно забросившая мужа, дом, хозяйство, держали в руках дело.

В июне загремел «Потемкин».

Маньчжурец самолично написал штук двадцать прокламаций от руки:

«Говорили вам, неслухам, али нет? Наша правда вышла! Корабль называется господин Потемкин, это по всем газетам известно, а матросы — наши деревенские парни, которые на военной службе. Ура!..

Студенты».

Несколько дней после известия он ходил как именинник, бормотал слова из евангелия, перенятые у Лопатина, Насте с матерью купил по новому платку.

— Сваток,— дразнил он отца,— ребята-то на море, а?.. Фу-ты, ну-ты, палки гнуты!..

Потом опять все утихло. Последние всплески еще изредка доходили, но работа и нужда отвлекли внимание мужиков, сосредоточивая его на полях.

Арест Прохора заставил товарищей задуматься, но первая же записка, полученная от маньчжурца из тюрьмы, успокоила всех.

«Очень обидно, а еще очень совестно, что через собственную глупость кормлю вшей в остроге,— писал Аника-воин.— Теперь я бы сам не знаю, что над собой наделал за несуразные поступки, которыми поступил, приехавши с войны».

Дальше следовала крепкая брань.

Мы представляли, как беснуется мужик, кусая локти, говорит в оправдание нелепые слова, лает всех направо и налево.

— Так ему и надо, кляче хромой! — горячилась Мотя.— К чему было? Совсем не нужное!..

— Нельзя, Петровна, парня хаять без пути: он не последний из последних! — заступался Илья Микитич.— На всякую старуху бывает проруха.

— У тебя-то, разновер, рыльце тоже в пуху! — кричали ему товарищи.

— Не в точку метитесь,— опустив глаза, отвечал Лопатин,— живу, как душа велит.

Чем ни дальше, тем письма от маньчжурца были спокойнее; в конце сентября он уже писал:

«Я нашел себе хорошее дело в тюрьме: плету гарусные туфли. Матери сплету, себе сплету. Стюньке и городской барышне сплету. Все будут разных цветов, а фасон и лик одинаковый. По-моему, хорошее это дело, деньги можно заработать. Я тогда пришлю их вам на надобности».

Слухи, проникавшие в тюрьму о забастовке, вывели рабочего человека из спячки; парень заметался, заорал, чуть не каждый день гонял Саньку Шмакова с записками: знаем ли мы, дескать, то, что надо знать?

Перелетными птицами потянулись в Осташково толки, слухи и догадки о новом, большом, что творилось в жизни.

Приехали мужики со станции, куда возили продавать овес, говорят:

— Машина стала.

Смотрят исподлобья друг на друга, пожимают плечами.

— Никак не ходит.

— Надолго?

— Это неизвестно... Разное толкуют...

— Может быть, того...

— По-настоящему?

— Должно быть, что так.

Братство растерялось: ходят по деревне из конца в конец, блаженно растрепав губы, жмурятся, потирают руки.

— Силища-то, а? До-ро́га стала! Слухай-ка: до-ро-га!..

Рылов на собрании сознался:

— Я думал, мы первые зачинаем дело...

— Эко! — сказали ему.— Сморозил, цыпленок,— первые!.. Сказал бы: задние, самые никудышные!.. Там-то о-ого!..

Предлагая разные планы, никто не знал, с чего начать. Колоухий, Богач, Калиныч,— люди постарше,— говорили:

— Обождать маленько следует, робята: тучи сползут, небо прочистится, при солнышке орудовать сподручнее.

Петруха-шахтер ладил:

— Балбесы, прозеваете причастье!..

Дениска, меньшой брат Прохора, глядит влюбленными глазами на него и смеется, ерзая по лавке.

— Горячий ты, холера!..— ласково треплет шахтера по плечу.— С тобой можно в огонь и в воду!..

Остальные, как пни, молчат.

Дни идут бестолково, газет не получаем, в город съездить по распутице нельзя, сидим, крылья опустив.

— Узнать бы, где надо... Ведь это что же такое!..

— У кого?.. Министры телеграмму отобьют...

— Иван, что ж трясешь портками? Шел бы выпытывать!

Я пошел на железную дорогу. Станция — в степи, кругом — верст на семь — ни жилища. Было серо, грязно, моросил осенник. Дорогой то и дело лопались оборки на лаптях; пока дошел, ввалился в третий класс — измучился, промок, закоченел хуже собаки.

Из окна, окутанного серою дождевою дымкой, виднелось ровное ржаное поле с бурым жнивьем: туманно, неприютно, нет полю конца и края, как бестолковой, бесцветной русской печали, как беспредельному горю мужицкому.

Пол в «зале» грязный, крашенные охрой наружные двери захватаны сальными пальцами, буфет пустой. Кто-

то кашляет, сопит, стуча тяжелыми сапогами, переставляет с места на место мебель; из другого угла за стеною пищит больной ребенок; раздраженный женский голос со слезами и злостью уговаривает его:

— Ну, замолчи же, Христа ради!.. Ну, уймись!.. Ну, замолчи!..

Баю-баюшки, баю,
Сынку песенку спою!
Приди, котик, ночевать,
Мово Колю покачать...

В двери высунулась девочка годов четырех-пяти, в нечесаных светлых кудряшках и замызганном розовом платьице, с надетым на одну ногу полинялым голубым чулком в полоску.

Котик серенький,
Хвостик беленький...

Засунув палец в рот, девочка исподлобья уставилась на меня большими черными глазами. Полное личико сморщилось, как у старушки, и застыло в жадном любопытстве.

— Ни-инка! — истерично взвизгнула из-за дверей женщина, качавшая ребенка.

В щели между притолокой и полуоткрытыми дверями на миг мелькнула рука, рванувшая девочку за платье, дверь сердито хлопнула, послышались шлепки ладони по голому телу и громкий плач: «Ай, мамочка! Ай, мамочка, не буду!..» Больной ребенок закатился. Орала Нинка. К двум голосам вскоре присоединился третий — матери, которая кляла детей...

А через минуту опять:

Баю-баюшки, баю,
Сынку песенку спою!
Котик серенький,
Хвостик беленький...

Со двора в зал вошли сторож со стрелочником.

— Это, брат, на какой, к примеру, сорт нападешь: в позапрошлом годе выменял у золотухинского телеграфиста пару голландок, а они подгадили...

Стрелочник досадливо поджимает губы.

— Бывает, что не ко двору, ай кто сглазил,— отвечает сторож.— То ли — кахетинские, хорошие!.. А, промежду прочим, надо завсегда быть осторожным...

Сторож шумно сбросил на диван непромокашку, потянулся, широко зевая.

— Извините, что тут у вас делается? — спросил я.

— Крик-то? Скарлатина у мальчонки,— ответил сторож.— Одного уж бог прибрал, теперь другого хочет... Эх, у куракинского синильщика куры-то, вот так ку-ры! Все на подбор — черные, большие, космоногие!..

— Нет, я вот про дорогу... Не ходит ведь?..

— Черт их знает,— сказал сторож, почесывая нога об ногу.— Ходили-ходили, да и доходились!

Стрелочник внимательно глядит на плакат «Нивы», шевеля губами; видно, что ему до смерти скучно, что это объявление он знает наизусть, читает же машинально, потому что больше нечем заняться, а разговор о породистых курах надоел.

Заскрипела на блоках дверь. Бутылка с песком, привязанная за шнур, ударилась о притолоку, отскочила и снова ударилась.

— Вва-ах и до-шш, родные люди! — проверещал ободранный мужичонка, проскальзывая в двери и по-собачьи отряхиваясь всем тщедушным телом, обмотанным в мокрое тряпье.— Расслюнявилась, сударыня осень!

Сдернув рыжую шапку, мужик стал колотить ею по скамейке, невнятно бормоча что-то, очистил кнутовищем грязь с лаптей, перекрестился на швейную машину Зингера.

— Здравствуйте вам.

— Здравствуй, коль не шутишь,— не оборачиваясь, ответил стрелочник.

— Здорово, корова, где твой бык,— сказал сторож.

Мужик ухмыльнулся.

— Поезд из Белой Церковы скоро будет?

— Тебе, может, из Америки? От самого Генрих Смит-компания?

Приезжий еще шире ухмыльнулся.

— Кроме шуток — скоро?

— На лето об эту пору! — сторож прищелкнул языком.

Распоясавшись, мужик снял мокрую свиту, садясь на лавку.

Сторож и стрелочник ушли в дворянскую. Опять спорили о курах.

— Служишь тут или за кем приехал? — обратился мужик ко мне.

— Пришел узнать подробности.

Он весело затряс мочальной бородой.

— Осень — матушка!.. Без работы скучно!.. У нас

в Застрялове не хуже этого, как вечер, только и музыки, что подробности: плетут не знамо что!.. Другой раз засидишься, лампа карасину выгорит...

— Я про другое.

— Тут, конечно, разговор другой: чугунка рядом, бряхни всякой — сила!.. Не скоро еще с Белой Церковы, не знаешь?

— Не дождешься, земляк: забастовка, поезда не ходят.

— Ври больше! — воскликнул он, прискакивая с лавки.

— Не ходят, хоть кого спроси.

— И с Белой Церковы?

— Со всех местов не ходят.

Мужик, как заяц, зашевелил верхней губой, заморгал, постукивая кнутовищем об онучу.

— Мать честная, как же мне быть-то, а?

— А что?

— А что, а что!.. — вскипулся он на меня.— Я из Застрялова, ай нет?

— Ну, так что ж?

— Сто!.. Чертей тебе сто в затылок!.. Сто с четью верст гнал, понял?.. А-а, чтоб вас лихоманка задушила!.. Еще спрашивает: «А что ж?» Вы тут крутитесь, как волки, а мне горе.

— Не скули. Встречать, что ли, кого приехал?

— Нет, разгуливаю!.. Прохлаждение вида собираю!.. Сын со службы должен быть... Тыщи верст! — Он с испугом поднял грязный палец вверх. — Тыщи, это тебе не что-нибудь!.. А-а, будь она проклята, забастовка ваша чертова!.. Машины, что ли, не в порядке, али как?

— Рабочие бунтуют!

— Что-о? — Брови мужика, как черви, изогнулись, из морщин на лбу образовалась расплывчатая буква «м», тупо прищуренными водянисто-серыми глазами он смотрел в лицо мне.— Это как же, например, бунтуют?

— А так, не слушаются начальства, бросили работы, остановили железную дорогу.

— Почему так?

В голосе проезжего, в глазах уже проскальзывала явная злоба ко мне.

— Хотят, чтобы в России были лучшие порядки...

— В какой это Расеи?

— В нашей, где живем.

— А я при чем? — закричал мужик, вскакивая.—

А если ко мне сын идет на побывку, а я не могу его дождаться?.. Бить их некому, мошенников!..

Из боковой комнаты в зал просунул голову начальник.

— Что вы тут орете? Там больной ребенок.

На нем форменная тужурка с малиновыми кантами, надетая поверх ночной сорочки. Распухшая правая щека подвязана носовым платком. Лицо желтое, кислое, небритое.

Мужик сдернул шапку, подбегая к нему.

— Дурака они из меня строят, ваша милость. Не придет, говорят, машина с Белой Церковы, а ко мне сын должен быть в побывку, купил вина, овцу зарезал... Тыщи верст!.. Сто с четью ехал... Грязь-то!.. Лошадь измоталась, запряги-ка вас по этакой дороге!.. Не придет!.. Это как же не придет — у меня письмо от сына!..

— Василий,— не обращая на мужика внимания, тоскливо протянул начальник,— что ж ты, братец, самовар-то, а? Опять забыл?

Прикрыв глаза, потягиваясь, он протяжно зевнул; мужик, продолжавший жаловаться ему на забастовщиков, смолк, почесался и тоже зевнул; за ними — я.

— Сейчас, Роман Петрович,— отозвался сторож из дворянской.— В одночасье!..

Со двора вошла большая пегая собака. С боков и пушистого хвоста ее текла вода.

— Султан, зачем? Пошел вон! — вяло пробрюзжал начальник.— Ишь, сколько грязи натащил!.. Пошел, пошел!..

Собака легла на живот и поползла к ногам начальника, заглядывая ему в глаза и хлопая, как вальком, мокрым хвостом по полу.

— Ну, будет, нечего!.. Пошел отсюда! — осторожно отстраняя ее, настаивал начальник.

Собака повернулась на спину, махая лапами.

— Ишь ты как, сатана, ластится! — громко засмеялся мужик.— Что твой человек!..

Сторож поставил около грубки нечищеный, с прозеленью самовар; сняв с ноги сапог, стал с ожесточением раздувать им.

Начальник зевнул еще раз, почесал волосатую грудь, поправил объявление Шустова.

— Гвоздик бы тут надо... Василий, прибей еще один гвоздик.

Вперевалку, загребая драными туфлями, он направился к дверям.

— Как же мне быть-то, ваше благородие? — подскочил к нему мужик. За мужиком — собака.— Ждать или не надо?

— Не ходят поезда-то. Если хочешь, жди.

— Докуда?

— А я почем знаю!

Начальник хлопнул дверью.

Сторож, фыркая, отбросил сапог, наставил трубу, сел у самовара на корточки, вертя из телеграфного бланка «собачью ножку». Долго, упрямо пыхтел, зажигая через самоварную решетку лучину, чтобы закурить, не зажег и злобно выругался.

— Тебе кого же из Белой Церквы? — спросил он, шаркая о колено мокрым серником.

— Сына жду в побывку... Шестнадцатой роты его величества ефретер,— с готовностью ответил мужик.

— Ишь ты как! Я тоже служил в Белой Церкве... младший унтер-фцер... Только в девятой роте... Там поляков много...

— Вот, вот!.. И он нам то же самое: жиды да поляки, жиды да поляки... Поди, знал Васютку-то нашего? Василий Голубев... По батюшке — Назарыч...

— Нет, я давно... с девяносто третьего...

Сторож походил взад-вперед по залу, заметив собаку, презрительно сдвинул брови.

— Растянулась, купчиха!.. Султан!..

Собака завиляла хвостом.

— Нежишься?

Сторож больно ткнул ее сапогом под скулы. Та пронзительно взвыла, подняв морду вверх, и полезла под лавку, а сторож удивленно спрашивал:

— Ну, чего ты, дура? Замолчи сейчас же!

Обратившись к мужику, он предложил, указывая на десятичные весы в углу:

— Хочешь, узнаем, сколько в тебе весу? Становись вот на это место.

— Нам это ни к чему! — раздраженно сказал тот.

— Понимаешь ты черта лысого, дурак,— ответил сторож.

Собака продолжала тихонько выть.

— Брось, убил, что ли? — с упреком обернулся он к собаке.— Стерва! Тронуть нельзя, избалованную!..

И вот что-то глухо загудело, потом раздались тревож-

ные свистки паровоза, в телеграфной комнате мелко, испуганно затараторил колокольчик.

— «Не придет! Не жди!» — крикнул, передразнивая нас, мужик.— На дурака напали! Так я вам и поверил, бряхунам!

Он опрометью бросился к дверям, а вслед за ним испуганно вскочили остальные, будто в том, что идет поезд, было не обыкновенное, привычное, повседневное, надоевшее, а что-то из ряда вон выходящее, жутко радостное, большое.

Беспокойной группой люди сбились на платформе, жадно, с вытянутыми лицами глядя вперед на штабель дров, в открытое поле, на быстро увеличивающуюся черную точку, выползавшую из серой мглы. Держа под мышкою сигнальные флажки, без фуражки, со сбитой за ухо повязкою, по платформе метался начальник. Молодой безусый телеграфист то выбегал на улицу, то прятался в дежурной комнате; второй — постарше, рыжий, с бакенбардами — суетливо выбивал в окне заржавевшие болты.

— Комиссаров! Комиссаров! Подтолкни, пожалуйста, с платформы!.. Стой, бьешь по пальцу!.. Стой же, болван! Комиссаров!

Спотыкаясь о шпалы, на пост бежал стрелочник. Сторож, вцепившись обеими руками в семафорный рычаг, замер.

Свистки, совсем близкие, стали непрерывными.

— Один паровоз!..

— Разведочный!..

— Будто с вагонами!..

— Оди-ин!..

Задрожали стекла, заходила, запрыгала деревянная платформа. У трубы на черном, блестящем от дождя хребте котла развевалось красное знамя.

— Това-рищи! — молодо, звонко, захлебываясь, крикнул кто-то с тендера, мелькнуло несколько веселых, улыбающихся лиц, трепыхнулось белое — платок или бумага, паровоз пронзительно засвистел, и все, как сон, пропало, только в ушах продолжало сладко звенеть это сильное, молодое, радостное: това-рищи!..

Не знаю — как, не помню — почему, откуда — в грудь хлынули восторг, какие-то слова, какая-то кровная близость к людям.

— Братцы! — закричал я, хватая за руку безусого телеграфиста.— Братцы!..

А он — светлый — стоит с широко открытыми глазами, и чувствуется, что и в его душе этот крик неизвестного человека с паровоза родил тот же восторг, ту же радость.

— Товарищи! — взмахнув руками, не голосом, а сердцем, самым лучшим, святым и тайным, отозвался он и молодо, счастливо засмеялся.

И когда я оглянулся на других, то увидел, что нет уже, умерло — может быть, только для этого момента, а может быть, навсегда — умерло будничное, жалкое, надоевшее; умер начальник с зубной болью, больными детьми, тупой, скверно оплачиваемой службой; умер щипаный мужик — злой, всего боящийся, неопрятный, нищий; умер сторож и его породистые куры; умерло прошлое. Передо мною стояли, крепко пожимая друг другу и мне руки, люди!..

II

Еще рано, молочнеет утро, мы только что позавтракали. Я чиню за столом полушубок. Прибежала запыхавшаяся теща.

— А ты, сынок, послушай только! — Машет мне руками. Космы растрепаны. Глаза блестят.— Антихрист-то ведь взаправду народился в городе!..

Теща словно выскочила из горячей бани.

Мать оставила донце с посконью, положила на окно веретено, как лиса, настораживается:

— Про что ты, сватьюшка?

Теща залилась валдайцем:

— Бабы на колодце болтают: антихрист народился... Надсмехались над Трофимкой-то, ан вышла правда!.. Которые его верные слуги, печать накладыват, кто от веры не откачивается, мучит... Неужто, матушка, до нас дойдет?

— Вас первых будет драть,— серьезно говорит отец,— в писанье сказано: уже если антихрист, то на бабью погибель.

Теща испуганно глядит на меня.

— Верно, верно! — смеюсь я.— Мы вот недавно с отцом вычитали в часослове.

Мать говорит:

— Они всегда этак, мужики-то... А потом, к чему дело, утихнут, недоверчивые...

— А то что же, стало быть, истинная правда,— сложив блинчиками губы, набожно поддакивает теща.

Вошла Мотя. Посмотрела молча на работу.

— Полушубочек чинишь?

Отвернулась.

— Как там Прохор, жив-здоров? — спросила у старухи.

— Какое там жив-здоров? По улице пройти нельзя: всякая затычка хает: сын-то, бат, твой арестанец!.. Нажила беду на старости годов!..

— Он — не вор, чего ты плачешь? — перебила ее сестра.— Поди-ка, брат, на минутку.

Мотя вышла в сени. Там, сжав мои руки, зашептала:

— Стыдно тебе, стыдно, парень бравый!.. Полушубочки-то бросил бы чинить!..

— Матреша, милая, что же делать?

Сестра удивленно поглядела на меня.

— Не знаешь, что де-лать?

— Мы каждый день собираемся, ты же знаешь!.. Толкуем, горячимся, а что пользы?.. Ведь я не один!.. Если бы в город можно, мы же ничего не знаем!..

— Придумывай, а полушубочки брось!.. Растяпы, только языком любите трепать!.. Сознательный! Эх вы, Аники-воины!..

Она с презрительной злостью метнула на меня глазами; порывисто оправив выбившиеся из-под платка волосы, вышла на улицу. Я стоял как оплеванный.

— Сходил бы ты хоть к своему святому-то,— воротилась Мотя.— Авось ноги не отвалятся!..

Я пошел в Захаровку, к Илье Микитичу.

Раздор в группе за последнее время участился, все обвиняли меня, что я, затеяв дело, испугался, оттягиваю, распускаю слюни, говорю ни к черту не нужные слова о каком-то единении всех, когда и так едины; кроме Лопатина, горячо поддерживавшего меня, не с кем было сказать слова, посоветоваться, все на меня кричали, высмеивали на каждом шагу. Шахтер с Денискою целыми днями пропадали, все время о чем-то шушукались между собой, избегая меня; у Штундиста умерла мать, остальные метались как полоумные, приставали с дурацкими вопросами друг к другу, грызлись и — как все — бездействовали.

В избе Ильи Микитича сидело человек двадцать мужиков. На столе — раскрытая на пророчестве Исаии библия.

— «Народ мой! — громко читал Лопатин. Он умыт, причесан, в полотняной, с вышивкой по вороту, рубахе, сидит в переднем углу, а на полу, по лавкам, даже на печи — всклокоченные бороды, возбужденные глаза, грязно-красные плеши.— Народ мой! Восстал господь на

суд и стоит, чтобы судить народы. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных? — говорит господь бог Саваоф...»

Увидя меня, Микитич кивнул головою:

— Сейчас, Петрович, еще надо одно местечко прочитать. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззакония их... Шакалы будут выть в чертогах их!..»

Все внимательно слушали его; лица были суровы.

— Меняются, сказать, времена-то,— вымолвил седой грузный старик с окладистой бородой.— Полста лет, сказать, нас батогами били, а теперь...

Отодвинув библию, Лопатин стал рассказывать о забастовке. Слушатели прильнули к нему еще плотнее, стараясь не проронить ни одного слова.

В середине речи молодой белобрысый парень со вздернутым широким носом и пухло-румяными щеками перебил Микитича:

— Все это у тебя выходит правда,— наставляя Лопатину палец в грудь, проговорил он,— но как мы очень одинокий народ, то ты, например, об этом помнишь, ай забыл?

Илья Микитич экивоками, чтобы не запутаться и не выболтать лишнего, рассказал, что это только так думается, что мы одиноки, что в городе много людей, которые идут заодно с нами, черными, со всеми теми, кто в поте лица своего зарабатывает хлеб, для кого каждая копейка — частица его крови.

Почин Лопатина — собирать мужиков для собеседования — принес нам огромную пользу. На следующий же день мы устроили сходку у волости.

— Собираются господскую землю делить, есть такая бумага, пришла! — бегали по деревне мужики и бабы.— Всем надобно к волости!..

— В городах-то будто поделили уж!..

— А как — на живые, али только на мужиковские души?

— Разговор идет, что на живые, по едокам. Ведите ребятишек, чай, спрашивать будут — у кого сколько.

— Ваньтю бы надобно спросить? Куда он делся? Экий крученый, право слово!

— Ваньтя побежал встречать студентов. Студенты хлынули.

Первым говорил на сходке Илья Микитич. Мужики не слушали, искали глазами студентов. Кричали Лопатину:

— Переходил бы ты, Илюха, лучше опять в нашу православную веру, да право!

— А то, к слову, в библию глядит, а лба не крестит!

Толпа шумела. Красные, возбужденные лица пронизывали Микитича сотнями испытующих взглядов, а он стоял на приступке крыльца, радостный, светлый, едва успевая отвечать.

После Лопатина говорил я. Пришло в голову: нарисовать картину крестьянской жизни с бесправием, нуждой, беспомощностью.

Но с первых же слов меня перебили.

— Ты бы, Иван, помолчал об этом! Мы ведь и сами знаем, какая наша жизнь!

Я стал говорить о богатых — запутался.

Тогда выскочил Алеша Хрусталев, сосед мой, взобрался на крыльцо и, размахивая шапкой, стал просить, чтобы замолчали. Мне сказал:

— Подожди, кум, одну минутку, мы сейчас дело наладим.

— Старики, это нам не известно, откуда к нам прилетают подметные письма, которые пишут студенты, но читать мы их читали... Те же самые слова говорил Лопатин-разновер и Ванюшка, верно?

— Верно.

— Неужто мы не знаем своей жизни?

— Знаем.

— А как живут другие — тоже не знаем?

— Тоже знаем!

— Значит, вякать об этом нечего!

— Вестимо!

— Ну, теперь, Петрович, становись и расскажи нам чего-нибудь, как быть на белом свете. Кричи шибче, чтобы все слышали,— обернулся ко мне Алеша.

— Я скажу,— громко отозвался кто-то из толпы.— Меня послушайте: я все знаю.

Все обернулись на голос, а шахтер, расталкивая толпу, уже лез на крыльцо.

— Тиш-ше!

— Удалить старшину и писаря! — махнул рукою Петя.— Долой их к черту, вредоносов!..

— Долой!.. Гони в шею!..

Писарь виновато жался у притолоки.

— Уходи! — сказал ему шахтер.

Писарь переступил с ноги на ногу.

— Подлец! — исступленно заорал шахтер, бросаясь на него с кулаками.— Хам! Над братьями смеешься, сволочь!

Старшина убрался раньше писаря.

— Баб долой! — крикнул Петруха.

Прогнали баб.

— Урядника!

— Я по долгу службы.

— Все равно уходи, нас это не касается.

Шахтер был бледен, губы его вздрагивали, волосатые крепкие руки сжимались в кулаки. Бросая в толпу бессвязные слова, перемешанные с бранью, он метался, рвал на себе одежду, упрашивал стоять грудью за правду. Лицо подергивала судорога, глаза помутнели, как у пьяного.

Будто из-под земли, с ним рядом вырос Дениска, еще какие-то. Дениска скалил белые зубы, рыжие вихры его топорщились, сбивая на затылок шапку, он нахально смеялся в лицо мужикам.

Лопатин, не менее Петруши возбужденный, отвел меня в сторону и сказал:

— Петруха прав. Надо действовать.

— Действовать? — растерялся я.

Он значительно и сурово посмотрел на меня и потупил глаза.

— Пришла пора...

Стиснув зубы, чтобы не выдать волнения, я поспешно замешался в толпе.

— Вечером у тебя... Убери стариков! — нагнал Лопатин.— Чуешь?

— Да-да...

III

С вечера ударил мороз, земля стала звонкой, а воздух после гнилого ненастья — легким, прозрачным, бодрящим.

Из-за разорванных облаков радужными снопами брызнуло солнце. Все зацвело, заискрилось.

Я собирался в имение.

Со двора вошла Настя с подойником.

— Там тебя какой-то человек спрашивает.

В широкой черной шляпе, надвинутой на самые уши, в драповом пальто с короткими рукавами и стоптанных, с чужой ноги, сапогах на пороге стоял Дмитрий, горожанин.

— Вы, товарищ! — с удивлением воскликнул я.

Дмитрий вздрогнул, но, узнав меня, бросился на шею.

— Поздравляю! Поздравляю!..

Всегда сдержанный, сухой, немного черствый, он небрежно бросил под иконы большой сверток в кубовом платке.

— Это, может быть, снести куда? — кивнул я на сверток.

— Ничего, пускай лежит, теперь все можно,— весело отозвался Дмитрий.— Читали манифест?

— Манифест?

— Ну да! Разве вы еще не знаете?

Достав из свертка номер газеты, он подал мне.

— Читайте вслух.

— Новая жизнь начинается!..— звенели в моих ушах обрывки речи горожанина, обращавшегося то ко мне, то к матери с отцом, то к Насте.— Великий акт, переживаемый единожды каждым народом!.. Да здравствует свобода! Алтарь любви!.. Единицы-страстотерпцы... Ответственность перед страной и перед будущими поколениями!.. Свобода распустилась гроздьями!.. Свобода — солнце!..

Глаза Дмитрия разгорелись, на бледном лице выступила краска, лоб вспотел.

— Вот так лупит! — изумленно проговорил отец, оглядываясь на меня.— Наговорил целую кучу!.. Откуда что берется?.. Как там у вас в городе — не слышно, почем идет мука?

Я дернул отца за рукав, он удивленно уставился в лицо мне.

— Ты что дергаешь? Хлеб-то, чай, все едят!

Горожанин оборвал, смущенно засмеялся.

— Ты, видно, милый, из стюдентов? — бросая горшки, подошла к нему мать.— Говорить шибко любишь: та-та-та, та-та-та, вышла кошка за кота!..

Она весело залилась над своими словами, заглядывая Дмитрию в глаза.

— Лез бы, деточка, на печь: нынче холодно, а одежонка-то на тебе не добрая. Полезай, желанный, не упрямься — там хошь грязно, да тепло зимой-то: как в раю, лежишь!..

— Нет, бабушка, спасибо, я не смерз,— не зная, издеваются над ним, не понимают или от доброго сердца жалеют, моргал глазами Дмитрий.

— Ну, не хочешь — твое дело... Сейчас молодуха чайку погреет... Непривычны, поди, к нашей жизни-то? У нас серо!..

Я отогнал от приезжего мать, велел Насте следить, чтобы она опять не подскочила, сам побежал за товарищами.

Изба через минуту наполнилась. Рылов поехал верхом за Лопатиным в Захаровку, за Калинычем — в Зазубрино. Возвратившись, вызвал меня в сени.

— Гляди-ка, Петрович, что там делается!..— схватил он меня за руку.

— Где?

— Там,— ткнул Рылов на Захаровку.— И там,— ткнул он на Зазубрино.— И по другим деревням!..— Рылов сделал полукруг рукою.— Собрание было у Микитича!.. Вся Захаровка!.. Стар и млад!.. Илья Микитич все говорит, руками в обе стороны размахивает, цепляет себя за волосья, и библия перед ним разложена... А мужики будто напились вина... Выбрали нового старосту, судьев, казначея... Теперь, бат, никому не хотим кланяться, будем, бат, жить своим порядком...

Я посвистел.

— Это еще не все! — воскликнул, захлебываясь, Рылов.— Затевают чище!..

Едва переводя от волнения дух, он шептал мне на ухо:

— В именье нынче ночью собираются...

— Лопатин?

— Он!.. Я же говорил тебе: как глумной, волосья на себе дерет!.. А у нас, Иван Петрович, когда?

— Вот послушаем гостя. Обожди... Узнаем, что в городе... Должно быть, и нам не миновать...

— Миновать никак нельзя, Петрович!.. Если миновать, так я лучше к шахтеру перейду в компанию не то к захаровским...

— Ты дурак, Рылов!

— Мы все будем дураки, Петрович, если миновать!..

Мальчишка упрямо наморщил лоб.

Лопатин приехал вместе с новым своим старостой, тем белобрысым парнем, которого я на днях видел у него, и двумя стариками — выборными.

— Пожалуйте, ребятушки, милости вас просим, — говорил я им, таща Лопатина в сторону. — Зачем ты их приволок? Они — не к месту.

— К месту! К месту! — скороговоркою ответил он. — Теперь все к месту... Голубята, лезьте в избу-то!..

Седобородые, шестидесяти-семидесятилетние «голубята», стуча батогами, полезли в избу.

Еще больше я удивился, увидя Калиныча с казенной бляхой. Вошел в избу важный, как губернатор, борода расчесана на две половинки, из-под свиты выглядывает праздничная, еще ни разу не стиранная рубаха, рожа — как луженая.

— Лукьян, чего ты надумал? — засмеялся я.

Калиныч вопросительно поднял брови.

— Медаль-то! — кивнул я на грудь.

Высморкавшись в полу и степенно разгладив бороду, он торжественно ответил:

— Мир велел мне быть старостой.

— Вот черти! — воскликнул Трынка. — Напропалую народ осмелел!

— Черти не черти, — сказал ему Калиныч, — а дело сделано, и на другой манер не желаем...

— Ну, как? Вы уже готовы? — подскочил к нему шахтер.

— Все исполнено, — ответил за Калиныча его провожатый — новый мирской сотский Павел Кузьмич Хлебопеков.

— Вот и здорово!.. Стараетесь лучше наших губошлепов!.. Вечером приду к вам!

Сотский искоса поглядел на Петю, недовольно проворчав:

— Дорога не заказана.

— Это — наш, — сказал Калиныч про шахтера.

Сотский расплылся в улыбку.

— Коли охота, с нашим удовольствием... Всем гостям будем рады... Тебя еще ни на какую должность не выбрали?

— Нет, я сам, брат, не желаю... Меня уже упрашивали... Должность — это глупое дело.

— Отчего же, я вот, к примеру, сотский числюсь...

Последнею вошла Мотя. Ни с кем не поздоровавшись, не поднимая глаз, она прошла меж гудевших мужиков к лежанке, крепко поцеловала Настю, издали кивнула головой матери.

Товарищ Дмитрий, уже приготовивший газету с манифестом, ждал, наблюдая за публикой.

Когда все собрались, он прочитал манифест, но члены братства, так же, как и я, как отец, Настя, не разделяли его восторга. Думая, что манифеста никто не понял, Дмитрий стал говорить о высоком значении свободы слова, собраний, союзов, о том новом, что внесет он в жизнь

русского народа, но все, будто заранее сговорившись, упорно молчали.

Тогда горожанин начал сызнова, приноравливаясь к крестьянскому разговору.

— Кабы стриженая барышня приехала, а этот чего-то лотошит, а без толку, — прошептал мне на ухо Васин.

— Прислали на кой-то ляд облупленного!..

— Мы, товарищ, поняли вас... — перебил я горожанина,— между нами нет ни одного, не согласного с вами.

Дмитрий еще хуже сконфузился.

— Мне лестно бы знать ваше мнение, ведь вы — главная сила.

Выскочил шахтер.

— Надо что-нибудь устроить, чтобы дым коромыслом пошел!..

— Зачем же дым? — поднял глаза товарищ Дмитрий.— Надо вообще работать: манифест открывает широкое поле деятельности...

— Поле!.. А про поле-то как раз ни слова! — закричали все разом.

— Чертова музыка — разговоры ваши! — выскочил шахтеров прихвостень — Дениска. — Лупи, кому сколько влезет!..

— Эх, Денис, Денис! — сокрушенно покачал головой Богач. — Лучше бы слушал, что другие говорят, дурак великий!

— Почему дурак? — опешил Дениска.

— Да еще полоротый, — сказал Александр Николаевич.

Парень обиделся.

— Ты не порочь меня при чужом человеке, — ощетинился он, — что ты мне — отец?

— Я тебе не отец, — ответил Богач, — а товарищ, а, между прочим, по летам гожусь и в отцы.

— Заскрипели! — оборвал их шахтер.

Дмитрий наблюдал.

— А вы, братцы, как думаете насчет манифеста? — обратился он к компании мужиков, молчаливо сидевшей в углу.

— Ведь вот был разговор, что про землишку изъян, — ответил Колоухий.

Протискался Калиныч к столу.

— Как меня мир избрал старостой, а которого преж-

него сместил, то я должен высказать вам... — Лукьян вытянул руки по швам. — Первым делом — мы народ бедный, вторым делом — у нас ничего нет, четвертым...

— Третьим, а не четвертым...

— Третьим — у богатых много всего, четвертым — без земли не обойдешься...

Сказал и отошел к окну, вытирая шапкою пот с лица.

— Молодец, Лукьянушка, как псалтырь отчехвостил! — шепнул ему приятель.— И все — истинная правда, как перед богом.

Калиныч просиял.

— Это я еще без привычки, — сказал он, — вот наблошнюсь немного, лучше выскажу.

В избу вошел дядя Саша, Астатуй Лебастарный.

— Эге народу-то: не прошибешь пушкой! — воскликнул он, щурясь.

Все примолкли.

— Как ты поживаешь, дядюня? — спросил я. — Ты зачем к нам?

— Мы-то? — засмеялся старичонка. — День да ночь — и сутки прочь!.. Жизнь наша известная. Солдаты в экономию пришли.

— Солдаты? — повскакали с мест товарищи.

— Да, с ружьями... Идут по дороге-то и песни распевают, такие потешные!..

IV

Никто не созывал народ, никто не говорил о том, что к нам приехал горожанин. Повинуясь необъяснимой внутренней силе, какому-то душевному велению быть вместе, люди сами шли на улицу, на мир. Огромная площадь перед волостным правлением запрудилась осташковцами и жителями окрестных деревень.

— Прислали за оратором!.. Веди, Иван, своего гостя к волости, — вбежал в избу Остафий Воробьев. — Народ мечется, манифест, бат, об земле вышел.

Нас встретили без шапок. На крыльце, на том месте, где должен был стоять товарищ Дмитрий, разостлали ковер, начальству приказали скрыться.

Прошли у горожанина робость, недоумение, сами собой вылетели из головы, забылись перед этим морем людей «великие, единожды переживаемые акты», взволнованный жадными глазами, серо-землистыми лицами, он

говорил просто, понятно, сердцем. Вытянув сухие шеи, как цыплята к квочке, жались к нему мужики, смотря неотрывно в рот и глаза.

Солнце зашло, брызнув последними искрами в лица. Мягким саваном легла на землю предвечерняя мгла.

При свете лампы был составлен приговор о присоединении к всероссийскому Крестьянскому союзу. Один по одному проходили мужики подписываться. Беря заскорузлыми руками перо, глубоко макали его в чернильницу, рассматривали на свет.

— Где писать-то, — спрашивали они, любовно глядя на бумагу, — тут али тут? Не обмишулиться бы!

— Кабы палицей или цепом писать, это — наше дело.

Лист за листом покрывались каракулями, крестами, закорючками.

Несколько богатеев пошли домой: не захотели подписываться. Шахтер и слободские парни нагнали их и насильно подтащили к столу.

— Против мира? — злобно кричал шахтер.

Севостьян Притыкин — черноборсдый, высокого роста, плечистый мужик лет сорока восьми — досадливо отмахнулся от Петюхи.

— Н-не желаю! Нет таких законов, чтобы насильно!

Сзади его стоял Утенок, снохач, еще сзади — заверниховский Фарносый. Все трое упрямо глядели в землю.

— Подпишешься? — глухо спросил Петя у Притыкина.

— Нет.

Шахтер подошел вплотную.

— Подпишешься?

— Не подпишусь.

— Так на же!

Сцепив зубы, шахтер хляснул Притыкина по лицу. Тот екнул, хватаясь за подбородок: между пальцев брызнула густая черная кровь. Дениска сбил с ног Утенка, а зобастый рябой парень из Петрушиной дружины — Колобок — с одного удара опрокинул Фарносого.

— Июды!.. Перевертни!.. Воры!.. — ревела толпа, протягивая кулаки.

— Резать их! Как против всех, так таких резать!

Ошеломленный Дмитрий бросился к богатеям на выручку. Выплевывая кровь, они хрипели, прижимаясь к столу:

— Это что же, — разбой, смертоубийство? Это вы где такой закон взяли?

— Молчи! — визжал Дениска, отталкивая Дмитрия и хватая Фарносого за горло. — З-задушу, тварь несчастная!..

Подскочили Богач, Калиныч, Васин, штундистов отец — Кузьма, окружили избитых плотным кольцом; Лопатин уговаривал рассвирепевшего шахтера, товарищ Дмитрий — слободских парней, а другие держали за руки Дениску.

— Уймись, Денис, ты еще глуп, не надо!..

— Все меня за дурака считают! — разразившись злыми, нервными слезами, кричал он, вырываясь из рук. — З-заем, изменщики!..

Притыкина с приятелями увели домой. Мужики опять стали подписываться. Никто не расходился. Слободские парни, Дениска, шахтер, еще какие-то незнакомые парни шныряли по толпе, о чем-то таинственно шушукаясь.

Сделав знак Никитичу, я стал на кучу щебня, наблюдая за ними.

— Товарищ, подпишите и нас! — раздался сзади женский голос.

Около Дмитрия стояли Мотя, Настюша и Дарья Матвеевна — жена Алеши Хрусталева.

— Мужики подписываются, а бабе разве доли нет? — смущенно говорила Дарья. — Мы, чай, тоже люди...

— В блюде! — ухмыляется Мышонок.

— Подпиши, господин: Дарья Хрусталева, Настасья Володимерова, Матрена Сорочинская.

Дмитрий расплылся в радостную улыбку, суетливо расчищая место у стола.

— Сию минуточку!.. Сию минуточку!..

Стоящий рядом Алеша Хрусталев весело говорил:

— Это, землячок, наши бабы... Вот это вот — сестра Петровича, Матрена, а вот эта, молоденькая, — его жена Настасья Сергеевна, а круглолицая-то — моя баба, звать Дарьей... Вы что, беспортошные, себе земли и воли захотели?

— Заткнул бы рот-то, — сказала Мотя.

— Язык-то — словно помело в печи, трепло немытое! — набросилась на него Дарья. — Ужó-ка тресну тебя скалкой по лбу!..

— Хорошенько его, Матвеевна, озорника! Не подда-

вайся, — подзадоривали мужики.— Теперь свобода слова и союзов!..

Вслед за первыми тремя потянулись остальные бабы.

— Меня, господин, проставьте: Афросинья Маслова.

— Меня: Варвара Тряпицына.

— Меня: Надежда Грязных.

— Оксенья Красавина!..

Дарья бегала среди подруг, приказывая:

— Величайте: товарищ, не любит, если — господин, сурьезный... изобидеть может!..

Марья Спиридоновна Онучкина просила записать себя и шестилетнюю внучку Маришу.

— Куда ты ее, несмысла? — загалдели мужики.

— Ишь ты, вострые! — замахала руками Марья Спиридоновна. — Чай, землю-то на всех будут выдавать!.. Записывай, господин, не слушай дураков!..

Ее оттащили от стола.

Ночь была тихая, светлая, звездная. Ветер разогнал туман, и небо загорелось искрами. Легкий мороз приятно щипал уши и щеки, мелкою рябью бежал по спине.

— Пожа-ар! — крикнул вдруг кто-то пронзительно...

Толпа замерла, потом сразу шарахнулась и опять замерла, глядя на небо.

На севере, в стороне от Зазубрина, как вечерние блескавицы, робко рдело розовое зарево. Через несколько минут оно разрослось в яркое пламя, в небо роем пчел полетели искры.

— Ом-меты!..

— Скотный двор!..

— У Зюзина!..

— Царица матушка!

— У Тухлого!..

— Ом-меты!..

— У Зюзина!.. Гляди на Шевляки...

— Господи, Миколка-то мой там в работниках!.. Миколка-то!..

— А-а-а! — заревела и залаяла толпа, как дикое стадо, бросаясь вдоль деревни.

Ночь подхватила этот рев и вместе с топотом ног и пронзительным воем собак долго перебрасывала из конца в конец по Осташкову.

V

Набат раздался через полчаса, не более. Под окнами проскакал верховой.

— Скорее!.. Скорее!..

Ночь гудела и звала. Колокольный звон то замирал и таял, то стаей больших хищных птиц бился в стекла, надсадливо воя и царапаясь.

Проехал второй верховой с тем же кличем. Задребезжала телега.

Звонкий стук копыт и колес по промерзлой земле барабанною дробью несется по улице, удаляясь и замирая. Осколком тусклого бутылочного стекла выплыл матовый на ущербе месяц. Падает первый снежок.

Полночь, но окна у всех освещены, словно перед пасхой. Там и сям мелькают тени.

Настя, бледная как смерть, растерянно смотрит на меня, хочет сказать что-то и не смеет. Отец поспешно обувается, стуча локтями о ведро, стоящее на лавке. У ног его трется котенок; отец отшвыривает его ногой, котенок опять лезет.

Вдруг затряслось и застонало окно.

— Кой там черт? — испуганно закричал отец.

Голос его дрожит и срывается.

Под окном — Дениска.

— Не можешь, глумной, потише?

— Скорее!..

Накинув полушубок, отец засунул в рукав безмен.

— Не забудь и ты чего-нибудь, — бросает он на ходу.

А набат ревет и мечется как бешеный.

Приехал третий верховой, Рылов.

— Скорее, православные, скорее!

Полудетский, неокрепший голос его дребезжит и срывается.

В окно бьет полоса бледно-розового света, расцветает и переливчато искрится прилипшими к стеклу снежинками. Как на заре, краснеет улица.

— Ометы загорелись, живо! — хрипит Дениска, стуча в стену.

Подбежав к окну, я выглянул на улицу. За рекой, на помещичьих лугах, тремя яркими факелами полыхают стога сена. Крыши домов и сараев с молодым на них снегом порозовели, отодвинулись, поднялись выше. Летают голуби. В хлевах ревут коровы. Лошади рвутся на привя-

зи, гремят колодами. Из угла в угол шарахаются по двору овцы.

— Пошло! — говорит отец.

Мать затряслась, вцепившись в мой рукав, беспомощно повисла на нем. У нее раскрывается, как у рыбы, рот, безумно вращаются белки, клокочет в горле.

Отец выбежал из хаты.

Насильно разжав руку, я высвободился из объятий старухи и шагнул к дверям. От лежанки навстречу мне метнулась Настя, простирая руки. Собиралась что-то вымолвить, но запрыгали челюсти, заляскали зубы, лицо стало дергаться. Она сжалась вся и замерла, схватившись руками за ворот рубашки. Мать погналась за мной, ловя меня за сборки полушубка, но руки ее сорвались, и она упала на колени, обхватывая мои ноги, впиваясь ногтями в онучи.

Стук в окно, нетерпеливый и злой, повторился. К стеклу, оскалив зубы, прилипла расплющенная харя.

— Ухожу!.. Дьявол!.. Бабник!..

Осторожно отстранив мать, я выбежал из хаты, не оборачиваясь, не сказав ни слова.

Зарево над Зазубриным догорало. На западе, о бок с Мокрыми Выселками, рдело два новых.

— Захаровцы работают,— ржет Дениска, шагая мне навстречу. За плечами у него — ружье-дробовик, в руках увесистая палка.

— Где отец?

— Ушел. Пойдем скорее!.. Шахтер там, у церкви.

По улице скакали верховые, бегали темные фигуры мужиков. Звенели косы и вилы, голосили бабы, лаяли собаки. Дворов за двенадцать женский голос со слезами умолял:

— Андрюша, милый, воротись!.. Андрюша, касатенычек!..

— А пошла ты, мать, от меня к рожнам, пристала-а!..

— Воротись, разбойник, нехристь!.. Вороти-ись!..

— А я сказал: пошла ты, мать, к рожнам, не вякай!..

Свежими мазками крови отражается на лицах зарево. А набат все ревел, все звал, все настаивал.

Толпа у церкви стояла грозная, молчаливая, как будто притаившаяся. В центре ее колыхалась кривая жердь с красным платком.

Богач взошел на паперть, дернул колокольную веревку.

— Савоська, брось! — кричал он вверх.— Ну, чего ты зря лупишь? Слышишь ай нет? Баста!.. Саватей!..

— Ты что там говоришь? — послышалось с колокольни.

Над перилами склонилась голова.

— Брось, мол!.. Звякаешь, а ни к чему!..

— Разве уж собрался?

— Стал быть, уж собрались!

Звон прекратился.

— Все тут? — спросил шахтер, оглядывая толпу.

— Все! — нестройно отозвались мужики.

— Притыкин тут?

— В холодной.

— А другие?

— И другие в холодной.

— Урядника надо арестовать.

— С полден нету дома.

Голоса чужие.

По команде обнажились головы, и лица повернулись к церкви, осеняемые крестным знамением.

Медленно, нестройно толпа поползла по шаткому мосту через реку к имению князя Осташкова-Корытова.

Впереди — шахтер с ружьем через плечо, рядом с ним Дениска и слободские парни. Илья Барский, трехаршинный придурковатый мужчина с медвежьей силой, тащил через плечо оглоблю. Около него юлил Иван Брюханов, около Ивана—Безземельный, Ортюха-сапожник с ржавым кинжалом, которым он резал на поповке свиней, Федор Клаушкин, Хохол, Гришка Вершок-с-шапкой, Мымза, Рылов. Штундист с отцом и Колоухий шли шага на два поодаль. У всех в руках дубины или вилы. За ними, как рассвирепевшие быки, тянулись остальные. Земля гудела глухо. Сопели, кашляли. Осторожно разводили сцепившиеся косы.

У березовой аллеи, в полверсте от экономии, несколько человек шмыгнуло наутек. Их поймали, молча, тяжело избили и поставили впереди отряда. Илья Барский и Васин с дубинами в руках стали за их спинами. Так же молча они вытирали окровавленные лица, жадно глотали снег.

На углу помещичьего сада, у маленькой сторожки, толпа остановилась. Ортюха-сапожник, Савватей Петров — звонарь, Мышонок, Андреян Подскребкин, часть слободских парней бросились с топорами подрубать фруктовые деревья.

— К чему это? Прочь! — крикнул штундистов отец. — Озорники!..

— Не надо!.. Бросьте!.. — загудели в передних рядах.

— Руби!

— Ведь наше же будет!.. Повремените!..

— Руби!

— Не надо!.. Прикажи им, шахтер, перестать!.. Успеем порубить!

— Идите назад! — распорядился Петя.

Подожгли сторожку. Кто-то выбил в ней стекла. С треском полетели в ров рамы. Огонь будто не захотел разгораться, лениво облизывая застреху, где солома была посуше. Васька Шеин, гожий, выдернул несколько пылающих снопов и разбросал их по всей крыше. Сторожка запылала.

— Вот оно, вот!.. Ведь это наша силушка полыхает!.. Вот поглядите!.. — Около меня — дядя Саша, Астатуй Лебастарный — больной, издерганный, в поту. Руки его крепко сжимают шкворень. — Господи! Всё как неразумно!.. Вань, и ты тут стоишь? А? Ну-ка! Всё как неразумно!..

Пламя рубиновыми искрами отражается в его слезящихся глазах.

— Раз-зойдись!!! — хлестнула ночь всех по ушам.

На серой помещичьей кобыленке Ласке к толпе подскакал урядник.

Как потревоженные гуси, мужики подняли головы, нестройно загалдели, зазвенели косами.

— Это как же разойдись? Теперь свобода слова!..

— Р-разойдись! — надрывисто кричал полицейский, наезжая на толпу и размахивая нагайкой.

Он смертельно напуган беспорядками. Чтобы заглушить в себе дикий страх, урядник неистово орал, размахивал руками, дергал за уздцы взмыленную лошадь.

— Постой, Данил Акимыч, — сказал ему Богач, — не зявь, нам надобно арестовать тебя.

— Р-разойдись! — еще громче закричал урядник.

— Постой же, бестолковый!.. Нам надобно арестовать тебя!.. — с досадой повторил Александр Николаевич и, подойдя к нему, взял лошадь за уздцы.

— Робята, ссадите его, а то он ничего не смыслит!

Капрал, вцепившись в стремя, хотел стащить урядника с седла. Полицейский ударил каблуками лошадь под бока, та, храпя, взвилась на дыбы, но на морде ее повисло еще несколько рук. Тогда, взмахнув нагайкой, урядник хлест-

нул Капрала по лицу. Тот отскочил, хватаясь за щеку; мужики, державшие за поводья, бросились в толпу, а урядник, подъехав к самой избушке, выпучил глаза, бессмысленно смотря поверх голов. Объятая огнем, сторожка освещала его горбатый нос, обвислые русые усы, продолговатый шрам под левым глазом.

— Р-разойд-дись!..

Шахтер приложил к плечу ружье, пристально целясь. Урядник смолк, с ужасом глядя в дуло. Раскрытый рот его ловил воздух, руки путались в лошадиной гриве, корпус подался вперед, словно он нарочно подставлял свою грудь под выстрел.

Секунды безмолвия были длинными, мучительными.

Петя выстрелил в лицо. Урядник взмахнул руками, несколько мгновений качался в седле, потом глухо, как мешок, ударился об землю, но не вскрикнув, не застонав.

— Разойдись! — бешено засмеялся шахтер, сжимая ствол ружья обеими руками.

— Р-разойдись! — как эхо, повторил Дениска и... замер, глядя на дергающееся тело урядника.

— О господи! Богородица матушка... — среди всеобщей тишины пролепетал дядя Саша. — Упокой, господи, раба твоего Данилу...

Сняв шапку, он начал часто, бестолково креститься.

Толпа, не ждавшая такой развязки, ошеломленная, недоумевающая, будто вросшая в землю, с минуту стояла в полном оцепенении, потом сразу рванулась, завизжала, в ужасе запрыгала, мелко рассыпаясь по аллее.

— Вместе! — зычно крикнул Петя. — Стрелять буду, сволочи!..

Как покорное стадо овец, люди так же быстро собрались в кучу. Тяжело сопели, вздыхали, уставшие, потные.

— К дому!..

У палисадника встретил часовой. Он взял ружье наперевес, крича:

— Не подходить!.. Нельзя!..

Трехэтажный каменный дом, стоящий посредине старинного липового парка, окруженный чугунной решеткой, ярко освещен. Обитатели его не спят.

Солдат дал сигнальный выстрел, с боков и от подъезда ему ответили другие часовые. Часть мужиков разбежалась по парку. Часть бросилась к людской, где квартировали стражники.

Из караулки, смежной с домом, выскочило человек

двадцать солдат в боевой готовности. А из дома одновременно с ними — молодой, еще мальчик, офицер.

— Разойдись! — тонко закричал он, выхватывая на бегу револьвер. — Застрелю, прохвосты!..

Но никто не двигался.

— Грабители! Бунтовщики! Мерзавцы! — кричал он, становясь на носки.

Немая тишина глотала слабый голос, фонарь освещал взволнованное, в пятнах, лицо его и серую шинель.

Соображали. Боясь подойти, топтались на месте, вопросительно смотрели друг на друга.

Точно пьяный, из толпы выбрался Саша — Астатуй Лебастарный, растерянный, смешной.

— Пойдемте, робятушки, не бойтесь!.. — бормотал он, как во сне. — Пойдемте, милые!

Старик потерял шапку; седые, спутанные космы волос в беспорядке падали на лоб, закрывая глаза. Голова тряслась на тонкой шее.

Размахивая руками, как подбитыми крыльями птица, он крутился на одном месте, меж толпою мужиков и солдатами, подергивал плечами и хрипел:

— Пойдемте, что ли!.. Он пугает только!.. А?.. Чего там!.. Ладно!..

И снова взмахивал руками, качаясь и приседая, будто пьяный.

Потом по-детски неуверенно засеменил ногами, идя на солдата. Тот сжался, втянул голову в плечи, молчал, как завороженный. Астатуй отстранил его и стал перед офицером.

— На, стреляй в меня, — простонал он, раскрывая темную, впалую грудь. — Стреляй!

Офицер замер, как перед привидением. Дядя Саша впился в него глазами и вдруг, взвизгнув, со всей силы ударил шкворнем посредине лба.

— На, стреляй!

Офицер упал.

— Стреляй! — повторил старик, ударив его еще раз.

Толпа застыла, замерла. Застыли, замерли солдаты.

Из-за людской, где квартировали стражники, послышались вой и выстрелы. Толпа тоже завыла, бросаясь стеною на солдат, размахивая дубинами, цепляясь косами за деревья, спотыкаясь о клумбы, о корни.

Часовой у ограды, крепко сжимая ружье, ожидал. Вот мужики подскочили вплотную. Над головой его замель-

кали цепы и дубины. Солдат отбивался, фыркал, тяжело дыша, крутясь во все стороны. Федосей Зорин толкнул его длинной палкой в колено. Хохол задел цепом по плечу. Солдат дернул вверх ногу, будто попал в лужу, и, ступив шаг вперед, словно в рыхлое тесто, всадил штык в живот Поликарпа Солдаткина.

— Что ты делаешь? — жалобно вскрикнул Поликарп, выпуская из рук косу и хватая его за ружье. Потом громко икнул, наклонясь вперед, и упал солдату на руки.

Тот торопливо выдергивал штык, но подбежавший Безземельный раскроил ему топором плечо, ударил в голову, солдат без крика упал, а Безземельный, словно ополоумев, все крошил его — руки, грудь, живот...

Капрал и рыжеватый, с нашивками, солдат схватились за воротки. Оба хрипели, брызжа друг в друга слюною, оскалили зубы. Капрал поймал солдата за горло, но тот вырвался и ударил его наотмашь локтем в зубы. Капрал мотнул головой, упал на колени. Солдат ударил его кулаком по голове. Барахтаясь, Капрал схватил солдата за причинное место. Тот завыл, падая на землю. Подоспевший шахтер урядницкой шашкой разрубил солдату левую бровь, щеку, глаз. Капралу впопыхах Петя ранил руку выше локтя. Схватив еще трепыхавшееся тело за руки и за ноги, Капрал с Петей понесли его к чугунной изгороди палисадника, чтобы нанизать на острия, но подбежавший другой солдат проткнул Капрала штыком, не вынимая штыка, выстрелил и, смеясь и плача, стал топтать Капрала ногами.

Рядом молодой ефрейтор, присев на одно колено, стрелял в упор. Ефрейтор был спокоен, стреляя, держал в зубах наготове запасную обойму с патронами. Свалились Макар Бирюков, Иван Бабушкин, Иван Твердых, Иван Чалый, Власий Воеводин — Шельма-в-носу... Егор Луковицын, протягивая руки, хотел зацепить ефрейтора косой за шею, но сосед ефрейтора, татарин, расколол ему череп. Так, вытянув вперед руки, и свалился мужик, царапая ногтями ледок, захлебываясь собственной кровью. Ефрейтор же бросился на Илью Барского, который ураганом носился меж солдат с оглоблею в руках. Пуля пронизала Илье плечо, по рукаву его лилась кровь, но он и не чувствовал этого. Матерно ругаясь, Илья прыгнул на солдата. Тот подставил штык. Барский отскочил, забегая сбоку. На подмогу ему бежал запыхавшийся Васька Шеин, гожий.

— Это мой! — заревел Илья. — Не трогай!

Описав оглоблею круг, он пустил ее с лету в ефрейтора, но тот пригнулся, и оглобля сбила с ног крутившегося поблизости Ивана Брюханова.

— Своего! — с отчаянием воскликнул Барский.

Ефрейтор в это время выстрелил. Рядом с Ильей присел Сергун Малых, хватаясь за живот. Ефрейтор опять выстрелил: Василий Шеин, гожий, небрежно поклонился ему: изо рта его ключом хлынула кровь, и он плашмя ударился об землю. Барский заревел, как бык, и двинулся на солдата с вилами. Тот перевернул ружье и отбивался прикладом.

— Сожру! — хрипел Илья.

— Подавишься! — хрипел ефрейтор.

— Нет, не подавлюсь!

— Подавишься!..

Прыгнув на солдата, Барский получил оглушительный удар по голове, зашатался и упал на одно колено, но успел вцепиться ему в шинель, дернуть за ноги, подмять под себя. Упершись руками в грудь, он впился солдату в горло... Потом вытер окровавленные руки о шинель и сразу ослаб, сомлел, лег рядом с трупом отдыхать на холодной земле.

Солдаты, растянувшись цепью по дорожке за клумбами, стреляли пачками. В них летели поленья, камни, комья мерзлой земли.

Из ярко освещенного подъезда выскочил сын князя Осташкова — барчук Володя. Высоко держа над головой револьвер, он палил наугад, не целясь. К нему подскочил Дениска.

— Тебя-то мне и надо!

Метнул в него кирпичом.

Барчук выронил револьвер и погнался за Денискою. Тот пустился наутек, лукаво заманивая барчука подальше от солдат, но, споткнувшись, упал. Володя нагнулся над лежачим, хватая его за волосы.

— Вот тебе! Вот тебе!.. Я тебя знаю, ты — draловский!..

Подоспевший Ортюха-сапожник перерубил барчуку хребет топором, а солдат убил Ортюху.

У нас падало все больше и больше, а солдатам было хорошо за клумбами. Тогда Никита Пузырев, тоже солдат, пришедший из Варшавы на побывку, Петя-шахтер, Гришка Вершок-с-шапкой и Безземельный взобрались с ружь-

ями на деревья. Неожиданно грянул залп с другой стороны, оттуда, где наши баталились со стражниками. Солдаты заметались в мертвом кольце: куда ни кинутся, их везде бьют. Они закричали:

— Братцы, пожалейте!

Бросая ружья, поднимали руки вверх, а их все били, били, не будучи в силах остановиться, укротить себя, до тех пор пока те не начали падать на колени, умоляя пощадить во имя бога.

Здоровых и раненых, их вместе с десятком стражников загнали в погреб, к дверям приставили караул.

На пороге гостиной встретился старый барин с револьвером в руках. Кто-то ударил его палкою по голове, барин свалился и пополз под стол — жалкий, противный, беспомощный.

Разбежавшись по комнатам, все на минуту замерли. Всюду — громадные зеркала, цветы, фарфор, люстры, бронза, мрамор, обитая плюшем мебель.

Мужики ходили на цыпочках, тихонько притрагиваясь к вещам. Отвернув одеяла, заглядывали в постель, ощупывали портьеры, обои.

Увидав в спальне образ и лампаду, сняли шапки.

— Это я знаю, что такое, — сказал Колоухий, трогая скрипку. — Это — музыка.

Струны тихо отозвались.

— Ишь ты...

Из боковушки вышел старый-престарый лакей. Беззубый рот его вдавился, голова склонялась по привычке набок, непослушные ноги в сафьяновых туфлях еле волочились.

— Нанесло вас, дьяволов, — с глубокой ненавистью прошамкал он.

Мужики смущенно встали.

В раскрытых дверях комнаты мелькали тени. Ходили осташковцы, дивились невиданному богатству и роскоши, смотрелись в зеркало, шутливо примеривали друг на друге господские фуражки. Некоторые перевязывали тряпицами раны.

Вошел шахтер с винтовкой за плечами. Высокий, сухой, в косматой папахе, из-под которой лихорадочно горели глаза, он бегло осмотрел комнату, в которой мы были, выдавил на лице кривую улыбку.

— Заработали?.. Блаженствуете, сволочи?..

Сжимая руки, тихо вышел.

Загорелись кухня, людская и крупорушка за садом.

В дом ворвались слободские. За ними — оба Штундиста, отец и сын, Дениска, Фрол Застрехин, Трынка, дядя Саша — Астатуй.

Рвали ковры, подушки, картины, били посуду, зеркала, окна, ломали шкапы, статуэтки, мебель, хватали со столов безделушки, пряча в карманы, жадно ели белый хлеб, пили вино, рядились в барскую одежду, с проклятьем сбрасывая лохмотья.

Костюшка Васин с охапкой постельного белья бежал к дверям. Увидя на стене пестрый ковер, бросил простыни и наволочки и, вскочив на постель, стал сдирать. Белье схватил Ульяныч, мещанин-щетинник, неизвестно когда к нам приставший. Мишка Сорочинский переобувался из драных лаптей в охотничьи сапоги. Мышонок с любопытством рассматривал алебастрового амура, стоящего на камине. Повертел его, куда-то было понес, потом вернулся и с размаху ударил по клавишам рояля. Инструмент взвизгнул, заглушая топот и треск. Схватив медный канделябр, Мышонок начал колотить по роялю, дико, как сумасшедший, хохоча, и хохот его, и стон, и визг рояля метались по комнате, сливаясь в исступленную музыку. Богач с ненавистью отшвырнул Мышонка, а он сорвал с двери тяжелую портьеру и, завернувшись в нее, стал плясать, припевая:

Жили-были, да дожили...
Жили-были, да дожили!..

В столовой Мымза бил посуду. Голован с Рыболовом дрались из-за серебряной разливной ложки. Кузя Любавин бросал в окно книги.

Борис Горбушкин старательно сдирал со стен обои, следя за тем, чтобы не уцелело клочка.

— Помогай читать книги! — кричал ему Кузя.

Бегая по комнате с длинной трубкой в зубах, Илья Барский рычал, хватал стулья и швырял их в стены, прыгал, цепляясь руками за люстры, и звонкие, нежные хрусталики, как слезы, летели на загаженный пол. Принеся со двора лом, Илья перебил все уцелевшие статуэтки и принялся за камин.

Со стен кабинета срывали оружие; кухонными ножами и стамесками взламывали столы.

В дверях стоял шахтер и скалил зубы.

Я вышел на улицу.

Окруженный толпою мужиков, в прихожей стоял на коленях князь Осташков.

Саша Астатуй, наставляя в лицо его вилы, истошно кричал:

— Кланяйся мне в ноги!.. Кланяйся мне в ноги!.. Заколю!..

Помещик кланялся, сзади его били кулаками по затылку.

Протискался Барский.

— Это что у вас тут? А-а, козла защучили!..

Схватив князя за шиворот, заорал:

— Топить его!..

С гиком и бранью потащили топить.

Вода в пруду застыла. Сажени на полторы от берега прорубили прорубь и бросили в нее полумертвого от ужаса князя. Пруд был засоренный, мелкий, вода доходила только до пояса. Илья толкал голову Осташкова вниз, под лед, а он царапался и кусал Илью за руки, выл. Из-под холеных ногтей его сочилась кровь, лицо было покрыто кровоподтеками, ссадинами, синяками. Тогда лед прорубили в другом месте, где глубже. Выхватив у Дениски из рук рапиру, которую он стащил в кабинете, Барский, гогоча, взмахнул ею над головой помещика. Осташков выпучил глаза и окунулся. Рапира ударила по ноге Касьяна-сотского.

— Ах ты, стерва! — завыл Касьян, хватаясь за ногу.— Что ты мне наделал?

Толпа хохотала, улюлюкала, прыгала вокруг проруби. Всем понравилась затея Барского.

— Сторонись! — кричал он, замахиваясь рапирой.

Осташков окунулся и не показывался из воды.

— Эге, брат, так не годится, — загалдели мужики, вытаскивая его из проруби. — Такого уговору не было, чтобы нырять за раками!..

В доме его обули в лапти, на плечи набросили рваный зипун дяди Саши, а того нарядили в кучерскую бархатную безрукавку и шапку с павлиньим пером. Посадили помещика в навозную колымагу, запряженную пегой клячей, сунули старику лакею вожжи в руки.

— Поезжайте, куда угодно!..

Старая, больная лошадь захромала, судорожно закачалась — пары распускает! — и медленно потащила колымагу.

Толпа свистела.

Прибежал запыхавшийся Мухин.

— Барыню нашли в колоде!

Клячу остановили и привели растерянную толстую княгиню.

— Лезь!

Она села покорно.

— Трогай!

Колымага медленно поплелась, подскакивая на кочках, скрипя немазаными колесами.

Кто-то швырнул на колени Осташкова куделю фальшивых волос, в суматохе съехавшую с головы княгини.

Занималось утро.

Разбитую мебель, шкафы, матрацы, кухонные столы, расщепленные рамы складывали посредине комнаты, на пуки соломы и хвороста, поливая керосином.

Мужики с узлами барского добра неохотно выползали из кладовых, гардеробной, кабинета и спальни. Некоторые, бегав домой, возвращались с запряженными телегами и санями. Когда взошло яркое солнышко, дом пылал. Черновато-серыми клубами вырывался из разбитых окон густой дым, расстилался по парку, языки пламени жадно облизывали деревянные подоконники, притолоки, ставни, ползли по тяжелым занавескам, трепыхавшимся по ветру.

Со скотного двора раздавался рев телят и коров, визжали свиньи, кудахтали куры, блеяли овцы. Съехались гнило-болотовцы, черно-слободцы, покровичане. Хватая за рога скотину, тут же наспех рассекали топорами головы и, взвалив туши на сани, мчались домой. Резали телят и свиней, откручивали головы индюшкам, уткам, гусям, гонялись по двору за овцами.

У сбруйного сарая запрягали в рабочие розвальни помещичьих выездных лошадей,— а они не давались, их били, — нагружали розвальни плугами, боронами, косилками, сбруей. Из кузницы тащили инструменты, каменный уголь, железо в смоле, части машин.

Кто-то сзади зажег конский двор. Соломенная крыша запылала как костер. В стойлах поднялся рев, дикий топот, ржание, визг и грохот опрокидываемых яслей. Колоухий догадался растворить настежь конюшни. Выскочило стадо легких жеребят-стригунов. Описав по двору круг, они рванулись, храпя и поводя ушами, к воротам,

сбивая с ног толпившихся у входа. Замелькали пегие, гнедые, серые спины, тонкие, сухие ноги, нервные ноздри, благородный выгиб шей, и через минуту, как туча скворцов, легко и свободно перемахнув через глубокий овраг позади имения, жеребята понеслись на восток, в белеющее снежной пеленою поле. Из второй двери выскочили матки, из следующей — жеребцы-заводчики. Вращая налитыми кровью глазами, с плотно прижатыми к затылку ушами, они вихрем пронеслись мимо толпы, высоко подбрасывая копытами мерзлый навоз, скаля зубы.

Дороги от имения — на север и восток, на запад и юг — покрыты телегами, санями, пешеходами — с барским добром. Всюду гам, крик, суета, хохот, брань, прибаутки. Попадаются пьяные. А утро — веселое, ясное, розовое...

— Как же солдаты-то? — опомнились некоторые, глядя на пылающий дом. — Сгорят, поди!..

— Черт с ними, пускай горят!

— Нельзя же этак!.. Выпустить надо!..

Открыли двери подвала.

Толпа утомилась, стала равнодушной, серой. Среди стражников оказался односелец — Демид Сергачев. Безземельный предложил бросить его в огонь или повесить. Один по одному, вяло, будто спросонья, подходили к Сергачеву и плевали ему в лицо, тяжело били кулаками и палками, он ползал на коленях, хватался за ноги, просил прощения. Ему накинули на шею веревку, но брат Демида — Кирик, бывший здесь же, молил мужиков не губить его: у Демида четверо детей, ему, брату, придется тогда их кормить, а он — бедный; не по силам две семьи. Демида отпустили. Будто лунатик, бледный, с полуприкрытыми глазами, он пошел домой, в Осташково, шатаясь, охая, натыкаясь на деревья.

Тут же на земле валялись раненые и убитые, свои и чужие. Их семнадцать.

— Вы своих убирайте, а мы своих, — сказал я солдатам.

— Ладно, — согласился унтер-офицер,— вы своих, а мы своих.

Посмотрев кругом, он сморщился и заплакал, как малое дитя.

— Народу-то сколько загублено! — тоскливо воскликнул он, всплескивая руками. — Все мы свои!..

Васин привел запряженную лошадь. Положив в сани шесть трупов, сказал:

— Развози по домам.

Константин затрясся.

— Не могу!.. Силов нету... вези сам!..

VI

День — ясный, солнечный, веселый. Молодой снег искрится алмазами и серебром, деревья в инее. Розовыми столбами поднимается дым; у завалинок, в пушистом намете, барахтаются собаки.

С раннего утра на столе у нас самовар, но никто не завтракает. То и дело мимо окон проезжают нагруженные помещичьим хлебом и лесом подводы, доносится смех, хлопанье рукавиц, прибаутки. У Насти под глазами синие круги, мать молчалива.

— Дорвались свиньи до навоза, — раздраженно говорит отец, глядя на улицу. — Как-то будете расплачиваться за свободу!.. Ты, может, чего-нибудь тоже приволок? — кричит он на меня. — Чтоб духу не было!..

Еще в начале погрома он ушел домой и теперь ходит тучей.

— Ваньтя Брюханов умер, — говорит ни к кому не обращаясь, мать. — Исшел кровью.

На душе у меня отвратительно. Вспоминается мертвый барчук Володя, дикая сцена с помещиком, обезображенные трупы крестьян и солдат. Когда я развозил по домам убитых, старухи проклинали меня; одна из них плюнула мне в лицо.

— Подлец! — визжала она, когда я нес убитого в избу.— Сгубил мне сына!..

Злые мысли грызут сердце. Разве так нужно было делать, и разве этого с таким нетерпением и любовью мы ждали? Суетятся сейчас, жадничают, режут скот, зарывают награбленное в ометы и уже ссорятся из-за тряпки... Я чувствую себя виноватым перед ними, потому что не сумел я сказать им нужного слова, не нашел его.

Пришли Лебастарный, Богач, Костюха Васин, Паша Штундист, сестра. Сестра, по обыкновению, со втянутыми губами, как будто только что глотнула уксуса.

— Что нос повесил? Или лапти продал с убытком? — насмешливо спросила она.

— Довольно того, что вы теперь с прибылью, морды

кверху дерете, — ответил я и стал жаловаться, обвиняя крестьян во всем, что видел в них гадкого, подбирая выражения, которые могли бы больнее задеть их, унизить как последних людей. — По глазам вашим подлым вижу — рады, что Осташкова купали в проруби!.. Вам бы разрушать все, пакостить, а заново построить вы не можете!.. Куда вас деть таких!.. Зверье!..

Мотя порывисто поднялась с лавки, но, разгоряченный своими жалобами, я нетерпеливо махнул на нее рукою.

— Говорим: свобода! Ждали ее, как бога, а пришла — вымазали кровью!.. Наблудили, теперь хвосты между ног!.. Приедут солдаты, побежите прятаться, предадите друг друга, плакать будете, нас же с Галкиным проклинать!.. И ты, старый черт, такой же, а еще дядей мне приходишься, — сказал я Астатую. — Сатана ты корявая!

Отец, набросив полушубок, хлопнул дверью. Вошел Дениска в барском драповом пальто. Руки в карманах, ухмыляется.

— Теперь бы мне в пору жениться: обзаведенье в порядке!..

— Вот он, гад паршивый, — сказал я. — Зачем смеялся, когда шахтер урядника убивал?

— А что же мне — плакать?

— Урядник убит неизвестно кем! — закричали на меня мужики. — Ты не путай голову!..

— А ты, дядя Саша, еще крестился: упокой, господи, раба Данилу, а сам шкворнем. Бесстыжая твоя душа!.. Слышишь али нет?

— Я на это ухо глух! — отозвался Астатуй.

— Дело мне жалко, дело погибло. Неужто вам-то все равно?

Поднялась бледная Мотя.

— Тебе кто хвост прищемил? — шагнув ко мне, спросила она. — Чего завыл? Чужих жалко, а своих? Почему ты своих не жалеешь?

— Мне всех жалко: и своих и чужих... солдат утром говорил, что между людей нет чужих, — ответил я.

— Лжет солдат твой. Мы промеж себя свои!.. Других своих нету!.. Плачешь, телепень, что не так все, как надо, тыкаешь: жадны, душегубы, а ты кто? Где ты был? Не так — остановил бы!.. Али душа в пятки убежала?

— Мотя!..

— Пустобрех! Чему ты нас учил?.. «Старайтесь, братцы, для свободы; не сидите сложа руки, действуйте...»

А научил, как делать? Тебе все верили, ставили головой, а ты, шкура барабанная: вз-зы, вз-зы, да под телегу!

— Я сам не знал.

— Не знал?

— Меня самого надо учить.

— Ну, так молчи!..

Колоухий с минуту пристально рассматривал меня, потом сказал:

— Я думал, ты у нас первый, а ты — моя пятка... Понял?..

— Понял.

— То-то вот и дело. Я тебе больше ничего не скажу.

— Не хуже этого, робятушки, в глаза мне мечет, — заелозил по лавке Астатуй. — Как же, бат, ты этак, дядюня, — Данилу за упокой, а начальника шкворнем? И князя, мол, того, к примеру взять, изобидел... А меня четыре раз пороли! — завизжал он, вскакивая с места. — Тебя еще не били? Жену твою спать с чужим не клали?.. Кутенок!.. Слобода в золотом венце!.. Ах ты, грамотей безмозглый!.. Мой дедушка Демьян в Сибири сгнил, а ты — слобода!.. Сестра Луша в проруби, а ты — слобода!.. Пащенок!..

— Все вы на меня набросились, — отталкивая от себя Астатуя, сказал я, — укорять легко!..

— Ага, друг любезный! — вскочил Дениска. — Прижимаешь хвост-то?.. Жену твою с чужим спать клали?.. «Укорять легко!..» А сам охаверничаешь — это можно?.. «Слобода в золотом венце»? Дур-рак!..

— Экось, сколько крику-то! Здоровы были!.. — В дверях Лопатин. — Ну, как тут у вас дела, соколики?

— Расскажи сначала про свои.

— Да что ж у нас... У нас будто ничего...

Я вглядываюсь в лицо Лопатина. Веки у него опухли, словно он много плакал, белки глаз подернулись кровяными жилками, через два-три слова он облизывает сухие ярко-красные губы, хрустит пальцами.

— Разобрали худобишку... Поделили промежду своими... Да-да! Ничего не сделаешь!.. Вы что-то не все тут?.. Петрушки-шахтера не видать... Он жив-здоров?

— А черта ль ему сделается, — у себя в избе играет с кутятами! Двух кутят принес из Осташкова...—осклабился Дениска.

— Кутят? — обернулся к нему Илья Микитич. — Это чей же дипломатик-то на тебе, откуда? Да-да!.. Рано на-

рядился!.. Овчишек, коровенок развели... Сейчас придут от нас еще два человека... Глуп народишко: сожгли запапрасно постройки... Ничего не сделаешь — сильно раззлобились!.. Удержу никакого нет... Ну, так как же? Надо бы собрать?.. Сходи, малец, за шахтером!.. Тетушка, не рука тебе сидеть с нами, — обратился он к матери. — И ты, Настасьюшка... Когда будем насчет книжечек, милости просим.

Братство собралось быстро. Молча входили в избу; не снимая шапок, не здороваясь, садились по углам, глядели друг на друга исподлобья. Не то стали бояться друг друга, не то каждый думал, что прошла пора ненужных слов, бесплодных споров.

Белобрысый захаровский парень — староста — пришел с перевязанной головою.

— Ну, так как же у вас? — спросил Лопатин.

— Тринадцать убитых, — отвечал я.

— Знаю, слышал... Об этом, Петрович, после. Прежде — что поважнее... Ружьишки не забыли, коим грехом, там? — кивнул он на княжью экономию.— Ты как, шахтер?

— Завтра ярмонка... Надо в Мытищи... — хрипло отозвался Петя.

— Гуртом? Я тоже этак думаю... Матренушка, ты что нам скажешь?

— Поезжайте, — ответила сестра.

— А вы, ребята? Ехать?.. Дипломатик, малец, сбрось, сейчас чтоб не было!.. — Микитич сорвал с Дениски пальто. — Поди изруби его топором! — крикнул он второму захаровскому парню, приехавшему вместе с ним.

— Зачем же? Хоть бы продать кому-нибудь, коли мне не даете, — закричал Дениска. — Я трудился — пес его!..

— Петрович, он у нас записан или нет?

— Стало быть, записан, — ответил Дениска. — Еще двадцать копеек взяли за запись.

— Ну, так слушайся, голубок, старших, если записан!.. Не надо было не в свое место лезть... Тебе-ка замки подламывать в чужих амбарах!..

Разговоры были недолгими. Согласились, что дело еще только началось. Никто не поднимал вопроса о необходимости какой-нибудь организации действий, никому не пришла в голову мысль, что не нынче-завтра нагрянет начальство; нужно сговориться, предусмотреть возможности,

и сделать это нужно совместно: обществами, волостями.

Не отдохнув, не напившись чаю, Лопатин тотчас же после собрания уехал к себе в деревню.

— Надо, голубяточки, кой-что там подправить... Не ровен час, не так ступим: людишки раззлобились!.. Бывайте живы, соколики!.. Завтра на ярмонке увидимся...

— «Тебе бы замки подламывать!..» — передразнил его Дениска, когда Лопатин уехал. — А сам нынешнею ночь застрелил своего барина... Белобрысый сказывал... Поставил к порогу, да из пусталета — бац ему в рот!.. Замошник выискался!.. Шахтер, мы с тобой на одних санях поедем в Мытищи, — ладно?

VII

Горел весь уезд. От одного конца до другого, вдоль и поперек, реяли зловещие птицы с огненными крыльями, жизнь выплеснулась из берегов и заклокотала кровью, огнем, слезами, мстительною злобою.

По всем направлениям — к городу, к станциям железных дорог, к большим селам со становыми квартирами — куда глаза глядят, обезумевшие от ужаса, бежали из своих гнезд Обломовы, Ноздревы, Маниловы, Лаврецкие, Левины, Чертопхановы, Плюшкины, Иудушки Головлевы, Фомы Фомичи Опискины, князья Нехлюдовы, Салтычихи, все — красноречивые и бессловесные, умные и идиоты, честные и мерзавцы, либералы и поклонники кнута и дыбы — всех сравнял страх.

Гроза пришла из Мытищ, началось с двух копеек. Повсюду разнесшиеся слухи о манифесте, о нарезке земли, о том, что всех господ приказано лупить и за это ничего не будет, привлекли со всех концов уезда на ярмарку множество народа.

Все были возбуждены, с помутневшими глазами метались из конца в конец по площади, задевали стражников, много пили. Неожиданно ударил колокол. Опрокидывая возы, прыгая через телят, через плетушки с поросятами и груды замороженных гусей, гудя, ругаясь, тяжело дыша, мужики бросились к церкви. Из дверей ее выносили покойника. На минуту остановились, примолкли.

— Омман! — крикнул кто-то. — Господа подкупили!..

Остановили носилки: сдернув покров, глянули в лицо умершего — молодого парня с перекошенным ртом. Попятились.

— Взаправду мертвый... От какой причины помер? Где отец с матерью?

Парень оказался сиротой, умер от живота.

Хлынули от церкви опять в гущу ярмарки, на площадь. А там сын священника, семинарист, стоя без шапки на возу с конопляными вытрясками, что-то жалобно кричал, размахивая белым.

— Манихвест!..

Все ринулись к возу.

— Това-рищи!.. Праздник народного освобождения!..

— Чей это?

— Попа Ивана сын!..

— Тиш-ша!

— «...свобода слова, собраний и союзов...»

— Земляк!.. Оглох ай нет?.. Читай манихвест скорей!..

— «...действительная неприкосновенность личности и жилища!..»

— Ребята, стражники лезут слухать!..

— Гони их!..

А у винной лавки, соблюдая строгую очередь, стоял длинный хвост. Звучно выбирая пробки, люди жадно глотали из горлышка холодно-искристое зелье, крякали, закусывая баранками, круто посоленным черным хлебом, и, бессмысленно потолкавшись, опять становились в хвост. Под крыльцом барахтались пьяные, скулили песни.

В лавку, минуя черед, протискались шахтер и Колобок, зобастый рябой парень, слободской.

— Это куда же? — загалдели мужики.

— В кабак. Что хайла пялите?

Шахтер оттянул за рукав полупьяного старика, вцепившегося Колобку в полушубок, подоспевшие слободские парни окружили его кольцом, сдерживая напор сзади.

— Сотку, — сказал Колобок, бросая на прилавок полтину.

Сиделец, не глядя, смахнул в ящик монету, подал сотку и сдачу.

— А семерку? — заорал Колобок.

Сиделец поднял брови.

— Сними шапку. Какую тебе семерку?

— Сляпую!.. Я тебе скольки дал? А ты мне скольки?.. Тридцать семь?..

Толпа сзади наперла, вытянула шеи, кладя бороды друг другу на плечи.

— Что такое?

— Рубь зажилил.

— А по морде его рублем-то!

Колобок схватил через окошечко сидельца за рукав.

— Дашь аль нет семерку? Кишки выпущу!

Вырвав руку, сиделец наотмашь ударил Колобка по лицу.

— Драться? — взвизгнул Петя, как кошка перескакивая через решетку, отделяющую сидельца от толпы.

Мужики в одну грудь ухнули, сразу десятки рук вцепились в проволоку.

— Кар-раул!.. Полиция!..

— Ага, караулу запросил!..

Затрещало дерево, зазвенели в окнах стекла, ящики с посудой, захрапели, заработали кулаками, вырывая друг у друга бутылки, прыгая с ними через окна, жадно припадая к полу, в разлитые винные лужи.

— Злодеи!

— Кровь нашу сосете!..

— Последний четвертной у мужика зажилил!..

— За свои же деньги да ножом в брюхо хотел вдарить!..

С кольями толпа гонялась по улице за сидельцем, а другие громили бакалейную лавку, рядом с монополькой.

Кто-то запалил кучу конопляных вытрясок. Ударил набат. Ответили залпом из ружей слободские парни. Полиция исчезла.

С ревом толпа бросилась на площадь, стащила с воза все еще кричавшего семинариста.

— Июд-да!..

— Барский прихвостень!

— Ура-а!

Откуда-то вынырнул Илья Микитич, схватил за плечи трясущегося, в крови, семинариста, к Лопатину подскочили Богач, Колоухий, Паша Штундист, работая кулаками, отбиваясь от налезавших мужиков, а семинарист плакал и рвался в гущу. Илья Микитич крепко держал его за пальтишко, уговаривая:

— Ну, да куда ж ты, глупеночек, лезешь?.. Ну, не трави ты ихнего сердца!..

— Я душу готов... Я всего себя... Я... А они меня же... Пусть!.. — рыдал он.

— А ты не надо... Это ты потом, родимый!.. Где шахтеришка? Петрушку сюда надо!.. Где шахтер? — закричал Лопатин.

— Дениска, шутоломный, беги за шахтером!..

Наставив передним ружья в животы, Петрушина дружина оттеснила напиравших на семинариста мужиков.

— Бросьте, дураки, он же за нас! — протискавшись к ним в середину, размахивал руками Лопатин. — Али вам зáстило?.. Он сичас только манифест вычитывал!.. Это же свирепинского отца Ивана сын!..

— Постой, а ты сам чей?

— Старой бабы казначей!.. Ступай к нашему уряднику за пачпортом!.. Экие какие безалаберные, право!.. Свово брата норовят задушить...

— А черт его поймет, какой он: наш аль чужой!.. Его хватают за патлы, а он рот раззявил!..

А позади шахтера, семинариста и слободских уже трещали красные и рыбные ряды: бабы волокли в сани штуки ситца, бочонки с сельдями, табак, хлопчатую бумагу, прялки, метлы, веретена, горшки, пеньку, били палками мещан-торгашей; мужики с кольями гонялись по выгону за цыганами, отнимая у них лошадей.

— Кровь нашу выпили!.. Мужик пятнадцать годов наживал два ста, а вы его во что поставили, гады!..

Нестройным, диким стадом ярмарка повалила в обок расположенное имение. Владельцы, последыши старинной боярской фамилии, еще с утра выехали, взяв с собой то, что могли. В два-три часа расхватали мебель, хлеб, одежду, книги, скот. Между мытищанами и жителями окрестных сел произошло побоище. Чтобы никому ничего не доставалось, запалили имение и стали отымать друг у друга добро и бросать в огонь. При громких криках «ура» качали урядника, с общего согласия наградили рябой коровой с теленком, беговыми дрожками, стенными часами без маятника и бронзовым бюстом одного из владельцев имения.

— Братцы, — заплакал он, — очень мне приятно, что вы меня уважаете...

— Ну, что ты!.. Да мы для тебя, эх!.. В ладу бы только жить, жаланнушка!.. В ладу бы!..

С пожарища, пьяными от вина и непривычной обстановки, от только что совершенного разрушения, ударились по домам. По всему уезду загудел набат, зазвенели косы, засверкали вилы и ножи, и красный петух распростер над мертвыми под снежным саваном полями свои огненные крылья.

VIII

В избу входит староста — умный, хитрый мужик, притворяющийся простачком. Встряхивая волосами, истово молится на сидящего за столом отца.

— Здорово были! У нас, Иван, кто теперь за главного начальника по волости — ты или шахтеришка? Получайте бумагу из города.

Еще курятся экономии, не погребены убитые, дороги, как после сражения с неприятелем, усеяны обломками, лохмотьями, рассыпанным зерном. Мужики рубят помещичьи леса, режут скотину, боясь обыска, опускают мясо в мешках под лед, плуги закапывают в землю, увозят награбленное в овраги.

Читаю поданный старостою листок.

— Про что тут? — спрашивает староста.

— В случае, если сходка начнет свободы, чтобы докладывать исправнику.

Староста засмеялся.

— Дай-ка я братеннику за цыгарку отдам, — протянул он руку к предписанию.

Громкие голоса за дверями, топот ног, стук о стену обиваемых лаптей, на пороге — Галкин.

— Что, мошенники, живы? Ваня, братуха милая, подруженька золотая, здравствуй!.. Маланья Андреевна, сватьюшка, всё неможется?.. Настюня, сахарная моя!.. Петра Лаврентьич!.. Эх ты, господи!..

За плечами его — счастливо улыбающаяся мать.

— И минутки, озорник не посидел: к Ивану, да к Ивану, хоть кол ему на голове теши!.. Мед у Ивана-то?.. Четыре месяца ждала, глаз не смыкала, а он — к Ивану, да к Ивану!..

— Что ж он тебе в зубы глядеть будет? — фыркает из-за ее спины Дениска. — «К Ивану, да к Ивану...» Ему теперь надо насчет работы толковать!.. Прошка, шел бы ты к шахтеру наперво, с этим у тебя ни черта не выйдет: он сейчас слюни распустит, овца!.. «Слобода в золотом венце»!..

— Ага, не ждали, не чаяли, поди? Ага, разбойники!.. — не обращая внимания на брата, вертелся по хате сияющий Прохор. Он побледнел в тюрьме, осунулся, оброс черной бородой. — Думали, на веки вечные пропал? За сто рублей не выкупишь?.. А я, брат, прикатил... Жив-здоров, слава богу!.. Песни вам новые привез, прибауток разных.

— Галкин свистнул, щелкнул костылями, задрал стриженую голову вверх:

Ах вы, синие мундеры,
Абыщите все фатеры,
Эй, лю-ли, ти-лю-ли,
Сицалиста не нашли!..

Дениска, отпихнув к залавку мать, пустился в пляс.

Фить! Фить! Тру-ля-ля!
Ходи хата, ходи печь,
Хозяину негде лечь!..

— Й-их-й-их-иха-ха!.. Играй, Настюха, в губы!..

— Пляшешь, свищешь, молодец, — укоризненно проговорила моя мать, хлопая Галкина ладонью. — А поди-ка, намаялся в неволе-то?

— В какой неволе?

— В острожной, в какой же? Там ведь розгами бьют...

— Плети, плетень! — перебил ее Дениска. — Кто его может ударить такого!.. Ну-ка, расскажи, Прош, как там у вас...

— Там народ, парень, фартовый! Ночь — на «винту», а день — гуляй, слоняйся, сколько душе влезет!.. Оказия, ей-богу, право!.. Железная дорога, пятое, десятое, народ поошалел, еда в глотку не лезет, что тут станешь делать?.. День, два, неделя, другая наступила, хоть караул кричи!.. Я, мол, ребята, кого-нибудь ножом пырну! У меня, мол, терпежу совсем нету!.. Глядим как-то, начальник летит при параде: «Братцы! Манифест!.. Свобода»!.. Фу-уты, отлегло от сердца!.. Собрал нас в коридоре, да как заплачет. «Что, бат, деется-то, господи!» — и давай нам вычитывать... Союзы, свободные личности... народные избранники. Конокрадишка около него... Начальник обхватил его да целует, целует... «Братцы, все равны!.. Ура!.. Дождались солнышка!..» Надзиратели промежду себя христосуются, после к нам полезли: слава ти, царица небесная, теперь нам земли нарежут, заведенья кой-какая будет!.. Сейчас попа из города, молебен, на коле́ни, «многа лета, многа лета!..» А в городе колокола гудут, такой трезвон, ажно, может, за сто верст слыхать!..

Теща, сидя на конике, не сводит радостно блестящих глаз с него. Отец, отложив шлею, которую чинил, улыбается, кивая головой. Галкин захлебывается, прыгает на лавке, крутит головою.

— Целый день по двору бегали, раз сто «ура» кричали. Пришел вечер, слышим: ребята, по местам!.. Что ты станешь делать?.. Шалите, мол, свобода — так свобода, нечего там, не надобно было манифест вычитывать!.. Отворяйте ворота, желаем ночевать у себя дома! Уголовные узелки с рубахами держат под мышкой: сейчас первым делом в баню, острожную коросту смывать... Начальник побежал к исправнику, к прокурору: так и так, в видах всем свободы, заключенные не слушаются... А его оттуда в шею! Что бы-ло!.. У стены — мещанишки, товарищи! Машут платками, с флагом!.. Человек, может, сто, а то и больше!..

— Опять — сто!.. Что тебе далось — все сто да сто?.. «Ура» кричали сто, колокола звонят сто, мещан подошло сто!.. — недоуменно и сердито спросил Дениска.

— Цыц! Ты еще дурак!.. Переночевали ночь, другую, третью... Заполыхало, братцы мои, около-кругом поместьи эти самые... А-а, головушка наша горькая!.. Ломайте, ребята, двери, по добру не дождемся! Надзиратели — которые помогают, которые стоят одаль, смеются, одного супротивного побузовали...

Сегодняшний день изба наша — сборная квартира.

Узнав о возвращении Галкина, один по одному набиваются осташковцы.

— Пришел, Сергеич? Ничего здоровьишко-то?

— Побледнел как!.. Ишь ты, одни зубы торчат!..

— А болтали, что тебя к расстрелу присудили!..

Примчался из Золотарева шахтер, где помогал мужикам громить имение, рассказывает про тамошнее происшествие: за главаря у золотаревцев — питерский рабочий; мужики выбрали новое начальство; вчера к вечеру собрались в имение. Рабочий, перед тем как идти, предложил сходу назначить пятерых стариков распорядителей, которые бы следили за порядком. В это время к толпе подошел урядник, молча опустился на колени.

— Братцы, простите меня... пожалейте!..

Заплакал. Все, вытаращив глаза, глядели на него.

— Был жаден... глуп... Не понимал ничего... Обижал вас... Пожалейте меня!..

Мужики закричали:

— Не кручинься, Лизарушка, никто тебя пальцем не тронет, подымайся с коленок-то!..

— Я не про то... Облегчите мою душу, ради бога!..

Указал на мундир.

— Одежду сымите!..

Распоясали его, сняли револьвер, шашку, картуз с бляхой, мундир.

— Снимайте и шаровары: они тоже казенные... Снимайте...

— Ты их дома, Макарыч, сымешь, сичас холодно.

— Нет, сымайте...

Закрыл лицо руками, стал перед миром исповедоваться: сколько и какого зла наделал людям. Все время плакал. Потом поднялся и, как пьяный, пошел за деревню, к роще.

— Ветерком продует, после еще смеяться будет, — говорили мужики, но на обратном пути, уже спалив имение, нашли его повесившимся на жгуте из подштанников.

— Осью бы его по голове, черта сопатого! — выслушав, сказал Дениска. — Сила была, не исповедовался, а хвост на репицу загнули — «Штаны снимайте!».

Большинство одобрительно смеется.

Иду запрягать лошадь: Галкину хочется нынче же повидаться с «милой подруженькой» — Ильей Микитичем Лопатиным, подарить ему светло-зеленые гарусные туфли, которые он сплел в тюрьме. У сеней кем-то обрублены завертки, снят ременный чересседельник.

— Забастовщики, сволочи! — кричит отец, багровея от злости. — Каленое железо вам, а не свободу, ворам!..

Морозно. Едем по взгорью. Направо и налево пашня, мелкий осинник, грязно-серые куртины бурьяна, прутья рыжика, полынь. Снега выпало еще мало, поле рябит черными комьями мерзлой земли.

— Что́, Ванюш, думали мы год назад, что *этакое* будет, а? — раздумчиво спрашивает Галкин. — Какая каша-то заварена, а?

На дороге — стаи отяжелелых птиц. Везде — зерно, зерно, зерно.

Прохор возится в санях, пересаживаясь то к головяшкам, то в задок — на веретье, беспрерывно курит.

— Что-то, мамушка, дальше будет!

Пропала его веселая беззаботность, застыл смех на поджатых губах.

— Что-то, мамушка, будет!.. Как-то за устройство народ примется, зорить умеет!..

А вон в стороне от Ершовки, под отлогим скатом глинистого берега, невидимое со столбовой дороги, похожее на букву «ж», раскинулось по обеим сторонам реки Поречье, огромное нищее село. В смрадных избах, сплошь

«по-черному», живут полудикие, озлобленные люди, не знающие ни бога ни черта. Лет восемьдесят назад их вывезли образованные владельцы из лесных трущоб, смешали со старожилами, разделили на концы, концы назвали Примо, Секондо, Терцо, Кварто... Из Похлебкиных, Лаптевых, Недоедкиных, Полузадовых переименовали в Цицероновых, Венериных, Вакховых, Аргонавтовых, Одиссеевых... Мужики запутались в прозвищах, забунтовали, ударились в бега, отказывались идти на барщину. Ротою солдат их через третьего высекли кнутами, зачинщиков заклепали в кандалы, а каждому концу дали по одной на всех фамилии: Дураковы, Рыжие, Губошлеповы...

И зимой и летом в Поречье свирепствуют заразные болезни. Люди вымирают целыми семьями от голода, цынги, оспы, тифа, сифилиса, скарлатины, и все же население с каждым годом увеличивается, земельные наделы становятся меньше, нужда острее, люди — ожесточеннее. Через вал на восток от села, среди кущи вековых дубов, было расположено имение образованных владельцев Поречья— Щекиных. Когда-то здесь были тысячные псарни, крепостной театр, оркестр, оранжереи, обширный пруд, вырытый мужиками, на котором плавали парусные лодки, в густой зелени ютились беседки, темными летними вечерами жглись смоляные бочки, фейерверки. Летом в имение приезжали знатные вельможи в лентах, поречан сгоняли под окна петь песни, плясать, пригоршнями бросали в толпу леденцы.

Более дикого, чем пореченский погром, не было в губернии. Калечили лошадей, коров, помещичьих рабочих, уничтожали все, что только можно было уничтожить. Уже с дотла спаленного поместья мешками таскали в прорубь пепел, кирпичи, стеклянные слитки, чтобы ни соринки, ни перышка не осталось от этого места. Ни один поречанин не взял с собою ни сучка из леса, ни зерна из хлеба, ни ремешка из сбруи: все было спалено, убито и брошено под лед или зарыто с проклятиями в землю.

Молча проезжаем стороною от Поречья. Село словно притаилось; неуклюжими грязными рукавами раскинулись его «концы»; кое-где над крышами торчат колодезные журавли; ни звука, ни души.

С бугра, за Поречьем, видна уже Захаровка. На зеленоватом зимнем небе, цвета речной воды, замаячили верхушки голых ракит, крылья ветряков, ометы.

Из-за оврага неожиданно показывается серая, в ябло-

ках, лошадь, запряженная в розвальни. В санях — по-праздничному одетые четверо пожилых мужиков.

— Обождите, ребята, вы не из Осташкова? Здравствуйте вам!

— Здравствуйте. Из Осташкова.

Мужики вылезают из саней.

— Про комитет не слыхали?

— Нет, не слышно... На что он вам понадобился?

— Мы — Ольховские, от общества... Разобрали имение, которые что и сожгли... Стражники приехали — прогнали, как сказать... Одного нашего застрелили... И у их есть, которое с вредом... четыре человека... Опосля мы сменили урядника, еще опосля — старшину... А теперь не знаем, что делать... Надо бы порядок наводить, насчет земли там или как... Какое-нибудь новое начальство... Так не знаете про комитет?

IX

Все бело. Ветрено. Идет колючий снег. Порою не видать ни зги.

На крыльцо вышел поп, бледный, взволнованный. Обеими руками держится за пряди треплющихся волос.

— Вы ответ понесете перед богом... Человеческие души... Такое смятение... Боже мой милостивый!..

— Да ведь хоронить-то надо или нет?.. Чего ты зявишь? Али хочешь забастовку?..

— Боже мой, боже мой!..

Не узнаю степенного, рассудительного Богача, всегда молчаливого, скромного Никифора Дементьева, робкого Кузьму, вконец озверевшего дядю Сашу, Астатуя Лебастарного, не узнаю осташковцев: новы их глаза с беспокойным блеском, не знакома порывистая поступь, разнузданно дерзкий язык. Это те самые люди, которые год назад за версту снимали шапки попу, говорили с ним тихим голосом, со сладкой усмешечкой, льстиво сводя речь на божественное. Это те самые люди, которых всю жизнь хлестали по мордам кулаки; которых ежегодно, как баранов, толпами гоняли под арест за недоимку; которые, как огня, боялись колокольчика земского, ползали на коленях перед каждой кокардой!

— Бож-же мой, бож-же мой!.. С меня ж за это взыщут!.. Неужели вы не понимаете?..

— Ладно, об этом после поговорим.

— Александр Николаевич, и ты стал другим. Такой прекрасный мирянин...

— Теперь мы все другие, — дергает бородою Богач. — Бери-ка, батька, молитвенники, время не терпит...

— Бож-же мой милостивый! Бож-же мой!..

Тринадцать сосновых гробов, гладко оструганных, золотистых, поставили в тесный ряд перед алтарем, окружили малыми детьми.

Провожать покойников собралось все Осташково. Убитые лежали спокойно торжественные, примиренные с землей. Зияющие раны их, раздробленные черепа тщательно прикрыты холстиной, корявые руки скрещены. С опухшими от слез глазами, молчаливо стоят в их ногах жены, сестры, матери, а дети, сбившись в кучу, перешептываются.

Маленькая полутемная церковь не вмещает всех собравшихся. Мужики жмутся без шапок на паперти, ветер треплет их перебитые снегом волосы, залепляет порошею глаза. Чуть слышно гудит колокол, по краям его хлещет конец пенькового обрывка.

Мерцают жиденькие огни свечей, срывается голос священника, кадящего покойникам; в церкви надышали, лица и стены покрылись испариной; тяжелыми каплями падает она на непокрытые головы мужиков, на белый, чистый холст убитых.

Поют ирмосы. Втянув голову в плечи, сгорбившись, кусая губы, с пятнами на лице, в дальнем углу стоит Мотя, рядом — Настя.

Гляжу на серые лица собравшихся, на их нищие рубища, на глаза, в которых теперь — страх, тоска, застывшие слезы. Вон Галкин, припавший головой к подоконнику. Плечи его судорожно опускаются и подымаются. Тонкая, белая-белая, выцветшая в тюрьме шея, с выступающими над плисовым воротом острыми позвонками, трясется. Какой он убогий, жалкий, беспомощный сейчас!.. Как жалка, грязна, дырява его одежда!.. У дверей, словно боясь войти ближе, мой отец. Он словно окаменел: не дышит, не молится, сдвинул на самое переносье густые брови, крепко мнет в руках шапку. Семьдесят с лишним лет он работал лошадиную работу, за всю жизнь ни разу путно не пообедал, спал где попало, нажил грыжу от тяжестей, не верит в бога или, скорее, ожесточился против него, *не хочет* верить, за всю жизнь не имел праздничной одежды, ни разу не обувался в сапоги, на его глазах два раза секли кнутами отца его... Вон Андрей Иванович,

побирушка-солдат, слепой старик, помешавшийся на своей солдатчине, на двух бронзовых медалях «герой». Под его штыком гибли венгерцы в 49 году, он — один из горсти уцелевших на Малаховом кургане. При взятии Варшавы он был изрешетен польскими пулями, а сам сколько перебил поляков — «потерял счет». А теперь в числе убитых лежит его племянник — Егор Луковицын, единственная дорогая нить, привязывавшая его к земле. Старик рыдает, как дитя, рвет желтый «гусиный» пух на голове, грозит иконам кулаками. Опершись дырявым плечом о свечной ящик, что-то бессвязно бормочет черными губами Тимофей-Куриный-бог, драловец, часто-часто крестится, мотая головой. Он вместе с дядей Сашей Астатуем царапал князя Осташкова, плевал ему в лицо и визжал; в доме, захлебываясь от мстительного восторга, рвал в клочки картины и книги, колотился в дьявольском исступлении. А сорок пять лет назад отца его — Микешу-Куриного-бога — тот же князь Осташков, тогда еще молодой гвардейский офицер, затравил борзыми за три снопа украденной с поля пшеницы... Вон теща, другие женщины... Сколько каждая пролила слез, перенесла болезней, нужды, сколько каждая снесла на кладбище детей!

Больше и больше гляжу на эти лица, в эти выплаканные глаза, и спадает шелуха с моих глаз, легче становится сердцу. Я чувствую, что с этого момента я уже не свой. В храме перед лицом убитых и перед лицом этих сотен измученных людей я осязательно чувствую, что я становлюсь частицею их, так же, как и все, повинный в грехах и преступлениях, как и все, предъявляющий веками писанный счет мачехе-жизни; что я не судья им, не прокурор, а брат, малая частица великого народного сердца. Чувствую, как в душе моей прорывается гнойный нарыв, который мешал мне слиться с ними, что теперь я уже *не свой, а их,* слезы текут по моему лицу...

Обедня кончилась. По крышкам застучали молотки, в церкви поднялся вой. К гробам протискалась шахтерова дружина, чтобы нести на кладбище. Сторож тушил свечи.

— Обождите, — сказал я парням, всходя на амвон.

Они попятились, давая место. Смотрели на меня с недоумением.

— Клянусь перед вами богом...

Лохматые головы и ситцевые платки обернулись ко мне. Голубыми, серыми и черными блестками загорелись

детские глаза, любопытно вытянулись шейки. У меня сдавило грудь, упало сердце.

— Православные... простите меня...

Прошмыгнув между гробов, с растрепанными седыми волосами, поднимая над головой кулаки, безумная, на меня кинулась старуха, мать Ивана Брюханова.

— Злодей!.. Душегуб!..

Трясясь, как в корче, хотела ударить меня.

— Мучи-тель!.. Будь ты проклят!.. Проклят!.. Проклят!..

Ее схватили за руки слободские парни. Вытаращив полные ненависти глаза, она плевала в лицо пеною. Ее вынесли.

— Клянусь перед вами убитыми... С этой минуты до смерти я ваш... Отрекаюсь от отца с матерью, от жены... ото всего.

Я опустился на колени, кланяясь в землю гробам и народу.

— Всем доволен, ничего не прошу, ото всего отказываюсь, поцелуйте меня, облупленного!.. Чего ты ломаешься?.. Хоть бы покойников-то постыдился!.. Ребята, выгоните его отсюда!

Ко мне подошел Дениска и грубо дернул за рукав. Слободские парни его отшвырнули.

— И я своей матерью клянусь,— раздался надо мною голос.

Шахтер, опираясь на решетку, глядел туманными глазами на толпу.

— Белым светом тоже клянусь... Не видать мне его до смерти, если я отстану от Ивана...

Смеясь, толкая друг друга, пыхтя, дети стали на колени. Мужики молчали, сурово глядя в землю.

— Дайте обет перед богом, что мы все заодно... — продолжал Петя, обращаясь к собравшимся.

Груды тел заколыхались и притихли.

— Если какой Юда, али гад, али христопродавец, али Притыкин, али Утенок, таких у нас не будет... Все мы, чтобы сразу... Креститесь на образа!..

Толпа насторожилась. Один по одному мужики стали креститься.

— Все равно!..

— Куда ни вертись — конец!..

— Помоги нам, царица небесная!..

На паперти ко мне подошла сестра и крепко, долго

целовала. В руках Петрушиной дружины развевалось красное знамя. Красными лентами обвили носилки. У большой братской могилы — крест, покрытый кумачом. При глубоком молчании осташковцев, прерывавшемся визгом женщин, одного за другим могила глотала покойников. Склонив головы, люди стояли на коленях, а сверху падал снег и таял в волосах. Небо еще больше заволоклось мутно-серыми тучами, в голых ветвях акаций свистел холодный ветер, сиверко бушевал вовсю. Опустили последний гроб. Толпа колыхнулась и нестройно, под гул ветра и пронзительный вопль детей, только теперь понявших свое сиротство, запела «вечную память».

Дружно заработали лопаты, и рядом с кустом лещины вырос коричневый холм свежей земли. На нем валялись куски изгнивших гробов, кости, еще не истлевшие пряди женских волос. Старухи собирали кости в платок.

Дороги занесло. Поземка с каждым часом все обильнее. Бабы через силу мнут сугробы.

— Постой, Иван!.. Никак десятый раз тебе кричу!.. — Закрываясь от пурги рукавом, меня нагоняет белобрысый захаровский староста. — Тебе весточка есть от разновера.

Читаю неуверенный полуустав на клочке бумаги из податной книжки.

«По уезду бытто солдатишки по нахлынувши и ребятенок извести чтобы готовились которы могут

иля Лопа».

X

Слухи о «солдатишках» день ото дня становились упорнее. Рассказывали о беспощадных усмирениях, поголовной порке, арестах, даже расстрелах.

...В Кривых Верхах, большом селе, на полдень от Осташкова, будто бы согнали всех к волостному правлению, старых и малых, окружили кольцом и избили прикладами. На обыске отнимали не только помещичье, но и свое. В Гремучем Колодце рота, встреченная колокольным звоном, образа́ми, священником в облачении, вырвала у мужиков иконы, сложила их в сарай и тут же в упор, по команде станового пристава, сделала залп по толпе. Священника и старшину уложили наповал, двенадцать человек ранили, а остальных увели в тюрьму и всю

дорогу били. В Телятниках — по ту сторону уезда — солдат встретили дубинами, сраженье продолжалось с обеда до позднего вечера. Одолели все-таки солдаты, хотя их было и меньше. Рассвирепевшие, они подожгли село, в пламени погиб весь скот...

Слухи эти с каждым днем, с каждым новым человеком, с каждой верстой увеличивались, бухли, порой принимали чудовищные размеры. Через два дня после первого известия у нас уже говорили, что в Кривых Верхах усмирением руководил не становой, а губернатор, который наравне с солдатами работал прикладом; что в Гремучем Колодце попа и старшину не расстреляли, а повесили на колокольне, расстреляли же их жен — попадью со старшинихой; что от божьей матери, которую держал в руках церковный староста, было знамение: солдатская пуля попала ей в сердце, но отскочила, и староста, несший ее, и икона остались невредимыми, лишь на глазах богородицы выступили крупные-крупные слезы и был голос: «Православные, держитесь, пожалуйста, крепко: я за вас заступница усердная». Но солдаты будто бы подумали, что этот голос был не мужикам, а им, солдатам. С криками: «Ура! С нами бог!» — они бросились на толпу, с увлечением нанизывая на штыки людей. В Телятниках же мужиков будто бы заставили вырыть посреди деревни огромную яму. В этой яме их всех до одного похоронили живьем, не пощадив ни сирых, ни убогих. Одна старуха, ведьма, обернулась черной собакой и ударилась бежать в овраг, но не спаслась: среди солдат нашелся молокан-паренек «из их же братии»; обернувшись серым волком, по-за ригами нагнал собаку и разорвал в мелкие клочки.

Смутные слухи вызывали в осташковцах только острое любопытство, явились поводом к бесконечным толкам, но чем настойчивее они становились, тем крепче росла уверенность, что «отпрыгались», «поиграли, да и будет», «теперь нам, можно сказать, крышка».

Растерянные ходили по деревне в жадных поисках все новых и новых известий. В каждом лице чувствовалась тупая подчиненность неизбежному, чего не обойдешь, не объедешь.

— Куда же теперь деться? В омут головой не бросишься!..

— А ты думаешь, не достанут из омута-то? За мое почтенье!

— Что вы, как дохлые куры!.. — кричал шахтер. — Из-

ворачиваться как-нибудь надо!.. Кабы я знал, что вы такие трусы, я бы не давал вам клятьбы.

— Ну, как же ты извернешься? Ты ведь только глотку, Петра, пялишь, а поди сам не знаешь, как изворачиваться-заворачиваться...

— Брось, ну что ты мелешь?

— Да, конешно, эти речи ни к чему!.. Молчать уж надо, а то хуже будет.

— Там, брат, ребятишек-то всех му́кой му́чают...

— Что ж — робятишек!.. Робятишка — наш народ!.. Как же они робятишек не тронут, если приказ, чтобы всех подряд?.. На их ведь тоже, чай, лежит присяга!..

— Стал быть, народ подневольный!.. Скажут: «пли!» — и сплят куда надо...

Пропал задор, испарилась, казалось, такая большая неизбывная злоба; умерли еле затлевшие грезы; высохло, сморщилось, как гриб поганка, сердце; рабскою пленкой: «на все согласен» — подернулись глаза; стала вихляющеюся, как у наблудивших кошек, походка, недавно такая важная, вразвалку — «грудь-печенка наперед, морда козырем берет»...

Первые солдаты появились в Свирепине. Было рано, чуть-чуть туманно от мороза, бабы только что затопили печи, мужики поили скотину, задавали корм, рубили у крылец дрова. Удары топора, скрип снега под ногами, хлопанье примерзших за ночь дверей звонко разносились в сухом розоватом воздухе: чувствовалась та особенная зимняя бодрость, когда хочется громко беспричинно крикнуть, засмеяться, весело захлопать рукавица об рукавицу, побарахтаться в рассыпчатом, свежем, душистом снегу с каким-нибудь добродушно придурковатым Полканом. У сараев кто-то запрягал лошадей, собираясь в соседнее село за пенькою. Вдруг в конце деревни чей-то дикий бабий голос завыл:

— Солда-аты-ы!

Не успели опомниться, выскочить из хат, — вдоль улицы, взметая снег, в пару, вихрем промчался заиндевевший эскадрон драгун, рассыпавшись цепью по гумнам и задворкам.

Люди заметались по дворам и переулкам, полезли в солому, погреба, на потолки, в картофельные ямы.

— Смерть пришла!.. Родимые!..

— Угодники господни!.. Фрол и Лавер!.. Христос батюшка!..

Спешившиеся драгуны плетями и прикладами согнали мужиков к съезжей избе. На крыльцо вышли полицейский и офицер. Толкая ребятишек вперед, мужики упали на колени, истошно голося:

— Пожалейте!.. Не губите занапрасно!..

— Золотой наш!.. Ангел!.. Кормилец милостивый!..

Хватали начальство за ноги, целовали сапоги; бабы рвали на себе сарафаны.

Офицер потребовал возвратить награбленное и указать зачинщиков.

— Нету, ни соринки не брали, пожалейте!..

— Есть!.. Все отдадим, оставьте душу на покаянье!..

— Неповинны! Захаровские приходили!.. Тамошний разновер всему причинен: он сбил!..

— Выдайте зачинщиков, не то хуже будет, — крикнул, вставая на носки, полицейский.

Подъезжая к Свирепину, он трусил, ожидая сопротивления, но эта воющая груда тел, униженно ползавших по снегу, сделала его самоуверенным.

— Кто подбивал на погром?

Надзиратель схватил за бороду одного из стариков.

— Сергунька Шорник подбивал!.. Касьян Кривой!.. Лизарка Печник с братом!.. Петруха Высокий!

— Тимоха Кантонист!.. Иван Русалимский!.. Вдовин мнук — Игнашка Культяпый!..

— Их предайте смерти, мы не виноваты!..

Скрутив восьмерых опоясками, мужики подтащили их к крыльцу!

— Они намутили!.. Кабы не они, сукины дети, у нас все тихо-смирно!..

Плача по-бабьи в голос, «зачинщики» указали на помощников; к восьми присоединили еще двадцать.

В сумерки полсотню человек отправили в тюрьму.

Одни ревели, как тельные коровы, прощаясь на весь век с деревней, кляли зачинщиков, бросаясь на них с кулаками; другие бессмысленно смотрели в землю; только большеротый Афонька Каверкало, батрак, добродушно подмаргивал драгунам, говоря:

— А мне и плакать нечего — один черт, что в остроге, что в работниках: я не женат, не холост... Хоть вдоволь высплюсь там... Табачок у вас, служивые, есть? — С наслаждением затягиваясь, спрашивал: — Поди в ваших деревнях то же самое деется? А?

Последние дни с языка осташковцев не сходили сол-

даты, но когда пришло известие о том, что они уже близко, в Свирепине, что не нынче-завтра нагрянут к нам, все не поверили, не хотели поверить, не могли. Но беглецы, случайно вырвавшиеся из драгунских рук, один по одному прибывали. Тогда и осташковцы ударились куда глаза глядят, и у нас поднялся вой и визг.

В избу к Галкину бежали члены братства.

— Ну что? Как? Есть промежду мужиков какие новые разговоры? Из Свирепина никто не прибежал? — тревожно спрашивал Прохор. — Мать, айда, пожалуйста, куда-нибудь подальше: у нас сейчас заседание будет!..

— Опять, сынок, за старое!..

— Айда, айда!.. Старое, новое... Раз говорят: уходи, значит, неспроста!..

То, что мужики потеряли головы, что уже заранее грозят друг другу ябедой, что человек тридцать сбежало неизвестно куда, — маньчжурцу неведомо. До слез жалко его, не поворачивается язык сказать правду.

— Сейчас мы первым делом, ребятушки, давайте вот что сделаем... Давайте я пойду при всех своих медалях навстречу солдатам. Вы, мол, что же это, братцы, а? Да разве этак можно, а? Вы гляньте-ка на меня: я тоже солдат!.. Почну, почну им правду в глаза резать... Это как же, мол, так? В каких это книгах писано?.. В бога которые из вас веруете?.. А то как же, скажут, мы не бусурмане... Тут сичас ко мне Илюшу на подмогу. Читай, мол, им, Микитич, правду по библии!.. Р-раз!.. Раз!..

В накуренной избе было душно. Галкин непрерывно кашлял, украдкою выплевывая кровь. Слободские парни, ожидавшие в сенях «решенья», дрались на кулачки. Мимо окон, так же как на второй день погрома, сновали люди, сани, хрустел снег, пугливо таяли отрывистые окрики. По улице слонялся уцелевший от ножа барский скот, который теперь отовсюду гнали.

Решили собрать сход. Ударили в набат. Люди с воем побежали на реку, в кустарник, кто куда!..

— Солдаты!.. Нову Деревню подожгли!..

— Стреляют по народу!..

— Шахтера с Дениской ищут!.. Ваньтю Володимерова прикончили!

Бегаем за ними, умоляем не пугаться, идти к церкви: словно сумасшедшие, махают на нас руками, мне же кричат:

— Ваньтю застрелили!.. — Узнав, дико смотрят, не ве-

рят, бегут в овины, в поле, дальние деревни, прячутся в ометах, под кучами хвороста.

К вечеру узнали о свирепинском нашествии, о том, что не только никто не убит и не искалечен, но даже драгуны помогали мужикам прятать награбленное, незаметно от начальства выпускали из «заклинной» арестованных. Словно дети, обрадовались этому известию, повеселели, гудящею толпой сбились средь улицы, на чем свет стоит лают баб, распустивших по селу сплетни об избиении.

— Треплете языками-то, черт бы вас побрал! «Солдаты!.. Кончина пришла-а!..»

— К Максимке будто к Титорову подошли: «Есть Максим али нету, говори по правде?» — «Есть, бат, не знаю куда деться!..» — он-то им, дрягунам-то. «Теперь, говорит, шабаш мне!..» — «Никуда, говорят, не девайся, сиди смирно...» — они-то ему, дрягуны-то... «Хлопай, грят, бельмами, будто ты — дурак!..» Подошло начальство. «Это кто же сколько добра нахапал?..» — начальство-то. «Это, грят, Иван Смирнов нахапал, его чичас дома нету, а это вот работник его — Ванамей Немой», — на Максимку-то. «Он, грят, этому делу беспричинен, забижать его не смеем без вашего на то приказу». Начальство поглядело на Максима: «Раз ты работник, за хозяина ты не в ответе, нам — распоряженья: хозяина предать казням». Повернулись и пошли в другой двор. А Максимка дрягунам-то — в ноги, а те: «Брось, чего ты кувыркаешься, мы сами из черного сословья...»

На другой день произошло событие, совсем подбодрившее осташковцев. Рано утром, когда еще только-только солнце позолотило церковный крест, зазубринский церковный сторож Липатыч, сметавший с колокольни голубиный помет, заметил за деревней: «бытто что-то тарахтит по дороге и бытто едут к нам». Сторож ударил в набат, зазубринцы как один выскочили на площадь с топорами и косами, кто что успел захватить, построились в ряды, вперед выставили нового своего старосту Лукьяна.

Приехали казаки с пиками. Осадили лошадей, стали против толпы.

— Это что за собрание? — крикнул офицер.

— По общественным делам собравшись, — ответил ему Калиныч, выставляя вперед грудь с медалью.

— С топорами?

— Которые с работы шли, — спокойно пояснил он.

Офицер сказал, что приехал арестовать Лукьяна Калинова Шершова.

— Он в отлучке, — сам про себя отрапортовал новый староста. — Позвольте вас допросить, ваше благородие, за что?

Офицер оглядел нащетинившуюся молчаливую толпу, ребятишек, любопытно сновавших меж казаков.

— Если Лукьян Шершов повинен в какой беде, отпишите нам в казенной бумаге, и мы прочитаем на сходе, и как скажем: «виноват» — сами его закуем в колодки и представим в город, — продолжал Калиныч, — а как ежели скажем: «нет» — он этому делу беспричинен, то занапрасно не дадим, либо всех в острог тащите... Так, ребята, или не так?

— Верно!.. Так!..

Офицер мялся, просил не упрямиться, грозил применить силу, а староста отвечал неизменно:

— Я вам доложил, ваше благородие: Лукьян Шершов в отлучке.

— В какой отлучке?

— А бог его знает. С пятницы ушел куда-то и как ключ в воду!..

— Как твоя фамилия?

— Макар Мосеич Ящиков, сельский староста.

— Вот прикажу арестовать тебя!.. Это безобразие!.. Все вооружены!..

— Меня, ваше благородье, арестовать никак нельзя: я должностное лицо... А оружья у нас нету, это вы вон с пиками примчались...

Калиныч с офицером препирались долго. Офицер настаивал, чтобы мужики сложили в кучи косы, топоры, вилы, а староста предлагал сделать то же казакам; а на концах этих двух шеренг — казацкой и мужицкой — тоже шел разговор.

На правом крыле мужики спрашивали казаков:

— Вы что же, земляки, действительные или запасные?

— Все запасные, — отвечали казаки.

— Пора бы уж в отпуск... Чего-нибудь дают, жалованьишко-то?

— Какое жалованье — безделица...

— Дальние?

— Из Донской области.

А на левом крыле насмешливо улыбавшимся казакам зазубринцы кричали:

— Как с епонцем не могете, а как нас бить — могете?..

— Кислый квас! — равнодушно говорил крикуну пожилой казак.

— За громом семь верст гнались!

— Расстрелители!.. В Гремучем Колодце божьей матери глаза прострелили!..

— Брехня, это пехотные. Нас тогда не было в Колодце...

Совсем молоденький, краснощекий казак стал на стремена.

— Нагаек хотите? — погрозился он толпе.

— А топоры лизали? — поддразнивали зазубринцы.

— А пули?

Казаки уже стали сердиться, но послышалась офицерская команда: казаки подобрали поводья и мелкой рысью выехали за околицу.

Как по сигналу, зазубринцы бьют в косы, церковный сторож, наблюдавший с колокольни, трезвонит в колокола. Казаки, изредка оборачиваясь, чтобы погрозить нагайкой, скрываются на повороте. Калиныча до хаты толпа с песнями и присвистом несет на руках. Спокойный, принимая почет как должное, он жмурится на солнце, оправляет сбившуюся набок шапку, просит не уронить его. У избы он берет меня с Галкиным за руки и скромно-лукаво, как умеют это делать только умные мужики, улыбается.

— Ну как?

— Дай-ка я тебя, мошенника, поцелую, — говорит Прохор.

— Можно.

Друзья троекратно лобызаются. Увидев это, зазубринцы тоже лезут целоваться со старостой.

— Будет, ну вас! — кричит им Лукьян. — Вас тут четыреста, всю бороду мне вытрете...

— Чего там, терпи, Лукаш, ты нас вызволил!..

— «Я, грит, Ящичков Макар Мосеев»...

— «А Лукьяна, грит, Шершова нету, весь в отлучке!»

Вставая на цыпочки, к самому носу Калиныча тянется тщедушный, с заплаканными от смеха глазами горбун Карпушка, цепляет его за петельки, трясет изо всей мочи.

— Лукьян, а Лукьян!.. Лукаха!.. Как ты это, холера, выдумал, а? «Ящичков!» Кто это тебя учил так, а?

Приукрашенное известие пришло в Осташково. Про Калиныча звонил и стар и мал.

— Лукьян Калиныч-то? Это голова — об двух мозгах!..

Начальники-то — ажно в ужас вдались, хлопают себя руками по ляжкам: «И где вы только выкопали такого? Нам с им не сдюжить в разговорах!.. Переходи, говорят, Лукьян Калинов, на нашу сторону, большие деньги возымеешь». А он: «Я, говорит, низвините, по гроб жизни мир не брошу, не мутите, господа начальники, моей груди белой, а то осерчаю...»

Забыли, что два дня назад метались полоумными, не знали, в какую дыру ткнуться, каким богам служить акафисты; теперь ходят, подняв кверху голову, волокут из ометов спрятанное, друг над другом зубоскалят... Приходит еще известие. В Каменку, в девяти верстах от Осташкова, приехали стражники, чтобы арестовать учителя. Шли занятия. Дети завизжали с перепугу, стали прыгать в окна, порезались. Окровавленные, с криком: «Учителя режут!» — ударились по домам. Со всех концов села к школе сбежались вооруженные мужики. В дверях, с ружьями наперевес, их встретили стражники. Каменцы оторопели, но выискался храбрец — беззубый, пожелтевший от старости солдат, кривой на правый глаз Аноха, Карс брал приступом.

— Ну-ко, малец, набирайся храбрости: суй мне в брюхо! — прошамкал он, хватая одного из стражников за штык; из-за спины его кто-то допялился до второго штыка, в один миг обезоружили и ворвались в учительскую.

— Детей наших увечишь, ж-жаба!

Из учительской комнаты до наружных дверей в два порядка выстроившиеся мужики, как чурбан, выкатили ногами пристава на улицу, а там на него напали бабы. Без шапки, в порванной шинели пристав вскочил в сани, но у лошадей перерезали гужи...

Без колокольного звона, без наряда все Осташково высыпало на площадь, с хохотом передавая друг другу раздутое известие. Двух десятских отрядили звать меня, шахтера, Галкина.

— Что ты, Иван, сидишь, пальцы считаешь, старики велят тебе идти на сходку, на совет... Погляди-ка, что там делается!

Нас встретили шутками.

— Когда не надо, кричите: «Выходи на сходку!» — а то прячетесь?.. Слыхали, что на Каменке-то вышло?

— Это очень даже хорошо, ребятушки, что так ловко, — отвечал радостный маньчжурец. — Ну-ка, кто помоложе, тащите мне кубаретку, я речь вам выскажу. Мне

надо рассказать вам, отчего мы все стали такие непочетники начальству, в этом есть большая причина.

— Стало быть, не без того!..

— Я, бывало, в Харбине, в лазарете этом самом, лежу-лежу... А-а, мать его курицу! Какая наша жизнь, никогда у нас не будет по-хорошему!..

— Ан — ошибся!

— Не туда сошник надел!..

— Здорово дал маху! — крутил головой Галкин.

— Дыть что же — не святой, наперед угадать только святые в силе, — успокаивали его.

— Потом приехал домой, гляжу: день и ночь около меня Ванюшка Володимеров крутится, чего-то ему хочется спросить у меня, надоел даже, признаться...

— День-деньской, это на кого ни доведись — надоест...

— Выпытал его, узнал, что за перепел. «Давай, мол, Ванюха, дело делать...» — «Давай, говорит, Проша... Я, говорит, тебе на весь век помощник!..» А я ему: «Ни черта, браток, у нас с тобой не выйдет, глянь-ка — серь какая!..»

— Вот и тут ошибся!..

— Два раза: в Харбине и в Осташкове ошибся!..

— Не выйдет да не выйдет, только, бывало, и думки в голове. Ну что же, принесли кубаретку?.. Я сейчас вам выскажу речь...

— Погодь, Прохор! — раздался сзади густой бас. — Что это, ей-богу, право, где ни соткнемся, все, например, либо Ванюшка, либо разновер захаровский, либо ты слова говорите, а нас, например, много, каждому хочется... Ну ко-сь, я маленько покартавлю!..

К Галкину протискался пилатовский старик Софонтий.

— Куда его, черта лысого, суют! — закричала молодежь, но на нее зашикали. Под оглушительный смех Софонтий взобрался на табурет и несколько времени, во весь рот улыбаясь, подмаргивая, на насмешки отвечая бранью, глядел по сторонам.

— Вот, например, Свирепино,— начал он, прищурившись. Постоял, сделал паузу, неожиданно подбросил вверх руками, щелкнул, затряс головою.— Хорошо ай плохо?

Толпа схватилась за животы.

— Оч-чень хорошо!

Софонтий с тавлинкою в руках ждал, когда шум уляжется.

— Вот, например, был на свете крючок... — Старик опять сделал паузу, набрал из тавлинки полную щепоть табаку. — Середнего роста!.. При звезде!.. — Опять прищурился. — И вот например, Ка-менка, село такая... — Сразу втянув в ноздрю табак, сквозь чиханье и рев толпы тоненько взвизгнул: — Учителя хотели закрючить!.. Хорошо?..

— Гы-гы-гы!..

— Учителя хотели закрючить!.. Ивана Ларивонова...

Раскрыл огромный рот, поросший буйно дымчатыми космами, зашевелил бровями. Толпа фыркнула, заржала, захлипала, залаяла. С облепленных ребятишками заборов поднялся свист и улюлюкание.

— Замолчите же, говорят вам! — рассердился Софонтий.

— А ты говори, не привередничай, валух старый! — кричали на него.

— Вот, чтобы, первым делом, человек на колокольне день и ночь, например, сидел, поняли? — загудел Софонтий. — На какой случай, например, сичас бы звон во все колокола... Так... Прошу меня назначить... Будет, например, не хуже свирепинских!..

— Послужи, Софонтьюшка, для мира!..

— Другим делом хорошего старика выбрать, как приедут стражники, чтобы любово за штык мог схватить...

— Зачем приедут?

— Учителя забирать.

— Не бреши, чего не знаешь, а то стащим к чертям с кубаретки!

— Да не дурите же, ребята!.. Слухай еще одну притчу...

Мужики на минуту примолкли.

— Вот этим... — он указал на нас троих: на маньчжурца, Петю и меня. — Они, например, больше всех хлопочут... Ваньтин отец вон ропчет: от работы, например, отбился парень... Солдатишка тоже всю кровь пролил на Маньчжурию... Им надо, например, поставить жалованье от опчества...

— Ну теперь, дядь, слезай!.. Уж будет!.. — потянул его за фалды Прохор. — Довольно с тебя!..

С шутками толпа стала расходиться. Вечер был тихий, морозный. Приветливо мигали в избах огоньки. На безоблачном небе широким блещущим холстом разостлался Млечный Путь.

XI

Приехали ночью, когда все спали, в сопровождении стражника Демида Сергачева и брата его — Кирика, участника погрома.

Солдаты и стражники были пьяны, командовали ими высокий, сухой, с беспокойно злыми глазами офицер и помощник исправника.

Приехали на мужицких подводах, окружили церковь, волость; взводами, блестя щетиной штыков, побежали по «концам», заняли переулки, мосты, отрезали дороги...

Согнанных к волости осташковцев поставили в снегу на колени...

Кирик и Демид с начальством сидели в присутствии. Кирик был пьян и жаловался офицеру на глупую голову, толкнувшую его идти вместе со всеми на имение князя Осташкова. Офицер морщился; Демид, стражник, одергивал Кирика за тулуп.

По списку, составленному со слов братьев, в волость втаскивали за ворот наиболее усердствовавших при погроме. Искали меня, шахтера, Мотю, грозили отцу, лежащему в сенях связанным...

Высекли среди площади Настю, замучили маньчжурца, Богача, Софонтия-оратора, Илью Барского, Максима Колоухого.

В клочья иссекли дядю Сашу Астатуя Лебастарного, Рылова, Пашу Штундиста, Сорочинского...

Перед вечером того же дня, связанного по рукам и ногам полотенцами, с накинутым на голову веретьем, шахтер с Мотею мчали меня куда-то на лопатинских лошадях.

Я помню: визжали полозья, этот визг рвал мне мозг, я бился в санях, кричал и... плакал...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

Старик лет семидесяти, босой, в зимнем полушубке нараспашку, бросил у коновязи лошадь и побежал на платформу. В одной руке он держал кнут, а в другой солдатский картуз с синим околышем. Ветер будоражил его дыбом вставшие волосы, они были седы и грязны. Несколько раз старик торопливо и как бы с испугом взглядывал на солнце. За стариком, роняя пенистую слюну, гналась собака. Старик злобно оглядывался, грозя ей кнутом. Собака приседала нерешительно и льстиво. Но когда старик бросался вперед, собака веселой опрометью догоняла его.

На станции было безлюдно и тихо. На полдень и на восток, как море, расстилались хлеба, бескрайние и мерно зыбкие, в синем цветне. Бестолково озираясь, старик обежал платформу, и на песке платформы слабо отпечатывались ступни его задубеневших ног.

Из-за куста застручившейся акации вышел сторож с топором в руках.

Старик, как мальчик, метнулся к нему.

— Василий!.. — Он говорил, волнуясь, перекладывая из руки в руку картуз с кнутом: — Понимаешь, Василий, запоздал. Давно прошла машина?

Сторож поздоровался с ним за руку, старик радостно не отпускал его.

— Понимаешь, вскочил до свету, а вот гляди, что сделал! — с укоризной глядя на сторожа, воскликнул он.

Старик бросил на колышек палисадника картуз, вытер полушубком струившийся с лица пот и опять взглянул на сторожа беспомощно и виновато.

— Закурить есть? — неожиданно спросил он.

— Есть, — сказал сторож.

Старик протянул руку за кисетом и отдернул ее, будто прикоснулся к горячему железу.

— Постой, Василий!

Взлохмаченный, высокий, костистый, длиннорукий, он нелепо дрыгал ногами, подбегая к полотну дороги, и сторож усмехнулся, глядя на него.

Стоя на горячих рельсах, старик долго глядел вперед, в марево расцветшего утра, вдоль двух сходившихся впереди струн, до рези в глазах блестевших на солнце.

— Закуривай, деда, — сказал сторож. — Иди, закуривай, не пришел еще поезд-то...

И в мгновенной улыбке, озарившей лицо старика, сторож уловил страх.

— Не пришел еще? — прошептал он.

— Пока не пришел, — ответил сторож, глядя, как черные губы старика обметываются корочкой сухого жара, как у горячечных.

Они сели на корточки у изгороди и закурили. Сторож — приземистый и сбитый, в кольцах синей цыганской бороды, старик — как сломанный бурей сухостой. Торопливо затягиваясь, старик жег свои пальцы. В махорке попадалась шелуха конопли, цыгарка трещала, и нельзя было понять, откуда шел едкий запах гари — от шелухи, обжигаемых пальцев или от искр, обильно сыпавшихся на овчину. Сторож бросил окурок и хотел примять его сапогом, но старик торопливо отстранил его ногу.

— Что ж ты по скольку бросаешь? Тут еще задышки на четыре хватит... — И жадно дотянул окурок.

Старику очень хотелось, чтобы сторож спросил, зачем он приехал на станцию, почему волнуется, поджидая машину, и он часто и нетерпеливо взглядывал на сторожа. Но тот молчал. Тогда старик начал издали. Будто от холода подбирая под полушубок ноги, он равнодушно спросил:

— Как у вас, старосту переменили?

Сторож удивленно покосился на него.

— Их же всех до пасхи сменили, — сказал он,— а у вас разве старый ходит?

— Не старый, а толку мало, — подумав, ответил старик.— Ну, да скоро другие порядки наступят, помяни мое слово, — торопливо и многозначительно добавил он.

Сторож молча кивнул головой. Потом, глядя в сторону, как бы мимоходом он спросил:

— Годов восемь аль больше?

— Одиннадцатый, — бессильно прошептал старик.

Сторож покачал головой.

— Как ключ в воду. Ни письма, ни весточки, — шептал старик. — А вчера телеграмм пришел...

— Да, это бывает...

Они слабо улыбнулись друг другу.

— Я хорошо помню его, — вставая, сказал сторож.

— Знамо, все помнят, — твердо ответил старик. — А я разве забыл? — Он с минуту держал в горсти теплый песок, струившийся меж пальцев. — Поглядел бы ты, что сейчас в деревне орудуют.

— Орудуют?

— Не приведи бог! — испуганно воскликнул старик.

И они долго молчали, глядя в землю.

— Я пойду взгляну на лошадь, — будто не в силах превозмочь себя, сказал старик.

— Ступай, — ответил сторож, — еще часа три.

— Ого, пол-осминника можно спахать? — воскликнул старик. — А я, брат, испугался, — поверишь?

II

Высунув кровавый язык, собака забилась под телегу. Старик, склонив на бок голову и раскорячившись, насмешливо глядел на нее.

— Жарко в полушубке-то? — спрашивал он, осторожно тыкая собаку кнутовищем в бок. — Ничего, терпи, вот хозяин приедет, другую песню запоешь... Гостинцев тебе привезет... — И несуразная мысль о гостинцах для собаки, неожиданно сорвавшаяся с языка его, показалась старику столь забавной, что он весело расхохотался и пнул собаку ногой. — Правда? — хлипая, спрашивал он. — Изюму, бубликов, селедок!..

Собака вяло поднялась. Деревянный в грязи тележный подлисок уперся ей в спину. Старик схватился за полы полушубка и присел, не в силах справиться с душившим его смехом. Кричал, раскидывая черные ладони:

— Не знаешь, куда деться? Завязла? А еще называешься Дамка. Рыжуха, — обратился он к лошади: — Рыжуха, погляди на дуру: залезла под телегу, а вылезти не может. Ты пригнись, омёла!..

Проходившая мимо дробненькая баба с удивлением поглядела на старика, и лицо его стало сразу суровым. Выпрямившись, он строго спросил бабу:

— Машина из самого большого города скоро?

Баба торопливо обошла телегу.

— Я кого спрашиваю? — прикрикнул старик.

Серые лупастые глаза бабы скользнули по взъерошенным волосам старика и насупленному взгляду его.

— Я из чужой деревни, не знаю, — ответила она.

— Так бы сразу и говорила, — наставительно проворчал старик. — Вас тут, может быть, тысячи шляются...

И старик сам удивился, как он строго и ладно обошелся с этой ветреной бабенкой, которая даже не поклонилась ему. Он деловито подошел к кобыле, поправил пеньковую шлею на ней, перевозжал, сунул ладонь под потник хомута, крепко щелкнул по впившемуся в грудь ее оводу, тронул дугу. «Запряжка слаба, торопился», — подумал он. И он принялся перепрягать лошадь, изредка поглядывая на солнце и на полотно дороги в желтом песке. И с каждой секундой движения его становились торопливее и беспомощней. Он уже раскаивался, что затеял эту перепряжку: он мог опоздать с ней. Он кое-как перетянул гужи, вправил дугу, даже не заметив того, что она легла кольцом назад, трясущимися руками продел чересседельник. Ему послышался отдаленный гул поезда, и движения его стали порывистее.

«Нашел работу, дернуло!» — со злостью и отчаянием думал он, хватаясь за супонь. И он почувствовал, что не в силах поднять ноги, чтобы упереться в клещу хомута, так дрожали его руки и колени. Прижавшись плечом ко клеще, он с натугой стал тянуть руками жирную, в гудроне, супонь. Ладони беспомощно скользили. А гул, казалось, нарастал. В отчаянии он схватился за супонь зубами и долго, с резкой болью в деснах, тянул ее, пока супонь не захлестнулась за металлическую бородку хомута. Он чувствовал, что сейчас упадет, и совсем не замечал слез, струившихся из глаз.

Отдышавшись, он снова побежал на рельсы. Поле было пустынно, в цветне. В молодых елках чувыкали пичуги. Знойный день примял траву и цветы. Расставив ноги, темный и нескладный, он до ломоты в бровях глядел вперед по рельсам. Рельсы были жарки и немы.

«Значит, не приедет», — решил он. И он снова побежал на станцию.

Он сидел в телеграфной, курил папиросы. Ему дали их штук пять. Он никогда не курил папирос и удивлялся, как можно курить их: от них даже настоящей горечи не было во рту.

— Баловство, с жиру, только бы на люд не быть похожими, — думал он.

Люд — это те тысячи, с которыми прожил он жизнь, которые горько трудились над землей, питая своей кровью всех, а эти, что курят смешной табак, как мох, это белоручки, дворовые; он не любил их и боялся.

Но сегодня он был возбужден и храбр, ведь он сам вошел в телеграфную и будто невзначай сказал, что приехал за сыном.

При этом он достал из кармана телеграмму и издали показал всем. Его не выгнали. Посадили на лавку с решетчатой спинкой. Потом он попросил покурить. Ему дали. И все охотно разговаривали с ним. Старик говорил, что сын его «за землями». И он многозначительно и строго глядел на слушателей.

— Мы знаем, — отвечали ему и снова предлагали папиросы, похожие на огарки пятаковых свеч.

III

Столб рыжей пыли меж хлебов старик первый заметил из окна телеграфной. Он беспокойно вскочил и побежал на платформу. Да, это ехал дозорный, в руке его болтался красный флажок. Лошадь прыгала мелким напряженным галопом, как бегают крестьянские клячи. В такт прыжкам ее дрыгали голые локти седока. Старик и верховой стали издали махать друг другу: старик картузом с синим околышем, дозорный красным флагом. Наконец, старик не вытерпел и дико закричал, подняв руки:

— Чего тебя несет, лешего, без пути?

Верховой согласно мотнул головой и подхлестнул лошадь.

— А? Что ты сказал? — спросил он, осаживая кобыленку.

Он был в поту, без шапки, с бороденкой набок, возбужденно радостный. Сунув флажок подмышку, он стал вытирать подолом рубахи лицо. Лошадь билась от оводов, жадно впившихся в мокрые бока ее.

— Ты чего примчался? — строго спросил старик и топнул пяткой. — Неймется? Начальник сказал: через три часа. — Он ткнул пальцем в солнце; палец был черен и тверд, как древесный корень. — Я курил с ним в горнице, — добавил старик.

Мужик даже не обратил внимания на окрик или не

понял его. Соскочил с лошади, юркнул в рожь и присел.

— Ну, как, — через минуту спросил он оттуда, — машина скоро будет? Держи лошадь-то, а то убежит, враг. Вот, сволочь, до каких пор не едут с машиной... А овода в яровине — земля не держит...

Красный флажок из кумачового лоскута он воткнул в землю напротив себя.

— Дурак, — раздраженно ответил старик. — Потерпеть не можешь? Неуч...

Взрыв паровозного свистка заставил подскочить их. К станции подходил товарный. Бросив лошадь, наискось, по хлебам, путаясь ногами в колосьях, падая, матерясь, они стремительно помчались к станции. Старик кричал, что мужику надо скорее ехать обратно. Мужик, поддерживая обеими руками расстегнутые штаны, посылал старика в омут, он только издали глянет на него и зараз махнет в обратную, у него не лошадь, а чертова зверюга, он на такой лошади царя обгонит.

В глазах обоих рябила вереница медленно плывших вагонов.

Старик подбежал к поезду первый.

— Что, нету? — спросил он, задыхаясь, кондуктора, стоявшего на тормозной площадке.

Тот удивленно поглядел на его возбужденное лицо, на космы седых волос дыбом, на другого мужика, суетливо гнавшегося за ним по ржи.

— Проходи, проходи, дед, нету.

— Нет, брешешь, есть, — азартно воскликнул старик, взмахивая кнутом, и побежал вдоль вагонов, заглядывая на площадки. Он был жалок. А за ним, не выпуская штанов из рук, гнался мужик с бородкой набок. Они добежали до паровоза. Струя холостого пара так напугала их, что старик на миг онемел.

— Тут он, у вас? — умоляюще протягивая руки, спросил он, робко подвигаясь к подножке паровоза.

Два чумазых парня высунулись сверху и спросили, что ему надо.

— Малый мой...

— Что? Кричи громче...

— Ваньтя наш... тут?

Парни переглянулись, и один помоложе, молокососишка, ответил:

— Нету, весь вышел. Тебе, дед, не холодно в полушубке?

Мужичонка, вероятно, видал виды, он начал во весь голос лаяться с машинистами, а под конец, разжав руки, показал им такую козу, что чумазые озорники аж взвизгнули. А старик очумело метался по другой стороне поезда.

Он успокоился и затих лишь после того, когда самый главный начальник станции — он был в красном картузе и светлых пуговицах — сказал ему, что в этой машине люди не ездят, что он приедет с другой машиной, лучше, наряднее, та будет с окошками, как в хате, и что эта машина придет через полчаса. И начальник при этом поглядел не на солнце, как все, а на белую круглую хреновину, которую достал из кармана и которая сама открылась.

IV

Человек вышел из вагона и постоял на площадке. В руках его был небольшой чемодан. На миг человек растерянно поглядел на маленькую в зелени акаций и молодых осин станцию, такую маленькую и тихую, что у него аж сердце заныло, и он крепче сжал ручку чемодана. Потом он медленно стал сходить на платформу. И когда он сошел и стал оглядываться вокруг, люди, бывшие на платформе, въелись в него взглядами и стали следить за каждым движением его.

Человек был брит, в шляпе и городском белье. Из-под шляпы, над ушами, выбивались пряди светлых волос. Человек был в коричневом легком пальто, перетянутом по талии поясом, и перчатках. Человек пошел в станцию, и все напряженно глядели в спину его. Тогда, будто повинуясь их воле, человек не вошел в станцию, а свернул вправо, под колокол, наклонился и поставил чемодан у стенки. И все сразу же заметили, что на ручке его чемодана болталась какая-то четырехугольная штучка с бумажкой посредине и что оба конца чемодана облеплены бумажками — серыми, красными, розовыми, больше розовыми.

Человек порылся в кармане, вынул платок. Все продолжали напряженно глядеть на него, каждый на своем месте, и всем показалось, что руки его дрожат. Человек вытер лицо и тоже оглядел всех по очереди. Улыбнулся бабе, изнемогавшей в любопытстве. В коленях бабы торчал мальчик лет пяти с выгоревшей головкой.

Ушедший поезд был еле слышим.

Человек направился к начальнику станции. Сторож, стрелочник, телеграфист, телеграфистка, баба отступили. Начальник отставил вперед левую ногу, а руку заложил за борт белого кителя. Человек подошел к начальнику, приподнял шляпу и спросил, может ли он получить багаж.

— Да, конечно, — ответил начальник. — Издалека изволили прибыть?

Начальник на весь участок славился деликатностью и уменьем поговорить с образованными людьми.

Человек порылся в карманах и подал начальнику багажную квитанцию.

— Я из Петербурга, — сказал он.

— Член Думы Бубликов? — догадливо спросил начальник.

— Нет, нет, не член, — сказал человек.

Начальник бережно принял квитанцию и побежал к кладовой. Но его опередил сторож.

— Сейчас принесут, — сказал начальник, возвращаясь.— Ну, как там в Петрограде?.. Кстати, как теперь надо говорить: Петроград или Петербург?.. Простите, если я утомил вас разговором.

— Я думаю, все равно: Петербург, Петроград. В конце концов это не важно, — проговорил человек.

— Конечно, конечно! — с жаром согласился начальник. — Ну, как там у вас, в Петербурге, кончилась революция?

Человек улыбнулся.

— Мне думается, нет, рано, — сказал он.

— Да неужели? — воскликнул начальник и засмеялся, потому что думал, что человек шутит. — А у нас, знаете, кончилась, у нас лягушек за три версты слышно.

Сторож в это время нес из кладовой еще чемодан, облепленный бумажками, нес и покряхтывал от удовольствия.

— Василий, — сказал ему начальник, — чем дурака-то валять, возьми да сбегай на деревню за подводой. Домчись, пожалуйста.

Человеку:

— Наверное, не привыкли ездить на наших телегах? Глушь, бедность... А рессорные экипажи теперь, сами знаете...

Лицо начальника приняло скорбное выражение, будто он был виноват в том, что рессорные экипажи теперь стали не в моде.

Человек улыбнулся.

— Нет, я привык, ездил... Тут, видите ли, за мной должна быть подвода, я телеграфировал.

И не успел человек сказать это, все смятенно отступили от него.

— Вы из Осташкова? Иван Петрович? — воскликнул начальник станции, всплескивая руками.

Человек смущенно ответил:

— Да, я из Осташкова.

— Ах, боже мой, Иван Петрович, дорогой! Ведь мы заждались... Позвольте представиться: местный начальник станции Пятов. — Начальник обеими ладонями крепко сжал руку человека. — Вот счастье, вот радость... заграница, Африка, Мадагаскар... — Он с невыразимою любовью оглядывал багаж человека.

За начальником к человеку бросились телеграфист, сторож, стрелочник, после всех баба.

— Ваньть, это ты? — спросила она, заливаясь слезами. — Одежа-то на тебе какая хорошая!

Все крепко пожимали руку его, возбужденно говоря, что любого из них зарежь на месте, никто не мог бы признать его сразу.

— Мне помстилось, — кричал сторож — он больше всех был огорчен, что не признал человека сразу; — мне помстилось: сошел человек и человек бытто знакомый — лицо, волосья, как полагается... ге, думаю, тут что-то неладно, тут надо подумать...

— Я сам так-то, — дергал его стрелочник. — Человек, да черт с ним, что человек, разве мало их таскается... Гляжу, а это наш, осташковский...

Только телеграфист небрежно шепнул телеграфистке:

— Я сразу его узнал, но неудобно было подойти: мы же до сих пор были незнакомы.

— Ну, держись теперь Осташково, свой царь приехал! — подбрасывая шапку, воскликнул сторож. — Всем царям царь.

Человек изумленно обернулся на него.

— А что, неправда, что ли? — накинулся на него сторож. — Стало быть, ты теперь нашим царем будешь, вот и весь сказ. Помнишь, как мучился? Помнишь, как тебя казаки терзали? Забыл? Память плохая? Вот то-то и оно... Ну, так и молчи... Помнишь, ты у меня единожды на печке в крови валялся, а полиция две тыщи рублей сулила, помнишь? Я бы теперь лавкой торговал на всю волость...—

На минуту сторож стал центром внимания всех. — Полиция, понимаешь, когтями землю скребет: где малый? Нет, думаю, сучьего сына, за две тыщи не купите!..

Сторож наклонился к уху начальника и прошептал:

— У него, Андрей Филиппыч, бок был простреленный, во дырища, рукавица пролезала. — Сторож развел руками, показывая, какая была дыра в боку человека: в эту дыру свободно могла пролезть собака. — А то ладит: в цари не гожусь, в цари не гожусь! — возмущенно проворчал он. — Годишься, как заставим. Цела еще метка-то на боку? В цари не гожусь... То-то у нас был хороший царь — Гришка Распутин.

Человек улыбнулся.

— Про Гришку теперь не поминай, то время прошло, — наставительно сказал стрелочник.

Вдруг сторож подскочил, как укушенный, и бросился за станцию, крича не своим голосом:

— Деда Петро! Деда Петро, приехал!.. Ведь за тобой с утра папаша тут, — обернулся сторож к человеку. — Деда Петро, куда тебя нечистая сила загнала?

И все тотчас же загалдели, изумляясь, куда девался старик: приехал встречать гостя, целый день томился сам не свой, а то запропал, как иголка.

Сторож был у телеги, обежал вокруг станции, заглянул в телеграфную, даже в квартиру начальника, — старик исчез.

— Прямо чудно, то бегал, как козел, нудился, а то вот на тебе. До ветру, что ли, вышел?

И все вопросительно глядели друг на друга.

— Да вот он! — со смехом воскликнула баба. — Он в кусты залез.

Жалкими, молящими глазами старик глядел из кустов акации на подошедших людей. Он крепко держал руками картуз свой, будто боялся, что его выдернут, и пятился. Потом он будто попытался что-то сказать, у него задвигались желваки на скулах и затряслась борода. У человека похолодела спина, таким несчастным, беспомощным и старым показался ему отец. Он шагнул в заросли акации:

— Отец!

Старик взметнулся:

— Сейчас, сейчас, сынок, лошадь, того.., лошадь готова!.. — Он побежал к коновязи, на бегу болтались полы смрадной шубенки его; по щиколкам хлопали дерюжные

порты. «Когда их стирали, стирали ли?» — мелькнуло в голове сына. Старик трясущимися руками отвязывал повод, тпрукал, бил босыми ногами лошадь по коленям. Сын подошел сзади и хотел обнять его.

— Сейчас, сейчас, сынок, — бормотал старик, качаясь, — готово. — И побежал к телеге, хватаясь за вожжи.

Сын только почувствовал, как тяжело, запально дышал старик.

V

Кругом, насколько хватал глаз, тянулось ровное сине-зеленое море хлебов. Рожь была по пояс, местами выше и гуще. Иногда по верху ее пробегал слабый ветер, рожь колыхалась мертвой зыбью, то чернея, то отливаясь матовой рябью. Тогда над колосьями почти непроницаемой завесой подымался цветень, будто тучи серебряно-багрового дыма вырывались из земных недр, и на время тускнело солнце. Трава, цветы, земля казались плесневелыми. Потом опять душным гнетом налегала тишина, волны выравнивались и с безоблачного неба бесшумными потоками лился палящий зной.

Старик, сидевший по-татарски в передке телеги, ни разу не обернулся, хотя они проехали уже версты три. Изредка он чмокал и шевелил вожжой. Рои злобных оводов гнались за телегой, острыми шильями кололи кожу лошади, впивались в вымя ее, грудь, бока, и под шлеей ее уже пятнами проступила кровь. Измученное животное беспрерывно мотало головой и фыркало, и то бросалось в галоп, — тогда старик отчаянно натягивал вожжи, перекидываясь на спину, — то падало на колени, пытаясь лечь — старик тоже вскакивал на колени и бил ее кнутом. Иной раз старик бросал вожжи и хлестал лошадь картузом по вымени и животу, и с каждым взмахом картуз его становился краснее. Лошадь благодарно оглядывалась. И каждый раз украдкою старик присматривался к сыну. Но тот будто не замечал его возни. Глядел на ниву, синеватое небо, далекие и редкие ракитки большака. Или наклонялся и набирал горсть теплых колосьев, но не рвал их. И лицо у него было такое, как будто человек вспоминал сон и не мог вспомнить его. Один раз, когда старик снова стал возиться с лошадью, сын вылез из телеги и пошел по тропинке вперед, прихрамывая.

«Пересидел ногу», — подумал старик, ухмыляясь.

Только теперь, осторожно трухая сзади, он разглядел одежду сына, обувь. А когда сын наклонился и сорвал что-то, он уткнул голову в вязок и счастливо засмеялся, шепча:

— Как был левша, так и остался, без перемены...

И слова эти, произнесенные не голосом, а только слабым движением обметавшихся губ, показались ему столь забавными, что он опять уткнул голову в колени и беззвучно захлипал, прижимаясь ртом к овчине.

Сын вспомнился ему маленьким, босоногим и длинноволосым, с тонкой шейкой и синим от голода и грязи лицом. На лице тлели испуганные, молящие о чем-то серые глаза. Порою взгляд их доводил старика до бешенства своею беспомощностью. Вспомнил нелюдимость его и болезненность, — будто белый, вялый картофельный росток, вытянувшийся без солнца. «В кого он?» — часто думал отец. Вспомнил свою безмерную любовь и жалость к нему, слабому, чужому, единственному. В любви своей и исступленной жалости, безответно перегора́вших в груди, был одинок...

Старик бешено завозился на телеге и стал рвать удилами рот лошади. Обогнал сына, дико глянул в лицо его из-под лохматых клочьев бровей, остановился, присел под животом лошади на карачки, злобно давил ладонью оводов с брюшками цвета красной смородины.

И опять глядел в спину сына, медленно шагавшего обочь дороги.

Вспомнил неизъяснимую гордость свою, когда этот забитый, запуганный, кричавший ночами мальчик вот таким же слепым оводом впился на восьмом году в книгу и ослеп для окружающего. Вспомнил, как он, старик, темный и непонимающий, сразу же поверил ему, поверил тому, что мальчику книга нужна больше хлеба, что он пропадет без школы. И перед ним как бы открылась тайна жизни.

Старик приподнялся на телеге, впиваясь мятущимся взглядом в фигуру сына, словно хотел крепко обнять его, будто прижимался своим горько горевшим лицом к лицу сына. Не верил, что человек, задумчиво шагавший впереди его, человек в странном костюме горожанина, в каком-то белом ошейнике и пестрой тряпочке на груди, с бледными нерабочими руками и бритым лицом, человек этот — сын его, мотавший силу по тюрьмам, а теперь вот воскресший.

— Стало быть он, сын... Ваньтя...— шептал старик, как бы уверяя себя в этом. — Вместе пахали... косу ему прилаживал...

И старик опять вспомнил, как они действительно вместе пахали. Сыну было четыре года, не больше. Старик взял его в поле. Сеяли рожь. И он не заметил, как мальчик отошел от загона. Крутился около телеги, мурлыкал что-то под нос, а когда старик хватился, мальчика не было. Поглядел в телеге — не спрятался ли? Нет. Позвал его. Не ответил. Закричал громче. Не ответил. Беспокойно заметался, бегал на взгорье, по оврагу, лежавшему ниже. Нигде не было видно. И на кой черт он брал его? Выпряг лошадь из сохи, кружился по полю, потный, злой, с безумно бившимся от страха сердцем, спрашивая: не видел ли кто мальчишки? Никто не видел. Съездил домой. И там не было. В кровь избил жену. Воротился в поле. Уже заходило солнце. Кричал полем, как под ножом, потому что обрывалась жизнь его... Разбитый, с порванным голосом, без шапки, возвращался к телеге. И первой мыслью его, когда он издали увидел телегу, было: «Сейчас убью лошадь, а сам удавлюсь на тележном крюку...» Мальчик спал в меже, шагах в двухстах от него. Лицо его было заплакано, рубашонка, руки и ноги в тине.

— Где ж ты пропадал, чертенок? — завыл отец, соскакивая с лошади и хватая его на руки.

Мальчик испуганно взметнул ресницы, заплакал, прижался к груди отца,— он водил поить лошадь, а потом никого нет, и он искал телегу, в телеге тоже никого нет, он пошел домой и дома нет.

— Какую лошадь? — оторопело спрашивал отец.

— Вот лошадь.— Мальчик разжал ладонь и показал ему большого зеленого задушенного кузнечика.— Лошадь пила, а я увяз и соху потерял,— сказал он.

И сколько ж раз потом старик с хохотом рассказывал всем об этом: «Вот стервенок!» — как часто, сидя за столом, он спрашивал сына: «Ваньтя, а лошадь напоил?» — и, когда сын неизменно отвечал: «Она уж издохла»,— ржал, ласково хлопая мальчика по острым лопаткам.

Это был первый случай, когда между ними протянулась слабая паутинка.

VI

...А то раз после троицы они взметали пар. Было так же жарко и душно, как нынче. И так же лошадь бессильно билась от гнуса. Мальчик бегал с кнутом за молодыми грачами.

— Вот они тебя укусят! — смеясь, кричал отец.

Мальчик вправду робко останавливался, боясь, кабы грач не укусил. И старик жалко усмехнулся, вспомнив это.

«Лошадь-то была другая, не эта, та лошадь была добрая»,— подумал он.

И вот середь дня неожиданно, как исполинский ворон, на поле налетела туча, закрыла черными крыльями солнце и в поле стало почти темно. Забушевал ветер. Запахло гарью и дождем. Будто кнутом, небо стегало молниями. Телега стояла на дне лощины. Он торопливо распряг лошадь и пустил на траву, а сам побежал в лощину. Мальчик сидел на телеге бледный, с развевающимися волосенками. Старик схватил одежу, хомут, мешочек с хлебом и луком и закричал сыну:

— Лезь скорей ко мне, а то намочит!

В этот момент полоснула молния и раздался такой гром, будто над ухом старика переломилась гигантская сухая сосна, и поле застонало. За раскатом грома хлыпул ливень.

— Ваньтя, лезь под телегу, я кому говорю? — закричал отец. Сдернул мальчишку с грядки, закутал его полушубком, веретьем, сверху бросил сибирку, а сам прикрылся хомутом, как лиса бороною. Можно было досчитать не больше до двух сотен, не больше трех раз обернуться на полосе, как все кругом залило водою. Раскаты грома были столь часты и оглушительны, так стонало и колебалось небо над ними, с угорий с таким яростным ревом катились потоки мутной воды и такой высокой стеной вода хлынула на телегу, что старик занемел от испуга. И вот в этот момент, сквозь грохот неба и рев потоков, неожиданно раздался крик ребенка:

— Тятя, поехали!

Поток поднял одежу и веретье вместе с мальчиком и понес вниз. Отец бросился в воду, она была выше колен его, гораздо выше, хотел схватить ребенка, но поскользнулся и упал. Вода хлынула через голову. Он кинулся вплавь. Мальчик был шагах в пятнадцати. Тогда он по-

бежал к бровке лощины, перегнал мальчика и, зайдя в воду по пояс, отчаянно борясь с потоком, кое-как выволок его без полушубка, веретья, почти голого. И снова мальчик испуганно приник к нему... Ливень быстро прошел. Опять выглянуло солнце. Лохмотья туч неслись на север. Поток еще ревел, перекатываясь через опрокинутую телегу. Где-то в воде были хомут, одежа, пещер с мелкими инструментами, хлеб,— ляд с ним, с этим навозом! Отец бережно нес мальчика на угорье, ласково урча:

— Присядь тут, тут суше, видишь — солнышко, оно, брат, живо согреет, испугался?.. Ах ты, озорник, право, ей-богу, надо бы кричать: тону!.. а ты смеешься, глуп ты еще, Ваньтя...

А потешнее всего было то, что мальчик опять рассмеялся, когда старик пошел отыскивать худобу.

— Ты что? — удивленно спросил он, останавливаясь.

— Было поехали,— ответил мальчик. Ребенок в самом деле был еще глуп.

Полушубка он так и не нашел, только веретье случайно затинилось у куста.

— Хорошее веретье, новое,— пробормотал старик, сжимая ладонями виски и изумленно глядя в спину шагавшего впереди человека в городской одежде.

«Ведь это он,— с болью подумал старик: — идет и молчит...» И если б сын обернулся в это время и поглядел на отца, он увидел бы пустые, далекие глаза его, глаза очень, очень больного человека,— так они были тусклы и молящи.

VII

Откуда-то раздался еле слышный звук колокола. Старик встрепенулся и задергал вожжами.

«Народ, поди, заждался»,— подумал он.

Догнал сына, хотел сказать ему: «Садись!» — но не посмел. Сын так же задумчиво шагал по тропке. В руках его пестрели васильки, веточка белого донника, мышиный горошек, две-три полевых гвоздики. Изредка он подносил цветы к лицу, будто целовал их.

И снова старик вспомнил сына маленьким, в замашной синей рубахе с красными ластовицами и красным рубчиком по вороту. Из-под рубахи проступали острые лопатки его. Опять они в поле, на пашне. Сын ходит за

сохой. Как бессильно вихлялось его тело в борозде, с каким напряжением держал он соху! На поворотах старик видел залитое пóтом худое лицо его, налеты соли на носу, дрожащие мышцы рук под мокрыми рукавами. Работа была ему не по силам. Вечерами, как срезанный колос, мальчик падал у телеги на голую землю и засыпал мертвым сном. Ласково прикрыв его, старик сам вел лошадей в ночное и стерег их до утра. Мужики часто смеялись над сыном:

— Это, брат, тебе не сметану лизать.

Или:

— Барчук, что хвостом-то крутишь, не умеешь за соху взяться?

Отец видел, как болезненно дергалось лицо его от насмешек, и он старался выбирать полоски подальше от людей, запальные; чаще, чем надо, посылал его за водой, обедом, то будто забыл спички, то не хватало овса лошади,— чего он только не придумывал!.. Один раз так схитрил:

— У тебя, Ваньтя, соха что-то неладит,— сказал он.— Пока сбегай покупайся, а я поправлю, ишь вон подвои-то повисли...— Мальчик пошел к реке. Старик обернул раза два по полосе и, заговорщически ухмыляясь, стал с силой колотить краями палицы по сошникам. Наварное ушко палицы отлетело. Старик лукаво сунул его в землю.

— Вот,— сказал он потом сыну,— вот какая чертова музыка: гляжу, чего соха ни кляпа не стоит, борозда-то — как хряк намочил...— И борозда у него была действительно, как хряк намочил, в извивах.— Поглядел, понимаешь, а ушки-то на палице — тютьки съели, ах, чума ти возьми, шельму!..

И сердце его радостно щемило, когда он говорил это сыну.

— Вот что, Ваньтя, беги домой, возьми у матери денег и пускай кузнец новые ушки приварит, стальные, бети. Ежели у матери нет денег, беги к крестному: дай, мол, крестный, отцу двадцать копеек, ушки наварить, а то сломались, беги скорее...

Знал: у матери нет денег, крестный не даст, тем лучше.

Теплыми глазами старик обнимал голову сына, когда тот доверчиво побрел к деревне. А потом бахвалился понуро стоявшей лошади, как он ловко окрутил мальчугана.

...Через год он видит сына на полосе ярового. Овес буен и гроздист, как рябина, местами вылез. Мальчик ведет ряд сзади отца. Ему двенадцать лет, но никто не дал бы ему десяти, так он худ и мал. И оттого, что он такой дохлый, неудачливый, так бессильны и жалки напряженные руки его, такими напряженными толчками бьется кровь на шее и висках его, будто сейчас жилы лопнут, сердце старика костенеет от злобы и жалости. Вот схватил бы его сейчас на руки, душил бы в объятьях, покрывая поцелуями это милое, беспомощное, безвольное лицо, а потом, может быть, швырнул бы с бешенством об телегу, об колесо спиною, черт бы его побрал!.. Но он только трясется, ласково улыбаясь:

— Ну-ну, сынок, надувайся, жарь помаленьку, ишь овсище-то мер по четырнадцати даст, так, так... Налегай на пятку больше, на пятку... А левое плечо держи выше, так, правильно... Ну-ко, я поточу косу, присядь пока...

Наточив косу, говорит, как ему неудобно возиться с леглым овсом, у него только зря время пропадает с этой дурацкой «постелью».

— Подрезай, сынок, понемногу и складывай на ряды...

И сын бросает свой неоконченный ряд и подкашивает вылегшие пятна «постели», перенося овес небольшими прядями на жнивье.

VIII

Старик видит мальчика школьником с холщовой сумочкой книг. На пройме сумки деревянный верешок, на который сумка застегивается. Говорят, сын лучше всех учится, он в «первых». Зимними вечерами старик неотрывно следит, как мальчик чертит значки и линии на бумаге, по временам заглядывая в раскрытую книгу. Мальчик решает задачи. Старик просит растолковать, что такое задачи.

— Из одного бассейна,— говорит мальчик,— вода вытекает в четыре часа пятнадцать минут, а из другого...

Старик не знает, что такое бассейн и как долог срок четыре часа пятнадцать минут, но он жмурится, согласно кивая головой.

— Надо узнать, сколько ведер воды вытекает из первого бассейна, если из второго...

— Узнавай, сынок, обязательно узнавай,— шепчет он.

Отцу хочется придвинуться и обнять ребенка, и он возится по лавке. Но на него удивленно поднимаются большие и тусклые, как у слепца, глаза. В них вспыхивает испуг. Тонкие, худые пальцы выпускают карандаш. Угловато поднимаются плечи. Мальчик начинает дрожать.

«За что же, за что же мне это?» — мысленно кричит старик, с ненавистью глядя в глаза сына.

И так они сидят несколько минут: один дикий и страшный, с ногтями, вдавленными в тело свое, другой — мятущийся и жалкий, с молящими лучиками глаз. Еще момент, и старик, кажется, вопьется пальцами в шейку мальчика. Он с шумом поднимается и говорит, скрипя зубами:

— Сидишь вот с моргасулькой да ослепнешь, надо другую лампу купить, светлую...

IX

Если бы старик видел кинематограф или знал бы хоть приблизительное устройство его, он сказал бы, что с ним что-то случилось, у него в голове завелся какой-то кинематограф, так быстро, ярко и до мельчайших черточек отчетливо проносилась перед ним прошлая жизнь его. Как от ос, старик беспомощно отмахивался от нахлынувших воспоминаний, но они облепили голову его и больно жалят. И старик ослаб, отдаваясь им. Он свесил на грудь голову, и она мотается, как у пьяного. Из рук вывалились вожжи, вот-вот закрутятся на колесе. Лошадь еле плетется. Заехала в рожь, остановилась, хватает колосья. Старик недоуменно глядит на нее. Потом медленно тянет за вожжу. Лошадь нехотя поворачивает на дорогу. Телега скрипит осями и подпрыгивает в колеях. Шагов через десять лошадь останавливается середь дороги. Старик глядит на круп ее и молчит. Затем начинает тихонько подсвистывать, чтобы лошадь помочилась. Она не хочет мочиться. Налетает гнус, жадно облепляя лошадь. Она срыву дергает телегу и несется вскачь. Подпрыгивая на сиденье, старик хватается за вязок. Вожжи падают. Лошадь круто поворачивает в сторону и чуть не опрокидывает повозку. Старик неторопливо слезает. Колесо заело вожжи. Старик снимает тяж, чеку, упирается пятками в колесо и с усилием расправляет вожжи. Руки его в дегте. Лошадь бьется от гнуса и то и дело хлещет его хвостом

по голове, по лицу и плечам. Старик отпрукивает ее. Сын оглядывается: ни удивления, ни любопытства нет в глазах. Постоял немного, повернулся и зашагал дальше... Ах, будь ты проклята, трижды проклята, постылая жизнь!

...Лента кинематографа неумолимо развертывается. Вот старик видит мальчика в распахнутых дверях своей избенки с перекошенным от ненависти ртом. Ему уже восемнадцать лет. Горела та светлая лампа, которую он купил когда-то.

— Отец,— говорит он,— ты донес на наше братство, зачем ты сделал это?

И вот тот же час раздается звук пощечины. Потом сын плюет в онемевшее лицо его. На минуту он беспамятен. Потом слышит свой страшный голос, проклинающий сына. Помнит, как торопливо он обувался, крича, что сейчас побежит к становому, и подлу их разнесут в пух и прах, он знает, где спрятаны бумаги, оружие, кто прятал, кто поджигал волость, кто убил летом урядника, он все знает. Помнит, как с воем повисла на руках его жена, когда он одевался, и помнит, как он ударил ее ногой в живот, и она беззвучно упала на пол. Потом помнит выстрел, неожиданный и потрясающий, острый ожог в плече и крик мальчика, разразившегося рыданиями...

Старик просовывает руку за пазуху и щупает шрам на плече. Удивленно глядит на сына. Сын молча шагает впереди.

X

...Перед стариком осень, ночь, ветер с дождем и тяжелая тоска на сердце, словно сердце чует беду. Он беспеперечь курит, мечется по избенке, приникает к стеклам, ложится, снова встает, опять курит.

— Господи, что же это такое? Господи, что же это? — бормочет он, изнемогая от беспокойства.

Наконец, забывается.

Страшный грохот в двери заставляет его вскрикнуть. Он бегает по избе, натыкаясь на лохань, ведра, стол. Как нарочно, завалились куда-то спички.

— Старуха, старуха,— тормошит он жену,— старуха, встань, несчастье!.. Должно быть, несчастье!..

Он бежит к уличным дверям. В двери стучат тихо-тихо. Приподнимут щеколду, ударят, подождут, потом

забарабанят тихо-тихо и настойчиво. Через минуту снова застучат. Почему же ему показалось, что в двери грохочут? Он босиком на цыпочках подходит к дверям и берется за щеколду.

— Кто там?

— Отвори, дядя Петра.

И старик чувствует, что говорят крадучись. Человек сперва прикладывает губы к дверной трещине, потом тихо произносит, будто дышит:

— Отвори, дядя Петра...

— Вот и дождался,— говорит старик и не знает, к чему он говорит это: кого, чего дождался — смерти или радости?

Вынимает трясущимися руками запирку. В лицо хлещет дождь. У притолоки стоит человек. Он только догадывается, что стоит человек. Фыркнула лошадь. Чавкает грязь под ногами.

— Поди завесь чем-нибудь окошки,— говорит человек.

Старик бежит в избу.

— Завесь чем-нибудь окошки,— говорит он жене словами неизвестного человека.

В сенях слышна возня. Старуха сидит не двигаясь. Он подскакивает к окнам, забивая их одеждой, тряпками, охлопьем, юбкой старухи—что попадается под руку. Дверь открывается, и в дверь хотят войти сразу два человека боком.

«Сдурели они, что ли, или пьяные? — дивится старик, пятясь.— Сперва бы один, за ним другой...»

Со свит их густо течет вода. Головы обвязаны башлыками.

— Шагай наискось полегче,— говорит один человек, и голос его хрипл.— Соломки, дядя Петра, найдется?

И только теперь старик видит, что руки этих людей скрещены, что они поддерживают что-то, что между ними болтаются какие-то сапоги носками вверх, что за плечами этих людей, в темноте, стоят еще люди и тоже что-то поддерживают.

«Ну да, несут пьяного; где они нализались, кто они?» — Он торопливо выкручивает фитиль и узнает сына, которого кладут на пол. Лицо его бело, как у покойника, глаза закрыты.

— Двери, двери надо закрыть, двери! — торопливо говорит один из вошедших и, став на колени, наклоняется над сыном.— Тетушка, теплой водицы найдется? Да не

кричать!.. Тетушка, не кри-чать, говорю! — угрожающе шепчет он.

Осторожно кладет руки сына вдоль туловища. Он не дышит. Лицо его обметано легкой бородкой. Развертывает свиту, в которую сын закутан, снимает башлык, рвет крючки полушубка. По-видимому, он старший или опытней других.

— Ого,— говорит он,— здорово, сволочи, угостили... Водка есть? — Он высвобождает из-под сына руку, и рука его по кисть в крови.

— Ловко... Тетушка, рушничок надо чистый. Водички припасла?..

Легонько он поворачивает сына на бок. От груди и до колен белье его в крови.

— Так как же насчет водки?.. Ага, березовка есть?

Отрывает вышивку с поданного рушника.

— Это не нужно, это в печку. Положи при мне, тетушка, в печку, а то запамятуешь...

Осторожно смывает запекшуюся кровь с тела сына. Товарищи ему помогают. А один стоит у дверей, не вынимая рук из карманов.

Промыв рану — да, старик теперь видит, что сын его кем-то подстрелен,— человек льет березовку на рану, обильно смачивает тряпку и прикладывает к боку. Подумав, льет на тряпку еще березовки. Потом туго закручивает бок полотенцем. Сын стонет.

— Ну, вот и хорошо,— облегченно говорит старший и осторожно откидывает прядь светлых волос со лба его.— Дай-ка, тетушка, ложку. Да ты не пугайся, дело-полдела... и не кри-чи, слышишь?!. Это его собака укусила,— сурово добавляет он. Подносит ко рту сына ложку с березовкой. Она течет по щекам его. Терпеливо наливает вторую ложку, третью. Сын поперхнулся и застонал.

— Ну, вот,— говорит старший и садится на лавку.— Теперь ты, дядя Петра, и ты, тетушка, теперь вы спите, а мы покурим. Саша, выйди малость.

Человек, стоявший в дверях, выходит в сени. Фитиль в лампе приспущен. В избе почти темно и тихо. Только за стеной бушует и хлещет дождь. Да изредка стонет сын. Тлеет цыгарка в руках старшего. Пахнет махоркой. Человек приподнимается и ниже притушивает лампу. Осторожно возится в темноте, будто укладываясь.

Ночи нет конца и края.

«Кто они? Кем и где подстрелен сын? — думает старик.— Не скажут, если спрошу... А может быть, скажут...»

Он спускает босые ноги с лежанки и бесшумно крадется к старшему. Мгновенный ослепительный сноп света, вырвавшийся из ладони старшего, как удар по лицу, отбрасывает его к лежанке. Свет сразу тухнет.

— Нельзя, дядя Петра,— спокойно говорит старший.— Или ты для себя, может? — Тихонько дергает товарища за рукав.— Гриша, выйди малость, а Саша погреется... Саша, ложись, милый, на лавку...

Сын болезненней и громче стонет, но это почему-то радует старшего. Он еще раз дает ему березовки. Кладет смоченные в воде тряпки на голову его.

Сын затихает.

После вторых петухов в избу входит человек из сеней и наклоняется к уху старшего. Старший сует березовку в карман. Как ребенка, они быстро и ловко пеленают сына. Сын стонет. Его бережно поднимают на руки и уносят.

— Дядя Петра, у тебя ночью никого не было, и ты ничего не знаешь.— Человек стоит, склонившись над лежанкой.— Понял, дядя Петра? И когда бить будут, говори, никого не было,— понял, что толкую? Гляди, дядя Петра, у нас шуток не бывает... А скажешь, кровь свою продашь... Держись, дядя Петра...

«Ладно»,— хочет сказать старик, но только мычит.

Хлопает дверь. Тихо. Старик лежит как мертвый. Опять хлопает дверь. К лежанке кто-то подходит и щекочет его ухо волосом. Он ничего не понимает.

«Кто вы? Куда вы его?» — хочет спросить старик, но голоса нет.

Дверь снова хлопает, и в ветре слышен рыв лошадей и брызги грязи. Тогда раздается дикий вопль жены его, который он подхватывает еще горестней и безнадежнее.

XI

Да, старик в ту пору был тверд и не выдал сына с товарищами.

Обессиленные горем, они утром не топили печи, не ели. Старуха совсем расхворалась, бредила. В избе было холодно. Весь день раздавался рев и блеянье голодной скотины в закутах.

«Пускай дохнет, на что она мне»,— думал старик и зябко жался в лохмотьях. И так они лежали, как поленья, двое суток. Старик ласково уговаривал жену не убиваться.

— Вот попомни, хоронить нас обязательно позовут... А может, еще оклемается. Видала, как его тот березовкой-то, почти всю бутылку вылил, это не зря.

На третий день у них был обыск. Насильно стащили старуху с печки. Спрашивали, где сын. Влезали на потолок, дергали крышу, искали в колодце, будто сын пятачок, который может закатиться в трещину. Взломали бабин сундук, и на полу, под грязными ногами, валялось их белье, приготовленное на смерть. Твердили с револьвером у лица:

— Старик, говори, где сын, тебе же лучше будет...

Он неизменно отвечал:

— Мне и так хорошо...

А когда кнут рассек ему щеку, он вспомнил слова человека, стоявшего над ним у лежанки: «Скажешь, кровь свою продашь...» — и боль повторенного удара и кровь, капавшая с бороды, показались ему сладкими.

И в тюрьме, среди воров, он был крепок, как булыжник. Его держали больше месяца. Ежедневно таскали к начальству. Он почти не ел в тюрьме и был худ и страшен. Тело его было в волдырях и расчесах: он спал на полу, и его заполонила вошь. Ему то сулили деньги и свободу, то били и бросали в карцер. Однажды с ним разговаривал большой начальник с медалью на груди.

— Мы сына не тронем,— говорил он,— укажи, где прячутся его товарищи, на вот тебе на табак...

Старик молчал. Он шатался от непереносной жизни. Но вытерпел и слово, безмолвно произнесенное чужому человеку в башлыке, соблюл.

Дома он нашел избу прибранной и теплой. Уже легла зима. Под окнами была навалена загать. Поправлены сени, которые он все собирался поправить. В клети торчали новые пробои. Утеплен двор. В яслях лежал свежий корм. Сарай и амбарушка были на замках.

«Ай-да старуха — молодцá! — мысленно воскликнул он, ко всему приглядываясь.— Куда ж она сама-то запропастилась? Надо бы перемениться, помыть голову, а то я вошью стравлен...»

Он вошел в избу и посидел, поджидая ее. Потом нашел

какое-то бельишко и переменился, а грязные рубахи вышвырнул на снег.

Вскоре сошлись соседи, он с ними болтал.

— Небось, дядя, есть хочешь? — спросил его молодой мужик. Старик даже удивился, как далеко забрел этот мужик, он с другого конца Осташкова.

— Да оно бы не плохо, вот поджидаю бабу, ушла куда-то да застряла,— сказал он.

Тогда сухая старушка, сидевшая против него, удивленно спросила:

— Да ты, мужик, разве ничего не знаешь? Нету ее, Петреюшка, нету, две недели уже нету, схоронили, парень, вот что... в гробу-то, царство ей небесное, белая была, как живая, то и гляди засмеется, вот что...

— Да, вот что... вот что было... все растерял... Бог остался да добрые люди... А потом и бога потерял, сукина сына...— говорил старик, тряся зеленой бородой,— и бога потерял...

...Старик ошалело соскакивает с повозки и хватает прядь колосьев.

— Кажись, наливается? — хрипло бормочет он, поднося колосья к глазам.

Опомнившись, с сердцем бросает их под колеса и идет следом за телегой. Сухие кочки мешают ему, и он переходит на тропу, по которой шагает сын.

— Такой же, только стал погрузнее, да лицо бело и безволосо, как у бабы, — вслух говорит он. — А уж годов тридцать с пятком. Дети бы теперь большие были... Вот что! — восклицает старик.

Сын оборачивается и вопросительно глядит на него.

— Но, ты, черт сутулый, дорогу забыла! — кричит старик, подбегая к лошади, и хлещет ее кнутом.— В хлеба прешься?..

Сын наблюдает за ним. Сравнявшись, старик молча останавливается, и сын лезет на повозку. Старик суетливо поправляет веретье.

— Курить хочешь? — спрашивает сын, протягивая кожаную елдовину.

Оттуда желтеют мохом концы папирос. Старик не знает, как вытащить. Сын помогает, и они закуривают, повернувшись спинами к ветру. Пальцы и плечи их соприкасаются, и у старика ноет сердце. Сын видит, в каких глубоких шрамах и трещинах руки отца, как много на них грязи, въевшейся в кожу, и как длинны, черны

и страшны его ногти на несгибающихся пальцах. В рубцах морщин лица и шеи тоже непромытые полосы грязи.

— Да, так-то, отец,— говорит он громко.— Не ждал свидеться?

У старика начинает волчком кружиться сердце, и легким не хватает воздуха. Он с усилием приподнимает шерсть бровей и срывно говорит, глядя на светло-сиреневую шелковую тряпочку под подбородком сына:

— Барином стал...

— Барином? — удивленно спрашивает сын.

— У нас только дворовые так ходят...

— Да, я помню... Мать жива, ничего?

— Давно нету.

— Забил?! — почти кричит сын.

Старик вздрагивает и с минуту смятенно молчит.

— Да,— говорит он шепотом, твердо глядя в глаза сына.

— Это бывает,— равнодушно роняет сын.

И до бугристого перевала они едут молча.

XII

Село лежало в низине, на двух крылах реки. Старик вытянул руку с кнутовищем и коротко сказал:

— Вот.

Сын поднял голову. С головы церкви солнце больно стегнуло глаза его золотым песком, и он зажмурился.

По берегам реки была разостлана зеленая вата садов, конопли, ивняка и берез. В вате гнездами грудились избы. Крыши их, цвета старой меди, жарко целовало солнце. Серебряной рябью блестел помещичий пруд, он был похож на большое круглое блюдо, полное мелкой трепещущей рыбы.

В поля присосами тянулись «концы» Осташкова: на север, по московскому шляху — воротилы села, знать, купечество; на юг, через белое крыло реки — нéработь; и на закат, тупым клином в хохлы — просто люди, мужики. Сын помнил это.

Они ехали паровым полем, поросшим сорняками. Словно горох, по полю катались овцы. Кучки навоза были похожи на овец. Кудрявыми яблонями цвел чертополох. Слепила золотом сурепка. Запах горячего навоза мешался с медовым запахом белого клевера. Земля была в глубоких трещинах, серо-пепельная.

Сын попросил остановиться, встал на телеге и долго, туманно глядел на поля, на щетку лилового леса на горизонте, на пасхальные яйца крыш барской усадьбы в густой зелени.

От рассыпавшегося стада с возбужденными личиками наперегонки к дороге бежали два пастушонка. Они были босиком, в зимних шапках и сибирках, с длинными кнутами через плечи. Лица их были красны от волнующего любопытства, загара, пыли и горячих ветров. У одного, поменьше, болталась на спине сумочка с хлебом. Они впились немигающими глазами в незнакомого человека на телеге, и из-под шапок их тек серый пот.

— Поедем,— тихо сказал сын.

Одинокая лошадь стояла у кучки навоза и равномерно мотала головою, будто кланялась издали. Когда они сравнялись с ней, за кучкой оказался человек в красной рубахе, крепко спавший.

Лошадь была привязана поводом за босую ногу его.

— Демьян! — окликнул старик.— Демьян!

Повернув голову к подъехавшим, лошадь снова несколько раз поклонилась им.

Старик слез с телеги и стегнул мужика по оголившемуся животу.

— Демьян! Уснул!

— Приехали?! — ошалело крикнул мужик, вскакивая.— Стой же, дьявол, окаянная сила, неймется? — Торопливо сунул обоим мягкую руку, широко улыбаясь.— А меня, брат, пригрело. Что ж вы долго?.. Иду будто по высокой горе, гора вся изо щебню, а внизу огни, огни, аж жутко,— к чему это?

— К пожару,— тихо и уверенно сказал старик.

— К пожару? Не дай бог!.. Да стой же, нечистая утроба, поговорить не дает!.. Не опоздали?.. Что ж вы долго?..

Как пузырь, прыгнул животом на спину лошади, заболтал грязными пятками, зачмокал и помчался к деревне.

Старик скупо улыбнулся.

Вся площадь перед церковью, проулки, крыльца, дорога от церкви в поле были запружены народом. Люди были в лучших нарядах. Как луг, цвели девичьи платья. Не было шуток и смеха. Кое-где над головами трепыхались красные флаги. В церковной ограде, на серых теплых могильных плитах осташковской знати, сидели ста-

рики в новых сибирках, тихо переговариваясь. Томил зной. Беспеременно скрипело колесо колодца. Пересохшими губами люди жадно припадали к деревянной бархатно-зеленой бадье и долго, с наслаждением пили студеную воду. Меж ног сновали ребятишки. Поблескивая золотом облачения, на паперти собрались попы. Головы женщин то и дело поворачивались к закату, на ниточку серой дороги меж ярового.

У церковной ограды стоял высокий светлоусый человек с чахоточным лицом. В руках его была картонная папка, перевязанная сахарной веревкой. На груди приколот красный бант. Рядом с ним строго вытянулся тщедушный белоглазый босой старик в замашной рубахе с шашкой на боку и красною перевязью, а вокруг группа мужиков и ребятишек внимательно слушала чахоточного человека с папкой. Толпа около него то росла, то сбывала. Одни пролезали в середку и согласно поддакивали светлоусому, другие равнодушно курили.

— Как только подъедет, сразу залпом,— говорил светлоусый.— Пусть глянет, какие теперь у нас порядки. А ты, Артем, не зевай, чисть дорогу,— строго обернулся он к старику с шашкой.

— Я свое дело знаю,— уверенно ответил тот.

— Ты, шахтер, постоянно выдумываешь,— укоризненно говорил светлоусому мужик лет шестидесяти.— Тебя и каторга не угомонила.

— Нет, ты, дядя Сашка, молчи,— убежденно говорил светлоусый.— Ты нам голову не крути, как по пятому году... Забыл пятый год? Спина подсохла? Ты, дядя Сашка, слушайся меня, я председатель...

Светлоусый закашлялся, и тонкие губы его посинели.

Кучка баб, шумно поднявшаяся с травы, прервала их препирательства. Мальчишки с колокольни что-то кричали возбужденными голосами. Снизу, из-за сиреневой поросли, мчался верховой в красной рубахе.

— Едет! Едет! — кричал он, и на солнце, как осколки чайного блюдца, блестели крупные зубы его.

Мужик бил пятками лошадь в бока, дергал пеньковый повод, лошадь старательно прыгала, мужик, не переставая, дерюжился:

— Едет! Дайте, пожалуйста, закурить...— Осадил мокрую кобыленку перед светлоусым: — Едет, Петр Григорьевич! — и расплылся в широчайшую улыбку: — Вот черт,

насилушку дождались! — Опять пузырем свалился с лошади, восхищенно кричал: — Кнутягой меня жвыкнул, глазыньки лопни!

Мужик быстро приподнял подол, показывая светлоусому красный рубец на животе.

— Видал? — радостно спросил светлоусый дядю Сашку.— Не переменился карахтером...

— Меня, понимаешь, приморило на солнышке, я уснул... Будто гора какая-то, огни.

— К брани,— промолвил светлоусый.

— Нет, Петр Григорьевич, к пожару! — воскликнул верховой.

— Чтоб ти чирий на язык,— ответили ему.

— Провалиться на месте, к пожару... Гора, огни, шшебень... А он, понимаешь, подкрался на карачках да к-кэк меня дернет по пузу!..

— Видал? — сквозь кашель и пот переспросил председатель и восхищенно потер руки.— Слышишь, Демьян, а из себя-то он какой — прежний?

— Не-е, куда там, к чертям, прежний, чище молодого князя, накажи бог... Вот погоди, глянешь...

Мужик ввинтился в нахлынувшую толпу, тряс головой, рассказывая, как он уснул, как не слыхал, когда подъехали и как он подкрался. То и дело он поднимал подол рубахи, показывая рубец на животе.

— К-кэк, понимаешь, дерябнет кнутиной... Я спросонок-то: да ты за што ж меня, мать твою разэтак! — да было драться к нему. Гляжу, а это он. Головушка моя горькая!

— С дуру-то еще ляпнул бы его. Мы бы тебе кишки выпустили.

— Не, я сразу огляделся.

Ему говорили, хлопая по спине:

— Мало тебе, дураку, правое слово, мало. Послали караулить, а он дрыхнет, гад.

— Да, дрыхнет, разве я нарочно... Солнышко приморило, гора, огни, как на пожаре...

— Слышь, Демьян, постой, а узнал он тебя?

— Сразу, глазыньки лопни, сразу.

— Слышь, Демьян, постой, а ты узнал его?

— Еще бы, как глянул — он!

— А говоришь, он теперь на молодого князя похож! О брехло!

— Стало быть, на молодого... Там, брат, на нем сибир-

ка одна чего стоит — желтищая, с подкладкой, картуз — желтищий... в очках...

— И еполеты?

— Еполеты при мне снял, ну их, говорит, в озеро, что я, говорит, царь, што ли... К-кэк, понимаешь, урежет меня кнутягой, да как засмеется, во черт!

— Слышь, Демьян, постой, а говоришь: сразу узнал, что ж ты брешешь, мот? Ведь он в деревне в лаптях ходил и сибирка свойского сукна, а сейчас как князь... Как же ты узнал его?

— Как, как — по лошади.

— Да брешешь, дурак. Ты, должно, и пузо-то сам расцарапал себе.

— Провалиться на месте, не сам. Ну-ко, расцарапай себе; думаешь, не больно? Робята, да подите вы к лешему; «брешешь, брешешь!» — кобеля нашли!

С колокольни снова закричали:

— Едет, видно!

Толпа запенилась кумачом, тревожно забурлила, и над головами поднялся лес красных флагов.

...Сын услышал легкий перезвон колоколов, насторожился. Старик торопливо застегивал полушубок. Руки его тряслись. Он то сбрасывал босые ноги на грядку, то поджимал под себя. Широкий радостный благовест раздался над полями.

Старик крепко впился руками в возок телеги. Срывно бились жилы на висках его. У церкви толпа нестройно колыхнулась, и закачались знамена.

Были слышны сотни ног. Сотни грудей под волны благовеста глухо и нестройно пели. Толпа казалась несметной. Хвост ее обволакивала пыль.

Сын посерел, сидя с обвитыми вокруг колен руками.

Толпа вышла за крайние избы и остановилась. Уши хлестнул крик ее: «Р-рр! р-ра!» Из смежного переулка, с юга, из-за ребер хилых сарайчиков, в нее втекал новый поток песен, флагов, человеческих тел. На миг замолкший колокол опять метнул в поля медные волны.

— Остановись,— сказал тихо сын.

Он, как больной, с усилием перекинул через грядку ноги. Долго искал носком ботинка колесную ступицу, чтоб опереться. Зябко глядел на приближающуюся толпу, на рощу длинных палок с красными платками на концах их. Обнажив голову, медленно, будто с натугой, пошел навстречу ей.

Впереди толпы шли дети в праздничных рубахах. В руках их были красные ленты, красные знамена, ветви сирени, ветви цветущей жимолости, васильки. Две девочки лет по восьми несли вышитое полотенце. Мальчик рядом — ковригу черного хлеба. Другой мальчик — деревянную солонку.

Личики детей серьезны и тихи. И идут они очень тихо. Неуверенно дрожат и покачиваются в руках их древесины красных знамен; они шершавы, надписи на них не все грамотны, но столько любви и веры в эти красные полотнища, столько заботливости вложено корявыми руками в молитвенные надписи на них. Затаенною гордостью горят глаза малышей, которым отцы доверили нести эти древки: будущее — будущему.

Опираясь о палки, с черными, как земля, лицами, за детьми идут старики и старухи, шамкают что-то, устало глядя на знамена,— верят ли они, шельмованные барскою челядью, поротые на конюшнях, глазам своим, радуются ли?

Позади их идут девушки с цветами, они сами похожи на полевые цветы. Они идут рядами, взявшись за руки. Их лица в загаре, а за девушками плотной потной массой, колыхая шесты и палки флагов, грузно шагают мужчины, подростки, замужние женщины и снова старики. Лица суровы и торжественны.

«Отре-чемся от ста-рава ми-ра...»

Многотысячная толпа нестройно подхватывает и глухо отбивает шаг.

Давным-давно эти же люди, как воры, кутая лицо от стражников и черной сотни, пробирались этою же тропкой к станции, чтобы сквозь решетки арестантского вагона поглядеть на односельца, когда его таскали по этапам, поглядеть, из-за угла кивнуть на прощанье.

Они тогда боялись каждого пня, у которого были глаза и уши. А теперь они — хозяева жизни: непривычно, неловко, а больше — радостно, гордо, крикнуть бы теперь через весь белый свет до самой Китай-земли!..

Упругими взмахами колыхается рожь. Через необъятный простор ее несется песня, радостным криком кричат колокола, реют флаги,— так празднично, хорошо на сердце, всеми силами каждому хочется верить, что это не дешевая буффонада «воле-слободе», а доподлинная мощь проснувшегося народного духа, канун великого народного творчества.

Сын подошел к толпе и остановился, борясь с волнением. Сотни рук протянулись ему навстречу, сотни ласковых взглядов обнимали его непокрытую светлую голову.

Старик в длинной белой рубахе тихонько подтолкнул вперед девочек с полотенцем. Они, потупясь, вышли из ряда. Старик взял из рук мальчика ковригу хлеба. Положил на полотенце. Положил соль сверху хлеба — тихий и торжественный. Потом позвал кого-то взглядом. Из толпы вышли пятеро стариков, светлоусый с папкой и женщина в черном. Старик протянул руки перед ними, ладонями вверх. Светлоусый бережно положил на них хлеб и соль. Старик поцеловал хлеб.

— Вот, сынок, не обессудь, прими хлеб-соль... за читель твою,— приблизившись к сыну, сказал он с поклоном.— Добрый тебе путь па свою землю... И добрые дела рукам. Думали, забьют тебя... ну, не забили: мужицкая кость крепкая. И правда мужицкая крепкая... Правды мужицкой не пересилить... Ты как мужицкая правда: били, терзали, под петлю метили, а ты вот цел... здоров... И одежда, как на барине... Дай тебе, господи, еще здоровья.

Старик опять низко поклонился, и вместе с ним поклонились старики в белых рубахах.

— Правда, сынок, тверже силы... И нам довелось дожить до правды. Ты читель нес за правду... Поклон тебе от нас...— Старик обнял сына, троекратно целуя его. Потом стали целовать его старики в белых рубахах.

А у края канавы, в стороне от толпы, на дне телеги лицом вниз глухо плакал в это время другой старик, грязный и босой, с потрескавшимися до крови пятками, лохматый, в гнилом полушубке, с лицом, искаженным мукой и счастьем.

XIII

Односельчане провожали гостя через все Осташково. Его поставили в первом ряду, под самыми высокими флагами, и человек пятнадцать мужиков в это время нестройно выстрелили из револьверов. Бабы испуганно бросились в стороны, но светлоусый с папкой успокоил их:

— Не разбегайтесь, бабы, ничего не будет,— крикнул он.— Это мы гостя встречаем.

И он счастливо засмеялся, глядя на Ивана.

Белоглазый старик с шашкой,— народная милиция,— спросил светлоусого:

— Аль еще раз пальнуть?

— Пальни, только вверх и после командуй дорогу,— сказал светлоусый.

Белоглазый, выхватил из-под рубахи огромный смит в ржавых пятнах, откинул далеко руку и, боязливо втянув голову в плечи, выстрелил.

— Чуть в солнышко не треснул,— воскликнул он, блаженно жмурясь. Сын узнал в нем Артема Беса — аграрника — он сидел с ним когда-то в остроге.

«Как он постарел,— подумал он, слабо улыбаясь,— и такой же бестолковый».

Под нестройное пенье «Марсельезы» толпа направилась к церкви. Мужики, палившие в воздух, держали револьверы наготове. А белоглазый с обнаженной шашкой шагал впереди.

— Граждане, очистите дорогу! — строго кричал он, хотя впереди никого не было — белоглазый шагал головным.

И эта босая милиция, и мужики с револьверами, и светлоусый, и все люди, что вышли встречать его, показались Ивану детьми, наивными и беспечными, которые играют в непонятную, но увлекательную игру.

— Гляди, какая сила! — восхищенно говорил светлоусый, кивая на толпу: — Все до единого теперь на нашей стороне, идут с оружием, флагами и никого не боятся... Артюха Бес — милиция, сашка наголо... И песни поют... за эту песню нас по морде били, помнишь?.. Ты смеешься, Иван? А у меня аж голова идет кругом от радости...

Двенадцать лет назад Осташково громило своего помещика. Вокруг барского дома валялись мужицкие трупы. И трупы мужиков в солдатских шинелях.

Осташковцы первыми пустили красного петуха по уезду. Осташковцы стояли на коленях в снегу, проклиная Ивана, когда главарей секли розгами. И осташковцами была набита тюрьма...

«Чему их научило прошлое, научило ли?» — думал Иван.

В бородатых лицах он узнавал многих. Да, одни из них были членами братства, зачинщиками смут, потом предателями, другие — бездомными бродягами по земле. Этот, вот он, светлоусый Петя-шахтер, как кошек, давил стражников. Сейчас он председатель волостного комитета,

старшина. Дядя Саша, Богач, степеннейший и рассудительный член братства, по праздникам ставил свечки Александру Невскому, а ночами грабил монопольки и волостные правления. А после «дела» обязательно просил восемь копеек на бублики детям. И при этом очень смущался. Он тоже идет с револьвером в руках, и лицо его торжественно. Тишайший Трынка,— воды не замутит! — Трынке поручали поджигать усадьбы черносотенцев, и никто так искусно не справлялся с этим, никто усерднее его не кричал на пожарах, бегая с пустыми ведрами. И в самые суровые дни гонений Трынка оставался бел, как кипень, в глазах начальства. А между тем, это он, под носом охранявших казаков, спалил скотный двор братьев Верецких, в огне погибло полтораста рабочих лошадей. И именно Трынке поручили встретить на станции предателя Ипата Зотова, выпущенного из тюрьмы. Трынка радостно его встретил. Говорят, даже всплакнул, глядя на истомленное лицо Ипата, и трижды поцеловал его. А дней через пять пастушки нашли Ипата в гнилой копани. Не было ссадин, ни подозрительных пятен на теле, в двух шагах валялась бутылка с недопитой водкой, голова по плечи торчала в тине.

— Глотнул на радости, размяк, водицы захотелось: она же горит, окаянная! — вот и напился... Ему бы пригоршнями или шапкою черпать, не сообразил. Разве ж можно пьяному человеку подходить к копани?

Так говорили мужики, и приблизительно так думало начальство.

Держа в одной руке жердь с красным бабьим передником, а в другой револьвер, Трынка идет возле Ивана, крича во всю мочь легких:

Холода́... што они пировали,
Холода́... что в игре биржево́,
Они совесть и честь продава-эльле...

Лицо его бездумно, лицо — сектанта, накрепко чему-то поверившего и застывшего в своей правоте.

«А ведь он не понимает, что поет: холода́, биржево́,— какая нелепость»,— думал Иван.

И он невольно оборачивается назад. Через детские головы он видит девушек. Они идут мерно покачиваясь. У некоторых прямо перед лицом, как винтовки у солдат, когда они берут «на-караул», палки с красными флагами. Так же они носили божью мать и крест к покойникам. И «Друж-

но, товарищи...» они поют по-своему — протяжно и в нос. Ивану чудится, что девушки поют не революционную песню, а «Господи, явися к нам...» — церковное песнопение, которое когда-то пелось великим постом, вместо обычных песен. Может быть, оно и теперь поется. Каждая строфа революционной песни заканчивается тем же высоким подвыванием. Но лица девушек неподкупно светлы, как светло и неподкупно ласковое родное небо над ними.

Под прыгающий трезвон толпа приближается к церкви. Из ограды, навстречу ей, выходит другая толпа, с причтом и ладаном. Впереди нее колеблются хоругви. Бородатые и крепкие старики в расстегнутых поддевках, в сапогах с просторными и светлыми голенищами, в сатиновых и чесучевых рубахах, торжественно несут хоругви, подсвечники, запрестольную икону, покрытую полотенцем. Черный, юркий аптекарь прилаживал на канаве фотографический аппарат. Девицы в шелковых косынках и газовых шарфах, в митенках, с зонтиками в руках искали глазами Ивана.

За причтом, в сюртуках, тонких поддевках, шелковых платьях, стародавних пронафталиненных тальмах, в шляпках с птичьими перьями, в шляпках с вишнями и райскими яблочками, в наколках и с открытыми волосами, в рубашках «фантазия», куцых и длиннополых пиджаках, в малороссийских плахтах, шла осташковская интеллигенция и купечество. Дама в кремовом платье держала связку пионов. Дама с золотыми зубами — икону Серафима Саровского. Две дамы — красную подушечку «Добро пожаловать».

Пела приближающаяся мужицкая толпа. Пели попы с причтом. Неистовствовали колокола. Изнемогал фотограф. Стадом жеребят бежали к колодцу подростки, истомившиеся на солнцепеке.

И вот две толпы, будто две медленно плывших льдины, столкнулись и застыли в ожидании, в какую сторону поток полой воды загнет края их. Колокола смолкли. Стало слышно дыхание людей. Сморкались, вытирали пот.

— Ура! — неожиданно закричал седенький старичок, подбрасывая картуз.

— Р-ра! — заревели мужики, потрясая флагами и револьверами. Дамы, через головы попов, стали махать платками. Колокола опять сбесились.

— Ивану Петровичу — ура! — опять закричал старичок, подбрасывая картуз.

— Р-ра-а!

— Революции — ура!

— Р-ра!.. У нас теперь своя революция,— р-ра! р-ра!..

— Храброму воинству — ра!

— Р-ра-а!.. Долой войну!.. р-ра-а!..

Подняв на уровень лица крест, священник вышел из толпы, направляясь к Ивану.

— Да благословит господь бог возвращение ваше, дорогой...

— Иван Петрович,— октавой подсказал дьякон.

— ...дорогой Иван Петрович. Мы...

— Это лишнее, поп,— нахмурясь, сказал Иван: — Я не архирей, чтобы встречать колоколами и этими штучками...

Он кивнул на крест в руках священника и, нахлобучив шапку, поспешно направился к избам, обходя толпу.

— Постой, слышишь, а как же молебен? — догнав его, взволнованно зашептал светлоусый. — Благодарственный молебен...

— Кому? За что?

— Вот, ей-богу, чудак какой — кому, за что? Ну, по случаю, что возвратился невредим... Хотели на площади молебен, и чтобы всем народом, четыре попа, певчие, купцы пожертвовали семьдесят рублей на угощение, в училище стол накрыт... Одиннадцать годов не видели тебя!

— За это надо благодарить питерских рабочих, а не твоего бога,— резко сказал гость.— И... мне не нравятся, шахтер, твои штучки. До свиданья. Завтра увидимся.

Через ров, полный крапивы, он свернул за угол и, мимо поповки, узкой тропкой в конопле, быстро пошел к своей избушке.

А по изумленной, растерянной толпе мужиков, так любовно и радостно ждавших его, с таким братским сердцем вышедшей к нему на встречу, бился шепот:

— От креста отказался... Шапку надел при попе...

— Молебны, грит, мне ваши не надобны.

— Может, обиделся на что?

— Этот, дурак, Трынка чего не ляпнул ли? Он всю дорогу шел с ним рядом.

— Трынка или шахтеришко. Тоже — нашли кого выбрать председателем!..

— А может, веру переменил за землями?..

— Бог его знает...

— В училище колбасы пуда на два, груздики, мед, белый хлеб... Ах, Иван, Иван... И давеча, как встретился, никому ни слова: ни здравствуй, ни прощай. Только затрясса как порченый, когда ковригу подавали...

XIV

Площадь перед волостью была похожа на озеро, круглое, как чаша. Берегами его были лачуги бывших дворовых в пятнах гнилых крыш, заросли сирени и темный, старый сад князей Осташковых, разбитый еще при Екатерине. Площадь была до краев налита красными улыбками флагов, цветными пятнами косынок, платков, медных от загара лиц. Только веранда волостного правления, тянувшаяся по всему фасаду, была белой, как мыльная пена, от женских платьев, шарфов, летних пиджаков и рубах: на веранде, не мешаясь с чернолюдьем, собралась осташковская интеллигенция. У пожарного сарайчика, испуганно пятившегося в заросли черемухи, гремели бубенцами две тройки; приветствовать Ивана в Осташково приехали уездные гости — председатель земской управы, он же комиссар Временного правительства, помещик Полиевктов, начальник милиции и содержатель городских бань гражданин Мраморный, представитель города Луковца.

Преисполненный нечеловеческой мощи и прав, данных революцией, на ступеньках веранды стоял с обнаженной шашкой Бес: в новой рубахе, новых лаптях,— онучи были белы и чисты, как праздничный столешник. Мужикам, расположившимся ступенькой ниже его, до ужаса это нравилось: был Бес, все потешались, полтора года хлюпал в остроге, а теперь — погляди, что выкусывает — как у царя на часах, бровью не двинет. Старые гвардейцы, до тонкости знавшие воинские артикулы, заботливо стерегли его выправку: пальцы должны лежать на эфесе ровно, клинок,— его Бес звал «лезво»,— клинок обязан приходиться по средине правой ключицы, а конец клинка — на два вершка выше, и лапти по форме: пятки вместе, носки врозь. Лицо Беса пунцово от счастья.

В толпе почти не было молодого мужского лица. Иван только теперь приметил это. Сколь милы и свежи были девичьи лица, с улыбками, похожими на цветы, столь

землисты, жалки, лохматы, грязны, изъедены болезнями лица мужиков. Это была кунсткамера калечи, сброда, отрепья. У них были синие губы от недоедания и натужной работы, глаза их были в трахоме или гною. Среди них были только киланы, сифилитики, припадочные, идиоты, калеки, изувеченные войной бессрочники с пустыми глазами и — старые, старые, без конца седые бороды, плеши, трясущиеся руки в сизых узлах набухших вен да спины, сгорбленные безжалостной рабьей жизнью. А сок земли, дети и внуки их, были в окопах. Только на веранде, не мешаясь с этими человеческими отбросами, в цветнике чесучи, сатина, шелковых зонтов и ярких рубах мелькали благодушные щеки, похожие на розовые зады или хищные клювы сельских стервятников: хозяев мастерских, работавших на оборону, духовенства, управляющих барскими поместьями, купцов, кулачества, агентов. Они чувствовали себя солью несметной толпы этих нищих, что стояли перед ними, жадно вытягивая обожженные солнцем шеи; их улыбки были снисходительно приветливы и смех раскатист.

Едва сдерживая бешенство, Иван протолкался с шахтером через эту накипь, останавливаясь у перилец веранды. И тотчас же лица стариков, стоявших с приподнятыми вверх бородами, заулыбались: они узнали его.

— Уцелел, сынок?

— Не ждали свидеться...

— Постарел, братуха!

— Товарищи и граждане! —вдруг взмыл над площадью пронзительный тенор.

Толпа колыхнулась, напирая на веранду.

— Товарищи и граждане! Сегодняшний день, можно сказать, великий, и мы должны торжественно и, можно сказать, стройно и в полной заслуге, в том случае, что мы встречаем нашего дорогого товарища, который многие лета и, можно сказать, всю молодость отдал проклятой царизме, которая, можно сказать, давила нас, и который, можно сказать, страдалец наш, тюрьмы, можно сказать, прошел, огни и воды, медные трубы и так далее и тому подобное, так что, можно сказать, говорить даже страшно...

Речь была похожа на истерический вой. Человек ошалело закинул маленькую голову, сдавленную в висках, и барахтался руками, будто плыл по тине. Острый кадык его неистово дергался.

— Товарищи и граждане! Я предлагаю выбрать президиум. В этот, можно сказать, день мы должны, как один, стоять грудью. Мы должны находиться в братском союзе и с преклонением встретить нашего дорогого товарища. Долой проклятое самодержавие!..

— Опоздал! — придя в себя от неожиданности, резко крикнул Иван. Он дрожал от негодования. Он знал, что человек этот был предателем. Он бешено вцепился руками в шершавое дерево перил.— Ты почему, прохвост, не в окопах? — спросил он оратора.

Уездные гости переглянулись. Кричавший человек глотнул воздух и застыл, глядя на Ивана выпученными глазами.

— Ага! — удовлетворенно и зловеще крикнул кто-то из толпы.

Торжество было испорчено. Иван оборвал представителей города, которые стали было уверять мужиков, что они рады видеть Ивана, что они приехали приветствовать его от имени луковской общественности, что совместными усилиями они...

— Мужики! — перебил Иван комиссара.— Не верьте этим лгунам. Они с радостью удавили бы меня на воротах, у них только нет теперь силы. Не настало еще время, мужики, чтобы волк спал с овцой в одной закуте. Это время никогда не придет. Или овца будет съедена, или надо волка убить. Я предлагаю бить волков. Надейтесь, мужики...

— Здесь нет мужиков, здесь — свободные граждане! — пронзительно вскрикнула жена управляющего винным заводом.

— Замолчи, а то тряпку воткну в глотку! — затрясся Иван.— Мужики, надейтесь на детей ваших — солдат и рабочих, от них ждите помощи, а не от этих жуликов.

Он указал на веранду, и толпа заволновалась.

— Правильно! — закричали со всех сторон.

— Им не хочется слезать с вашей шеи,— продолжал Иван.— Они норовят остаться опекунами вашими. Вы темны и доверчивы, как дети. Ласковыми словами и посулами они загоняют вас в мотню. Они враги ваши, и поступайте с ними как с врагами, как с волками...

Шахтер, стоявший рядом с Иваном, испуганно барабанил пальцами по перилам. Иван в глаза оскорблял его начальство — уездного комиссара, начальника милиции, ру-

ководителей осташковской революции. Председатель земской управы пожал плечами и отошел к пестрому цветнику, испуганно таращившему глаза.

Речь Ивана была нелепа, непривычна, оскорбительна. Это было какое-то хулиганство. Это была травля интеллигенции,— так определил цветник. Ведь до сих пор к этой веранде сходились лишь для того, чтобы поделиться радостью. Здесь плакали от умиления, когда «свершилось». Здесь восхвалялись доблести многомиллионного русского народа, который, наконец, тряхнул могучими плечами. На этой площади, под громогласные рыдания земского страхового агента, сочувствовавшего, по его словам, еще народовольцам, первый раз в русской истории было провозглашено многолетие не дому Романовых, а «державе Российской». Мужикам здесь рассказывали о том, сколь прекрасен и велик народ русский и сколь чисто и многотерпеливо его сердце, тысячелетие изнемогавшее в поисках добра и правды, и сколь доблестен порыв его к «широким горизонтам». Мужиков здесь учили политической мудрости — беречь свободу: радуйтесь, благоговейте, будьте достойными сынами великой революции, не волнуйтесь, не торопитесь, не нервничайте,— ждали тысячелетие, подождите месяцы,— т а м за вас думают, т а м все устоится, т а м хлопочут за вас бескорыстные мученики... а пока сидите тихо, посылайте детей в окопы, не притрагивайтесь к барскому добру и земле; т а м скажут, когда придет час, а главное — шлите детей в окопы; вы обязаны защищать родину и революцию, а мы отсюда будем помогать вам: щипать корпию и составлять списки убитых... Здесь, на площади, мужиков научили хлопать в ладоши. И темные, вшивые, несчастные люди верили, что говорилось им, и со всем жаром и со всею искренностью простых сердец хлопали ладошами псалмопевцам бескорыстных мучеников...

И вдруг в эту баню, полную ликующего пара, человек распахнул настежь двери, и в истому разрыхлевших душ пахнуло холодом ненависти: не верьте льстецам — продадут, не верьте плутам — обманут; не доброе сердце, а корысть в груди их, надейтесь на себя, стряхивайте с шеи благодетелей, зубами и ногтями держитесь за революцию,— это дело в а ш е, а не подхалимов ваших. Революция — топор, им надо крушить черепа насильников, крепче держите топор в руках, не доверяйте благодетелям, не спите, иначе топор хряснет по вашей шее...

И все смешалось, спуталось... Даже мужики кричали:

— Нет, Иван, далеко гнешь, так невозможно! Надо помирному, по-правильному.

— Правильно будет тогда, когда власть действительно будет в ваших руках, а не в руках этих проходимцев, которые опекают вас,— упрямо говорил Иван, указывая на веранду.— Им место на фронте или в заклинной.

— Что вы хотите от каторжника? — протирая пенсне, растерянно спрашивал в своем кругу председатель земской управы.

Не простившись, начальство уехало. А за начальством вскоре разошлась по домам и осташковская интеллигенция.

СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

А л м а́ н (а л а м а́ н, а л а м а́ н щ и к) — разбойник, грабитель.

Б е́ р д о — принадлежность ткацкого станка, гребень для прибивания утка́ к ткани.

Б л е с к а́ в и ц а — зарница, молния без грома.

В а л д а е ц — колокольчик на дуге, изготовленный в городе Валдае.

В е р е́ т ь е — грубый холст, дерюга.

В е р е я́ — один из столбов, на которые навешиваются створки ворот.

Г о́ ж и й — молодой крестьянин, назначенный в рекруты.

Г о́ л о б е ц (г о́ л б е ц) — место в избе между русской печью и стеной.

Г о р н у́ ш к а — ямка в русской печи, куда загребают жар.

Г р у́ б к а — голландская или комнатная печь.

Е з д а м е н т — искаженное от слова «экзамен».

Ж и р о в а т ь — ухаживать, заигрывать с девушкой.

З а в е с (з а в е с к а) — фартук.

З а л а в о к — длинный сундук, употребляемый в качестве скамьи.

З о́ р и т ь — высматривать, искать поживы.

К а з ю л я — змея.

К а з ю т к а — черт, леший.

К о з ы р и — легкие сани.

К о к о р а — дерево, вывороченное вместе с корнем.

К о л о м я н к о в а я п о д п о я с к а — широкий мужской пояс из прочной льняной ткани — коломянки.

К о́ н и к — ларь с подъемною крышкою.

К о́ п а н ь — искусственный водоем, неглубокий колодец без сруба, в котором мочат пеньку.

К т и т о р — церковный староста.

К у т н и к — часть избы, предназначенная для спанья.

Л а́ х а р ь — любовник.

Л о б о в о́ й — рекрут первой очереди.

М я́ л о (м я л к а) — приспособление для первичной обработки льна, конопли.

Н а б л о ш н и́ т ь с я — навостриться, поднаторереть.

Н а б о й щ и к — ремесленник, набивающий тюфяки.

Н и́ ч е н к и — часть ткацкого стана, нитяные петли для подъема нитей основы.

О б ж а — оглобля у сохи.

О б о л о́ н о к — крайняя горбатая доска от бревна, горбыль.

О с т а м е т ь — онеметь, устать до потери чувствительности.

О т р о́ ш н и к — озорной, отпетый человек.

П а̀ д в о р о к — сарай, надворное строенье.

П а л и ц а — часть сохи, служащая для отвала земли при пахании.

П а п а — хлеб.

П е́ х т е р ь — кошель, сплетенный из веревки или лыка; в переносном значении: неуклюжий, неловкий человек.

П е́ щ е р (п е́ щ у р) — котомка, корзинка, чаще всего лубяная.

П л ё х а — распутная женщина.

П о л д л и н н и к — половина длинника — меры, равной 80 саженям.

П о л е х, п о л е ш к а, п о л е х и — жители лесной полосы Орловской губернии (южного Полесья).

П о п о в к а — место у церкви, где живет церковный причт.

П р о́ с т е н ь — полное веретено с пряжею.

П у н ь к а (п у н я) — сарай или чулан для хозяйственных надобностей.

Р а з н о в е р — сектант.

Р а с с т е г а й — род праздничного женского платья.

Р е л ь я (рели) — качели на двух столбах с перекладиной.

С в а й к а — крюк для прикрепления снастей или веревок.

С и б и р к а — короткий кафтан в талию со сборами и стоячим воротником.

С т а й к а — хлев, крытый сарай для скота, конюшня.

С т а р н о́ в к а (с т о р н о в к а) — немятая солома, полученная при обмолоте ручным способом.

У т о́ к — поперечные нити ткани, пересекающиеся с продольными, составляющими основу.

Х р е б т у г — мешок, используемый для кормления лошади овсом.

Ч е́ м е р — болезнь, выражающаяся в головной боли, поносе, рвоте.

Ч и ж о в к а — каталажка, место предварительного заключения арестованных.

Ч у в а л — передняя часть трубы у русской печи.

Щ у н я т ь — журить, бранить.

ПРИМЕЧАНИЯ

Автобиографическая трилогия Ивана Вольнова «Повесть о днях моей жизни» впервые печаталась в журнале «Заветы»: кн. I **«Детство»** в № 1—4; кн. II **«Отрочество»** в № 6, 8, 9 за 1912 год; кн. III **«Юность»** в № 9—12 за 1913 год и в № 2, 3, 5 за 1914 год. Общее название первых книг было иным: «Повесть о днях моей жизни, радостях и моих злоключениях», они были подписаны псевдонимом «Ив. Вольный». Под измененным названием появилось первое отдельное издание: Иван Вольнов. Повесть о днях моей жизни. Крестьянская хроника. Изд. Н. Н. Михайлова. Петроград, «Прометей», 1914.

Под этим новым названием две книги переиздавались неоднократно в советское время (в 1918, 1921, 1923, 1927, 1936 годах). Кроме того, книга вошла в первый том собрания сочинений (два издания: 1927 и 1931 годов), а через 25 лет все три книги были включены в однотомник Вольнова (Избранное. М., Гослитиздат, 1956). Много раз большими тиражами отдельно выпускались книги «Детство» и «Отрочество».

«Повесть» переводилась на языки народов СССР, а также издавалась в Болгарии и Чехословакии.

Автографы ни одной части не сохранились. При подготовке издания 1956 г. нами за основу взята редакция 1927—1928 годов (издательство «Земля и фабрика»). Это четырехтомное собрание сочинений готовил к печати и держал корректуру сам автор. Настоящий текст печатается по изданию 1956 г. Некоторые опечатки и искажения текстов нами были устранены после сопоставления со всеми предыдущими изданиями.

Первые две книги писались в Италии в 1911 году, где Вольнов поселился после побега из сибирской ссылки. Первым читателем и редактором их был М. Горький. К сожалению, рукопись с правками Горького до нас не дошла,— она погибла в Италии после отъезда автора в Россию. В очерке Горького «Иван Вольнов» (собр. соч. в 25-ти т., т. 20, 1974) рассказывается, как молодой

писатель работал над своей книгой и как ее восприняли русские писатели, в то время проживавшие на о. Капри (И. Бунин, Л. Андреев, М. Коцюбинский, А. Новиков-Прибой). После первого обсуждения рукописи в кругу Горького Вольнов основательно перерабатывает свою повесть, устраняя односторонне-отрицательное изображение деревни. Горький читал ее новый вариант и снова редактировал.

Горький первый оценил произведение Вольнова по достоинству и рекомендовал его к печати. В январе 1912 года он писал редактору журнала «Заветы» В. С. Миролюбову: «Ивана Егоровича надо бы печатать в журнале, конечно, и с первой же книжки,— это даст ей определенный вкус и запах» (Собр. соч. в 30-ти т., т. 29, с. 216). А когда книга вышла, Горький просит В. Г. Короленко написать отзыв о произведении Вольнова — «даровитого парня, орловского мужика, автора «Повести», которую он Вам, кажется, послал. И если послал, а Вы ее прочитали — то позвольте мне просить Вас, Владимир Галактионович: напишите Ивану Егоровичу в нескольких словах Ваше мнение о НЕДОСТАТКАХ повести! Вольнов — парень упрямый, работающий, к нему можно предъявлять требования высокие, это будет полезно ему» (т. 29, с. 310—311). В результате этой просьбы в журнале «Русское богатство» (1913, № 7) появилась доброжелательная рецензия на книгу Вольнова, а Короленко написал ему письмо.

Спор начался еще до выхода книги в свет; если Горький, Короленко, Андреев приветствовали ее появление, то Бунин не видел в ней ничего ценного. Он не только резко выступил на обсуждении рукописи, но и писал критику Давиду Тальникову недоброжелательно обо всем поколении писателей-демократов: «Вольнов ужасен — груб, преднамерен и т. д. Этих господ, торгующих своим якобы мужицким знанием, уже не мало, они ездят на гастроли по столицам и ошеломляют интеллигентов»... («Русская литература», 1974, № 1, с. 174). Заметим, что эти слова Бунин писал, прекрасно зная, что Вольнов в течение ряда лет переносил пытки, режим каторжной тюрьмы, ссылку и нелегкую жизнь на чужбине!

Под несомненным влиянием Бунина Давид Тальников выступил со статьей «При свете культуры» («Летопись», 1916, № 1), которая вызвала протест у многих писателей, в том числе у Л. Андреева, К. Тренева, И. Касаткина, Е. Чирикова, И. Шмелева. В адрес Горького посыпались запросы, и он вынужден был признать публикацию статьи Тальникова большой ошибкой. Так, в марте 1916 года он отвечал Треневу: «Статья Тальникова — ошибка, одна из тех, очевидно, неизбежных ошибок, без которых никакое новое дело не строится» («Лит. наследство», т. 70, с. 441). В свою очередь

Тренев сообщил В. С. Миролюбову: «Насчет Тальникова я уже писал Горькому резкое письмо. Он выразил сожаление в оплошности и отрекается от него» («Лит. архив», вып. 5, с. 222).

На сторону Вольнова решительно стал Л. Андреев. Как только он познакомился с началом повести на страницах журнала, он писал Горькому: «Хорошее впечатление оставляет первая книжка «Заветов»... Очень хорош Ив. Вольный. Кто это?» («Лит. наследство», т. 72, с. 343). Позднее, узнав об отрицательном отношении Бунина к повести Вольнова, Андреев говорил автору «Деревни»: «...Мужиков твоих ненавижу! Деревню твою ненавижу! Вольновских мужиков люблю, а твоих ненавижу» (сб. «В большой семье». Смоленск, 1960, с. 250).

На о. Капри Вольнов не раз спорил с Буниным, однажды он об этом написал брату: «Бунин — человек талантливый, но тоже презирающий деревню. В его произведениях последнего времени: «Деревня», «Ночной разговор», «Захар Воробьев», «Веселый двор» и т. д. подбор таких фактов, что, прочитав, надо выть, лезть на стену» (И. Вольнов. «Избранное», 1956, с. 616).

Полемика трех русских писателей нам особенно интересна потому, что все они — Бунин, Андреев, Вольнов — были выходцами из Орловской губернии, хорошо знали орловскую деревню.

От принципиального спора о «Повести» не стояла в стороне и марксистская критика. В. Воровский объективно оценил произведения Бунина о деревне. Л. Войтоловский подчеркивал принципиальные расхождения Вольнова и Бунина в оценке крестьянства: «Что-то есть в повествовании Ив. Вольного, что придает всей его книге мечтательную духовность, резко отличающую деревню этого автора от бунинской Дурновки... Это — напряженное ожидание возрождения, трепетное предчувствие новой жизни, которое идет из глубины авторского сердца» («Киевская мысль», 1913, № 190). Еще более резко этот разный подход к современной деревне отметила большевистская газета «За правду» (так временно называлась «Правда») в статье «Литература и демократия». Автор статьи, подписавшийся «В. Вол-кий», сетует на то, что в русской литературе пока еще по-настоящему не изображены рабочий и крестьянин. Причину этого он видит в том, что писатели, берущиеся за эту тему, далеки от народа, его интересов, далек от них и Бунин. «Несомненно И. Бунин подходил к деревне с самыми лучшими намерениями,— утверждает автор статьи.— Однако он увидел там одно зверство, о чем и рассказал в своем «Ночном разговоре». Ничего, кроме зверства, темноты и ужаса, не замечают наши писатели в деревне, происходящая в ней творческая, созидательная работа от них ускользает, недоступна их взору»... Критик считает, что

новое слово уже сказано Вольновым и А. Бибиком: «В прошлом году мы имели два ярких произведения: «К широкой дороге» Бибика и «Повесть о днях моей жизни» Ив. Вольного. Впервые мы слышали яркое, правдивое слово о рабочей и крестьянской демократии» («За правду», 1913, № 2, 3 октября).

В. И. Ленин, как можно предполагать, прочитал повесть Вольнова именно в это время.

Кн. III «Юность» отдельным изданием вышла в 1917 году. Как и в журнальной публикации, здесь автор указал, что это «третья книга «Повести о днях моей жизни». После этого издания «Юность» вышла отдельной книгой два раза: в 1926 и 1929 годах. Она тоже вошла в собрание сочинений и в «Избранное» (1956).

В отличие от первых двух книг «Юность» в меньшей степени автобиографична. Далеко не все факты биографии писателя и членов его семьи излагаются точно, он часто прибегает к творческому вымыслу. Так же автор поступает и с материалом о революционных событиях в Орловской и Курской губерниях. Однако в основе его художественных обобщений лежат как реальные лица, так и действительные события. В селе Осташково Осташковской волости не трудно узнать признаки орловского села Куракино Малоархангельского уезда, который в годы первой русской революции стал центром революционного брожения всей губернии. Об этом свидетельствуют документы, найденные нами в архиве. Так, уездный исправник в августе 1906 года доносил орловскому губернатору: «Куракинская волость является для всех их (крестьян.— *М. М.*) главным центром революции под руководством известных агитаторов революции Вольнова, Высокопольского, Куканова, Солдатова и многих других учителей, происходящих из крестьян деревни Поздеевой». В свою очередь, губернатор докладывал департаменту полиции: «Уведомляю департамент полиции, что главными виновниками в составлении на митинге, происходившем 16 июля с. г. в Куракине, приговора крестьян об отказе платить подати, не давать новобранцев и призыва к насильственному ниспровержению существующего в государстве общественного строя,— являются Иван Вольнов, б. член Государственной Думы Максим Куканов и крестьяне Аким Солдатов, Илья Липатов и Павел Шитиков» (Гос. архив Орл. обл., фонд 580, ед. хр. 4305). Сам Вольнов явился прототипом Ивана Володимерова, названные его единомышленники изображены под именами Ильи Лопатина, Прохора Галкина, Петра-шахтера и др.

«Юность» печаталась в то время, когда в России усилилась политическая реакция. Публикация повести в целом ряде номеров журнала «Заветы» (редактором его был уже не В. С. Миролюбов) сопровождалась цензурными преследованиями. Уже первые

главы стали выходить с целым рядом купюр, а десятая книжка журнала была даже арестована. Вместо нее вышел № 10-А (октябрь 1913) с примечанием от редакции: «Напечатанные выше главы V—VIII романа Ивана Вольнова «Юность» перепечатаны из первого издания № 10 «Заветов» с выпуском тех одиннадцати мест, при условии исключения которых С.-Петербугская судебная палата в распорядительном заседании 18 ноября 1913 года постановила снять арест с № 10 «Заветов». К счастью, несколько экземпляров этого номера сохранилось, и мы могли сопоставить тексты обоих вариантов указанных глав. Так, было удалено начало главы VI: «Но скитания мои и городская жизнь, изредка перепадавшие книги, встречи с людьми, свои собственные надоедливые думы,— не прошли для меня бесследно: на мужицкую заброшенность, темноту, на полное препебрежение к нам я смотрел теперь иными глазами» («Заветы», 1913, № 10, с. 145). Изъяты слова одного из единомышленников Ивана — Галкина: «Правду мы сыщем, вот увидишь, — говорил, бывало, маньчжурец, — в гроб не лягу, пока не откопаю ее!» (с. 149). Удалены также реплики: «Чего ты нам кисель по углам размазываешь... Мы это слыхали! Говори, как действовать!» (с. 155); «Первым делом надо этих... Ну, вы знаете кого!.. Когда будет больше, двинем стеной» (с. 160)[1].

Все 11 купюр приведены были в докладе Петербургского комитета по делам печати в Главное управление и сопровождались таким заключением: «В приведенных выдержках Иван Вольнов указывает крестьянам как виновников их безземелья, всех их бедствий и угнетения, на высшие состоятельные классы, на господ, и подстрекает их сплотиться и действовать против высших классов насильственным способом, чем и возбуждает в крестьянах враждебное к ним отношение» (Центр. гос. ист. архив в Ленинграде, ф. 776). В результате против Вольнова и редактора «Заветов» И. И. Краевского было возбуждено уголовное дело, а журнал № 10 был не только арестован, но и уничтожен, о чем свидетельствует рапорт петербургского градоначальника: «Имею честь уведомить Главное управление по делам печати, что все арестованные экземпляры № 10 журнала «Заветы» за 1913 г. уничтожены посредством разрывания на мелкие части 2 апреля с. г. в типографии Петербургского градоначальства» (Там же).

Несмотря на это предупреждение, «Юность» продолжала печататься, и цензоры снова кромсали ее текст. Журнал опубликовал еще некоторые статьи, вызвавшие недовольство чиновников, поэтому в сентябре 1914 года судебная палата выносит приговор —

---

[1] После революции автор часть купюр восстановил!

закрыть журнал. Об этом прокурор Петроградского окружного суда доносил в главное управление по делам печати: «Приговором Петроградской судебной палаты от 16 сентября 1914 г. по делу о И. И. Краевском, между прочим, постановлено: арестованные экз № 5 и № 10 журнала «Заветы» за 1913 г. уничтожить, самое издание этого журнала запретить навсегда» (Там же).

Все же журнал успел опубликовать всю «Повесть», хотя и в изуродованном виде. Об отдельном издании в тех условиях не могло быть и речи. Только в 1917 году «Юность» вышла отдельной книгой. В этом издании автор, возвратившийся в Россию после Февральской революции, восстановил часть купюр, сделал некоторые сокращения растянутых мест, произвел стилистическую правку текста. Подготавливая повесть для собрания сочинений, Вольнов снова вносил некоторые изменения в текст.

В советское время о трилогии Вольнова писали М. Горький, А. Луначарский, С. Есенин, А. Новиков-Прибой, Вс. Иванов, В. Зазубрин, А. Фадеев, И. Касаткин, В. Ставский, а также многие критики и литературоведы. О том, как ее воспринимали крестьяне Сибири, пишет А. Топоров, читавший книгу своим коммунарам: «Повесть о днях моей жизни» — полная и страшная по своей правдивости картина захудалой дореволюционной русской деревни. Ее художественность и политико-воспитательное значение беспримерны. Знать ее должны все поколения советских граждан» (А. Топоров. Крестьяне о писателях. 2-е изд., Новосибирск, 1963, с. 67).

Кн. IV «Возвращение». Впервые главы этой незавершенной книги опубликованы: И. Вольнов. Избранное. Повесть о днях моей жизни. Повести, рассказы, очерки. М. Гослитиздат, 1956; журн. «Подъем». Возвращение (Неопубликованные главы четвертой книги), 1957, № 2.

Мысль о продолжении трилогии не оставляла Вольнова до конца жизни. Уже в 1914 году он написал небольшую повесть «В прошлом», которая не увидела света из-за цензуры. В 1919 году отрывок повести под названием «Сумерки» появился в журн. «Рабочий мир» № 6. В середине 20-х годов писатель обдумывает новое произведение, продолжающее трилогию. В музее Тургенева в Орле хранится набросок плана: «Написать вторую «Юность» — зрелую, из революции 1917 г. ...Провести эту «Юность» до 1925 г. с теми же героями. Наметить: фигуры будущих коммунистов, эсеров, эсерствующих перебежчиков, крепких хозяев, бедняков»...

В течение второй половины десятилетия автор работал над этой книгой. Первые главы он читал Горькому, когда находился

у него в гостях в Италии. В марте 1929 года Вольнов писал жене Марии Михайловне: «Два дня тому назад я читал ее вслух на il Sorito. Алексей Максимович все время плакал и говорил, что вещь будет необычайная. «Я знаю, что увлекаюсь и, увлекаясь, не всегда беспристрастен, тем не менее книга выйдет исключительной и нужной...» Это радует и тяжело обязывает. Книга изматывает меня. Но пишу ее с напряжением и любовью» (Архив семьи Вольновых).

В январе 1931 года Вольнов скоропостижно умер, и книга осталась незавершенной. В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится машинопись под названием «Комиссар Временного правительства», а ее автограф — у сына писателя И. И. Вольнова. В музее Тургенева находится авторизованная машинопись на 39 листах под названием «Возвращение». Это именно та часть повести, которую автор читал Горькому. Как видно, она была подготовлена к печати, но Вольнов не успел ее опубликовать. В настоящем издании впервые печатаются вместе все четыре книги «Повести о днях моей жизни».

Мих. Минокин

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вольнов И. Е.

В71 Повесть о днях моей жизни. Крестьянская хроника. М., «Сов. Россия», 1976.

400 с.

Творчество писателя-реалиста Ивана Вольнова получило высокую оценку А. М. Горького. «Повесть о днях моей жизни» вскоре после опубликования читал и горячо одобрил В. И. Ленин.

Трилогия автобиографична, в образе Ивана Володимерова без труда угадывается автор. Но главный герой повести — крестьянство предреволюционной эпохи. Писатель безжалостно вскрывает социальные язвы старой деревни, показывает царившие в ней беззаконие, дикость, но наряду с этим стремится подчеркнуть «прекрасное, чистое» в дореволюционном крестьянине. Главы из примыкающей к автобиографической трилогии неоконченной повести «Возвращение» рисуют ту же деревню в 1917 году, поднятую революцией к новой жизни.

$В\frac{70302-185}{М-105(03)76}106-75$ Р2

Иван Егорович Вольнов

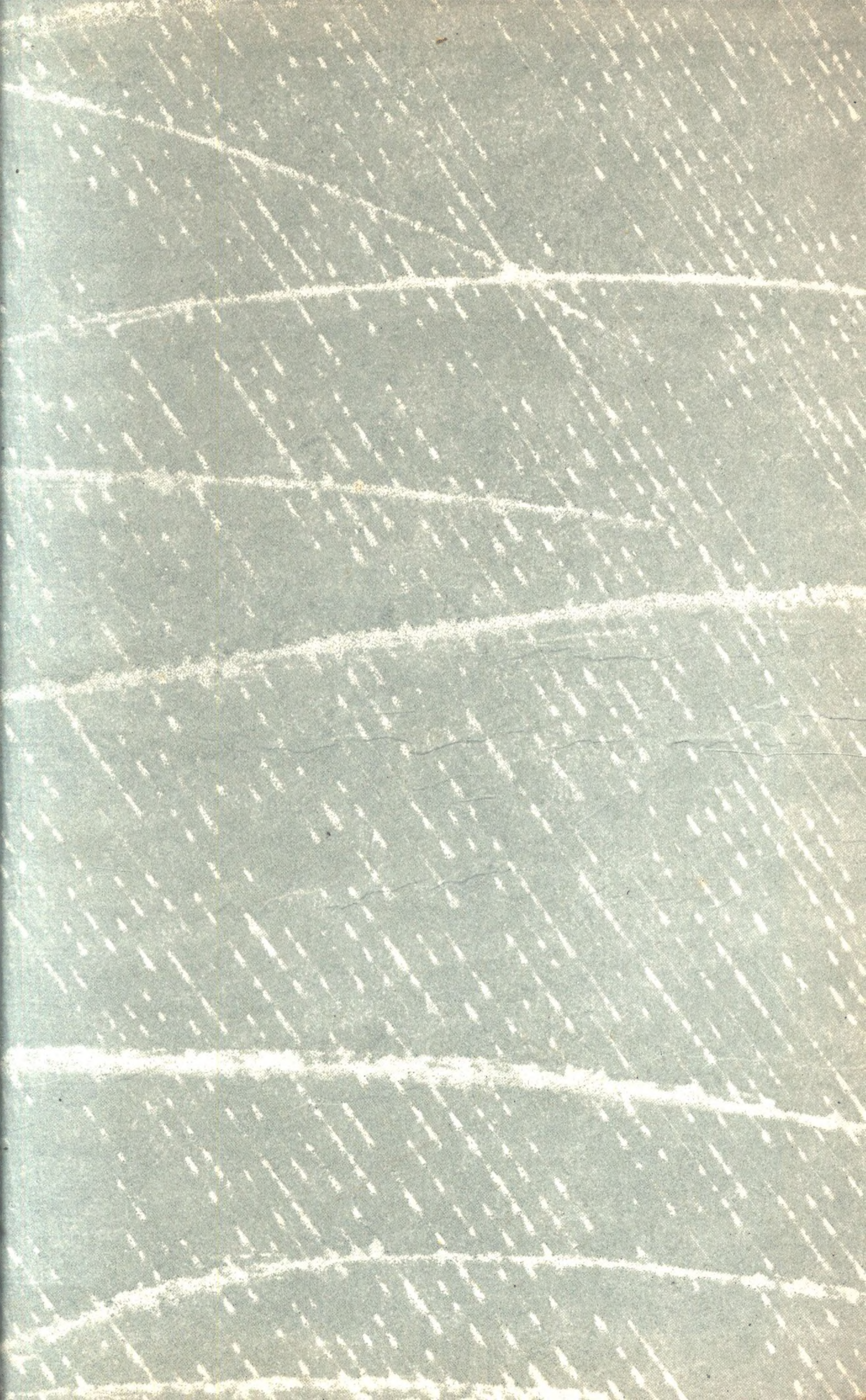
ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художник **С. Н. Голубев**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **Л. С. Мезенцева**
Корректор **Т. Б. Лысенко**

Сд. в наб. 16/IV-75 г. Подп. в печ. 18/VIII-75 г.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Физ. п. л. 12,5.
Усл. п. л. 21,0. Уч.-изд. л. 22,10.
Изд. инд. ЛХ-740. А09376.
Тираж 75 000 экз. Цена 79 коп. в пер.
Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ 194.



ИВАН
ВОЛЬНОВ